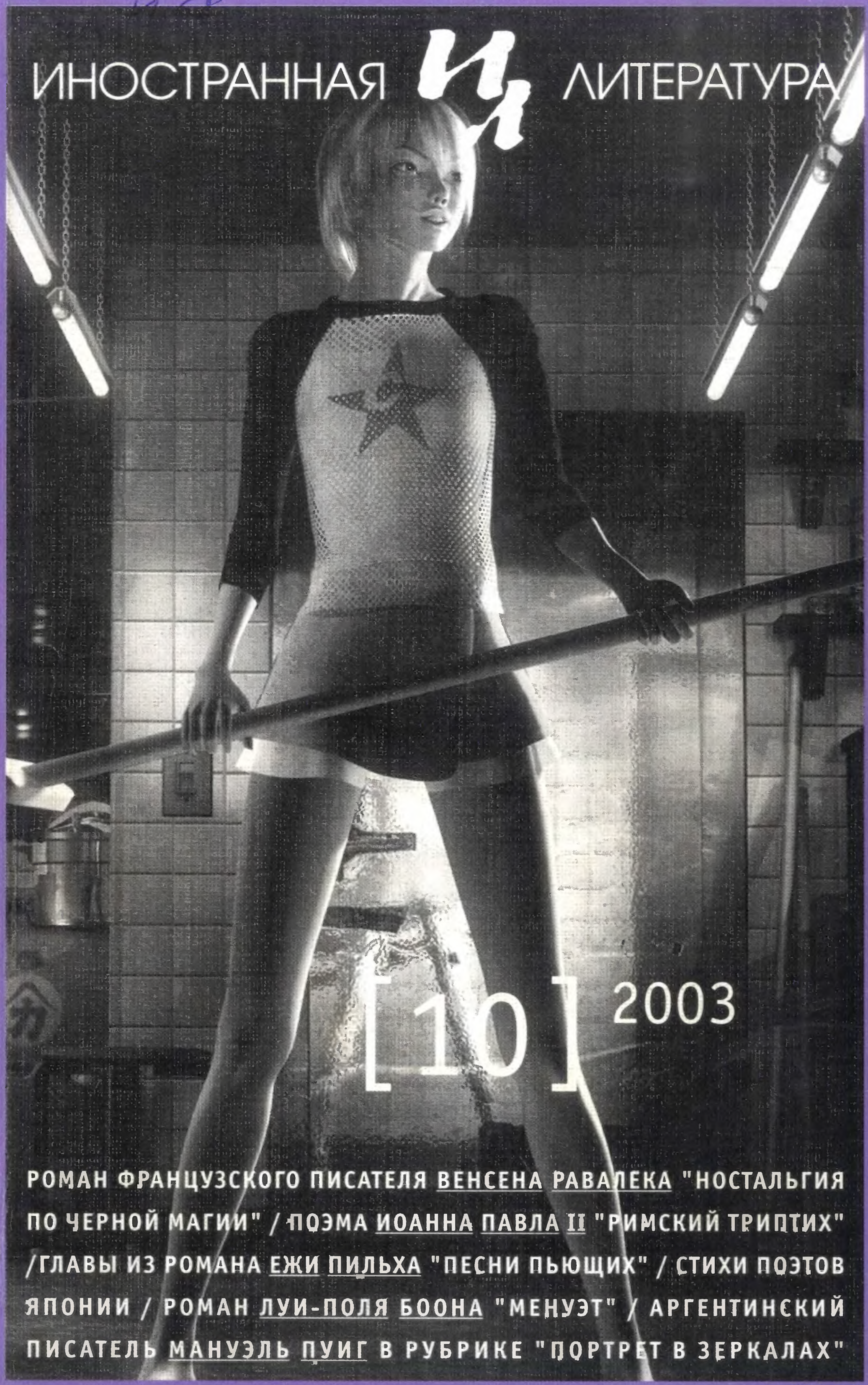
95+83

ISSN 0130-6545

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА



[10] 2003

РОМАН ФРАНЦУЗСКОГО ПИСАТЕЛЯ ВЕНСЕНА РАВАЛЕКА "НОСТАЛЬГИЯ ПО ЧЕРНОЙ МАГИИ" / ПОЭМА ИОАННА ПАВЛА II "РИМСКИЙ ТРИПТИХ" /ГЛАВЫ ИЗ РОМАНА ЕЖИ ПИЛЬХА "ПЕСНИ ПЬЮЩИХ" / СТИХИ ПОЭТОВ ЯПОНИИ / РОМАН ЛУИ-ПОЛЯ БООНА "МЕНУЭТ" / АРГЕНТИНСКИЙ ПИСАТЕЛЬ МАНУЭЛЬ ПУИГ В РУБРИКЕ "ПОРТРЕТ В ЗЕРКАЛАХ"

Основан в 1891 году

“ИЛ” В 2004 ГОДУ

“Согласно Душеньке” – последний роман знаменитой английской писательницы БЕРИЛ БЕЙНБРИДЖ, воссоздающий на основе подлинных документов эпохи и силой авторского воображения историю любви великого человека своего времени Сэмюэля Джонсона.

“Шкура” – одно из самых ярких произведений о Второй мировой войне, в центре повествования – события, связанные с высадкой в 1943 году союзных войск в Неаполе, свидетелем и участником которых был автор, итальянский писатель КУРЦИО МАЛАПАРТЕ.

“Железный хлам” английского писателя ЭНТОНИ БЁРДЖЕССА, автора знаменитого “Заводного апельсина”, – роман об истории двух семей, переживающих бурные и трагические события первой половины XX века.

“О времени и о реке” – фрагменты романа-эпопеи классика американской литературы ТОМАСА ВУЛФА, трагическая история любви и дружбы, разворачивающаяся на фоне широкой панорамы европейской и американской жизни 20-х годов прошлого века.

“Белая крепость” – историческое повествование известнейшего турецкого писателя ОРХАНА ПАМУКА о судьбе молодого итальянца, попавшего в плен к туркам и встретившего там своего двойника.

“Bambini di Praga 1947” и **“Кафе “Мир””** – гротескные, ироничные, почти сюрреалистические истории молодого БОГУМИЛА ГРАБАЛА, ярко запечатлевшие атмосферу чешских городков и деревень 40-х годов XX столетия.

Специальный номер, на страницах которого будут представлены произведения американских авторов, удостоенные – уже в XXI веке – престижных литературных премий.

“Страсти по Эвите” – документальный роман аргентинца АБЕЛЯ ПОССЕ, воссоздающий одну из самых поразительных биографий XX века – историю жизни легендарной Эвы Перон.

“Дали глазами Аманды” – главы из книги известной певицы, актрисы, художницы АМАНДЫ ЛИР, которая долгие годы входила в круг самых близких друзей Сальвадора Дали и в своих воспоминаниях воссоздает многие малоизвестные эпизоды жизни великого художника.

“Осада храма Рождества Христова” – фрагменты из документальной книги итальянских журналистов ДЖУЗЕППЕ БОНАВОЛОНТА и МАРКА ИННАРО, которые стали свидетелями и участниками событий, развернувшихся в Вифлееме в апреле 2002 г.

“Герман Гессе” – книга уже известной читателям “ИЛ” немецкой исследовательницы ЛАХАНН БИРГИТ, посвященная жизни великого писателя.

“Крик горгульи” – фрагменты публицистической книги министра иностранных дел ФРАНЦИИ ДОМИНИКА ДЕ ВИЛЬПЕНА, где в остро полемическом ключе поднимаются проблемы отношений между властью и обществом.

Эссеистика: А. МУНЬОСА МОЛИНЫ, Ж. ДЮПЕНА, С. НООТЕБОМА, С. СОНТАГ, Л.ШАШИ, К.МАГРИСА, О. ХАКСЛИ, П. ЛЕВИ, ДЖ. М. КУТЗЕЕ.

Литературные гиды о терроризме, **“Литературная сказка”**, **“Голливуд”**.

[10]
2003

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Ежемесячный
литературно-
художественный
журнал

3 Венсен Равалек. *Ностальгия по черной магии.* Роман. Перевод с французского и вступление Ирины Стаф

106 Иоанн Павел II. *Римский триптих.* Размышления. Перевод с польского Асара Эппеля

118 Луи-Поль Боон. *Менуэт.* Роман. Перевод с фламандского Сильваны Вейдеманн и Марины Палей. Вступление Марины Палей

189 Ежи Пильх. *Песни пьющих.* Главы из романа. Перевод с польского К. Старосельской

208 Стихи поэтов Японии. Перевод с японского. Вступление Т. Соколовой-Делюсиной

Документальная проза

222 Кингсли Эмис. Мемуары. Фрагменты книги. Перевод с английского и вступление А. Ливерганта

Портрет в зеркалах "Мануэль Пуиг"

251 Борис Дубин. *От составителя*

253 Грасиела Сперанса. *Необъяснимая улыбка.* Перевод с испанского Бориса Дубина

257 Сьюзен Джилл Ливайн. *Читая Мануэля Пуига: взгляд биографа.* Перевод с английского Антона Ильинского

263 Гильермо Кабрера Инфанте. *Страсть и поэзия.* Перевод с испанского Бориса Дубина

266 Рикардо Пиглья. *Мануэль Пуиг и магия повествования.* Перевод с испанского Антона Ильинского

269 Томас Элой Мартинес. *Смерть – это уход навсегда.* Перевод с испанского Бориса Дубина

275 *Говорит Мануэль Пуиг.* Из интервью разных лет. Перевод с испанского Антона Ильинского

Статьи, эссе

284 Александра Борисенко. *Иэн Макьюен – Фауст и фантаст*

Курьер "ИЛ"

295

Авторы номера

299

© "Иностранная литература", 2003

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Журнал основан в 1891 г.
До 1943 г. выходил
под названиями "Вестник
иностранной литературы",
"Литература мировой
революции",
"Интернациональная
литература". С 1955 года –
"Иностранная литература".

Главный
редактор

А. Н. Словесный

Редакционная коллегия:

Н. А. Богомолова
заведующая отделом критики и публицистики

Л. Н. Васильева
заведующая отделом художественной литературы

Т. А. Ильинская
ответственный секретарь

А. Я. Ливергант
заместитель главного редактора

Общественный
редакционный совет:

С. С. Аверинцев
В. П. Аксенов
С. К. Апт
А. Г. Битов
П. Л. Вайль
М. Л. Гаспаров
Е. Ю. Гениева
А. А. Генис
В. П. Голышев
Т. П. Григорьева
Б. В. Дубин
А. Н. Ермонский
В. В. Ерофеев
Д. В. Затонский
Вяч. Вс. Иванов
В. Б. Иорданский
А. С. Мулярчик
Д. Б. Рюриков
М. Л. Салганик
Е. М. Солонович
П. М. Топер
Н. Л. Трауберг
М. А. Федотов
Б. Н. Хлебников
Г. Ш. Чхартишвили

Международный
совет:

Чингиз Айтматов
Криста Вольф
Януш Гловацкий
Гюнтер Грасс
Тонино Гуэрра
Морис Дрюон
Милан Кундера
Зигфрид Ленц
Артур Миллер
Ананта Мурти
Милорад Павич
Кэндзабуро Оэ
Умберто Эко

Редакция :

О. Г. Басинская
С. М. Гандлевский
Т. Я. Казавчинская
И. В. Кивель
И. И. Кузнецова
А. Е. Соколинская
К. Я. Старосельская
Л. Г. Харлап

Журнал выходит при финансовой поддержке
Министерства культуры РФ и Министерства печати РФ.

Ежегодные литературные премии журнала
спонсирует МДМ Банк (Московский деловой мир).

Венсен Равалек

Ностальгия по черной магии

Роман

Перевод с французского и вступление Ирины Стаф

Роман В. Равалека "Ностальгия по черной магии" стал заметным событием в литературной жизни Франции. Этот чрезвычайно плодовитый писатель, выпустивший с начала 90-х годов полтора десятка книг (романов и сборников новелл), подготовивший альбом песен и активно работающий в кино, не оставляет равнодушными ни читателей, ни критику. Мы попытались дать коллаж суждений о романе и самом писателе, позволяющих хотя бы отчасти понять смысл того необычного явления, что носит имя Венсен Равалек.

Эта книга — последняя створка триптиха, озаглавленного "Перст Божий в белом небе". Цель Равалека? Представить в трех романах свое ви́дение конца века. В первом, "Гимн шпане" (1994), автор критиковал общество потребления. Второй, "Венди", (1995) был встречей с самим Господом Богом. А ныне, в "Ностальгии по черной магии", мир исчезает в волнах, под собором Нотр-Дам возникают пещеры, под Эйфелевой башней живет гигантский спрут, а в туннеле квартала Дефанс — единорог. Безусловно, это не последняя книжка про Апокалипсис: 1999 год приближается, и этот сюжет, без сомнения, войдет в моду. Но, как ни парадоксально, сила Равалека — в его простодушии... И в ранних сборниках новелл, более реалистических, и в последних эссе без знаков препинания Равалек остается созерцателем. Его главный козырь — быть пареньком из пригорода, ни черта не понимающим в причудливом устройстве мира.

© Flammarion, 1997
© И. Стаф. Перевод, вступление, 2003
Журнальный вариант. Полностью роман выйдет в издательстве «Иностранка».

Равалек — писатель-визионер: кому-то это нравится, кому-то нет. Для тех же, кто любит "героическое фэнтези", танец космических сил, его книга — сущий подарок. В этом писателе, наделенном богатым воображением и спутывающим иногда оригинальный образ с кинематографической реминисценцией, есть что-то от Герберта Уэллса.

Это грандиозный обряд инициации, местами изнурительный, ибо читателя в домашних тапочках пробирает дрожь. Но и потрясающее путешествие в страну фантазма и того запредельного, что мы носим в самих себе. Совсем не исключено, что Равалек гениален.

Эта мощная книга пьется как невиданное спиртное, какая-то странная текила, от которой телу становится хорошо, пусть даже мы не представляем, откуда молодой писатель, с его современным, благоуханным стилем, мог все это почерпнуть. Сегодня к художникам относятся так же, как когда-то к волшебникам: им верят, не имея никакого представления о том, что их вдохновляет.

Какими бы излишествами этот писатель, этот художник ни марал свой стиль, у него верный взгляд. Мы чувствуем, что прекрасная страна, в которой мы живем, уже не в состоянии переварить контрасты, и столкновение непримиримых противоречий приведет к катаклизму.

Равалек осваивает собственный неповторимый мир — мир, в котором живем и мы, — средствами острого, напряженного письма, на грани помешательства, на пределе безумия и Апокалипсиса. Он заново выдумывает Библию с ее чередой потопов. Если это и не научная фантастика, то что-то похожее.

Стоит ли переживать из-за стольких катастроф и массовых убийств? Вряд ли: автор всех этих видений, скорее всего, говорит лишь о самом себе — то есть о нас.

В свои тридцать восемь лет Венсен Равалек считается одним из ведущих авторов нового поколения, прочно укорененного в современности. И вот как он рассказывает о себе:

То, что я стал писать, для меня настоящее чудо. Правда, это так же невероятно, как когда ребенок говорит, что хочет стать космонавтом, и в один прекрасный день в самом деле им становится. Это чудо настолько переполняет меня, что я боюсь, как бы все не кончилось. Так что я тороплюсь, а то вдруг не успею.

Я автоматически начинаю писать, как только сажусь за свою старую добрую машинку... Я не знаю, что такое лишиться вдохновения... После обеда я предаюсь тайным занятиям, о которых обычно не люблю говорить: мы с несколькими друзьями (в основном писателями) создали клуб исследований инопланетян. Это может показаться глупостью, но это мощный источник вдохновения.

Письмо дает возможность привести самого себя в форму. Например, "Ностальгия по черной магии" позволила мне избавиться от всяческих страхов и навязчивых идей.

Рубеж столетий миновал, но предупреждение Равалека осталось в силе. И не важно, что может вызвать конец света — взрыв атомной станции или безумное сознание человека, возомнившего себя Богом, волхвом, колдуном. "Сон разума рождает чудовищ", а утрата своего "я" стирает тысячелетнюю память человечества. Но бродячие актеры, словно явившиеся из фильмов Феллини напомнить о "Гамлете", перенесут и гибель богов, и крах последнего, жуткого и нелепого госу-

дарства, ибо за ними — родные лица всех, кто жил на этой планете, а значит, и тех, кто будет на ней жить.

По материалам "Монд", "Фигаро литтерер", "Эль", "Ла Пресс" (Монреаль), "Вуаси", "Телерама"

Валери, Бенжамену и Амели

Что поражает при исследовании черной магии, так это неизменность ее ритуалов и учения, несмотря на любые перемены в остальных социальных институтах.

Жером-Антуан Рони. *Магия.* 1950

Книга первая
Видение смерти после дождя

Ныне пришло время вновь вручить душу Господу. Ныне пришло время Армагеддона.

С.С. Иов. *Книга последних дней.*
F. Eher Verlag, 1933

СОЛНЦЕ исчезло навсегда, и гаргульи на соборе ожили, зашевелились, зашептали, забормотали возбужденно, по-моему, хорошо бы сейчас зонтик, или шляпу, или хоть что-нибудь — прикрыться от ливня, плащ или анорак, лучше анорак, они теперь их делают с подстежкой, — сверху непромокаемый, а внутри подстежка, даже вроде бы где-то была распродажа. Гаргульи моргали в сумерках выпученными известняковыми глазами. Недавно церковные власти решили устроить в соборе капитальный ремонт, но едва сняли леса, как стены опять стали черными, одни, ухватившись за это, стали ругать загрязнение воздуха и машины, да, все эти машины и заводские трубы еще дадут нам прикурить, а другие проклинали архиепископа, говорили, будто во всем виноват он и это явный знак, что религия с треском провалилась, одна вечерняя газета даже вышла с заголовком "ПРОКЛЯТИЕ БОГОМАТЕРИ", намекая, что за всем этим наверняка стоит сам Дьявол либо, во всяком случае, нечистая сила.

С тех пор дождь шел уже тридцать дней и тридцать три ночи, и Марианна только что сказала мне, что беременна.

Все началось с жуткой жары, уже весной стояла невероятная сушь, ну так ведь если летом жарко, это еще не самое худшее, когда же люди поняли, что на дворе октябрь, а они по-прежнему купаются в фонтанах,

ходят полуголые и радуются каникулам, которые, похоже, не желают кончаться, недовольных было что-то не видно.

Ровно после этого небо потемнело и пошел дождь — 1 ноября, в День всех святых.

На западе собрались облака, горизонт подернулся белесой дымкой, а потом упали первые капли, их встречали восторженными криками, весь город высыпал на улицы и танцевал, празднуя возвращение воды и окончание засухи. С тех пор дождь лил не переставая.

— Ты уходишь? — спросила Марианна. — Ты видел, в метро опять нашли змей?

С какого-то момента мысль о ребенке витала в воздухе. Я не особенно возражал, надеясь, что со временем вопрос как-нибудь рассосется (честное слово, чтобы предлагать такие вещи, надо вообще не понимать, что кругом творится, закинуть ребенка в этот бардак!), но, к несчастью, он в конце концов приобрел вполне конкретные очертания.

— Наверняка они сбежали из зоомагазина с набережной Межисри, — объяснил я ласково, — тут все-таки не джунгли, знаешь ли, тут Париж.

Я собрал свой чемоданчик, маленький чемоданчик, с которым хожу на работу, сказал Марианне, чтобы не волновалась, и вышел из дому, не дав ей времени завести разговор о фараоне и о жезлах, сделавшихся змеями[1]. Из-за истории с младенцем вся совокупность данных представала в новом свете, серьезном и важном, и мне это не очень нравилось.

Консьерж в компании жильцов смотрел, как идет дождь, когда я проходил мимо, он сказал: все никак не кончится, и я ответил: да, в самом деле.

Недавно я нарисовал маленькую карманную церковь, очень хорошенькую, всю в дымке ладана и органной музыки, что делает пространство как бы и весомым, и бесплотным, миниатюрную такую церковь, с ней можно было бы играть в куклы.

В небе я пририсовал средневековые дельтапланы, чем-то напоминающие зловещих птиц.

— Ты поздно вернешься? — крикнула из окна Марианна. — Осторожнее, береги себя!

Положение наше было не то чтобы шаткое, но нестабильное, мы изворачивались как могли. Марианна легально работала по вызову, по вечерам, три раза в неделю, есть такие типы, хотят, чтобы их связывали и били хлыстом, она говорит, обычно им ничего больше не нужно, то есть не совсем шлюха, просто несколько ударов плеткой да пара наручников. В остальное время она бродила по квартире, занималась какими-то таинственными приготовлениями или покуривала сигарету, больше всего это походило на танец, балет, она делала для него странные костюмы, а главными действующими лицами были Двуликий Шут, грязная Старая Дама или Король Корморан.

Сам же я носился с мыслью стать большим художником и грабил стариков. Бедных стариков, они попадались мне в музеях, на экскурсиях, в общественных скверах, я морочил им голову, говорил, что я провинциал, приехал в Париж по объявлению, торговать овощами и фруктами, а в результате бессовестные жулики обобрали меня до нитки.

1. «И бросил Аарон жезл свой пред фараоном и пред рабами его, и он сделался змеем. И призвал фараон мудрецов (Египетских) и чародеев; и эти волхвы Египетские сделали то же своими чарами. Каждый из них бросил свой жезл, и они сделались змеями; но жезл Ааронов поглотил их жезлы» (Исх. 7:10–12). (*Здесь и далее – прим. перев.*)

Старики обычно скучают и готовы проглотить любую чепуху.

Улица напоминала разоренный пейзаж в исполнении какого-нибудь современного художника, с понедельника везде появились разноцветные навесы для машин, были розовые, были цвéта зеленого яблока, лиловые, прозрачные, они придавали окружающему особенный тон — потуги на фантазию посреди стихийного бедствия: не особо красивая, полузатопленная парижская улица, дождливый день, быть может, начало нового конца света — и разбросанные там и тут пестрые концептуальные чехлы. Я сел в машину, мотор, по счастью, еще не совсем отсырел, и взял курс на западную часть Парижа, сегодня я намеревался увести увесистую кубышку у нескольких дедушек и бабушек, моих недавних знакомцев. Так ли уж мы сильно хороши, чтобы принять в этом мире новое существо, новую, готовую распуститься жизнь? В этом я не был уверен.

Честно говоря, я мог бы попробовать продавать свои картины или устроиться куда-нибудь иллюстратором, но постоянно общаться с себе подобными мне почему-то было противно, и, если не было особой нужды, я старался держаться от них подальше; и потом мне казалось, что любая попытка продаться безнадежно запятнала бы мое вдохновение. Я всегда помнил о наскальной живописи, тысячелетиями ждавшей своего часа в непроглядной темноте пещер и тем не менее несравненной по силе и энергии.

Живопись была для меня едва ли не магическим действом, почти колдовством, абсолютно несовместимым ни с одной формой коммерции.

На данный момент меня мало волновало, что все кругом рушится, у меня были свои дела, мои старики, мои полотна, мой увлекательный замысел — до конца передать на холсте тайну соборов и эзотерическое толкование Великого деяния[1].

Мне, в отличие от Марианны, не требовалось постоянно заклинать смертельную тревогу.

На улицах было еще довольно много машин, наводнение уже приобретало угрожающие размеры, и власти решили отключить электричество, чтобы попытаться восстановить затопленную сеть, значит, до завтрашнего утра город погрузится в полную темноту — мрак, дождь, фары отражаются в воде. Если все пройдет удачно, то завтра утром у меня будет на что принять совершенно спокойное и трезвое решение по поводу ребенка.

СМИ уже несколько дней передавали одну и ту же информацию, повсюду висели плакаты с призывами к населению не покидать своих домов, в городе ввели что-то вроде комендантского часа, и на улицах не было практически никого, только несколько припозднившихся прохожих спешили к себе да колонны машин коммунальных служб в сопровождении военных медленно двигались к месту аварий, усиливая и без того жуткое впечатление смерти, войны, стихийного бедствия.

Старики владели небольшим участком, там были построены два смежных дома, симпатичное жилище совладельцев-пенсионеров, вкушающих от благ трудовой жизни. Как только начались волнения, они, естественно, тут же сняли свои сбережения со счетов, комендантский час наверняка убедил даже самых нерешительных. По моим подсчетам, кубышка должна была быть на оптимальном уровне.

1. То есть получения философского камня, главной цели алхимии.

Я катил по призрачному городу в направлении моста Сен-Клу, бак был полон, я заправился сегодня вечером, а на заднем сиденье лежали принадлежности, необходимые для успеха моей затеи.

Немного не доезжая Булонского леса меня остановил полицейский кордон, люди в плащах махали светящимися жезлами, а когда я притормозил, один из них чертыхнулся, типа, что за хулиганство не соблюдать комендантский час, тут с дождем хлопот не оберешься, я ответил, что у меня родила жена, я спешу туда, такое счастье, мне не до комендантского часа, надеюсь, они меня поймут. Они, ворча, пропустили меня, в тот миг, когда я трогался с места, мой взгляд упал на какую-то фигуру чуть поодаль, тоже в плаще, на секунду фары высветили лицо, и я остолбенел, меня точно ударило током, силуэт улыбнулся мне, дружески и чуть печально, я знал это лицо, эта девушка умерла несколько лет назад, и я был на ее похоронах.

У меня отвисла челюсть. Боже, силился я пролепетать, боже, что ты здесь делаешь, но не успел броситься к ней и выяснить, в чем дело, она растворилась в ночи, а люди сзади закричали, чтобы я не задерживал, эй! ты едешь, нет? и я поехал, вцепившись дрожащими руками в баранку и повторяя себе, что это, конечно, ошибка, просто обознался.

А потом я уже подъезжал к месту, и мне волей-неволей пришлось сосредоточиться на деле и отогнать страшное ощущение, что видел покойницу во плоти, у меня все было расписано по минутам, и я не мешкая принялся за работу.

В голове безостановочно вертелись одни и те же мысли, произвести на свет ребенка — серьезное решение, такие не принимают с кондачка, если подходить к делу объективно, то это абсолютно чудовищное решение, временами из моих умствований было ясно только одно, что миру так или иначе крышка, надежды никакой, и пытаться тянуть дальше эту зловещую комедию значит только усугублять проклятие, умножать бремя наших ошибок, а значит, и грядущих тягот, имелась лишь одна объективная причина, сделать приятное Марианне, я знаю, ей осточертели эти телефонные истории, и прелестный пупс был, конечно, простым и ясным способом придать новый смысл ее существованию, дать ей наконец возможность исполнить свое женское предназначение — стать матерью.

Я заглушил мотор, не доезжая стоянки, и с ходу вкатился на середину двора.

Они превратили гараж в хранилище, с двойной перегородкой из строительных блоков и с бронированной дверью. Первым делом я запер все выходы на висячие замки, чтобы никто не выбрался из дома, а потом вскрыл дверь в подвал. Мое вторжение могло оказаться несколько шумным, но я это предвидел, мой план учитывал и такие неосязаемые материи, как психология жертв.

Эти люди были весьма склонны верить в сверхъестественные силы, а потому я подготовил для них программу, отвечающую их пристрастию к эзотерике.

Я опять облачился в свой боевой костюм, черное облегающее трико, на котором нарисован светящийся скелет, каску с оленьими рогами, Марианна прошлой зимой развлекалась какой-то дурацкой пьесой, картину довершали большие горнолыжные очки. Самые храбрые непременно примчатся на шум, а у меня не было ни малейшего желания прибегать к насилию или угрозам, я запасся гетто-бластером на батарейках,

он мог издавать кошмарные звуки, абстрактную музыку, от которой волосы вставали дыбом, да плюс несколько осветительных ракет, да я в виде скелета посреди фейерверков — никаких шансов, что они решатся пойти на приступ.

А сейчас перед вами зримое воплощение незримого, ха-ха!

Признаться, иногда моя изобретательность меня пугает.

Я наконец высадил дверь в подвал, было 0 часов 2 минуты, в тишине слышалось только звонкое шлепанье капель по плексигласовому навесу для велосипедов.

На картине, которую я в то время писал, было изображено некое гибридное существо, полумужчина, полуженщина, у входа в громадный лабиринт, Тесей перед лицом своей судьбы, точно такое же ощущение было в тот вечер у меня, когда я стоял у зияющей дыры подземелья, вырядившись в странный костюм и каску с рогами, после долгого путешествия по затопленному городу, где в эту безлунную ночь не было ни единого огонька, — ощущение, что передо мной открыто множество путей, но лишь один в конечном счете окажется верным. Все мои причиндалы лежали на маленькой тележке, которую я стащил сегодня под вечер на стройке, я чувствовал, что спокоен, сосредоточен на своей задаче, и совесть моя абсолютно чиста; толкнув вперед тачку, я вошел в подземелье.

В один миг я расставил на антресолях большие зеркала, их я приметил еще когда бывал тут раньше, на случай, если кто-нибудь явится с фонарем, я расположил их так, чтобы свет лампы, отразившись в них, привел незваных гостей в еще большее смятение, потом нажал на кнопку магнитофона, раздались жуткие жалобные звуки, по сравнению с ними самая мерзкая современная музыка казалась верхом гармонии, и начал проламывать двойную перегородку из монолитных блоков. Телефон сегодня ночью тоже не работал.

И в эту минуту я вдруг почувствовал, может, из-за нелепого наряда или из-за моих собственных теней, плясавших по стенам в свете факела, что меня обступили странные видения, на весь этот бедлам слетелись вампиры, жадные, выжидающие, но мне было не до них, через несколько минут я проделал в стене дыру, достаточно большую, чтобы в нее пролезть. Теперь оставалось проверить мою гипотезу: поддались они паническим слухам о возможном обвале биржи, вернули сбережения домой или нет? Бокс был пуст, там стоял только стеллаж с какими-то книжками или тетрадками и сейф.

Раньше мне часто снились старики, снилось, что объявили войну, войну стариков, надо было истребить лишнее население, я видел, как мои дедушка с бабушкой убивают друг друга, дедушка протыкает грудь бабушке громадной рапирой, и алая кровь течет у нее изо рта и из носа. Один психоаналитик сказал, что это была абсолютно здоровая защитная реакция на мир взрослых, мир, не внушавший ребенку ничего, кроме недоверия и подозрений. Я закрепил взрывчатку на дверце сейфа, я казался себе супервзломщиком, тот спец, что мне ее продал, не слишком расщедрился на советы, мне интересно было взглянуть на результат, и когда я поджигал фитиль, на лестнице кто-то закричал.

Я отошел подальше, от взрыва подскочили полки стеллажа, дверцу сейфа словно вскрыли громадным консервным ножом, я направил лампу на оплавленные стенки, с лестницы опять донеслись крики, я узнал голос одного старика, бывшего уполномоченного Парижского нацио-

нального банка, если бы мне предложили пари, кто первый вздумает явиться, я бы поставил на него, сейф был полон, пачки купюр лежали аккуратными ровными рядами, я подумал, до чего здорово, просто класс, и вышел посмотреть, как мне успокоить старикана.

— Кто бы ты ни был, Божья тварь, покажись!

Как хотите, но это было трогательно, елки-моталки, кто бы ты ни был, Божья тварь, покажись, я запустил первую петарду в потолок, махая руками, как пьяная ворона, и вопя кар-рр, кар-рр, похоже, мой зайчик шарахнулся прочь, кто бы ты ни был, конечно, но такого он, видно, не ожидал. Шарль, раздался сверху плаксивый голос, Шарль, ты что-нибудь видишь, что там такое? Я воспользовался передышкой и запустил руку в сейф. Послышался грохот, потом опять крики, не иначе Шарль пропахал носом лестницу. Я собрал инструменты, уместил чемоданчик и кубышку на тележку и взял курс на выход, всякую работу надо делать хорошо, это любимое изречение моего деда. И ровно в тот момент, когда я выходил из подвала, бластер замолк.

— Шарль, о боже, Шарль, ну пожалуйста, отзовись!

Настала ледяная тишина, все вдруг замерло, такая тишина, что впору окаменеть от ужаса, словно вот-вот явится нечто или чудовищное некто, это продолжалось несколько минут, и снова почудились вампиры, склонившиеся над жертвами, сладострастно сосущие кровь, а потом стало слышно, как тихо всхлипывает старуха, а после опять ничего, только характерный звук, как будто по лестнице волокут тело, а оно бьется о каждую ступеньку. Я сумел стряхнуть зловещее наваждение и ползком добрался до машины, кубышка была по-прежнему крепко привязана к инструментам, не знаю, что там происходило в доме, у меня не возникало никакого желания остаться посмотреть.

Вернувшись домой, я заснул сном праведника, и когда назавтра разлепил глаза, был уже день.

Похоже, электричество починили, потому что Марианна влипла в телевизор, какой-то чин из правительства хвастался, что благодаря быстрым и чрезвычайно эффективным действиям соответствующих служб ситуацию удалось выправить. Тут-то стало ясно, что дело серьезное, система едва не накрылась. Прогноз погоды был прежний, снова дождь, срочно созывается совещание в верхах, ко всем крупнейшим специалистам Большой семерки обратились с настоятельной просьбой найти решение проблемы, ведущий не уточнил, какое именно, но, судя по всему, это должна быть сильная штука, штука, способная остановить потоп. В конце выпуска шли сообщения о трагических происшествиях, связанных с затемнением, несколько изнасилований, не так много, но все достаточно гнусные, их стоило упомянуть, сколько-то краж, а главная новость — пожар в Сен-Клу, сгорел небольшой особняк, где жили главным образом пенсионеры. Что стало причиной пожара, поджог или несчастный случай, пока не выяснено.

— Ну, — поинтересовалась Марианна, — как прошло?

Все старики погибли при пожаре, кроме одной женщины, она получила серьезные ожоги. Я никогда не уточнял, чем занимаюсь. Однажды Марианна спросила, это что-то нечестное, ты поступаешь дурно, я ответил, более или менее, так, на грани, и она удовлетворилась этим объяснением.

Вроде тебя, уточнил я, ты порешь плеткой своих мазохистов, но ты ведь не совсем шлюха.

На миг мне вспомнилось вчерашнее ощущение, чье-то жуткое присутствие, у меня мелькнула мысль, что со своей театральщиной, да плюс картина, которую я сейчас пишу, да еще ночь особенная, совсем без света, я, быть может, вызвал какого-нибудь духа или дьявола, но вообще-то все это чушь.

— Хорошо, прошло хорошо, вернее, даже очень...

Я знал, о чем она спрашивала, удалось ли мне достать столько, чтобы она смогла родить? По телевизору уточняли последние сведения о разрушениях, вызванных дождем. Перечисление напоминало какую-то нелепую литанию, особенно странным был обыденный тон диктора.

— В финансовом отношении мы в состоянии завести ребенка.

Я быстро прикинул, на сколько потянет добыча, результат намного превосходил мои самые смелые ожидания. Наличность, акции, драгоценности, тут было на что жить припеваючи долгие годы. Жить припеваючи и рисовать. Я почувствовал, как она расслабилась, она больше ни о чем не спросила, но мы оба знали, что это дело решенное.

Я немного поболтался по дому, а потом ушел, мне хотелось посмотреть на затопленные улицы, реакцию людей, любопытное зрелище — большой город, разом оказавшийся на грани хаоса и паралича, крупных наводнений не случалось с начала века, жаль было бы это пропустить.

На местности ситуация выглядела еще более впечатляюще, чем в новостях, нижняя часть Елисейских Полей затоплена полностью, фонари на площади Согласия выступали из воды едва наполовину, там и сям мелькали крыши автомобилей, сады за рестораном "Ледуайен" тоже ушли на дно, слившись с Сеной в одно зыбкое море, полное деревьев и тонущих статуй, чуть дальше музеи Пти-Пале и Гран-Пале, наперекор стихиям, исправно принимали посетителей, казалось, вода пощадила оба здания, а потом проспект уходил немного вверх, и паводок пока до него не добрался.

Предприимчивые владельцы плавсредств предлагали свои услуги тем, кто хотел попасть дальше, в пострадавшие кварталы, я еще раз заскочил ненадолго на выставку Дюрера, "Апокалипсис" висел на самом видном месте, и я решил совершить прогулку по реке. Я сел на небольшой "зодиак", владелец управлялся с ним как бог, и в мгновение ока мы уже мчались вдоль затопленных набережных. С острова Сите всех эвакуировали, и башни Консьержери торчали над мутными волнами, как крепость из папье-маше, забытая на пляже и застигнутая приливом.

Домой я вернулся встревоженный и задумчивый.

Ночью мне снилось, что Бессмертные, правящие миром, собрались на совещание и внимательно изучают сложившуюся ситуацию.

Через несколько недель система стала окончательно рассыпаться, мы вступили в период великих потрясений, будущее было неопределенным и зыбким.

За три дня до Нового года электросеть, каким-то чудом работавшая с тех пор, как был введен в действие план спасения, с того вечера, когда я обчистил стариков, наконец испустила дух, город мгновенно погрузился в непроглядную ночь, телевидение и вообще все средства коммуникации отрубились, а вода все прибывала, и мы вдруг с изумлением поняли, что оказались в водяной ловушке, что мы хрупки и беззащитны перед чередой катастроф и хватило двух месяцев непрерывного дождя, чтобы вся наша хваленая непобедимость враз испарилась.

— Что же нам теперь делать? — заволновалась Марианна.

Все кругом приуныли, ходили как в воду опущенные, пристукнутые обстоятельствами, такого никто не ожидал, еще вчера бегали в супермаркет, запастись провизией и всякими бытовыми товарами не составляло труда, а теперь нам вроде бы грозит вернуться в Средние века, если не хуже. И что же нам теперь делать? Этот вопрос возникал в каждом разговоре, что нам делать теперь, когда у нас ребенок или по крайней мере его наглядный симптом, огромный живот Марианны, счастливое событие неотвратимо приближалось.

Дождь все шел, и небо было такое черное, что день не сильно отличался от ночи. Слава богу, денег у нас хватало, я запасся изрядным количеством свечей, все-таки их слабый свет давал мне возможность рисовать.

Конечно, логичнее всего было бы попытаться бежать и найти себе убежище где-нибудь в другом месте, но пока телевизор еще работал, как раз перед аварией, нас успели по горло напичкать всякими жуткими картинами, там паводок, здесь оползень, безопасных мест явно не осталось нигде, ни у нас, ни за границей, и от этого наступал какой-то ступор, паралич, что делать, боже, что делать, спрашивала Марианна и была права.

Я решил подождать, подождать и посмотреть, что будет, у нас есть деньги, крыша над головой, вода до нашего квартала покуда не добралась, может, завтрашний день будет милосерднее сегодняшнего. К тому же мне очень не хотелось так быстро покидать грандиозное представление: Париж, оплакивая свои несчастья, уходил под воду.

Каждое утро я совершал прогулку на "зодиаке", хозяин встречал меня на площади Республики, туда я добирался пешком, и мы с ним отправлялись в затопленные кварталы, где хозяйничали водолазы и было пока сравнительно легко запастись провизией.

Временами зрелище всей этой красоты приводило меня в экстаз.

Волны доходили до второго этажа, а то и выше, люди по нескольку недель не могли выйти из дома, инвалиды, старики, больные, дети, наверняка всюду умирали, но, как ни странно, за все время, пока мы рыскали по новоявленному океану, мне пока не попалось ни одного трупа.

В конце концов владелец катера и я стали работать вместе, каждый день я осыпал его банкнотами, деньги, по счастью, еще ходили, я со страхом ждал момента, когда все обесценится, это неизбежно будет означать возврат к варварству и насилию.

Вода еще поднялась, площадь Шатле на три четверти затопило, над поверхностью виднелась только статуя посередине да крыши обоих театров, на одной из них кучка спасателей из Службы здравоохранения суетилась вокруг какой-то лежащей фигуры. С первых же дней, когда начались катастрофы, а за ними и полный раскардаш, службами спасения стали называть всякие комитеты, возникавшие под лозунгом гражданского сознания, вернее, того, что от него осталось, и стремления сохранить в целости хотя бы видимость нашего социального устройства. Жоэль, хозяин катера, причалил, и мы сошли посмотреть, что там случилось, спасатели в своих плащах и разноцветных сапогах больше походили на шайку бродяг, чем на санитаров.

— Положи его на бок, — говорил один спасатель, — ты же видишь, он сейчас отдаст концы.

Умирающий лежал с открытыми глазами, на нем был элегантный костюм, на ногах дорогие мокасины, а на штанине, внизу, сидела, сложив крылья, черная бабочка, мне это сразу бросилось в глаза, очень качест-

венная одежда и бабочка, тот, что говорил, бородач, прятал взгляд под надвинутым на лоб беретом.

– Вот черт, – отозвался Жоэль, – он подыхает.

И в тот самый миг, когда он это произнес, я увидел, или, вернее, почувствовал, как у парня рвутся жилы, сама его суть, его жизнь уходила из тела, покидала его, и в глазах у него наверняка застыла странная картина: центр Парижа, превратившийся в город на воде, и склонившиеся над ним самим полубандиты с повязками на рукаве.

Впервые в жизни я своими глазами видел, как умирает человек. Бабочка по-прежнему висела на отвороте брюк, подрагивая крылышками, чтобы не упасть, кто-то из спасателей сказал "готов" и нагнулся закрыть бедолаге глаза, а другой, обернувшись к нам и к катеру, спросил, какого рожна нам здесь надо и чего мы хотим. У мертвеца была на шее золотая цепочка с кулоном, на кулоне вывернутая свастика, не самый популярный в Европе символ. Бабочка внезапно пропала из поля моего зрения, хотя я был абсолютно уверен, что ни на секунду не спускал с нее глаз.

– Вам известно, что все плавсредства конфискуются?

Мне почудилось, что глаза мертвеца вновь открылись и смотрят на меня, но, безусловно, это был обман зрения.

– И кто ж их будет конфисковать? – Жоэль попятился. – Ваша воровская шайка?

Остальные спасатели тоже обернулись, у того, что в берете, была в руках рация, я тоже попятился, Жоэль уже прыгнул в катер, один из спасателей схватил его за пояс, и Жоэль мигом выхватил из пластикового пакета большой пистолет. Спокойно, сказал он, катер не трогать, лучше разойдемся по-хорошему. Это напоминало комиксы о жизни после атомной войны: пейзаж как на Диком Западе, и люди бьются насмерть из-за горючего или продуктов первой необходимости.

– Заводи, – заорал Жоэль, – заводи, живо!

И поскольку тот тоже делал вид, будто тянет из кобуры свою пушку, он выстрелил поверх голов этих типов, а я нажал на газ, и мы рванули вперед.

Когда я выворачивал на середину реки, тот, что в берете, орал что-то в свою рацию, а другой уже раздевал мертвеца.

– Банда говнюков, – подытожил Жоэль, – вся шушера из Национального фронта[1] сюда подалась, вор на воре.

Катер набрал скорость, мы мчались прямо посередине того, что раньше было рекой, а теперь разливалось повсюду. Может, мы в конце концов вообще уйдем на дно, как Атлантида, затерянный континент, мало-помалу погружавшийся в волны. Над нашей головой с адским грохотом пронеслись самолеты, они иногда облетали город, хотя никто толком не знал, откуда они взялись и кто ими командует, это значило, что, несмотря ни на что, где-то еще сохранилась некая организация или действующая власть.

Самолеты описали полукруг, выполняя изящную мертвую петлю, и мы снова ощутили жаркое дыхание реакторов.

Крыша Трокадеро напоминала белую плоскую скалу, возносящуюся над темной кашей, я посоветовал держать курс на Эйфелеву башню.

– О боже, – я почти закричал, – о боже, это ужасно.

Открывшийся перед нами кошмар был более чем грандиозным, невероятным, в одной из опор башни в металлических конструкциях заст-

1. Националистическая партия Ж.-М. Ле Пена.

ряли десятки трупов на всех стадиях разложения, некоторые уже расклевали до костей вороны, и пустые глазницы тупо пялились на нас, словно сгусток страха, выброшенный на поверхность волн. Совсем недавно на этом месте каждый день толпились тысячи туристов. Я попросил Жоэля проплыть мимо башни еще раз, это фантастическая картина, объяснил я, грандиозный сюжет – "Утопленники Эйфелевой башни", я точно сделаю из этого потрясающее полотно.

Он не проявил особого волнения, со временем, хоть я ему и платил, мы почти сдружились, во всяком случае, он рассказывал мне про свою жизнь, чем перебивался прежде и чего думает добиваться теперь. Я так подозреваю, ему было глубоко наплевать, что при виде нескольких мертвяков, распятых на Эйфелевой башне из-за разлива Сены, я испытываю трепет вдохновения.

Вся сцена – оскал покойников, гниющая кожа, рябь на воде, трупы покачивались на волнах и словно оживали – все это мгновенно отпечаталось в моем сознании, боже, повторил я, когда Жоэль остановил "зодиак" перед этим шедевром, боже мой, с ума сойти!

От лодки расходились усы, и впечатление, что тела двигаются, еще усилилось, блин, сказал Жоэль, это уж слишком, они нам как руку протягивают, я смотрел, словно завороженный, на какую-то долю секунды вместо гниющих голов всплыли знакомые лица, лица родителей, сестры, знакомых, потом Жоэль толкнул меня со словами: самолеты, самолеты возвращаются, завел мотор и устремился под конструкции башни, вокруг стоял треск, летчики палили в нас из пулеметов, война, заорал Жоэль, это война, они хотят нас убить, и когда оба истребителя снова входили в пике, нацеливаясь на живую мишень, вода вдруг закипела, в воздухе разлилось кошмарное зловоние, воняло смертью и плесенью, и из черных пузырей возник чудовищный силуэт, Лох-Несское чудище прямо посреди Парижа, настолько омерзительное, что никакими словами не передать, несколькими щупальцами оно уцепилось за башню, а другими прихлопнуло первый "Мираж", словно птичку или насекомое, самолет плюхнулся на брюхо в ста метрах от нас, его напарник стал как ненормальный палить по зверюге, мы воспользовались этим и пустились наутек, онемев от ужаса, у меня стучали зубы, до самой площади Республики мы не перекинулись ни словом, потрясение было слишком сильным, мы видели Левиафана, чудовище, восставшее из бездн, и это лишний раз подтверждало страшное подозрение, преследовавшее всех с тех пор, как начался весь этот маразм, что просто-напросто наступает конец света.

По главным улицам ползли редкие машины, увешанные самодельными щитами, население призывали вступать в ряды спасателей.

Я вернулся к себе больной от отчаяния и совершенно очумелый.

– Что происходит? – спросил я, подходя к дому. – На нас напали?

Жильцы высыпали на улицу, Марианна впереди всех, они возбужденно вопили и махали руками. Многие соседние кварталы были разграблены, некоторые дома откупались от вымогателей, но до сих пор эта беда обходила нас стороной, наш дом стоял на боковой улочке.

– Месье Виктор вернулся, – сообщила Марианна замогильным голосом, – мы все его видели, я с ним даже разговаривала.

Месье Виктор был нашим соседом, он недавно умер, Марианна ходила на похороны.

– Месье Виктор, сосед?

Они закричали все разом, да, месье Виктор, явился средь бела дня, после полудня, одетый в пуховик, с него текли струи дождя, он спросил свою почту. Месье Виктор умер как раз перед тем, как все началось, еще одна тайна, раскрыть которую мы вряд ли сможем.

— Я тебе клянусь, — Марианна чуть не плакала, — я уверена, что это был он!

Я стал подниматься наверх, на седьмой этаж, позвав Марианну, то, что месье Виктор воскрес, было ничем не хуже всего остального — утопленников Эйфелевой башни, стреляющих самолетов или Левиафана. Я уже собирался ей это сказать, ну да, а вот я, представляешь, видел Левиафана, точно как в Библии, он чуть нас не ухватил своими огромными мерзкими щупальцами, но промолчал, прочие жильцы столпились у почтовых ящиков и продолжали голосить, скорее всего, ей было не до шуток. Пойдем, повторил я, поднимайся, обдумаем все наверху, на спокойную голову.

Но едва мы вошли в квартиру, с ней случилась настоящая истерика, она истошно вопила, что больше не может, ей страшно, что с нами будет, да еще ребенок, как мы могли принять это идиотское решение, стоял такой жуткий крик, что соседи небось подумали, будто я ее избиваю или душу, наконец мне удалось ее успокоить и уложить в постель, я-то что мог поделать, по-моему, при теперешних обстоятельствах мы совсем неплохо выкручивались, кругом люди умирали с голоду, нам это не грозило, еда у нас была, и не абы какая, один водолаз доставал мне лучшие блюда из "Эдьяра" и из "Бон-Марше", честно говоря, нам было грех жаловаться.

Конечно, вся эта история с возвращением соседа вполне могла вывести из равновесия, нечто подобное было и со мной в ту ночь, когда я ехал к старикам и мне привиделась девушка, которая точно умерла.

Пламя свечей отбрасывало на стены призрачные тени, усиливая смятение, ситуация была неясная, я попытался отключиться от стонов, доносившихся из комнаты Марианны, и все обдумать, но безуспешно, катаклизмы и всякие диковины, казалось, следовали друг за другом с такой скоростью, что я не видел иного выхода, кроме как переживать их по мере поступления. Всхлипывания Марианны вскоре умолкли, в доме снова стало тихо, и я наконец смог сесть за мольберт.

Мне тоже было страшно, но слезами горю не поможешь, это я знал по опыту.

Я дописал небольшое полотно, которое никак не мог кончить, хотя бился над ним уже довольно долго, "Бессмертные созерцают мир", и добавил к картине стихи из "Дон Жуана", сотворенного Александром Дюма, для меня они звучали предвестьем "Утопленников Эйфелевой башни":

Восстаньте, довольно вы спали,
Все, чью жизнь оборвали
Предательский нож или яд.

Но оставьте свои пелены
Во мраке гробниц пустых
И покройте бледные члены
Одеяниями живых.

Когда я ложился спать, Марианна видела десятый сон, я задул свечи и прижался к ней, ее живот был похож на большой нарост, я почувствовал, как там что-то шевелится, наверно ребенок.

Заготовленные для спектакля маски, Двуликий Шут и Король Корморан, казалось, следят за нами со стула.

Когда я проснулся, стрелки настенных часов — мы продолжали их старательно заводить, чтобы не потерять счет времени, — показывали, что день уже в разгаре, было почти двенадцать, а за дверью звучал голос, от которого я похолодел, юный, мелодичный, чуть слащавый голос напевал ЗАВТРА БУДЕТ ТЕМНО, ЗАВТРА БУДЕТ СОВСЕМ ТЕМНО, и я подумал, черт, она спятила, слетела с катушек, но милую эту считалочку мурлыкала в столовой вовсе не Марианна в приступе безумия, а пластинка, виниловый диск, видимо поцарапанный, повторяя одну и ту же фразу, ЗАВТРА БУДЕТ ТЕМНО, ЗАВТРА БУДЕТ СОВСЕМ ТЕМНО, Марианна только смотрела, как он крутится, смотрела не отрываясь, точно зачарованная, ЗАВТРА БУДЕТ ТЕМНО, ЗАВТРА БУДЕТ СОВСЕМ ТЕМНО, действительно, судя по тому, что было за окном, рассвета, похоже, не ожидалось.

— Там что, — крикнул я, — свет дали?

Она не ответила, лишь показала пальцем на вилку проигрывателя, выдернутую из розетки и свисающую на пол, пластинка продолжала вертеться без всякого электричества, и колонки усиливали звук зловещей песенки, как если бы все работало нормально.

Я почувствовал, что меня бьет озноб, по телу бежали ледяные мурашки, ЗАВТРА БУДЕТ ТЕМНО, ЗАВТРА БУДЕТ СОВСЕМ ТЕМНО, я бы уже не удивился, если бы эта штуковина захохотала, однако я нашел в себе силы оторвать Марианну, все еще сидевшую на корточках, от этого колдовства, отвести ее в сторону и произнести ровным голосом, устанавливая звукосниматель на рычаг, ну что за сволочь, и ведь уже не первый раз, наверно, накапливается статическое электричество, вещдок вернулся в конверт, "Встаньте, дети, в хоровод", даже не помню, чтобы у нас такое водилось, а потом я пошел сварить себе кофе на газовой плитке и все балагурил, а ты думала, там оборотень сидит себе и поет, ха-ха? ну уж нашла чему удивляться, но все мои шуточки падали в пустоту, остаток дня она была в отключке, ходила с отсутствующим видом, вся во власти призраков, признаться, ее безмолвное присутствие за спиной несколько выводило из равновесия и мешало заниматься делом.

Ближе к вечеру она наконец соблаговолила раскрыть рот и сообщила, что собирается в церковь Бельвиля, на собрание Невинных, желательно, чтобы я ее проводил, Невинные — это такая братская община христиан, они хотят предотвратить несчастья и ужасы, ожидающие нас в эти смутные времена, все соседи туда ходят, и Марианну уже сколько раз уговаривали. Значит, их болтовня наконец подействовала.

Я неопределенно кивнул, пробормотав, может быть, там посмотрим, и тут же получил по полной программе за свою бесчувственность и холодность, мне припомнили и тот раз, когда я шлепнул газетой какую-то даму, она замешкалась в очереди за хлебом, а как я отношусь к ее беременности или к нынешним бедствиям, они ведь волнуют всех, кроме меня, во всяком случае меня в последнюю очередь, это даже соседи заметили, собрание Невинных — это, быть может, наш последний шанс примириться с Богом, молить его защитить нас.

— А с каких пор ты веришь в Бога? — спросил я, вдруг заинтересовавшись. — С тех пор как все плохо или тебя раньше осенило, а ты и не заметила?

Но она и тут решила, что я издеваюсь, и спор оборвался. Ближе к восьми она начала собираться, и я отложил кисть, чтобы пойти с ней.

Соседи ждали нас на нижней площадке, а потом мы, кучка унылых теней, практически не обменявшись и парой слов, влились в другую, более полноводную процессию, струившуюся по улице Пиренеев, люди несли зажженные свечи, защищая их зонтиками, на ногах у них были резиновые сапоги, они бормотали "Богородицу" и всякие отченаши, занятная картина, даже не лишенная поэзии, нелепой и слегка устаревшей, трогательной в своей наивности и бесхитростности, я живо представил себе, как липкая лапа Левиафана сметает всю эту массу святош в дождевиках, вокруг крики, чудище всасывает ртом детей, а я, беспомощный, стою в стороне и наблюдаю эту бойню. Марианна надела темно-синее платье, замечательно облегавшее ее выпирающий живот, ее волосы намокли от дождя, челка растрепалась, она была восхитительна.

Наш достойный конвой вступил в церковь, тихо, без шума, чинно складывая зонтики. У паперти под дешевыми тентами добровольцы раздавали суп, и все до единого задерживались там, с наслаждением уписывая какое-то варево, меня поразила худоба супружеской пары впереди, руки дамы вцепились в котелок, как умирающий цепляется за последний вздох, и тут я понял, что они подыхают с голоду, вы не берете, спросила дама, вы не хотите получить свою Усладу, значит, вот как они окрестили паек, Услада, какое несчастье, подумал я, какое несчастье, потом ответил, нет, спасибо, вы очень любезны, я сыт, она была так ошарашена, что потеряла дар речи. Церковь была набита битком, рядом со мной стояли хромоножка и горбун, а поодаль, вокруг алтаря, довершая средневековый колорит сцены, выстроились монахи в капюшонах.

— А что дальше? — спросил я Марианну. — Будет служба, нужно молиться?

Она бросила на меня уничтожающий взгляд, да, и впрямь уничтожающий, как будто я ее достал, только я собрался ее отбрить, напомнить, что она почему-то не строит такую кислую мину, когда я каждый день добываю ей консервы из шикарного бакалейного магазина, как тут на балкончике появился священник, и церемония началась.

— Невинны мужи и жены Господни, невинны дети, чистые и непорочные, слуги Господа нашего...

Толпа вторила ему, без горлопанства, скорее мирно, верней, скорее даже печально, словно перепуганные овцы, подавленные грозными событиями, сбитые с толку внезапным поворотом судьбы и молящие мясника хоть немножко принять во внимание их непорочно чистую шкуру, не надо пачкать ее этой красной, липкой кровью, ну пожалуйста, не надо. Марианна бормотала со всеми вместе, я бесцельно разглядывал стены нефа, на них был изображен во всех подробностях крестный путь, оставалось лишь выяснить, ждет нас спасение в конце пути или нет.

— Ты сказал: "Будет много званых, но мало избранных"[1].

У меня было неприятное ощущение, что здесь кто-то есть, что сверху кто-то враждебный следит за нами.

— Ты сказал: "Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное"[2].

1. Лк. 14:24.
2. Мф. 5:3.

По обе стороны свода, за колоннами, затаились два громадных черных суккуба, сложенные на спине крылья придавали им сходство со зловещими птеродактилями, они взирали на нас почти равнодушно. Их отливавшие желтизной глаза блестели в темноте, словно "драгоценные камни из древней сокровищницы, запятнанные и запачканные веками убийств, варварских жертвоприношений и низости", во всяком случае именно этот более или менее стертый образ мелькнул у меня в голове.

— Пошли, — шепнул я Марианне, не разжимая губ, — мотаем отсюда, сейчас же.

Проповедник воздел руку, показал ее нам в бледном свете факелов, и его голос приобрел жутко мелодраматическое выражение, такое бывает у солиста перед последним актом.

— Линяем, — повторил я, — гляди, какая страсть наверху.

С тем же успехом я мог обращаться к стенке. С одной стороны, мне не хотелось ее бросать, черт знает, что это еще за нечисть, с другой — не было больше сил терпеть этот базар, когда стервятники наверху вот-вот нас всех ухлопают.

Я разрывался надвое.

— Пожалуй, я сматываюсь, — шепнул я ей на ухо, — я уже сыт по горло.

Тем более что я ожидал увидеть массовую истерику, людей, катающихся по земле, молящих, взывающих, молотящих ногами, изливающих в крике свой страх и ужас, а вовсе не это сборище квелых затравленных телков. Я незаметно взглянул на потолок, обе фигуры были на месте. Ибо мы Невинны! — взвыл священник. В его руке вдруг оказался нож. Мы Невинны, но мы вручаем тебе свою кровь. Два ассистента по бокам повторяли каждое его движение. Мы Невинны, но мы вручаем тебе свою кровь, подхватила толпа. Рука с ножом приблизилась к другой руке, лезвие оставило на коже красную полосу. Невинный вручает тебе свою кровь, рыдал священник, я вручаю тебе свою кровь, люди в церкви выхватывали кто кинжал, кто кухонный нож, кто бритву и с воодушевлением полосовали себе ладони.

На какой-то миг я пожалел, что не внял совету Жоэля и не обзавелся оружием. Я вручаю тебе свою кровь, простонала Марианна, кровь Невинной! Ассистенты раскинули руки, изображая распятие, священник по-прежнему хныкал, заклинаю тебя, спаси нас, спаси своих детей, картина получалась уже довольно сильная, а потом вдруг пошла полная фантастика, твари взмахнули крыльями, раздалось о-о-о-ооооооо, словно волна прокатилась по толпе, и обе хари, обе жадные, тощие гадины впились в открытые раны ассистентов, их мерзкие клювы припали к ранам и сосали, лакали стекающие капли, я схватил Марианну за руку, довольно грубо, чтобы она не вздумала вырываться, и поволок к выходу.

Покайтесь! покайтесь! Я толкнул двери церкви, ибо спасутся лишь Невинные! Что это было? — слабым голосом спросила Марианна, птицы? Я снова открыл большой зонт, на улицах было пустынно, темно и тихо, наверняка примерно так и было в прошлом, еще до электричества, машин и прочего промышленного и потребительского сумасшествия. Мы добрались домой без происшествий, молодая пара, беременная жена и заботливый муж, все соседи были на религиозном рауте, я поднялся наверх, чтобы ей не было страшно, а потом мне надо было сходить повидать Жоэля, договориться о нашей с ним завтрашней экспедиции.

— Нет, — подытожил я, целуя Марианну, — это были не птицы.

Нет, это были не птицы. И с этими жуткими словами я ушел, в ее глазах стоял тоскливый страх, вручаю тебе свою кровь, не знаю почему, но мне опять вспомнился священник, то ли его интонации, то ли лысина, то ли комичный тон, и все для того, чтобы потом тебя пожрали какие-то кошмарные твари, меня разбирал смех. Марианна заметила это и, судя по обиженной, почти ненавидящей физиономии, разозлилась.

Временами она действовала мне на нервы, все-таки наступал конец света или что-то вроде, во всяком случае смутные времена, нечего лишний раз наводить тоску.

Жоэль сказал, что его можно найти в "Яве", кафе на улице Фобур-дю-Тампль, я взял в блоке мусорных контейнеров соседский велосипед и поехал вниз по пустой улице, разбрызгивая потоки дождя, в Бельвиле, на пересечении с бульваром, спасатели закричали мне: стой, стой, стрелять буду, но я промчался мимо, в "Президенте", большом китайском ресторане, горел свет, комендантский час соблюдали явно не все. Перед проулком, ведущим к дискотеке, кто-то сказал мне: стоп, здесь проезда нет, частное владение, пришлось полчаса объясняться, зачем меня принесло и с кем у меня встреча, да, Жоэль, у которого катер, наконец он появился, и меня пропустили. У вышибалы висел на плече автомат, рядом лежало ружье.

— Черт, — бросил я Жоэлю, — у вас тут не забалуешь.

Внутри "Ява" сияла лазерами, светомузыкой и переливающимися шарами, из динамиков неслась адская мелодия, на площадке дрыгались танцующие.

— Ни фига себе, — опять сказал я, совершенно обалдев, — у вас есть электричество?

Мы продрались сквозь толпу, это свой, сказал Жоэль каким-то здоровякам, облокотившимся на стойку, я за него отвечаю, девицы на столе трясли голыми грудями.

— У нас тут киношный генератор, с него и питаемся.

Я уселся на высокий табурет, нужно было продать часть стариковских драгоценностей, и Жоэль предложил свести меня с возможными клиентами.

— Хотите нуги? — предложила девушка рядом.

На серебряном блюде высились груды сластей из Монтелимара[1], Жоэль взял кусок, я тоже, люди пили, веселились, кое-кто забивал косячок или готовил себе дозу. Гляди, Жоэль толкнул меня локтем, вон ведущий. В глубине зала, на эстраде, открылся занавес, кто-то убавил свет, в рамке, как две капли воды напоминавшей телевизор, показалось знакомое лицо, это лицо все видели сотни раз, месье Альбер, король прогноза погоды в вечерних новостях.

— Погоду! — взвыла толпа. — Погоду!

Месье Альбер изобразил легкое танцевальное па, осветитель замигал лазерами, погоду, кричал рядом Жоэль, погоду!

— *Пам-палам-памм-памм-пам-лапам-пам-палам-памм-пам-добрый-вечер-дамы-и-господа.*

Зал взорвался.

— *Сегодня облачно, без прояснений, сильные атмосферные вихри и антициклон говорят о том, что завтра также ожидаются небольшие осадки – пам-па-*

1. Монтелимар — город на юге Франции, где находятся знаменитые фабрики по изготовлению нуги.

лам-пам-пам-палам-пам – дамы и господа, сегодня идет дождь, и завтра тоже будет дождь.

Шквал аплодисментов и истерического смеха встретил его слова, ведущий нацепил остроконечную шапочку и во все горло орал народную песенку: под дождиком пастушка овец гнала домой, под дождиком пастушка, подхватила толпа, меня пронзила какая-то странная грусть, все ясно, влипли по уши, "Титаник" идет ко дну, а мы поем, весело и бездумно, и эта мысль отдавалась в голове еще более страшным эхом, чем воспоминание о чудищах в церкви или кошмары у Эйфелевой башни.

Я получил все, что хотел, с каких-то темных личностей, приятелей Жоэля, сел на свой велосипед, на перекрестке у Бельвиля спасатели опять заорали стой, но с тем же успехом, что и по дороге туда.

Марианна не спала, и остаток ночи прошел в бесконечных спорах и размышлениях, нам не давал покоя все тот же бессмысленный вопрос, что нам делать и как мы будем жить завтра.

Ей было страшно, мне, к несчастью, тоже, ничего тут не поделаешь.

Так продолжалось и в последующие дни, выхода не предвиделось, пришла весна, а дождь все лил, многие не выдерживали, выживать становилось все труднее, я целыми днями мотался по странному болоту, в которое превратился Париж, в надежде добыть для подружки хоть немного еды, она должна была вот-вот родить.

Несмотря ни на что, я продолжал писать картину за картиной – уходящий под воду, охваченный безумием город.

По части таинственных явлений наблюдалось затишье, на данный момент нас окружала лишь сырость, нищета и голод, единственный раз мне встретилось что-то не совсем обычное, большой олень в Бютт-Шомон[1], с рогами в форме креста, похоже, золотыми, он излучал ослепительное, почти невыносимое сияние, словно вобрал в себя весь солнечный свет, тогда как мы месяцами не видели ничего, кроме серых облаков и ночного мрака, память о солнце и лете превратилась в жестокий мираж, одно упоминание о них переполняло меня горечью и болью. Я по-прежнему виделся с Жоэлем, в основном в связи с нашими общими делами, но и ради развлечения тоже, меня угнетало отсутствие музыки, а в "Яве" играли нон-стоп, там круглые сутки была фиеста, море алкоголя и наркотиков, да и то сказать, все припасы со складов, раскуроченных водолазами, рано или поздно оседали здесь, на улице Фобур-дю-Тампль, их скупали тузы, а потребляли мы, клиенты, поджидая запоздалую зарю, со временем я стал завсегдатаем заведения.

Конечно, это как-то подбадривало, приятно сознавать, что все, чем мы жили прежде, – жажда удовольствий, беззаботность, ненасытное, легкомысленное отношение к бытию – еще сохранялось в свете прожекторов и разноцветных неоновых ламп дискотеки, среди нуги из Монтелимара и засахаренных фруктов из Перигора, смотря что в последний раз выловили аквалангисты, гашишного дыма и привычной ругани жуликов, которым были по фигу слухи об Армагеддоне и зловещий треск, временами доносившийся из внешнего мира, да, это подбадривало, успокаивало, и в то же время все знали, что это лишь притворство и суета, последняя блажь перед погружением в бездну. Месье Альбер умер от передозировки, и теперь вместо него шел более традиционный номер со стриптизершами, что имело свои преимущества, после представ-

1. Парк в северо-восточной части Парижа.

ления девушек разрешалось трахать, с метеорологом бы такое, конечно, не прошло.

Несмотря ни на что, я все еще уделял много времени живописи, в свете всей этой трагедии самые заурядные подробности, казалось, повернулись своей величественной, непривычной стороной, у меня не было холста, и я стал использовать самые разные материалы, лакированные паркетины, натянутые тряпки, старые матрасы, на них я пытался передать, как прекрасен мир накануне рокового взрыва, великого потопа.

В первых числах апреля, когда Марианна вот-вот должна была родить, — она почти не вставала с кровати и не казала носу на улицу с самого нашего похода к Невинным, — вдруг пошел снег. Непрекращающийся дождь сперва превратился в нечто вроде вязкого гудрона, а потом, поскольку температура еще понизилась, в снег, до сих пор зимняя стужа нас миновала, было сыро, но сравнительно тепло, и вдруг остатки города сковал мороз, желоба и сточные канавы замерзли, не прошло и недели, как три четверти стариков в нашем доме отдали богу душу, этот обманный маневр их подкосил, даже река и затопленные районы стали покрываться льдом, я не упустил случая и мигом занял освободившиеся помещения, если дождливый пейзаж пробуждал какую-то поэтическую грусть, то снежная белизна превосходила самое смелое воображение.

Из квартиры одного из умерших соседей открывался великолепный вид на непорочно-белые просторы и крыши, и я перенес туда свою мастерскую.

— Снег, — голосили редкие прохожие, рискнувшие выйти из дома, — Боже, спаси нас и сохрани, отврати от нас твой гнев!

Работа водолазов застопорилась, морозы стояли не хуже, чем на Северном полюсе, есть больше было нечего, грабить нечего, запасов не осталось, электричества не было, топлива тоже. Деревья в Бютт-Шомон срубили и сожгли для обогрева, дрова были зеленые и сырые, они только дымили. У нас в квартире, конечно, тоже было холодно и голодно, но в общем чуть меньше, чем у прочих парижан, за время наших странствий с Жоэлем и людьми из "Явы" я накопил довольно весомый припас и мог переждать, у меня были заначены газовые баллоны, множество консервов и все необходимые медикаменты на тот случай, если начнутся роды. Думай о младенце Иисусе, сказал я Марианне, у него всего этого не было, у него была только охапка соломы да пара животных, а кем он потом стал? Она даже не улыбнулась, иногда наши отношения становились несколько натянутыми.

В довершение всего мой сын родился второго апреля, сразу после первого, что было бы не самой удачной шуткой, и наутро, когда мы все, врач, одна оставшаяся соседка и я, пребывали в экстазе по случаю благополучного завершения этой дурацкой авантюры — рожать накануне окончательного развала планеты, — с улицы донеслись крики, крики облегчения и радости: снегопад кончился, снегопад кончился, скоро опять засветит солнце!

— В чем дело? — поинтересовалась Марианна. — Опять какая-нибудь катастрофа?

Я распахнул ставни, и комнату осветил солнечный луч, небо еще не расчистилось, отнюдь, но за серой массой облаков явственно ощущался свет.

— Скоро засветит солнце, — сказал я, — и снег перестал.

Марианна расплакалась, соседка тоже, младенец в колыбели открыл глаза, сегодня особенный день, заметил врач, быть может, это начало возрождения. А мне пришло в голову, что если потеплеет, то лед растает и можно будет снова нырять за провизией, хоть я и проявил предусмотрительность, но рано или поздно моим припасам придет конец.

И в самом деле, в последующие дни вода стала спадать, обнажив улицы вокруг площади Республики, квартал Тампль, Большие Бульвары, площадь Оперы и часть Марэ. Снег еще лежал, необъятные, сверкающие ледяные просторы, испускавшие странное сияние, от которого болели глаза, и чувство недоверчивой радости, нараставшее по мере того, как жидкое месиво словно всасывала какая-то волшебная помпа, орудие спасения, которого никто уже не ждал, когда на поверхности жижи проступило ограждение Нового моста, люди стали выходить на улицы, разговаривать, благодарить небо, они толпами сбегались к Сене, били себя в грудь, им все еще не верилось, но изо всех сил хотелось поверить, что кошмар попросту взял да и кончился.

Настал рассвет третьего дня, ночи практически не было, и в серебристых сумерках, омывавших силуэты воскресших кварталов, было что-то завораживающее.

Мы, сотни людей, стояли перед Консьержери, глядя на реку, потихоньку возвращавшуюся в свое русло, еще скованную толстым слоем снега и льда, на нем сидели громадные, больше страусов, птицы, отдаленно напоминавшие помесь розового фламинго с орлом или стервятником, синие, такой синий цвет бывает только в научной фантастике, с острыми клювами, время от времени они прыгали или, взлетев, описывали круг, сцена была изумительно, ошеломительно прекрасна, впрочем, это, наверное, ощущали все, кто пришел сюда и, утратив дар речи, затаив дыхание, не спускал глаз со странных пернатых существ и средневековых очертаний острова Сите, проступавших на заднем плане, Создатель, ввергнув нас в хаос, по крайней мере озаботился тем, чтобы произвести впечатление.

— Это Феникс, Феникс, возрождающийся из пепла, — воскликнул паренек, с виду похожий на студента-гуманитария, — это знак, что все образуется!

Птицы взмыли в воздух, они парили над нашими головами, величавые и гордые, синий — цвет надежды, проговорил кто-то, парень прав, все образуется, и в довершение картины откуда-то возник священник Невинных, он стоял на доске, которую несли четверо верующих без кровинки в лице, руки его превратились в багровое месиво, капли крови окрасили снег под ногами, мы отдали тебе свою кровь, и ты услышал нас, и ты услышал нас, вторили адепты-носильщики, ты нас услышал. Я подумал, а вдруг эти Фениксы — лишь привлекательный вариант крылатых монстров в церкви, оборотная сторона той же реальности, с такими же кошмарными последствиями, но менее жуткая с виду?..

Как бы то ни было, после явления волшебных птиц с таким чудесным оперением все до единого решили, что бедствиям конец, лед таял, уровень воды понижался, причем даже быстрее, чем нужно, ибо вскоре показались набережные, проступили берега Сены, а с ними и груды скопившегося мусора, остовы машин, балки, всякий хлам, а главное, трупы, с тех пор как опять потеплело и дождь прекратился, они попадались везде, мертвецы, сотни, тысячи мертвецов, кто не смог выбраться из квартиры, кто утонул, умер от голода, от болезни, от тоски и страха, полу-

сгнившие, в свисающих клочьях плоти, некоторые уже превратились в скелеты, выбеленные течением и ненастьем, сцепившиеся, перекрученные, их слепые глазницы взирали на нас иронически, по крайней мере так казалось нам с Жоэлем, еще осталась горстка магазинов, куда не добрались водолазы, и мы каждый день давились в толпе, грабили, вернее, отбивали свое, приходилось постоянно бороться, а теперь к конкуренции добавился еще и ужасающий смрад мертвечины.

Несмотря на мрачный пейзаж, выживших оказалось немало, все ликовали, славили великодушную судьбу, праздновали благополучное окончание многомесячного апокалипсиса, скоро он станет лишь воспоминанием, жутким, конечно, но все-таки воспоминанием, в сущности, не хуже, чем обе мировые войны или концлагеря, на улицах, словно вспыхнувший порох, заполыхал грандиозный праздник, такой радости, наверно, не бывало даже в дни Освобождения, мы словно вернулись с того света и обнаружили, что да, да, мы еще погудим, погуляем, поваляемся на солнышке, правда, солнца по-настоящему так и не было (над нами по-прежнему словно висел липкий колпак, сочившийся тусклым светом, от него уставали глаза и к концу дня начиналась тупая головная боль, которую ничем нельзя было снять), но уже стало ясно, что это лишь вопрос времени и терпения, скоро жизнь пойдет своим чередом и мы вернемся к своим делам, занимавшим нас с тех пор, как стоит мир, к своим человеческим делам.

Разгул царил немыслимый, несмотря на голод — впрочем, весьма относительный, поскольку после того, как спала вода, обнаружились новые запасы еды, — траур и печаль. Все потеряли за время бедствий кого-то из близких, любимых людей, всем хотелось забыться, несколько дней сумасбродства, что может быть лучше, совершенно незнакомые люди вместе пели, плясали, горланили народные песенки, невесть откуда возникало спиртное, да и наркотики, все курили, нюхали, женщины отдавались как в последний раз, мы живы, мы живы, а чудища рассеялись как дым. У Шатле и на площади Бастилии была такая давка, что я своими глазами видел, как размазали по стенке паралитичную девочку, ее ноги были закованы в жуткие, как в фильме ужасов, механизмы, она упала в толчее, мать рыдала над ней, покуда ее саму не затоптала плотная, колышущаяся, заполонившая улицу толпа. Мы живы, живы, после дождика будет солнышко. И такое пронзительное чувство общности исходило от этого исступления, что становилось больно, мужчины и женщины слились наконец в едином порыве радости и веселья.

На второй день ликования, ближе к полудню, в самый разгар гулянки, вдруг появились члены правительства, похоже, в самые черные дни кризиса укрывавшиеся на холме Мон-Валерьен, подпоясанные нелепыми трехцветными шарфами, наверняка это должно было символизировать какую-то неведомую идею города, или нации, или власти. Они обратились к населению, всеми силами старались ободрить людей, скоро заработают службы жизнеобеспечения, у вас будет все, чего народ вправе ждать от Государства, достойного носить это имя, мы снова дадим электричество, воду, телевидение, почему бы нет, мы здесь, мы с вами, мы рассчитываем на ваше содействие, на участие каждого из вас, общими усилиями мы отстроим все, что уничтожено и повреждено наводнением и прочими стихийными бедствиями.

Через минуту толпа забросала их камнями. Все ориентиры исчезли, будущее тонуло в тумане, Сена, словно отыгрываясь за предыдущие ме-

сяцы, собиралась, похоже, пересохнуть совсем. Нашего сына мы назвали Флавием, в честь римского императора[1], и Марианна постепенно оправлялась после родов. Окружающие, казалось, были преисполнены оптимизма, разделить который мне не удавалось при всем своем желании.

Прошло почти три недели с тех пор, как прекратился снег и настала новая жизнь, атмосфера была близка к всеобщему помешательству, кое-кто попытался уехать из города, и тут вдруг оказалось, что все стратегические пункты заняты юнцами из пригородов, пробиться через их заграждения было невозможно, мужчин они убивали и грабили, женщин насиловали, детей забирали в рабство, по крайней мере такие ходили слухи, приводились поучительные подробности, несчастных женщин пластали как сучек, целыми ордами, их спутников избивали и подвергали издевательствам, а здесь царил настоящий психоз, великое празднество, раут завершился у Эйфелевой башни, ликующий народ, опьяненный победой над правительством в трехцветных шарфах, сбежался поглазеть на издыхающее чудовище, того самого Левиафана, которого мы с Жоэлем видели в одну из первых наших ездок; река пересохла, и он валялся на дне, гигантский, раскинувший щупальца кошмар, порождение какой-то мифологической преисподней, откуда могла взяться такая зверюга — полная загадка, в общем, мы все стояли как дураки и глядели на громадное, склизкое, слабо шевелящееся тело, я исчеркал набросками весь блокнот, и вдруг по студенистой массе прошло движение, щупальца, взметнувшись со скоростью света, ухватили целый букет зевак, и что самое страшное, те, до кого он дотронулся, казалось, исчезли, вернее, расплавились, обуглились, невероятная, зловещая энергия будто поразила их током, миг — и от них не осталось следа, тела улетучились в небытие, бедняги едва успели вскрикнуть, я инстинктивно бросился назад, жуткий зверь проглотил еще несколько рядов, а потом затрясся, мерзкий студень из прозрачного стал красным, а в следующий момент все исчезло, ни Левиафана, ни зевак, нас осталось несколько десятков, мы задыхались — и оттого, что уцелели, и оттого, что на наших глазах совершилось очередное колдовство, чудовище истребило тысячи нам подобных.

Вернувшись домой, я застал Марианну в слезах, у младенца случились судороги, он отказывался брать грудь, у меня мелькнула мысль пустить им пулю в голову, в упор, во-первых, чтобы меня оставили в покое, а во-вторых, чтобы избавить их от будущих страданий, нас ожидали черные дни, я это чувствовал, признаться, намерение было довольно странное, вовсе не это полагалось думать и чувствовать в подобных обстоятельствах, в общем, я сделал над собой усилие, взял Флавия на руки и стал его укачивать, идти за врачом не имело смысла, чудо еще, что он подвернулся во время родов, я напевал какую-то чушь, массируя ему плечи и шею, баю-бай, баю-баюшки-баю, и мой отпрыск в самом деле заснул, предварительно насосавшись своей мамаши, так что та успокоилась и убедилась, что он не в коме и анорексии у него тоже нет.

В ту ночь мне снилась окружная магистраль, я ехал довольно быстро, машин было много, их становилось все больше и больше, жидкокри-

1. Т. е. Веспасиана. Тит Флавий Веспасиан (9—79) — основатель династии Флавиев, восстановивший порядок и благоденствие в Римской империи после гражданских войн и пользовавшийся любовью народа, который считал его отмеченным особым расположением богов.

сталлические дисплеи безоговорочно утверждали, что заторов нет, заторов нет, а впереди была явная пробка, моя машина врезалась в другие, словно громадный кусок мягкой резины — мягкой резины, отчетливо напоминающей чудовище, Левиафана, я проснулся, и на меня навалилась огромная тоска и печаль, окружной больше нет, дисплеи не работают.

— Ты любишь меня? — спросила наутро Марианна. — Скажи, ты меня любишь?

Господи, как можно тратить время на подобные глупости, когда вокруг такое творится.

— Не знаю, — сказал я, я еще не отошел от ночного кошмара и исчезнувшей окружной, — похоже, что да, но обстоятельства не слишком располагают.

Она опять разревелась, ребенок проснулся и завизжал, я счел за лучшее спуститься этажом ниже, в мастерскую, чтобы не сорваться, в последние дни это случалось со мной не раз, и потом я всегда раскаивался.

Я сварил себе кофе, долго ли еще можно будет себе позволять эту маленькую роскошь, я ни секунды не верил, что все образуется, что опасности позади, и как раз обдумывал этот мрачный прогноз и что делать с младенцем и с Марианной, когда в дверь постучали.

— Войдите, — сказал я, хватаясь за пушку, пришлось-таки ее купить, — входите, не заперто.

Но это оказался не злоумышленник и не грабитель, а всего-навсего соседка, ей непременно нужно было мне сообщить, что занимать чужую квартиру и воровать чужие вещи нехорошо, она имела в виду, что после смерти всех этих бедных стариков из нашего дома я совершил набег на помещение, пока она говорила, мне пришло в голову, что ведь на сторонний взгляд я последний мерзавец, на мне и грабежи, и ночь в Сен-Клу, а теперь еще это, я просто пожиратель стариков. Да-да, вы совершенно правы, в конце концов ответил я, указывая ей дулом пистолета на выход, простите, но у меня много работы, мне нужно рисовать, ее вторжение и вопрос Марианны совсем меня достали, какой смысл вилять, ну дурной поступок, ну злой умысел, ну искренняя любовь или истинная привязанность, мы же уперлись в стену, в самую суть проблемы, и, по моим представлениям, разобраться в ней не хватит никаких наших сил.

Теперь казалось, что по городу пронесся безжалостный ураган, в нижней части улиц громоздились остовы смытых потоками машин, прибившиеся к жилым домам, придавленные рухнувшими фонарями, местами царило полное разорение, от музея Орсе вообще ничего не осталось, полотна, скульптуры — все погибло, затонуло, сгинуло в волнах, в Лувре какие-то залы были повреждены, какие-то нет, обломки египетских памятников за счет своего веса остались на месте, словно свидетельства древней, несокрушимой магии, высящиеся среди разоренных бедствием помещений.

Так я обошел весь Париж, поклонился, как паломник, любимым местам, лев на площади Данфер не сдвинулся ни на пядь, зато крыши Гран-Пале, дивные застекленные крыши, были пробиты, в них зияло множество дыр, Музей изящных искусств был пуст, на полу еще виднелись потеки грязной воды, наконец я добрался до Ботанического сада, миновал Большую галерею, ее все равно уже уничтожили неуемной модернизацией, и укрылся в Палеонтологическом музее, первый этаж пропал, там царило полное запустение, зато второй каким-то чудом сохранился, всякие мамонты и прочие реконструированные доисторические скеле-

ты были целы, в зале плавал неспокойный сумрак и сильный запах сырости. До катастрофы это было одно из моих тайных убежищ, по будням там не бывало никого, я отдыхал душой, прогуливаясь среди этих милых созданий, в окружении шатких декораций, свидетелей эпохи, когда Париж еще не пал жертвой уродливого промоушна и бредового потребительства. Выходя, я подумал, что в теперешней ситуации все эти эстетические соображения неуместны. На набережной Аустерлица юнцы потрошили баки автомобилей, чтобы разжиться горючим, один поднял голову и указал на меня приятелям, я ускорил шаг, размахивая пушкой, и они отстали.

— Убирайтесь, — закричала Марианна через дверь, — убирайтесь, у меня ружье, я буду стрелять!

Замочная скважина была чем-то забита, я не мог повернуть ключ.

— Это я, — заорал я в свою очередь, — не стреляй, не надо, это я!

Неужели паника подступила так близко и теперь подчинит себе всю нашу жизнь?

Она открыла, на ней не было лица, в последние полгода она и так не блистала красотой, но сейчас была действительно плоха, и ей это не шло.

— Это ужасно, — она бросилась мне в объятия, — это ужасно, ужасно, ужасно!

Флавий попискивал в своей колыбельке, явно в полном порядке, значит, на семейном фронте ничего не стряслось.

— Они убили соседку.

Я не спеша разулся, каждый раз меня тянуло пойти на кухню умыться, но напрасно, кран уже давно покрылся ржавчиной. Марианна тихо заплакала, заламывая руки, они напали на дом, юнцы явились под вечер, судя по всему, в надежде заловить двух девчонок из квартиры напротив, прелестных сестер, переживших дожди и нищету, но это им не удалось, девочки сумели уйти по крышам, и тогда они вломились к соседке и изнасиловали ее.

— Изнасиловали? Но ей по меньшей мере седьмой десяток.

Они поджидали внизу, на двух машинах и скутерах, с ними была девица, и поскольку часам к четырем окончательно стало ясно, что предмет их вожделений испарился, они осадили дом напротив, но безуспешно, а потом, стало быть, сцапали соседку, разложили на капоте машины и изнасиловали, предусмотрительно надев презервативы. Марианна подсматривала из-за задернутых штор, обливаясь ледяным потом от ужаса, соседка истошно кричала, ее привязали за руки и за ноги, веревки были закреплены на осях, так что когда эти чудовища, удовлетворив свой пыл, тронули с места, ее просто разорвало, четвертовало безжалостным механизмом автомобиля, но веревки в конце концов намотались на колеса, тогда они остановились, вышвырнули жалкие, драные клочья тела на мостовую, девица со смехом присела и пописала на них, затем они уехали, крикнув на прощание в пустынную улицу, что еще вернутся. Мы еще вернемся, и наша месть будет ужасна, ха-ха-ха!

У меня в голове, накладываясь на эту сцену, вертелись какие-то обрывки вестернов. Нацисты в форме, горящие церкви. Вот черт, сказал я, какая мерзость.

— Я больше не могу, — простонала она, — сделай что-нибудь, по-моему, я больше не выдержу.

Я уставился на нее с глупым видом, ты хочешь, чтобы я сделал что? ты думаешь, я Господь Бог и отвечаю за весь этот бред? на лестничной клетке послышался шум, она вцепилась себе в волосы, у меня был полный магазин, я ни разу в жизни не стрелял из пистолета, я даже не был уверен, что он исправен. Не знаю почему, но убить кого-то представлялось мне довольно-таки проблематичным. Во имя милосердного Вседержителя нашего, откройте и выходите, проревел чей-то голос, совершенно замогильный. Ну ладно, сказал я, это хоть не юнцы, я вышел на площадку, на лестнице было полно народу, целая армия молчаливых, растерянных теней, настоящие призраки: священник со своими присными. У меня мелькнуло странное воспоминание: когда-то давно я был в отпуске в Бретани и случайно слышал слова одной торговки, она рассказывала соседке, что накануне порвала со своим любовником и тот до утра заливал горе в ночном кабаке, а наутро поехал обратно вдоль пляжей, на большой скорости, а в это время у одной женщины случился скандал с мужем, она выскочила из кемпинга, он гнался за ней, машина сбила ее на полном ходу, насмерть, она умирала в объятиях мужа, изо рта у нее лились потоки крови, он тщетно пытался их остановить, а брошенный любовник, в пьяном чаду, закурил сигарету и тупо глядел на жуткую сцену, виновником которой стал, он даже не вызвал "скорую", это сделали обитатели кемпинга, а потом муж набил ему морду. Под конец, я точно помню, торговка сказала, жалко, конечно, что так получилось, но не сходиться же мне с ним снова, это же идиотизм.

— Мы, кюре прихода О-де-Бельвиль, пастырь церкви Невинных, требуем отдать нам демонов и злых духов, коих вы укрываете в своем жилище!

Совершенно не понимаю, почему мне вспомнилась эта история.

— Приказываем вручить нам живым то воплощение зла, что нашло прибежище в вашем доме.

Все происходящее, этот псих со своей клакой, виделось мне в багровом ореоле.

— Здесь умирали люди, их убивали злокозненные излучения, и здесь явилось на свет новое воплощение Дьявола в человеческом облике.

Я спросил, что происходит? что вам угодно? святоши позади священника стояли с отсутствующим видом, чистые зомби, бледные, безмолвные, управляемые зомби вуду, мне бы покрыться гусиной кожей, а я не испытывал ровно ничего.

— Вы породили Дьявола, последний раз говорю, отдайте нам ребенка.

До меня донеслись вопли Марианны, у нее начиналась истерика, какое-то крылатое существо уселось наверху, на лестничных перилах, я его сразу узнал, та же харя, что мы видели в церкви, в придачу рядом немедленно пристроилась ее сестричка, я поднял пистолет, у меня не выходил из головы библейский завет, все, взявшие меч, мечом погибнут[1], поэтому я некоторое время колебался, отдайте ребенка, родители Сатаны, оба суккуба хлопали крыльями, жадные, омерзительные, от них исходил гнилой смрад, я старался успокоиться, потянуть время и опять повторил, что происходит, вы что, шутите, но как раз в ту минуту, когда этот ненормальный уже готов был наброситься на меня, а я навел на него пушку, намереваясь расстрелять в упор, откуда-то вылетел громадный

1. Мф. 26:47.

ком перьев, острые когти впились священнику в лицо, обе хари сорвались с места, и в следующий миг мы лицезрели схватку диких зверей, точно как в "Кинг-Конге", мордобой доисторических животных, зомби попятились, а я заорал, я тоже орал как оглашенный, это Бог, Бог пришел к нам на помощь, ублюдок, сволочь, это ты Дьявол, это ты Сатана, я пинал ногами бедного иллюмината, а он, бедолага, защищал глаза окровавленными культями. Он прав, завопил один из зомби, это Феникс, их спас Феникс, поднялась неописуемая толчея, и вдруг все кончилось, я стоял на лестнице и очумело смотрел на голубоватое перо, кружившееся в мутном свете лестничной клетки.

— Вот и ладушки, — сказал я Марианне, — они ушли.

Я закрыл дверь, она скорчилась в дальнем углу столовой, прижимая к себе Флавия, н-да, я пытался иронизировать, нескучный денек, она так дико вращала глазами, что мне опять подумалось, уж не спятила ли она часом, я подошел и тихонько разжал ее судорожно сведенные руки, иди сюда, дьявольское отродье, иди к папочке, с ней опять случилась истерика, ну что нам делать, что нам делать, я положил Люцифера в колыбель и посоветовал ей пойти к себе и успокоиться, у меня от нее болела голова.

Временами мне хотелось послать все к черту.

— А если это правда, — опять взялась она за свое чуть погодя, — а если священник прав и он действительно воплощение Зла?

Я сделал вид, что обдумываю ее слова, в конце концов, почему бы и нет, почему бы нам не произвести на свет какое-то особенное, незаурядное существо, которому уготовано фантастическое будущее?

— Вполне может быть и наоборот, — в конце концов обронил я, — может, он посланец Божий, ведь как раз в тот день, когда он родился, кончился снег, а только что, не забудь, нам на помощь прилетел Феникс.

Сам не знаю, с чего я ляпнул такую чушь, во всяком случае она ничего не ответила, лицо ее приняло мечтательное выражение, и весь вечер, я чувствовал, она обдумывала эту неожиданную мысль: а вдруг она вправду новая Дева Мария?

Город угомонился, волна радостных безумств улеглась, и тогда пришло ясное сознание того, что, быть может, черт возьми, не все еще испытания позади, люди начали искать выход, ученые и интеллигенция образовали комитет общественного спасения, пытаясь худо-бедно воссоздать некое подобие социального устройства, ученые задумали состряпать какую-то питательную сыворотку на белковой основе, чтобы мы могли продержаться, если настанет настоящий голод, а работники культуры организовали консультации, чтобы поддержать горожан, помочь им залечить душевные травмы, благая инициатива, иначе нам грозило в мгновение ока превратиться снова в неандертальцев, на улицах уже попадались бродяги, вшивые, в лохмотьях, их обходили стороной, отводя глаза, люди на четвереньках рыли землю в поисках корешков или чего похуже, по крайней мере те, кто приходил на консультации, могли выговориться, избавиться от ужаса, кто-нибудь читал стихи или наигрывал мелодию, так потерпевшие кораблекрушение цепляются за единственную крохотную скалу, поднимающуюся из волн, я уговаривал Марианну сходить туда, в надежде, что это поможет ей немножко отойти от тех ударов, что обрушились на нее после родов, но увы, к несчастью, и тут непредвиденный случай положил конец похвальному начинанию, какие-то мерзавцы, позарившись на волшебное зелье с питательными

свойствами, похитили химиков, избили интеллигентов и разломали те несколько музыкальных инструментов, которые с таким трудом удалось достать: комитет общественного спасения в нашем квартале приказал долго жить. Да и с "Явой" дело обстояло не лучше, заведение сгорело, завсегдатаи передрались, многие умерли, другие куда-то сгинули, я потерял из виду Жоэля, в любом случае его "зодиак" был уже без надобности, так что, честно говоря, мой к нему интерес сильно поубавился.

Мы, Марианна, Флавий и я, были среди этого маразма еще в лучшем положении, я запас целую гору еды, примерно на месяц, по иронии судьбы после такого-то дождя стало не хватать воды, с начала пресловутой новой жизни с неба не упало ни капли, хуже того, испарилась, похоже, всякая жидкость, ни малейшего намека на влагу, теперь русло Сены являло собой тонкую струйку, зеленоватую и тухлую, стоило поднести эту воду к губам, как начинались жуткие колики, кто пережил голод, нынче, стало быть, погибал от жажды.

Кругом царили нужда, лишения, страх, жизнь наша лишилась почти всех точек опоры.

Что до живописи, то мне жестоко не хватало материалов, не только холста, но и красок, и при виде множества завершенных работ, там, в оккупированной квартире, которую я превратил в мастерскую, — их были десятки, — сердце у меня сжималось, я думал о том, что все это может погибнуть или их придется бросить, только из-за картин я оставался в Париже, гнал от себя мысль, день и ночь преследовавшую Марианну, бежать, уехать, все равно куда, только не сидеть в плену, в ловушке, мне удалось написать потрясающие вещи, мне и не снилось, что я на такое способен, мерзкие хари в церкви, утопленники Эйфелевой башни, Левиафан, всасывающий своих жертв, месье Альбер в "Яве", портрет Марианны с ребенком, невинность, тайна и чистота перед лицом насильников-варваров, казалось, это какой-то сгусток живописи, полный успех, абсолютный и, однако, совершенно бессмысленный, никто никогда не увидит этих картин, Марианна в самом начале едва удосужилась взглянуть на них, всем своим видом выражая полнейшее равнодушие, ее ничто не волновало, только собственная безопасность, только достаток, ее и ребенка, в общем-то это было вполне понятно, как можно бредить живописью, когда мир вот-вот окончательно рухнет, я разрывался между безмерным удовлетворением и жесточайшим отчаянием.

Пока не приперло, я обходился более скромными масштабами, малевал миниатюры на дощечках, обломках дверей или ставней, их было легко унести с собой, но потом меня охватило неистовство, под стать сюжетам, которые мне предстояло воплотить, я решил подыскать укромное место и расписать там стены плодами своего вдохновения, оставить в городе неизгладимый знак, обращенный к тем, кто, быть может, сумеет выжить, или к потомкам, или же к грядущим цивилизациям, завершить путь, начало которому было положено много веков назад целыми поколениями прославленных художников и колдунов.

Я выбрал три точки: лестницы башни Сен-Жак, подземный переход на площади Звезды к Триумфальной арке и станцию метро "Севр-Бабилон", — естественно, из-за Вавилона в ее названии, и сказал себе, что, когда завершу эту работу, бесконечные квадратные метры фресок, придет время покинуть Париж.

Это был титанический труд, но меня снедало странное возбуждение, словно не было важнее занятия, чем размалевывать подземелья, воняю-

щие мочой и дерьмом, вы, народы будущего, пусть не оставит вас равнодушными мысль о безвестном художнике, Марианне все это очень не нравилось. Я забаррикадировал квартиру, у дверей всегда стояло заряженное ружье, я уходил утром и возвращался вечером, неутомимый труженик в гибнущем мире, солнце по-прежнему не показывалось, мы существовали в неверном, сумрачном свете, в гнетущей атмосфере, откровенно жарко не было, и все же возникало ощущение постоянной агрессии, словно сам воздух или нездоровое сияние, сочившееся сквозь облака, были пропитаны смертельным ядом.

Я писал смерть, мертвецов и запустение, не в силах остановиться, днями напролет, я был поглощен работой и безучастен ко всему остальному, к худобе своих земляков, к их болезням, раздувшимся от голода животам, к ужасающему виду этих ходячих скелетов, равнодушен к их запавшим глазам и отчаянию от бесконечной череды бед, для меня было важно одно — творение, которое предстояло создать, поэтичная и величественная картина развалин цивилизации.

Население в этих обстоятельствах испытывало прежде всего, конечно, чувство вопиющей несправедливости, особенно верующие, они не в силах были скрыть горечь, нас надули, мир бессмыслен, в нем не осталось ничего, лишь хаос и ужас, а если в этом аду все-таки есть некая логика, тогда что же мы такое совершили, Господи, за что ты нас так караешь, это было похоже на Невинных в Бельвиле, все пытались свалить вину на другого, на прежних правителей, на абсурдную систему, при которой банкиры и денежные тузы захватили всю планету, на войны, на самые разные злодеяния, на упадок нравов, но я-то, Господи, я-то при чем, взгляни, моя душа чиста, без единого пятнышка, люди из последних сил грозили кулаком небу и проклинали Творца, всех богов и вообще жизнь, жизнь, что приняла такой нежданный оборот для всех нас, совсем еще недавно видевших страдания ближних лишь на экране телевизора.

Однажды вечером, заработавшись, я пропустил время затемнения, с недавних пор установилось нечто вроде неофициального комендантского часа, находиться на улице после шести вечера было небезопасно, по городу рыскали шайки из пригородов и просто полоумные, попадались какие-то странные существа и вроде бы даже привидения, целые сонмы бледных теней, способных прикончить вас в мгновение ока, похоже, их крики вызывали столбняк, в общем, я не разыгрывал храбреца, у меня, конечно, всегда имелся с собой пистолет, но я предпочитал вернуться вовремя, успокоить Марианну, которая всякий раз была на грани депрессии, и вот, значит, в тот день, выбравшись из подземелья, я обнаружил, что у меня встали часы, батарейка, наверно, ее, батарейкиной, жизни пришел конец, и пока я заканчивал "Шествие мучеников по Елисейским Полям", она тихо сдохла, оставив меня сиротой, лишив точного времени, в ту минуту это огорчило меня куда больше, чем мысль, что придется тащиться в темноте через весь Париж, мне казалось, что это очередной удар, быть может, мне показалось, что вслед за часами остановится и мое дыхание или сердце, вокруг стояла непроглядная чернота, я не видел собственной вытянутой руки, в подземелье у меня хранились самодельные светильники, на масле, добытом из моторов, но на ветру они гасли, было холодно, меня охватил смутный страх, я вдруг почувствовал себя разбитым и усталым.

Надо было возвращаться. Необходимо. Марианна не выдержит, могло произойти самое худшее, в любом случае мне совсем не улыбалось

здесь заночевать, я попытался сориентироваться, найти проспект генерала Оша, дальше нужно будет просто дойти по бульварам Курсель и Батиньоль до площади Пигаль, потом я думал идти вдоль линии метро, от Барбеса до Бельвиля, в надежде повстречать не слишком много оборотней, но я, как дурак, ошибся, наверно, пошел по проспекту Ваграм вместо проспекта Оша, потому что, дойдя до конца улицы, оказался не перед решеткой парка Монсо, а на перекрестке, с обеих сторон были магазины, я на ощупь опознал табачную лавку, потом, напротив, что-то похожее на большой музыкальный магазин, и в довершение всего за спиной у меня раздался леденящий душу вопль, пока отдаленный, но не слишком, я чуть не грохнулся в обморок, гортанный крик, крик индейцев дакота в "Бобе Моране", но раз в десять громче, мне ничего не оставалось, как войти в разоренное здание, я чувствовал себя все хуже и хуже, кажется, я подцепил грипп.

В первый раз у меня возникла глубокая уверенность, что я игрушка обстоятельств, что я не владею ситуацией, даже отчасти. Сядь, сказал чей-то голос в моем мозгу. Сядь и жди. Я почувствовал дуновение ветра на лице, и это ощущение меня не только не успокоило, но и повергло в невероятный ужас. Жди и смотри. Жди и смотри, ибо перед тобою смерть.

Ночь, казалось, осветилась тысячью огней, словно само солнце, разорвав мрак, затопило спокойным, веселым светом полуразрушенный первый этаж, мне показалось, что вокруг какие-то силуэты, я подумал, это, наверно, манекены, остатки былых витрин. Ощущение холода и страха рассеялось, я опять услыхал свирепые завывания дакота, но уже без особого волнения, вокруг меня словно разлилось чье-то дружеское присутствие.

Да будет свет. И стал свет.

Не знаю, что на меня нашло, но я начал снимать одежду, раздеваться.

И будет вечер, и будет утро.

Мир — именно это чувство царило во мне, чувство глубокой умиротворенности.

И пар поднимется с земли и оросит все лицо земли[1].

Все последние события внезапно обрели очевидный смысл. Я взирал на смерть, драмы, страдания сквозь призму отстраненной благожелательности.

Господь Бог насадит рай в Едеме, и ты будешь жить в нем в благоденствии и веселии.

Все волнения предыдущих месяцев казались мне суетными и несерьезными, словно возня детей, резвящихся в школьном дворе.

Я здесь, произнес голос, я с тобой, в тебе, и я это подтвердил, молча, сосредоточенно, мое зрение десятикратно усилилось, мой взор, не ведая преград, простирался за горизонт, проникал сереющие склоны холмов Парижского бассейна, да, ты здесь, ты со мной, во мне, и в тот момент, когда у меня все-таки мелькнула мысль, черт, да что ж такое со мной творится, божественное тепло развеялось, свет погас, я был абсолютно голый, подмораживало, а главное, крики дакота слышались теперь совсем близко, их сопровождало тошнотное чувство, что надвигается нечто омерзительное, оно уже в пути, оно вот-вот будет здесь,

1. Ср. Быт. 1:3, 5; 2: 6.

впереди шествуют его эмиссары, трепещите, ибо Князь Тьмы в бесконечной милости своей почтит вас своим присутствием, и вот оно случилось, крики дакота смолкли, я слышал шуршание крыльев и слюнявое похрюкивание, беги или простирайся ниц, ибо Князь Преисподней сошел на эту землю ради великого твоего блага, я сидел, скрестив ноги, затерявшись в лесу манекенов, мне виделись странные картины, саддху, почитатели Шивы, что медитировали ночи напролет, сидя на оссуарии, и пили из чаши, выточенной из полированного черепа мертвеца.

Невозможно в точности передать, что произошло в ту ночь, при первых отблесках зари я поседел, и границы между мирами, нашим и тем, что именуется потусторонним, адом или как там еще, мы даже не подозреваем как, стали нечеткими и размытыми. То, что я принимал за манекены, на самом деле оказалось трупами, десятки трупов были сложены штабелями в холле, должно быть, их пытались собрать, а потом так здесь и оставили, несмотря на бледность и застывшую смертную маску, я узнал лицо Жоэля, проглядывавшее из кучи, еще накануне это бы меня взволновало и поразило, а теперь я лишь подумал, мимоходом и несколько вяло, черт, это Жоэль, умер, бедняга, все происходящее утратило свое прежнее значение.

Я дошел до дома, не встретив ни одной живой души, везде валялись груды строительного мусора, обрушившиеся стены и трупы, всюду трупы, они громоздились огромными кучами, выше всякого мусора, гниющие или обгорелые, смотря по тому, заливало их водой или палило огнем, все это не вызывало во мне ничего, кроме безразличия, да и что могло еще задеть за живое человека, вернувшегося из мира мертвых, грязь, что облепляла мое тело с тех пор, как не стало воды, испарилась, я чувствовал себя чистым, чистым, безмятежно-спокойным, и когда Марианна открыла мне дверь, первое, что я заметил, это что от нее воняет.

— Тю, — сказал я, — да от тебя воняет.

По правде говоря, раньше я совершенно этого не замечал, она посмотрела на меня, уставшего и в то же время расслабившегося, с седой головой, я думал, что найду ее в слезах, растрепанной, но она тоже казалась спокойной, ни малейших следов беспокойства, от меня воняет, спросила она, ты уверен? Она держала в руках маленькую книжку, я сначала принял ее за молитвенник, но оказалось, что это совсем не то, “Катехизис для девочек”, она открыла ее, глядя на меня с тягостным состраданием. Флавий спит? — спросил я, с ним все в порядке? В ответ она только кивнула, почти рассеянно, с улыбкой, ты знаешь, я примирилась с Богом, я говорила с ним, и в тот самый миг, когда я собирался ей рассказать, что видел Дьявола, Сатану собственной персоной, и созерцал иные миры, ад и бездны, она вдруг прочла:

> Я слышала, Господь живет в сердцах детей,
> Как обитает он под сенью храма
> Иль среди ангелов, в кущеньях фимиама,
> И чистые сердца ему всего милей.
> Скажи мне, это правда, мама?

Я был ошарашен, это что, поинтересовался я, детская песенка? Но она читала дальше: “Мария, коей суждено было понести в чреве своем самого Творца всего святого, должна была оставаться незапятнанной; не пристало, чтобы демон обрел хотя бы малейшую власть над той, что

пришла в мир, единственно дабы повергнуть его в прах", потом она помолчала и снова взглянула на меня, ты хоть раз подумал о том, что я чувствовала, когда бичевала всех этих больных, оставлявших заявки по телефону, когда мне приходилось втыкать им вибраторы в задний проход, ты когда-нибудь пытался представить себе, какое это унижение для женщины?

Чувство чистоты, покоя, здоровья, не оставлявшее меня после воскресения из мертвых, испарялось со страшной скоростью. Нет, ответил я, она словно вонзала в меня стрелы, язвящие, ядовитые стрелы, нет, я не был в твоем положении, мне трудно судить.

— Ты превратил меня в проститутку, ты хоть отдаешь себе отчет, какая это гнусность, какое это пятно?

У меня чесалось между пальцами.

Ради нее я воровал и грабил. Мы были на равных.

— Ты понимаешь, какой уникальный, неповторимый шанс Он мне даровал?

На меня помимо воли накатывала тоска, я провел ночь в куче трупов, я поседел, я наверняка подхватил чесотку.

Я беру с него пример, и его тихий голос говорит мне, как бы он исполнил долг, возложенный на меня;

Он моя опора, он поддерживает меня, помогает превозмогать усталость и огорчение;

Он моя награда, он подсчитывает каждую минуту, отданную мною моему долгу, дабы вознаградить меня за эти минуты;

Он мой защитник, он отгоняет от меня демона, когда я молюсь или работаю, отгоняет дурных людей или дает мне силы не поддаваться на их речи, и не позволяет мне падать духом;

И я люблю его, люблю Иисуса.

Она шептала не хуже, чем в каком-нибудь триллере.

И пусть тело мое грязно, душа моя омылась в чистейшем из источников.

Засим последовала особенно тяжкая сцена, она описывала мне во всех подробностях, что ей приходилось проделывать с любителями наручников, и какая завеса сомкнулась в ее душе, и если она несмотря ни на что избрана свыше, чтобы выносить Младенца, то лишь за великую веру, которую она хранила неприкосновенной в глубине души, лишь за свою виртуальную чистоту.

— Младенца? — перебил я ее. — Ты хочешь сказать — Флавия?

Мне до смерти захотелось ее трахнуть, я не прикасался к ней с тех пор, как она забеременела, последний раз я что-то себе позволял в "Яве", а это когда еще было.

— Ты совсем глупый? — удивилась она. — Ты до сих пор не понял, что Флавий не такой, как все дети?

Тот факт, что от нее воняет, внезапно обрел бесспорный эротический смысл, я подошел к ней и крепко обнял, от тебя воняет, повторил я, но это даже приятно.

Ее рот открылся и закрылся, глаза полезли на лоб. Я стиснул ее сиськи. Я хочу тебя, суперхочу. Прибор распирало так, что было больно, я прижался к ней, хотел ее поцеловать, иди ко мне, благочестивая девоч-

ка, до всех этих дел мы, бывало, неплохо проводили время. Она оттолкнула меня изо всех сил, да как же ты можешь, как ты смеешь, словно я посягнул на великую, недоступную жрицу последнего культа на Земле.

— Погоди, — возразил я, — не надо преувеличивать...

Это было выше моих сил, я вытащил член и попытался поймать ее за руку, чтобы она мне помогла, растелёшись, зарычал я, раздевайся и отсоси, как у тех гомиков, она закудахтала, ты сошел с ума, ты сошел с ума, в тебя снова вселился Дьявол, я вижу.

— Повернись, я трахну тебя сзади!

Во мне все дрожало, голова кружилась. Она ринулась к комнате Флавия, голося, заклинаю тебя, только не малыша, словно я собирался их обоих зарезать, мне просто хотелось заняться любовью, и больше ничего, но тут я потерял равновесие и упал. В глазах потемнело, я видел Марианну сквозь красноватый туман, звуки доносились приглушенно, "именно молитвами Марии возвышаются грешники и исторгаются неверные из неправедного царства Сатаны", а потом вдруг я оказался не на полу, а на бескрайней движущейся дорожке, по которой бежали обезьяны, громадные обезьяны, они бежали мне навстречу, а я стоял, безоружный, мне протянули нож, и я заколол одну, в этом было что-то сексуальное, лезвие, входящее в плоть, волосы, ощущение близости, я протыкал их как ненормальный, едва падала одна, как появлялась другая, все быстрее и быстрее, я бежал им навстречу, против движения дорожки, умри, умри, я почти выбился из сил, это было потрясающе, я вонзал сталь изо всех сил, чуть не падая от сладострастной дрожи, а потом я открыл глаза, здесь, передо мной, на паласе, перепачканном бурыми, похожими на кровь пятнами, простерлись, бездыханные, Марианна и Флавий, на их бедных тельцах зияли бесчисленные ножевые раны, нож я все еще сжимал в руке, я убил свою жену и сына.

Во рту у меня пересохло, я не мог говорить, я был почти бесплотен, меня похитили, вырвали из тела, это не я, только и сумел я пролепетать, это колдовство, я не мог так поступить, а потом до меня по-настоящему дошел весь ужас того, что случилось, и я завопил как одержимый аааааа, аааааа, аааааа, и вопил до тех пор, пока не почувствовал запах Марианны и не услышал ее голос, вот и хорошо, вот и хорошо, теперь все будет в порядке, демоны оставили тебя, ты спасен.

Из соседней комнаты донеслось воркование Флавия, мне приснился кошмар, дурной сон, Марианна жива и я ее не убил.

А на следующий день в первый раз появились собаки, страшенные рыжие зверюги, похожие на гиен, с линялыми проплешинами на шкуре и крохотным хвостом колечком, принюхиваясь, они трусили по проспектам, пожирали гниющие трупы, обгладывали кости, рвали мертвую плоть, слышно было, как клацают их зубы, там, где они прошли, не оставалось ничего, на вид они не были агрессивны, они хотели только нажраться до отвала, набить брюхо покойниками, и, право, им было чем поживиться.

Если все, что мы пережили до сих пор, точь-в-точь отвечало всем нашим представлениям о чудовищной катастрофе, то теперь нам предстояло узнать, что такое ад. В один день наше, Марианны, Флавия и мое, существование оказалось ввергнуто в самую беспросветную нищету.

— Алло! — крикнул я, вернувшись домой несколько дней спустя. — Алло, вы здесь?

Дверь в подъезде была выбита, полотна и мольберт в моей мастерской перевернуты и растоптаны, алло, завопил я громче, снова приготовившись к самому худшему, Марианна, ты меня слышишь? Кто-то приходил к нам и вынес все.

— Блин, ну отзовитесь же, умоляю!

В результате я обнаружил их на верхней площадке, они укрылись в тайнике, который я на всякий случай устроил не доходя полпролета до чердака, замаскировав дверь бывшего туалета.

Марианна держалась спокойно, достойно, после своего откровения она изменилась, и надо признаться, к лучшему, меньше нудила.

— На этот раз они забрали все...

Наши запасы консервов и всякой провизии пропали, сгинули без следа, все мои долгие, кропотливые усилия избавить нас от нужды в один вечер пошли прахом.

— Главное, вы целы, — я вздохнул, — еды как-нибудь раздобудем.

Я как мог починил все двери, завалил лестницу балками и строительным мусором, исключив возможность нового нападения, у нас оставалось четыре коробки фуа-гра, две непочатых литровых бутылки "Эвиана", большая банка апельсинового джема, а еще мой пистолет и кое-какие боеприпасы.

— Я люблю тебя, — сказала Марианна, — я люблю тебя во Христе.

В этом она изменилась в дурную сторону, с ней стало тяжеловато. Откровение так или иначе перевернуло нас обоих, она прямо светилась святостью, а я после кошмарного видения зарезанных обезьян и убитых жены и сына был не в своей тарелке, стоило хотя бы на миг вспомнить Флавия в луже крови, как во мне поднимался смертельный страх, Господи, Господи, всю мою спесь как рукой сняло, я с удивлением обнаружил, что могу молиться, Боже, сделай так, чтобы я смог их защитить, защитить Новую Богоматерь и Младенца, я ни капли не верил в эту чепуху, просто мы уже и вправду не понимали, за что ухватиться, чему верить и кого слушать, нас доконали бесконечные невзгоды, в конце концов, окажись она и впрямь Новая Богоматерь, это было бы не более потрясающе, чем все прочее.

Мы еще не почали вторую бутылку "Эвиана", а я уже составил план битвы, где-нибудь наверняка должна была остаться вода, если не на поверхности, то под землей-то уж точно, в пещерах или в колодцах, когда я рисовал в метро, то заметил тонкую струйку, стекающую по стене, и вот я взялся за дело, нельзя опускать руки, это было мое кредо, совершенно непонятно, чем мы держались, когда вокруг все потихоньку съезжало с катушек, искать в существовании хоть какой-то смысл теперь как никогда казалось суетой сует, и все-таки еще оставались парижане, конечно изголодавшиеся, больные, опустившиеся, население сократилось раз в десять, их была всего горстка, но они еще готовы были поднять голову, попытаться сохранить хоть искру человечности посреди этой бойни, я восхищался ими, правда, по-моему, не мне одному приходило в голову, что тем, кто погиб сразу, повезло больше, чем нам. Город превратился в комок страдания и боли, в нем обитали бродячие псы и привидения, а я по-прежнему доблестно сражался, конечно, я устал, но не покидал своего поста, чем я держался, было полной загадкой.

Отныне на меня была возложена миссия: я хранитель и слуга Обновления, хранитель и слуга тех, в ком назавтра оно могло воплотиться въяве, ибо если Марианна что-то вроде Новой Богоматери, если принять

эту гипотезу, Бог его знает, я без конца думал об этом, взвешивал все последствия, тогда и я сам тоже орудие великого Промысла. Как я ни ломал себе голову, мне не удавалось припомнить, почему я оказался в объятиях мертвецов, передо мной стоял образ Дьявола, пришествие Князя Тьмы, а дальше как отрезало, все двоилось, я видел неведомые миры, и потом ничего, полный мрак, но я был уверен, что в ту ужасающую ночь мне дали задание, работу, которую надо довести до конца, и по логике вещей я должен защищать малыша и его мать.

Возле оконечности острова Сите, позади Нотр-Дам, у подножия Мемориала в память о депортированных евреях, в обнажившемся ложе Сены зияла трещина, наверно, она появилась от засухи, а может, и по какой-то иной, более загадочной причине, я задумал спуститься в нее, меня подталкивала кошмарная мысль, что нам грозит умереть от жажды, голод — это тоже неслабо, но жажда вызывала какие-то дополнительные ассоциации, отталкивающие, омерзительные, я был уверен, что на глубине вода есть, ведь не исчезла же с планеты вообще любая жидкость, во всяком случае надо что-то делать, иначе смерть.

— Я люблю тебя, — благословила меня Марианна на пороге того, что являлось прежде вполне буржуазной столичной квартирой, — я люблю тебя, и я в тебя верю!

Трещина, по крайней мере на первый взгляд, была бездонная, приоткрытые врата в трепещущее сердце Ада, наверняка именно отсюда появился Левиафан, даже после всего, что я видел и пережил за эти месяцы, мне стало страшно, когда я шагнул в темноту, с собой я взял свои светильники на отработанном масле, пушку, а еще простыни и бутылки для жидкости, которую надеялся найти.

Кроме того, у меня имелся молоток и гвозди, я собирался вбивать их в стены, чтобы найти дорогу назад. Свет из отверстия за спиной совсем побледнел, мне было одиноко и боязно, вокруг шуршали крылья летучих мышей, путешествие к центру Земли, вниз отлого уходила какая-то ухабистая тропа, я сосредоточился на тенях, плясавших в свете лампы, я ведь мог и не найти воды, заблудиться и умереть в недрах планеты, на глубине сотен метров под Нотр-Дам, честно сказать, это последнее обстоятельство не имело никакого значения, разве что для Марианны и Флавия.

Тропа превратилась в подобие коридора, на каждом повороте я вбивал гвоздь и вешал на него кусочек алюминия, залог того, что мне удастся вернуться, я прошел еще немного вперед, через огромные залы, пещеры, где-то пол был усеян скелетами, местами попадались рисунки — фантастической силы, мне такие и во сне не снились, — земля открыла мне путь, проход, и показывала чудеса, но я не стал задерживаться, бутылка "Эвиана" осталась у Марианны, мне уже хотелось пить, теперь должен был появиться какой-то знак, что-то ободряющее, подтверждающее, что я не сбился с пути и ищу не напрасно. Я снял с одного мертвеца механические часы, было три пополудни, из дома я вышел в восемь утра.

Если мы действительно те, за кого себя принимаем, тогда покажись, взмолился я. Яви себя и дай мне попить, пожалуйста, и тут, хотите верьте, хотите нет, но это чистая правда, не успел я закончить фразу, как вдруг услыхал журчание, журчание воды, ошибиться невозможно, я протянул руку, стена справа была мокрая, из углублений сочились капли. Я был спасен.

Я был спасен, и больше того, факт этот служил очевидным, чудесным доказательством того, что да, бесспорно, Марианна и я, мы Избранные, а наш сын, вернее, тот, кого нам поручено встретить в миру, — не кто иной, как Благословенный, Предтеча грядущих времен, и Бог на небесах не только поддерживает нас, но и сделает все, чтобы помочь мне одолеть испытания. Благодарю, твердил я, благодарю, не беспокойтесь, я постараюсь быть на высоте.

Строго говоря, это был отнюдь не полноводный поток, даже не родник, в воздухе пахло сыростью, по стенам, растекаясь, сочилась тонкая струйка, ничего особенно выдающегося, я расставил свои сосуды в основных точках, положил простыни на влажные камни, кап, упала первая капля, кап, в таком ритме мне тут ждать несколько часов, я загасил лампу и улегся во мраке, пристроившись слизывать драгоценную влагу, чтобы утолить жажду, и хотя кругом была чернота, перед глазами у меня плясало множество цветных образов. Я видел себя ребенком, в кругу семьи, на пляже, мир был беззаботным, а жизнь притворялась прекрасной, вот мы что-то покупаем у торговцев, вот булка с изюмом, лица учительниц вспоминались так четко, словно я расстался с ними вчера, я уютно свернулся под перинкой, и мне несли чашку шоколаду, Господи, шоколаду! Мне было тепло и хорошо, но постепенно эти приятные видения стали сменяться иными, все более странными картинами, меня окружали черти и гигантские летучие мыши, я бежал по лесу рядом с оленем, тем самым, что встретился мне в Бютт-Шомон, но видел ли я его наяву или во сне, между рогов оленя сиял тот же крест, золотой крест, а я был король на закате дней, я умирал в лесу, одинокий, всеми покинутый, в долине Луары, мне протягивали молоток и гвозди, мой молоток и мои гвозди, я стоял, разинув рот от изумления, а передо мной висел Христос, я был римский солдат, из тех, что распяли на кресте Мессию, его вывихнутые руки окрашивались кровью, когда острие гвоздя входило в плоть, наверно, железо наткнулось на кость, потому что мне пришлось вколачивать гвоздь еще раз, колотить изо всех сил, в небе виднелись сполохи света, я был легкий как перышко и летел к солнцу, Икар, победивший земное притяжение, осторожней, говорила мне мать, не лети так быстро, я за тебя боюсь.

В конце концов видения в темноте рассеялись, я зажег свой светильник, бутыли оказались почти полные, а простыни вполне мокрые, значит, мое путешествие было не напрасным, и я пошел обратно, нащупывая свои ориентиры на каждой сомнительной развилке.

Христос, молоток, толстые гвозди, вдребезги разбивающие плоть, она сочилась алой, тошнотворной кровью.

И хруст суставов.

Пот стекал мне на шею из-под съезжающего шлема, я слышал крики центуриона и других солдат.

Ты царь иудейский, ха-ха-ха!

Было уже темно, часы показывали семь вечера, я спрятал добычу в рюкзак и пошел назад к Бютт-Шомон, с пушкой в руке, каждую секунду готовый отразить нападение, но и на сей раз все обошлось, дома ждала Марианна, напевая Флавию гимны, спокойно, безмятежно, нисколько не сомневаясь в исходе моей затеи, я сказал, вот вода, она взяла бутылочку с соской и дала попить Младенцу-Избраннику, самым естественным образом, а за окном город умирал от жажды.

Мы поели фуа-гра с джемом, роскошный пир, Флавий отрыгнул и заснул, я рассказал Марианне о видениях, о своем прошлом солдата-наемника с молотком, и то, что я осознал свои прежние злодейства, ее ничуть не встревожило, наоборот, подтвердило ее понимание нашего нынешнего бытия, нашей жизни, целиком посвященной Богу и его Сыну.

— Если ты действительно был среди палачей того, кого звали Иисусом Христом, то знай, что деяние твое вписано в великую книгу достославных дел, ибо без помощи злодеев и предателей Господь бы не смог в полной мере свершить уготованное ему. Имя Иуды священно в вышних, и твое непременно стоит рядом с ним.

Назавтра мне повстречалось на улице множество обезображенных людей, их лица были покрыты жуткими багровыми волдырями, сочившимися желтоватой жидкостью, говорили, что эти люди превратились в страшилищ за одну ночь, от зрелища их гнойников у кого угодно могли начаться кошмары, я не стал задерживаться и направился прямиком к Нотр-Дам, к своему подземному источнику.

И в этот день, и в следующие все происходило так же, как накануне, я добирался до сырого места и, пока наливались бутыли, погружался в оцепенение, полное образов, я плавал в каком-то странном измерении, между сном и совсем иным состоянием, наполовину бодрствуя, а наполовину словно развоплотившись, словно вдруг преодолев границы материи и пространства, меня посещали озарения, видения наподобие тех, что были в ту ночь с мертвецами, но в конце, когда я приходил в себя, от них оставалось лишь смутное, мимолетное ощущение, все это запечатлевалось и всплывало в какой-то части моего “я”, не выходя, однако, на свет, и я только-только успевал вернуться домой и поймать несколько крыс. Причиной волдырей, которыми теперь страдали многие, было, скорее всего, сочетание отравленной пищи и освещения, все, что еще не погибло, становилось источником заразы, кроме крыс, так, по крайней мере, говорили, всякие мерзости начались уже давно, крысы вырабатывали антитела на любой случай, их можно есть, ничем не рискуя, если эти слова еще имели какой-то смысл, не беспокойся, предупредил я Марианну, разделывая тушки, мы ничем не рискуем, абсолютно ничем, да и вообще они почти как кролики. Кроме того, нужно было предохраняться от света, люди выходили на улицу в кожаных или матерчатых защитных масках, а раковые больные еще и скрывали таким образом свои раздувшиеся лица, не пострадали только те, у кого была смуглая кожа, и уже поговаривали, что Бог оставил белую расу, проклял ее, и все мы там будем.

Признаться, постоянно встречать на улице прохожих с замотанными лицами, в масках, наспех сооруженных из старой одежды или коробок, было ровно тем, чего мне не хватало для полного счастья, со своей стороны, я обошелся капюшоном из одеяла с прорезями для глаз, привет друзьям из Ку-клукс-клана, если попытаться представить себе, что было на этих площадях, на этих улицах год назад, всего лишь двенадцать месяцев, какой-то несчастный годик, ум заходил за разум, в это невозможно было поверить, хотелось схватиться руками за голову или кататься по земле, со многими, впрочем, так и случалось, вдруг ехала крыша и они отказывались играть в эту игру, молодой человек примерно моих лет раскроил себе череп о стену, он бился долго, бился и кричал, пока не превратился в какую-то судорожно корчащуюся, агонизирующую фигу-

ру, увенчанный красной лохматой массой. По вечерам, набрав воды, я по дороге домой заходил к одному старику, у него еще оставались консервы, похоже, он набрел на какой-то склад, потому что я каждый вечер менял влагу на пищу, и манна все не иссякала, еще один верный признак, что незримые силы не дремлют, облегчая нам жизнь, помогая выполнить возложенную на меня задачу.

Сверхъестественные защитники.

И моя миссия.

Все-таки очень неслабо: быть защитником и слугой не кому-нибудь, а, может, новому Мессии.

Мною овладела бесконечная апатия, я устал и отчаялся, мне тоже хотелось послать все к черту, уйти от всех, привет, ребята, и чешите вальсом, шли бы вы все в задницу, верните мне мою славную жизнь, и облапошенных стариков, и огни кафе, и грохот метро, меня брала жуткая тоска при мысли, что всего этого, наверно, уже никогда не будет, что мы хоть и не теряем надежды, но подошли к последней черте, "и вокруг престола двадцать четыре престола; а на престолах видел я сидевших двадцать четыре старца, которые облечены были в белые одежды и имели на головах своих золотые венцы"[1], да, предсказанные Сроки явно приближаются, и когда-то еще мы сможем снова забить косячок.

От старика с консервами я узнал, что в районе Дефанс скоро будут раздавать лекарства, видимо, сохранилась какая-то организация, и каких-то невесть откуда взявшихся людей беспокоила судьба себе подобных, химики якобы изобрели лекарство против свирепствовавшей в городе раковой проказы, тех, кто пока не заболел, приглашали запастись им заранее, для профилактики, больные же могли получить возможность хотя бы на время облегчить свои страдания. Поскольку несколько дней назад у Флавия на лице появились прыщи, перепуганная Марианна настоятельно просила меня туда сходить.

Квартал Дефанс был для меня далекой окраиной, я там отродясь не бывал, даже пока город еще существовал, сплошные башни, сквозняки и торговый центр, до того нашпигованный сигнализацией, что и не подступиться, я раздобыл велосипед и пустился к площади Звезды, мне хотелось, воспользовавшись просветом в подземных буднях, взглянуть хоть одним глазком на мою фреску, я ее не видал с той дьявольской ночи, мою фреску, зримый след моего присутствия на земле и дарованного мне грандиозного видения, при мне, естественно, была моя пушка в кобуре, она била меня по ноге, одинокий всадник, куда несешься ты на своем чудесном велике, мостовые и брусчатка были разворочены непогодой и пятимесячным наводнением, всюду валялись кучи мусора, мой внедорожник с трудом пробирался к месту назначения, зато собаки, закончив работу, исчезли, нигде не осталось даже намека на трупы, и я сказал себе, что, если подумать, их появление было, наверно, знаком того, что наша жизнь еще под контролем, что после хаоса наступит мир, и Флавий, наш Избранник, наверняка станет его орудием. Мое творение под Триумфальной аркой было на месте, и даже не испачканное никакими граффити, одна радость в эти смутные времена — стеномараки исчезли как класс. Конечно, фреска еще не окончена, но все равно она была великолепна, делала честь нашей эпохе, выдающийся памятник, предназначенный для грядущих цивилизаций, я представил себе, как через

1. Откр. 4:4.

много веков, когда меня уже давно не будет на свете, восхищенные исследователи обнаружат это замечательное свидетельство далекой эры, как мы — творения египтян или доисторические рисунки.

Я доехал под горку, без педалей, до моста Нёйи, из подземного перехода, что когда-то вел к площади Ла-Буль, выметнулся какой-то силуэт, чистокровка, он мчался самым быстрым галопом, белый, я помчусь как безумный конь, это уже само по себе было чудно, давненько я не видел коней, но что самое невероятное, когда он пронесся мимо, я отчетливо увидел у него посреди лба, между ушей, рог, блин, единорог, и сразу словно вернулось солнце, покой и вся радость жизни, блин, я встретил единорога, настоящего единорога, не знаю почему, но эта встреча наполнила меня умиротворением и невероятной радостью, словно теперь я мог умереть со спокойным сердцем, единорог, елки-палки, людей, которые видели единорога, наверное, можно пересчитать по пальцам.

Я не успел осмыслить это новое чудо, потому что сзади показалась целая толпа оборванцев, меня спросили, где дают лекарства и в курсе ли я, что тут делается, правда ли, что это военный эксперимент или нет, многие, похоже, были жутко больны, под масками угадывались изъеденные проказой лица, нет, ответил я, держась от них подальше, я ничего не знаю, я как вы, я только что приехал и ищу, где тут чего. Мы всей толпой поднялись на эспланаду по кольцевому бульвару, без машин он казался желобом гигантского кегельбана, мы в нем выглядели муравьишками, затерявшимися в лесу целехоньких небоскребов, они производили странное впечатление, будто ничего и не случилось, все как прежде, во всяком случае бизнесмены, страховщики и нефтяные магнаты с высоты их непобедимых башен по-прежнему шлют в задницу весь мир, Бога, судьбу и все хаосы и катаклизмы, какие бывают на свете, никому и никогда не одолеть наши достославные монументы из стекла и стали.

На площадке, напротив бывших "Четырех времен года"[1], стояло что-то вроде палатки цвета хаки, надо же, и точно, армейская палатка, вход в нее охраняли люди в форме, мы за лекарствами, произнес кто-то из наших, и здоровенный громила прорычал, больные направо, те, кто еще нормальный, сюда, поскольку все мы были в масках, наступило минутное замешательство, я встал в очередь нормальных, но остальные выжидали, не зная толком, что предпринять, почему нас делят, спросил один оборванец, мы же все равно незаразные? Но бульдог его оборвал, всё, хватит, больные направо, это нужно по медицинским соображениям, лишь один присоединился ко мне, остальные выстроились за поперечными ограждениями, после всего, что мы пережили, находиться здесь, перед сварливым старшиной за решетками, явно чихавшим на этот апокалипсис, который, однако, касался нас всех, тут было отчего ошалеть, кто эти люди, как они сорганизовались и с какой целью, уму непостижимо.

— Проходи, — приказал мне старшина, — и сними свои тряпки, врач должен тебя осмотреть.

В палатке мне пришлось раздеться, за столом сидел офицер, а кто-то, по моим представлениям санитар, ощупал меня, параллельно мне задавали вопросы, средства к существованию, положение на настоящий момент, психологическая реакция на происходящее, под конец врач сказал, браво, вы как-то выкручиваетесь, хорошо держите удар, все бы

1. Упомянутый выше крупный торговый центр в квартале Дефанс.

так, и я получил право на порцию лекарств для себя, Марианны и Флавия, это позволит вам избежать неприятных сюрпризов, заключил эскулап, одеваясь, я все-таки спросил, а откуда вы взялись, неужто у нас еще есть действующая армия? Но старшина в ответ только рассмеялся, вы, штатские, вечно нас недооцениваете, ха-ха, я получил запас лекарств на месяц и приглашение на ближайшую раздачу, письменное приглашение, катясь вниз по кольцевому бульвару, я спрашивал себя, уж не приснилось ли мне все это.

Тут-то я его и увидел, он бежал вдоль пересохшего русла Сены, бежал, но не потому, что за ним гнался какой-нибудь очередной оборотень, нет, он просто совершал моцион, в красных шортах, с банданой на голове, держа в каждой руке по небольшой пластиковой гантели, прозрачной, наполненной водой, спортсмен, тренирующийся перед предстоящим марафоном между мостами Нёйи и Сюренн, с самым беззаботным видом отрабатывающий шаг.

— Эй, — закричал я, — эгей!

Я слез с велосипеда, надо было его остановить, мне уже осточертели эти загадки, если тут и вправду шла нормальная жизнь, была армия, были спортсмены, а может, почему бы нет, и трещащие факсы в бизнес-центре, то я бы отнюдь не возражал, чтобы меня на сей счет просветили.

— Эгей, — я подскочил не хуже ковбоя на хребте скачущего во весь опор мустанга, — эй, эгей!

Человек остановился, слегка запыхавшись, когда наши глаза встретились, у меня возникло неприятное чувство, что мы с ним когда-то уже встречались, я сказал, здравствуйте, простите, что отрываю, но я немножко растерялся, вы что-нибудь знаете об этой раздаче лекарств, которую устроили военные, что-то я ничего не понимаю, у него было довольно характерное лицо, индеец, упражняющийся в беге по пересеченной местности в городе, похожем на фантасмагорию. Он вытер тыльной стороной руки капельки пота, стекавшие на глаза, у него были кремовые напульсники с вытисненным клеймом.

— Лекарства против солнечных ожогов, вызывающих рак кожи?

Я отметил про себя, что на нем не было ни защитной маски, ни тряпок.

— Да, они организовали раздачу.

Он откупорил одну из своих гантелей-фляжек, я чувствовал себя как Фродо, повстречавший Тома Бомбадила в начале своих странствий с Кольцом, казалось, огромная проблема, которая мучила меня, собеседнику абсолютно чужда.

— Дело рискованное, — обронил он, отпивая из фляжки, — это совершенно неизвестная болезнь, в совершенно неизвестном контексте, времени на испытания не было, как бы не оказалось, что лекарство хуже болезни.

Меня охватил смертельный страх, то есть как, пробормотал я, так вы их знаете? Теперь я понял, где видел его раньше, в тот раз, в парке, когда повстречал оленя с золотым крестом, боковым зрением я заметил какого-то хмыря на газоне, но не обратил внимания, это он, я был совершенно уверен.

— На вашем месте я бы не слишком им доверял, лучше перестраховаться.

И он побежал дальше, я не сделал ни малейшей попытки его остановить, я как раз хотел спросить, неужто он не боится света, он обернулся, и с таким видом, что я почувствовал себя полным идиотом, ну конечно нет, он не боялся света, кто ж спрашивает у демона, не боится ли он привидений, не задавайте дурацких вопросов, ха-ха.

Подъезжая к дому, все еще ошарашенный этой встречей, я заметил, что посеял мешочек с пилюлями.

Фактически я сейчас жил как на американских горках, это была игра, то взлетаешь на немыслимую высоту, то падаешь в бездну, все ниже и ниже, в какие-то странные, ошеломительные глубины, вся наша физическая, да и духовная среда абсолютно распалась, самое лучшее было относиться ко всему как к развлечению, одной из тех светских забав, в которые хорошо играть с друзьями, когда одолевает скука, ты встречаешь мага Бирлиту в Черном Лесу, а у тебя осталось только десять очков Жизненной Силы и четыре звездочки Всевластья, что будешь делать, дружок? Мне очень жаль, сообщил я Марианне, но я потерял колеса.

Отключиться от этого бардака, вести себя так, словно сидишь перед видео, выкурив предварительно косячок. Что ж, думаю, я все-таки буду сражаться с магом Бирлиту.

— Ты потерял лекарства?

Используем три очка Жизненной Силы и одну звездочку Всевластья.

— Господь допустил, чтобы ты доехал туда и вернулся целым и невредимым, а ты потерял то, что могло спасти нас, спасти Флавия?

Бац, маг Бирлиту, вот вам на закуску.

Получите-ка по роже звездой Всевластья, да не забудьте известить, как себя чувствуете.

— Я сделал все, что мог, Марианна, я поехал в Дефанс на велосипеде, я прошел медосмотр, меня допросили военные, и я встретил видение, которое бегало трусцой, в конце концов я же не нарочно потерял лекарства.

Но разговор уже шел на повышенных тонах, я оказался не на высоте перед лицом Мессии, не оправдал доверия, оказанного мне свыше, в общем, спорить было невозможно, и я пулей пустился в обратный путь, в надежде либо найти свой мешочек, наверно, я потерял его, пока разговаривал с бегуном, либо попытаться получить новую порцию у военных.

После таких тренировок мне только выступать на чемпионате по велоспорту.

Если я буду гнать изо всех сил, то сумею обернуться до ночи, попробовать стоило, в один миг я снова добрался до кольцевой, я посматривал на дорогу, но лекарств, конечно, не было, я уже собирался идти просить военных, если они дали мне лекарства утром, то почему бы, собственно, не дать их и вечером, но, к величайшему моему изумлению, эспланада опустела, никого, ни палатки, ни малейших следов чьего-либо присутствия, только ветер завывает среди домов так, что мороз по коже, я объехал на велосипеде всю площадку, вблизи башни казались абсолютно заброшенными, если у меня еще оставались какие-то иллюзии по поводу их несокрушимости, то при ближайшем рассмотрении все выглядело куда красноречивее, из разбитых зеркальных плиток лезла, словно корпия, стекловата, обломки искусственного мрамора вот-вот рассыплются в прах, право слово, Нотр-Дам держался куда лучше.

— Эгегей! — заорал я в холле бывшей Общей башни. — Эгей, есть тут кто?

И тут я пережил такое, чего не переживал никогда, даже в ту ночь в музыкальном магазине, это было хуже, чем все, что я повидал за последние полгода, хуже полоумных священников, бреда, чудовищ, в одном из офисов раздался голос, это ты, старик? голос, который я прекрасно знал, голос моего кузена, умершего десять лет назад от СПИДа, иди сюда, повторил он, подойди, не бойся, я тебя не съем, у меня, наверное, и впрямь волосы встали дыбом.

— Жак, — пролепетал я, — Жак, ты живой?

Я присутствовал на кремации, был свидетелем, когда его клали в гроб и отправляли в печь.

— Сядь, расслабься, ладно тебе, не хандри, никто тебе ничего плохого не сделает.

Он был точно такой же, каким я видел его в последний раз, на больничной койке, тощий, с пятнами на лице и проплешиной на макушке, у него начали выпадать волосы.

— Я пришел тебя предупредить, старик, — сказал он самым будничным тоном, — меня, конечно, в секреты богов не посвящают, но я нюхом чую, когда что затевается, вроде они думают устроить себе небольшой фестивальчик в городе, хорошо б тебе смыться до того.

Я стоял как каменный, никакой реакции.

— Будет гоп-стоп, старик, мертвецы придут за теми, кто остался, ты врубаешься, нет?

Я не мог даже кивнуть.

— Я тебя предупредил, старик, — снова изрек он, вставая, — шевелись, дуй из Парижа, это лучшее, что ты можешь сделать.

Немного погодя я катил на своем велосипеде, абсолютно никакой, энцефалограмма прямая, я был бесплотен и ехал навстречу событиям, я только что разговаривал с покойником, у меня ехала крыша.

— Ну, — выпалила в меня Марианна, — достал?

На лбу у Благословенного появилось подозрительное пятно, естественно, мы опасались худшего, я сразу перешел в наступление, пес с ними, с лекарствами, это эксперимент, проба, они дают людям сверхсильную кислоту, посмотреть, как те будут реагировать, по моим сведениям, их нельзя принимать ни в коем случае, это чревато, нас действительно хранят, потому-то я их и потерял. Она была в полном шоке, ты уверен, ты правда уверен? и я вбил последний гвоздь, у меня еще конфиденциальная информация, к нам со дня на день явятся мертвецы, надо линять по-быстрому, у меня точные сведения с того света, дело пахнет керосином, тебе бы лучше собрать пожитки, да поживей, и я подробно рассказал ей о встрече с Жаком.

Наутро мы проснулись от безумных воплей, люди на улице расцарапывали себе лица, катались по земле, схватившись с невидимыми призраками, все накануне приняли лекарство и, похоже, в самом деле были под действием сильного галлюциногена, вот видишь, сказал я, стоило ли дергаться, чтобы такое получить.

Меня посетило озарение, это было ясно, чистое озарение, я оказался медиумом, я медиум, воскликнул я, Бог открывает мне свое могущество, все, что я вчера предсказывал, сегодня исполнилось, перед глазами у меня стояло лицо кузена, он улыбался и торопил меня, давай шевелись, старик, двигай, пока еще есть время!

В ту ночь я распрощался со своей мастерской и полотнами, Марианна держала Флавия, завернутого в одеяло, из Бельвиля глухо доносились

крики одержимых, голос кузена, казалось, нашептывал мне, куда идти, направо, налево, не выходи на перекресток, ветер ужаса задувал между домами, веял вдоль проспектов, люди, принявшие лекарство, играют роль приёмников, потому-то им его и дали, именно через них произойдет слияние двух миров, видения, вспыхивавшие в моем мозгу, становились все кошмарнее, и внезапно я вспомнил, что произошло в музыкальном магазине, то был не сон, кто-то действительно вышел мне навстречу, взять меня и перебросить в мир иной, в черное, полное невообразимых ужасов измерение, но в последний момент что-то произошло, помешало, я был спасен, Дьяволу пришлось отступить, а нынче вечером он вернулся и требовал свое, я побежал, быстрей, подтолкнул я Марианну, ради бога, быстрей, это страшно, я хотел достичь подземелья у Нотр-Дам, а потом попробовать пробраться как можно дальше на юг, там было полно галерей, куда я не заглядывал, но перед Ратушей, хотя ночь была непроглядно черна, почти ничего не видно, мы вдруг оказались перед какой-то сущностью, какой-то силой, во всяком случае перед чем-то, излучавшим тошнотворную энергию, мерцание гниющей плоти, и в этот момент меня словно ударило током и я потерял сознание.

Книга вторая
Мы не идем на небо

Вокруг спящего человека протянута нить часов, чередой располагаются года и миры.

Марсель Пруст. *По направлению к Свану*[1]

Когда я открыл глаза, было по-прежнему черно. Надо мной склонилась Марианна, земля вокруг казалась холодной, сырой и податливой, как глина, и я сразу понял, что мы уже не в Париже.

— Бальтазар, — билась в судорогах Марианна, — Бальтазар, ты как?

Флавий сидел у нее в сумке-кенгуру, я спросил, где мы, что случилось, что мы тут делаем, что случилось? с тех пор, как все началось, эти слова мы повторяли, наверное, тысячи раз, что случилось, что происходит, как последние тупицы, без единой извилины, абсолютно не соображая, о чем речь, земля была жирная, глина после дождя, нас перенесло, сообщила Марианна, явилась какая-то сила и унесла нас, я был словно в оцепенении, все рефлексы отказали, как после снотворного, нас унесло, но кто нас унес, Фениксы? перед нами торчали металлические стрелы, поблескивающие в лунном свете. И тут я осознал, что вижу небо и звезды, облака рассеялись.

— Нас унесла какая-то сила, окутала и защитила, когда этот кошмар хотел нас проглотить, ты потерял сознание, и вот мы здесь.

Нас унесла какая-то сила, окутала и защитила.

Я попытался встать, у меня закружилась голова. Такое впечатление, будто меня накачали наркотиками, оглушили снотворным. Мне удалось

13. Цит. по: М. Пруст. По направлению к Свану / Перев. Н. М. Любимова. М., 1992.

сесть, черная полоса, вившаяся, словно лента, через все обозримое пространство, оказалась не чем иным, как автострадой, автострадой на Бордо, а эти самые металлические стрелы — всего-навсего жуткой скульптурой на обочине, которой мы всякий раз любовались в те далекие времена, когда еще ездили в отпуск, я всю жизнь считал ее страхолюдной, но сейчас она грела душу, виднелись щиты с надписями **ВОЗВРАЩАЯСЬ В ПАРИЖ ПОСЛЕ УИК-ЭНДА, ИЗБЕГАЙТЕ ЧАСА ПИК**, я скатился по насыпи на мостовую, и мы двинулись на юг, пешком, я хромал, Марианна тащила за спиной Флавия, пойдем, предложил я, пойдем куда глаза глядят, уж если нас телепортировали на сотню километров, значит, так было нужно, пойдем, скоро все выяснится, а как же иначе.

Я был одурелый и ватный.

Мессия.

Новая Богоматерь.

И их слуга и рыцарь.

Информация о дороге. Магистраль 87.9.

СПУЩЕННАЯ ШИНА = ОПАСНОСТЬ

СТОЯНКА 3 КМ

И еще цены на бензин, Мобайл дешевле Эссо.

Странно было так идти, шагать в ночной мрак, в затонувший или тонущий мир, невесть зачем, во всяком случае без цели, с женой и ребенком, своим ребенком, живым существом, пришествие которого мы столько раз обсуждали и обосновывали, мне казалось, что я погружаюсь в какие-то непостижимые прежде глубины, я был измучен, разбит, чуть ли не в коме, переставлять ноги, как зомби, требовало невероятных усилий, рядом Марианна мурлыкала гимн: " Да воссияет радость ангелов в вышних, да воссияет радость повсюду в мире", мне хотелось ее убить.

ШАРТР — СЕВЕРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

КЛЕРМОН-ФЕРРАН — НАПРАВЛЕНИЕ НА БОРДО.

Грязная, коричневая субстанция цвета торфа и экскрементов просочилась в меня или сочилась из меня, я был весь покрыт зловонной жижей, она засосала и испачкала каждую частичку, каждый атом моего тела, во рту был вкус ржавчины, от него пересыхало горло, а когда я закрывал глаза, за нашей спиной вырисовывался громадный крест, неизгладимая печать, тяготеющая над каждым моим движением, земля завладевала мною и собиралась меня поглотить. "Отче наш, прими пламень, что возносим мы в дар тебе, пламень наших сердец", я чуть не сказал ей: заткнись, не могу больше, на сей раз это было правдой, я на пределе, помолчи, не пой, ради бога, иди тихо, Флавий заплакал, и она запела с удвоенной силой, чуть не срывая голос, побереги силы, прошептал я, перестань петь, побереги силы, никогда в жизни я не был такой усталый и изнуренный, я понял, под каким слоем пота и гнусных паразитов погребена с незапамятных времен моя тайная сущность, то, чем я мог бы быть, и в душе молил небо прекратить пытку, мою и их тоже, убить нас на месте, я схожу с дистанции, моя цель, предназначение, которого я стремился достигнуть, слишком недосягаемо, я сдаюсь.

— Вон грузовик, — закричала Марианна, — смотри, вон грузовик!

На горизонте возник громадный рефрижератор, словно два огромных светящихся глаза, прозревающие сквозь тьму неведомый зловещий финал, я не успел остановить Марианну, оттащить ее с дороги, она помчалась навстречу, стойте, остановитесь, она, как безумная, приплясывала и махала руками посреди шоссе, сука, подумал я, грязная шлюха,

громадина с жутким ревом затормозила, из кабины выскочил черномазый в робе, с автоматом через плечо, наверное, во время телепортации я обронил свою пушку, кобура была пуста, кто бы вы ни были, бросилась к нему Марианна, кто бы вы ни были, ради всего святого, помогите, негр хохотнул, кто бы вы ни были, ровно это кричал старик из Сен-Клу в ту ночь, когда я совершил набег на особняк, я вас прошу, вцепилась в него Марианна, возьмите нас с собой.

Надо ли говорить, что они не заставили себя упрашивать, меня впихнули назад, Марианна протянула мне Флавия, в кузове было темно, я почувствовал, что в нем люди, кто-то сказал, осторожнее, места больше нет, когда дверца захлопнулась, я услыхал истошный вопль Марианны, Флавий запищал, я был измученный и жалкий, грузовик тронулся, от толчка я сильно стукнулся о металлический косяк, потерял равновесие и полетел вверх тормашками на другие тела, на меня опять ругнулись, осторожней, тут битком, Флавий прибавил звук, в конце концов я уместился в углу, с грудничком на коленях, он описался и обкакался, он орал и звал мать, страшно даже подумать, что с ней сделали, мне как никогда казалось, что это дурной сон.

Грязный, вонючий кошмар.

Время от времени слышалось биип, биип, как будто кто-то баловался с клаксоном.

Довольно быстро я догадался, что людей, запертых в рефрижераторе, захватили в рабство, в услужение каким-то разбойникам, обосновавшимся в одном из замков в долине Луары, некоторые, похоже, радовались, упирая на то, что лучше быть сытым в плену, чем голодным на воле, текли часы, грузовик ехал все медленнее, ночь сменилась днем, сквозь дырки в кузове пробивался свет, вонь стояла чудовищная, многим пришлось ходить по нужде в угол, других рвало, мы задыхались в давке, вонючие трупы, едущие навстречу развязке, время от времени я представлял себе Марианну, к своему удивлению, я ей завидовал, что бы ей ни пришлось вытерпеть, она по крайней мере не сидела посреди этого кошмара, грузовик тащился как черепаха, то ли дорога была слишком изрыта, то ли по какой другой причине, Флавий уснул, а чуть погодя один человек задохнулся, икнул и захрипел, вскоре еще один, никто не обращал на них внимания, да и что мы могли поделать, но самое скверное началось, когда у мужчины лет сорока, здоровенного бугая, случился приступ безумия, он начал орать, что нахлебался по горло, что хочет говорить с командиром, пожалуйста, месье, позовите командира, удары так и сыпались вокруг, слава богу, до меня он не доставал, он сгреб за волосы соседа и, к моему изумлению, вырвал ему глаз: его ногти со всего маху вонзились в лицо бедняге, задыхавшемуся от боли, но что хуже всего, глаз еще висел на нервах, и этот зверь оторвал и раскусил зубами кровоточащий шар, такой ярости, ненависти я еще не видел, кого-то рядом со мной прохватил понос, прижимая к себе Флавия, я коснулся рукой его кожи, она была совсем холодная, я размотал одеяло, в которое он был завернут, и со страхом, насколько я вообще мог ощущать что бы то ни было, убедился, что он тоже умер, капут, маленькая белая кукла, почти уже окоченевшая, буйно помешанный схватил беднягу, страдающего дизентерией, и со всей силы ткнул головой в его собственное дерьмо; и тут грузовик затормозил, дверцы открылись, показалось растерянное лицо Марианны и давешний негр, он очутился нос к носу с психом, настоящим животным, гориллой, тот бросился на солдата и задушил его,

сдавил изо всех сил, казалось, голова негра взорвалась изнутри, я очертя голову ринулся вперед, крича Марианне беги, беги, другие тоже воспользовались случаем, нам вслед стреляли, но мы в мгновение ока очутились в небольшом лесочке, я, Марианна и труп малыша, завернутый в одеяло, я продолжал прижимать его к себе, словно он еще жив, к несчастью, это было не так.

— С ним все в порядке? — взвизгнула Марианна. — С Флавием все в порядке?

Похоже, ей заехали по морде, потому что щеки у нее распухли, что придавало ей особенно отечный и жуткий вид, а на надбровной дуге красовалась черная сочащаяся корка.

— В полном, — выдохнул я, — он умер.

По моим представлениям, это было лучшее, что с ним могло случиться, меня словно пронзили копьем в спину, труп в одеяле казался все тяжелее и тяжелее, просто как камень.

— О, спасибо, — прорыдала она, — благодарю тебя, Господи, — она вырвала у меня из рук мертвое тело, — какой ты красивый, Флавий, мама здесь, мама с тобой, лапочка моя, маленький мой, — и она расстегнула свою рваную блузку, чтобы дать ему грудь.

Мы находились, похоже, в зоне возделанных полей, наверное, укрупненной, когда-то ее бороздили армады тракторов и комбайнов, а теперь она заросла гигантскими сорняками, некоторые были красноватого цвета, все это напоминало марсианский пейзаж в фантастических романах сороковых годов, никаких сельхозработ здесь явно не велось.

Она уселась на камень и пыталась заставить ребенка сосать, я хотел было повторить: он умер, ты что, не видишь, он умер, — но, в сущности, какая разница, лопатки раскалывались от боли, я тоже сел, наверное, мне бы тоже полагалось хотеть есть и пить, но после пресловутой телепортации я был в буквальном смысле под анестезией.

— Дитятко мое, — сюсюкала Марианна в одеяло, — милое, чудное мое дитятко.

Мне хотелось растянуться на земле, лежать неподвижно и смотреть на облака, впервые за долгие месяцы я снова видел нормальное небо, но вдалеке затрещала автоматная очередь, Марианна вся сжалась от ужаса, я скорее потащил ее вперед, ее и мертвого ребенка, нашего мертвого ребенка, поглубже в чащу, повинуясь какой-то странной части моего "я", нечувствительной к боли и к горю, не обращающей внимания на ужас, на то, что мне бы действительно надо было признать себя побежденным и ждать развязки, а не поторапливать Марианну, шевелись, скорее, вперед, давай, ради Флавия, за нами послышался какой-то шум, хрустнула ветка, я не успел обернуться, как Марианна вырвалась и теперь бежала в сторону, прямо противоположную той, где, как мне казалось, можно было попытаться скрыться, подальше, в посадках, а негр уже целился в меня из своего автомата, не надо, крикнул я, оставь нас в покое, будь любезен, я больше не могу, я действительно больше не могу, учитывая нынешние обстоятельства, это было просто смешно, будь любезен, словно подобные глупости были еще в ходу, он нажал на гашетку, и я почувствовал, как пули проходят сквозь меня, странное ощущение, что внутри у тебя дырки, а потом они затягиваются, как резина, черномазый ошалело глядел на меня, будь любезен, повторил я, оставь меня в покое, но уже увереннее, он заколебался, а потом я сказал кыш, уходи, кыш, подумав: я бессмертен, он в меня стрелял, а пули прошли

насквозь, не причинив вреда, — я пошел, прихрамывая, меня по-прежнему мучила стреляющая боль в спине, он стоял в замешательстве, теперь я был уверен, что нахожусь посреди паззла, но у меня не хватает деталей, чтобы его собрать, а потом в моем сознании вдруг всплыла истина, пережитое мною было точь-в-точь комикс, поразивший меня в детстве, про Мандрейка-волшебника, его там взяли в плен, в рабство, и везли на грузовике, а ему удалось бежать, и когда охранник в него стрелял, он увертывался от пуль благодаря своему дару отводить глаза, открой глаза, кричала Марианна, открой глаза, Флавий умер, и тут я разом пришел в себя, мы все еще были в Париже, никто нас никуда не телепортировал и тем более не увозил на грузовике, зато, это я заметил сразу, Флавий, неподвижно лежащий на руках у Марианны, и в самом деле умер, и я закричал, закричал как резаный, как если бы все, что я пережил, весь ужас, весь страх сошлись в одном кошмарном, чудовищном факте: мой сын умер, а мы еще живы.

Дальше я помню только вереницу каких-то мерцающих образов, реальность словно распалась, разрубленная на куски огнями, заливавшими прежде ночные бары, в их свете каждое вихляющееся тело, каждое наше движение становилось слепящим, не связанным с другими мгновением, вот Марианна повторяет как заклинание, нет, он не умер, он просто уснул, это только искус, это пройдет, он воскреснет, надо подождать, главное не терять надежды и мужества, вот мы оба, бедняги, как в моем сне, тащим этот груз через разоренный пригород, каким-то чудом избегая шаек грабителей и полоумных, что бродят в округе, согбенные, раздавленные жестокой судьбой родители покойного Мессии, пока еще, хотим мы или нет, не вернувшегося из мира мертвых, мы умираем от жажды, голода, Марианна на грани помешательства, дрожит в лихорадке; не знаю, как это случилось, но мы в конце концов приземлились на мостовой, на автостраде, словно то, что, как мне казалось, я пережил, было лишь прообразом уготованной нам мрачной судьбы, но на сей раз темноту не прорезал никакой свет фар, грузовик не приехал, мы были одни, на горизонте занималось что-то вроде сероватой зари, он оживает, бормотала Марианна, он оживает, я чувствую.

Мы остановились, я приложил ухо к окоченевшей, ледяной груди, заранее скорбящий, нет, Марианна, мне очень жаль, но вместо этого я поднял голову и кивнул, да, ты права, по-моему, там что-то смутно слышится, она обливалась потом, вид у нее был безумный, она перекрестилась и поклонилась, бесконечно повторяя, встав на колени, благодарю тебя, спасибо, спасибо, по дороге мы нашли немного воды и какие-то травы, мы жевали их до тошноты, я знала, бормотала Марианна, мне об этом поведал голос, мы неподвижно сидели у маленького тельца, которое, несмотря на обнадеживающие признаки, еще не совсем вернулось к жизни.

Ожидание затянулось, было уже поздно, Марианна без устали суетилась вокруг Флавия, молилась, пела, жестикулировала, произносила что-то непонятное по-латыни, интересно, где она этого нахваталась, меня начинало тошнить, мне хотелось сказать ей, прекрати, он умер, надо оставить его в покое и похоронить, мне казалось, что он начинает попахивать, разлагаться, когда снова стемнело, она принялась визжать все громче и громче, мало-помалу это превратилось в настоящий крик, прости нас, Господи, мы порождаем смерть, прости нас, Господи, еще раз прости, потом ее голос прервался, она больше не могла издать ни звука

и наконец, бросившись на землю, стала раздирать грудь, рвать на себе волосы, хоть я и был усталый, опустошенный, бесчувственный, внутри у меня все перевернулось, и было от чего.

Конечно, луны не видно.

Небо затянуто облаками.

Не тепло и не холодно.

Я вконец измочален и выдохся.

Марианна умерла незадолго до рассвета, она дошла до предела, все время рыдала, а потом умолкла, как раз в ту минуту, когда я вспоминал свой сон, грузовик, изнасилование, бугая, что вырвал у соседа глаз, и спрашивал себя, может, действительно существует множество миров, параллельных измерений, как в научной фантастике, где герой несколько раз переживает в разных вариантах одну и ту же ситуацию.

Я толкнул жену в бок, чтобы убедиться, что она действительно мертва, потом подождал, а вдруг я снова проснусь, всплыву в ином бытии, чтобы еще раз, с какими-то новыми подробностями, пройти через те же ужасы.

Я был за гранью любых эмоций.

Наверно, тут случился какой-то провал в пространстве и времени, разрыв той последовательности, с какой мы обычно имеем дело.

Я спросил себя, а зачем, собственно, рисовать.

Еще я понял, что раз они умерли, значит, и речи быть не может ни о какой Новой Богоматери, ни о каком Мессии, а следовательно, и о покровительстве свыше. Я понял, что скоро тоже умру, и великое смирение овладело мною.

Я глядел на плотную массу облаков, на пейзаж вокруг — что-то вроде песчаных ланд, окаймленных вдали скелетами кустов, — и на ворон, круживших над нами, — над двумя трупами и надо мной, все еще живым, — их полет завораживал. Я был почти в беспамятстве, уже вполне готовый окончательно провалиться в поджидавший меня бездонный колодец, но каждый раз в момент, когда я уже почти падал, передо мною вдруг возникал симпатичный домовой, встряхивал меня, не спи, паренек, домовой, как в детских книжках про гномов, я нарисовал такого несколько лет назад для одного журнала, он отряхивал мне рубашку, помогал сесть, Марианна поднималась и брала на руки Флавия, пахло горячим кофе, звучала музыка, Боб Марли, очнись, подбадривал домовой, гляди в оба, тебе идти дальше, я с усилием пришел в себя, вороны сели и клевали мертвые тела, а я был как рухнувшая на песок глыба льда.

Я уже чувствовал щекотание перьев, а они, бесстыжие, весело, как заведенные, продолжали свое дело, здоровенный грач клюнул меня в щеку, на грудь вскочила ворона, за ней сорока и воробей, птицы, большие и маленькие, остекленевший глаз Марианны, недвижный, растерянный, мертвый глаз глядел на меня с укором, мне удалось пошевелить пальцами, парализованное тело, казалось, налилось свинцовой тяжестью, у меня не было сил, моя рука сантиметр за сантиметром подползала к лапам вороны и в ту самую минуту, когда та готовилась совершить непоправимое, выклевать глаз трупа, я сгреб воздух своими скрюченными когтями и ухватил ее за глотку, изо всех сил, как одержимый, резко вскочив, вся прочая летучая живность снялась с места, а эта гадина вырывалась и била крыльями, стараясь меня оцарапать, но я держался молодцом и, почувствовав, что она действительно задыхается, нагнулся и впился зубами ей в шею, прямо в перья, во рту был вкус пыли и зверя, я

стиснул зубы и почувствовал, как меня заливает горячая жидкость, эта сука орала, испуская дух, а я жадно впитывал каждую частичку ее ускользающей жизни, заглатывая жилы, кровь, наполнявшую меня своим кипением, ублюдки, зарычал я на птиц, ублюдки, всех вас убью, тут в моей голове мелькнула нелепая мысль, голубушка, как хороша, какие перышки, какой носок, и, верно, ангельский быть должен голосок, Ангел, настойчиво повторил голос, Ангел, Феникс[1], и я расхохотался, я сожрал живую ворону, проглотил ее, словно червячка заморил, сильно проголодавшись. Прочая погань глядела на меня, держась поодаль, раз и нету, повторил я в их сторону, раз и нету, сейчас всех живьем сожру, я все хохотал и не мог остановиться, у меня началась икота, и во рту сразу появился мерзкий привкус.

Настал вечер, а я все еще сидел там, не в силах двинуться с места, куда мне податься, что делать, может, я последний остался на земле, да, скорее всего это так, все остальные ушли и бросили меня одного, единственного, в конце концов я улегся подле Марианны и Флавия, желая только смерти или небытия, я хотел исчезнуть и не мог, наутро я все еще был на этом свете, и раз уж приходилось с чего-то начать, я дотащился до лесочка и стал есть листья, живая ворона и чудная сырая трава, экий пир, милые мои, а потом взялся за то, чего боялся и избегал накануне, за погребение мертвых, им нужна достойная усыпальница, могила, им нужна могила, всем могила, погребение мертвых — одно из начал человечества, в голове все мешалось, вырыть яму, руками, пальцами, рыхлый песок был только на поверхности, потом сразу шла твердая земля, я видел поодаль их обоих, как они лежат здесь годами, отданные во власть разным кошмарам, гниющие, потом их побелевшие кости, руки у меня были в крови, пальцы ободраны, временами во мне закипали слезы ярости, ну почему, зачем, какой смысл, если Флавий не был Мессией, то на кой ляд вся эта комедия, когда наконец я смог подтащить их к последнему приюту, во мне не осталось ничего, кроме омерзения и тошноты, я, как последний мерзавец, собственными руками похоронил семью, я больше ни во что не верил.

Ставить крест, да, впрочем, и что угодно, мне было противно, но я все же решил выложить кружок из камушков, кружок или нуль, я расположил гальку примерно на уровне сердца Марианны, птицы все выжидали, мерзкие стервятники подстерегали добычу, мне хотелось увидеть море, поесть рыбы, полежать на пляже, в шалаше, развести костер из выброшенных на берег, высохших на солнце деревяшек, до свидания, сказал я могиле, до свидания и спите спокойно, надо признать, не самая удачная эпитафия, и пошел, ковыляя, последний живой обитатель погибшей планеты, пошел, ковыляя, и все-таки у меня была мысль добраться до Луары, а потом идти вдоль реки до самого океана, в сущности, не доказано, что какие-то районы бедствие не обошло стороной, что где-нибудь не сохранились осколки цивилизации, а в одиночку, без этой парочки на горбу, у меня было больше шансов найти выход из положения.

Я должен найти выход из положения.

И в тот момент, когда я формулировал свою мысль, до меня дошло, какой это все бред.

Передо мной простиралась пустыня.

1. В басне Лафонтена Лисица сравнивает Ворону с фениксом.

Унылые ланды с чахлой, облезлой растительностью, и ни души на горизонте, даже ворон и тех нет, пустота и одиночество.

Я исхудал.

Я был истощен и грязен.

Я сумею найти выход, повторил я себе.

Чего не бывает.

Я сожрал птицу живьем.

А моя жена и сын не выдержали и умерли.

Теперь я уже нисколько не сомневался в жестокой истине, в самом деле, никакие мы не Избранные, и не Мессия, и не Новая Богоматерь, и не рыцарь, сопровождающий их, гарцуя на коне.

Ветер хлестнул меня по лицу. У меня не было особого выбора, я попробовал перенести вперед одну ногу, потом другую и как умел, хромая, опираясь на подвернувшуюся палку, снова двинулся вперед.

Мир вокруг казался странным, затаившимся.

Мне виделось, что земля вымирает, цикл завершен, и люди потрясенно глядят, как вокруг воцаряется полярная стужа, парализуя их, цепенеющих в горьком изумлении, до конца не верящих в злую судьбу, ледяной холод простирался все шире, накрывал все, застилая солнце, пальмовые рощи и радость жизни, люди ходили в странных одеждах, нечто среднее между марсианами и древними римлянами, затерянный континент доносил сквозь века утраченную память о себе, образы были четкие, как на большом телеэкране, Гренландия, исчезающая цивилизация, и все же я продолжал шагать вперед, наполовину уйдя в свои странные видения, шагать как автомат к какой-то неведомой цели, к Луаре или к морю, к океану или прямиком к пылающим адским кострам, к извечным мукам и страданиям.

Невидимый пес бросился на меня, вцепился в ногу слюнявыми клыками, пес, выпрыгнувший из эфира, он сразу пресек все мои попытки остановиться, загнал обратно, на дорогу, полную призраков и странных людей, они шли мимо, не обращая на меня внимания, куда-то вдаль, погруженные в собственные терзания, и я вдруг понял, в чем смысл боли, одна из ее функций — позволить нам присутствовать в этом мире, целиком и полностью, никуда не ускользая, без пробелов, быть здесь целиком, так, чтобы тело и душа слились в едином крике, я снова хотел пить, горло было один невыносимый ожог, какая-то ведьма выдернула меня из толпы и протянула фляжку, колдовство помогло, ибо через несколько минут моим глазам предстал колодец, совершенно неуместный образ посреди степи, ведро было привязано, мне оставалось лишь размотать веревку, просто, как в рекламе маленьких сельских радостей, прошу, доставайте воду из колодца, я пил, Господи, как не пил ни разу в жизни, так, словно никогда не пробовал такой восхитительной, бархатистой жидкости, вода, сладчайший из нектаров, я разделся догола и окатывался, отмывался, отскребался, наконец-то я чистый, не такой, как после хорошей ванны с мылом, но все же я почувствовал себя гораздо лучше, ко мне вернулась толика надежды и мужества.

Я подождал в тревоге, не рассеется ли этот новый мираж, но ничего подобного не случилось, ни дыма, ни прочей абракадабры, колодец был вполне реальный, чуть дальше шла асфальтированная дорога, виднелись развалины фермы, разрушенной явно не так давно, среди обломков я нашел топор и большой нож, незримый пес явился опять, а за ним ведьма, она подавала мне знаки, вперед, пошел, за работу, и я пустился

дальше, голова была пуста, я был как паяц, болтающийся при каждом толчке, в помрачении, на сей раз граничащем уже с утратой самого себя, того, что я всегда считал стержнем своей личности: способности принимать решения.

Дорога вилась по равнине, точно длинная черная лента, осторожно положенная поверх полей, прежде, должно быть, изобильных и плодородных, временами у меня были галлюцинации, мне виделись возникшие из пустоты гигантские портики, необъятные металлические воротца для крокета, под ними непременно надо было проскочить, я увертывался, и тут появлялся громадный деревянный шар, я различал на нем все сучки и трещинки, он катился на меня, заставляя бежать, бежать сломя голову, я и без того устал, я хотел сойти с дороги, с меня хватит, но незримый пес бросался на меня, ведьма пихала метлой, и мне пришлось пройти под первыми воротцами, немедленно включился какой-то сложнейший, дьявольский механизм, мои родители и сестра висели на крючьях, когда я пересек роковую черту, они упали вниз, на острые колья, их немые вопли оледенили меня ужасом и страхом, шар позади меня остановился, воротца не пропускали его, а я бросился дальше, вглубь, у сестры пика вошла под подбородок и вышла у носа, ее окровавленное лицо приобрело гротескное выражение, я бежал, бежал так быстро, как только мог, бежал и кричал.

Вокруг полыхали электрические разряды, раздавались крики и стоны, небо над моей головой набрякло грозой, напряжение в столько вольт, что нож и топор, которыми я все размахивал, казалось, одновременно и кривились, и уплотнялись, на моем пути толпились причудливые персонажи, мои кузены, наш сосед, которого мы забавы ради дразнили, когда я был маленький, и который дал мне пощечину за то, что я стащил велик его дочки, мясник, на которого я нападал с пластмассовым мечом, весь этот мир выглядывал и говорил мне ку-ку, словно зрители чудовищного Тур-де-Франс, старики, сотни стариков, которых я ограбил, обобрал, напичкал тысячей лживых россказней, вся изреченная чепуха возникала зримо, плавала в воздухе, под вечер гонка кончилась так же внезапно, как и началась, я смог передохнуть в гостинице-баре-ресторане, естественно, пустом, но там оставалась заначенная консервная банка и немного апельсиновой фанты, я уснул без сновидений, вымотанный настолько, что даже думать было невозможно, а наутро вся эта петрушка повторилась, за работу, за работу, ведьма щипала меня, а пес кусал, за работу, подонок, за работу, я попытался ударить их топором, но лезвие прошло сквозь пустоту, мой мир населяли лишь призраки, воспоминания и видения, я перешел в иное измерение, в безумие, собачьи клыки снова разодрали мне лодыжку, и я опять побежал.

Чистилище — должно быть, я каким-то загадочным образом оказался в этом странном месте, описанном католиками, в преддверии ада, напрасно я тужился и напрягал память, мне не удавалось вспомнить, что точно имеется в виду, то ли после него обязательно следует самое худшее, то ли рай тоже возможен, беги, мразь, беги, люди на обочине, моя собственная семья, мои друзья, швыряли в меня мусором, камнями, дразнили, беги, падаль, беги, подонок, покуда я, на сей раз действительно без сил, не затормозил, меня ждала верная смерть, меня задавит, но лучше так, чем этот бред, я обернулся, шар, что преследовал меня, был уже не из дерева, а из плоти, плоти всех, кого я видел со вчерашнего

дня, сплавленной в блевотную жижу, в чудовищную мертвецкую вонь, оттуда торчали руки, головы, с высунутым языком, задыхающиеся, слипшиеся в плотную кашу, из которой время от времени, в зависимости от наклона шара, возникали черты тех несчастных, что гнались за мною.

Но хуже всего было то, что мерзкое, неописуемое ощущение смерти и разложения шло не извне, не от всего этого кошмарного сплетения трупов и умирающих, но из самых сокровенных глубин моего "я", моей изначальной сущности, приходилось с грустью признать, да, я попросту проклят, осужден на адское пламя, обречен вечно гнить изнутри, мне конец.

Я даже не представлял, что можно так устать.

На ум пришла мысль о карме, и я спросил себя, каких же пакостей надо было мне натворить в прошлом, чтобы нынче докатиться до такого состояния.

К полупрозрачным привидениям, по-прежнему несущимся по дороге, добавились саддху, почитатели Шивы, чье присутствие я ощутил в ту ночь, когда спал среди трупов.

Шар из расчлененной плоти покатился быстрее, я хотел было остановиться, чтобы он раздавил меня и я наконец исчез, но страх пересилил, и я нечеловеческим усилием еще прибавил скорость.

Какая-то сила завладела мной, подменила собой мою волю.

Этот кошмар длился неделю. За семь дней я повидал всех, кого встречал с момента своего рождения, и еще множество других людей, незнакомых, ужас начинался с утра, за работу, за работу, и кончался вечером, с паузой для второго завтрака, обеденный перерыв, ха-ха, всякий раз мне полагался небольшой сандвич или зверушка и немножко воды, какая-нибудь крыса, подброшенная Святым Духом, заботящимся, чтобы жертва не умерла с голоду, строгий минимум, только чтобы выжить, вечером я проваливался в черную кому, которую иногда прорезало смутное ощущение, что я ореховая скорлупа и какие-то чужие силы раскалывают меня пополам, ко мне подлетала тарелка и выбрасывала за борт веревочную лестницу, помогите, я вас умоляю, помогите, пожалуйста, но инопланетяне оставались глухи к моим мольбам, так или иначе они уже улетели, скорлупа закрывалась, и снова начиналась страшилка с ведьмой, она трясла меня, за работу, за работу, и я опять бежал кросс.

Моя жизнь, моя судьба разматывалась перед глазами, словно бесконечная лента страданий, адский моток кальки, на которой с жестокой ясностью отпечатывались все до единого закоулки моего бытия, *чистилище, и искупление, и очищение, и страдание, кои в то же время суть радость, ибо ничто, кроме Небесной радости, не сравнимо с радостию душ, сгорающих в очистительном огне любви*, чей-то зычный голос орал мне это в уши, обрывки печатного текста, неизвестно откуда взятого, возникали у меня перед глазами, *дабы достигнуть блаженства, должно переступить порог смерти, нельзя быть Богом, не отринув прежде самого себя*, эта фраза возвращалась снова и снова, словно лейтмотив, мантра, беги, беги и думай, повторяй священные заповеди, у меня даже не было сил послать их в задницу.

А потом, слава богу, поскольку все имеет конец, в том числе, видимо, и вся та мерзость, что предшествует аду, полупрозрачные силуэты привидений вдруг исчезли, чудовищный шар остановился, и я продолжал

мчаться вперед уже без них, вопли ведьмы постепенно затихли, и сельская местность, походившая вначале на Сибирь после ядерного взрыва, вновь обрела краски, по обычному календарю сейчас должен был быть конец лета, и в самом деле, там и сям стояли деревья, яблони, сливы, и на них — у меня даже свело челюсть от слюноотделения — висели фрукты, спелые фрукты, так и ждавшие, когда я протяну руку и сорву их, я чувствовал себя словно после болезни, мне, конечно, досталось, но теперь все пойдет путем, жизнь вновь вступает в свои права, осложнения после тяжелого гриппа испарялись словно по мановению волшебной палочки, я это чувствовал нутром.

Передо мной была деревня, кокетливая деревенька, пышущая безмятежностью и радостями жизни, типичная гордость наших дивных французских полей, с вековыми домиками, виноградом на стенах и площадью, где, наверное, так хорошо играть в шары.

— Есть тут кто-нибудь? — неуверенно спросил я. — Алло, есть тут кто живой?

Но ответа не было, для начала я стал объедаться сливами, я ощущал себя живым мертвецом, за время путешествия сквозь ад я изрядно наголодался, а потом напился из колонки, еще одно маленькое чудо в этой поразительной развязке, насос отлично работал, два-три качка, и из него вырывался гейзер, я смог умыться, напиться, как хорошо, хоть солнца по-прежнему не было, стояла теплынь, мирный конец лета, предвещавший скорую ласковую осень.

Я никак не мог поверить, что все еще жив.

Один дом казался повыше других, большой, буржуазный, к тому же на решетке висела вывеска нотариуса, я осторожно вошел внутрь, по-прежнему крича: есть кто-нибудь? есть тут кто? Мне вовсе не улыбалось получить пулю или удар вилами, но ответом была лишь мертвая тишина, я явно один в деревне-призраке, похоже, здесь все осталось как раньше, входная дверь заперта, но я прошел садом и, выдавив окно, влез на нижний этаж, первое, что я увидел, были книги и этажерки, книжные шкафы с бесконечными рядами переплетов, они занимали все стены, и в соседних комнатах тоже, там и сям висели большие картины, хорошие картины, интересные, от них исходило странное очарование, наверное, на библейские сюжеты или мифологические, хоть я и подошел поближе, но так и не понял точно, какие сцены имелись в виду, в конце концов я опустился в большое, обитое кожей кресло у камина и, приметив сервировочный столик с бутылками спиртного, налил себе коньяку.

Я сделал глоток и попытался привести мысли в порядок.

Подумал о Марианне, о смерти ее и Флавия.

В первый раз мне привиделось, что я их убил, зарезал, а потом, когда мы уходили из Парижа, на меня накатило что-то вроде кошмара: Марианну насиловали, а Флавий опять-таки умирал.

А когда они умерли, самой настоящей смертью, я собственными руками вырыл им могилу.

Я допил стакан и налил себе еще, мало-помалу в мое сознание проникала истина.

Переварить эту истину было трудно, однако сомневаться не приходилось, конечно, все это устроил я сам, и смерть близких, жены и сына, а может, и все остальное, все эти катастрофы и конец света.

Было вполне очевидно, что бессознательное желание убить Марианну и Флавия уже давно подспудно жило, бродило в недрах моего созна-

ния, разве мне не случалось по сто раз на дню желать их смерти, воображая, что с ними произошло самое худшее?

Покончив с коньяком, я взялся за бутылку бурбона, виски было тепловатым, но, к сожалению, льда под рукой не оказалось.

Что до конца света, то меня временами преследовала одна из написанных в прежние годы картин, я изобразил рождественский семейный ужин, задумав передать ощущение, что это последнее Рождество перед Апокалипсисом, перед Армагеддоном, впрочем, она так и называлась, "Последнее Рождество перед концом света", и как раз конец света вскоре и наступил, тут не поспоришь, да и с Левиафаном, я прекрасно помню, как, глядя на тех бедолаг, что вляпались в эту историю с Невинными в Бельвиле, подумал, вот было бы занятно, если бы чудище явилось и утащило их, а через несколько недель наблюдал это зрелище собственными глазами. Так что к четвертому стакану виски мне стало абсолютно ясно, ясно как дважды два, что да, я просто-напросто Бог, и именно мой больной мозг, свихнувшийся по непонятной пока причине, и заварил всю кашу, сотворил землю с ее населением, а потом обрек часть этого всего на верную гибель.

Оставалось понять, какого черта я тут делаю. Если я и в самом деле Бог, а вероятность этого, по-моему, составляла практически девяносто восемь процентов, то с чего мне вздумалось лезть прямо волку в пасть?

В камине было полно сухих, готовых вспыхнуть дров, алкоголь обострял мои умственные способности, я сроду не чувствовал себя таким проницательным, поднося спичку к груде полешек, я ясно понял смысл своего присутствия здесь: я создал землю, людей, и в ответ на упреки, которые не преминули обрушить на меня остальные боги, завидующие черной завистью моему творению, решил воплотиться, дабы доказать правильность своей затеи.

Тю-тю, подумалось мне, ничего себе, блин, затея. Я был совершенно ошарашен.

Я попытался глубоко вздохнуть и успокоиться.

Я Бог, творец мироздания, и сижу тут, как последний кретин, по уши в дерьме.

Как последний кретин, елки-моталки.

Я словно воочию видел все гадости, все низости прочих богов, мое творение было слишком прекрасным, слишком совершенным, естественно, оно вызывало лишь раздражение и желание мелко напакостить, мне не следовало принимать этого решения — воплотиться и стать обитателем собственного шедевра, — разве что мне бы приставили нож к горлу. От огня и алкоголя становилось все жарче. Я отставил стакан, настало время взять ситуацию в свои руки, голова моя повалилась на спинку кресла, и через минуту я уже спал, сжав кулаки.

Электра
Я вам нужна, иль уж окончен бой?
Корифей
Кровавому стенанию мы внемлем...
Электра
Чего ж я жду... Иль нож мой не готов?[1]

1. Еврипид. Электра / Перев. И. Анненского.

И был еще Улисс, подожженные корабли, жертвенный бык величиной со слона, когда лезвие вошло в его плоть, оказалось, что он полый и на самом деле это Троянский конь, когда я проснулся, во рту у меня все слиплось, огонь погас и в комнате витала какая-то непонятная атмосфера, вокруг меня, в окружающей тишине, стояли люди, незримые статуи, уставившиеся на несчастного, обреченного злому року, а потом я проснулся окончательно и вспомнил, кто я, собственно, такой, Творец Миров, Господь Вседержитель, и от этой мысли на душе снова стало покойно.

Во дворе я опять привел в действие насос и окатился ледяной водой, занимался день, я обошел всю деревню, можно подумать, что всех ее жителей каким-то колдовским манером утащили марсиане, бакалейная витрина не убрана, сгнившие в ящиках овощи и фрукты свидетельствовали, что исчезновение было мгновенным и загадочным, я вышиб дверь, что ни день, то разбитое стекло, прошептал мне внутренний голос, но я не обратил на него внимания, полки были уставлены консервами, джемами и всяческой провизией, я вернулся, груженный припасами, в особняк, все еще в тумане от похмелья и не оставлявшей меня уверенности в том, что я — выходец с какого-то Олимпа, далекого и все же, возможно, достаточно близкого, во всяком случае настолько, чтобы не терять надежды поскорей туда вернуться.

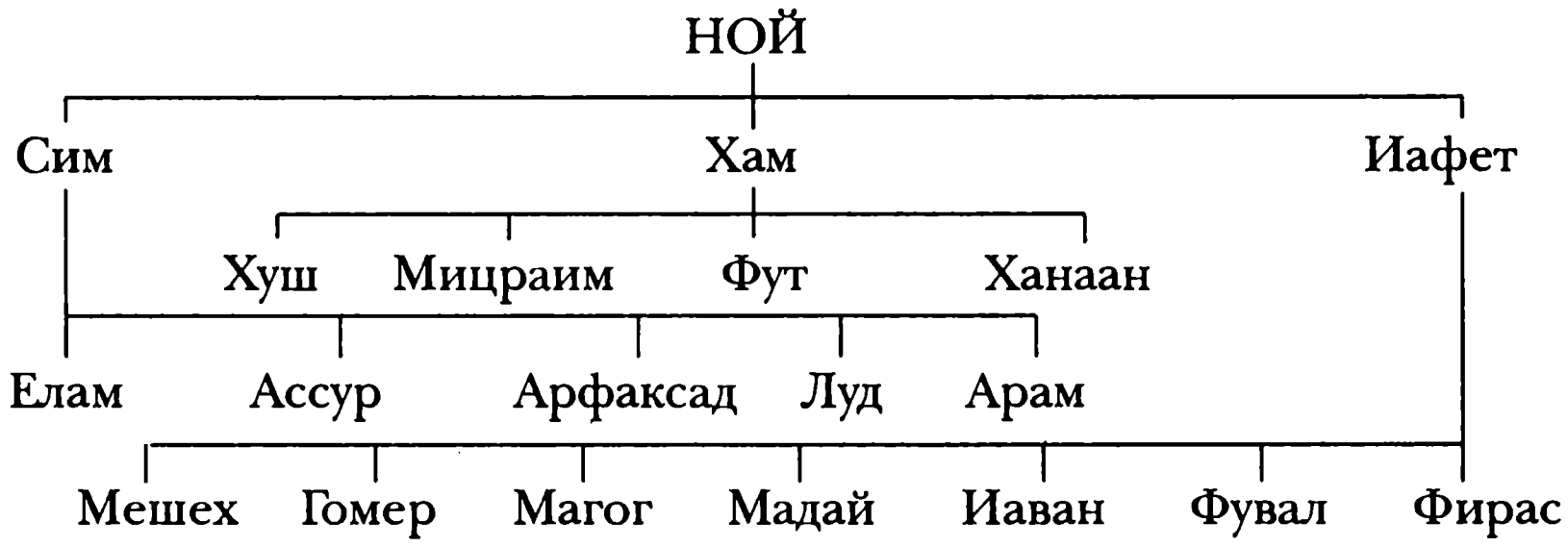
Под раковиной я нашел два газовых баллона, по-видимому полных, потому что, когда я повернул вентиль и пощелкал пьезозажигалкой, огонь вспыхнул сразу; теперь я мог вскипятить себе воду для макарон. В одной руке у меня был пакет спагетти, в другой томатный соус, конечно, хорошо бы еще луку и немножко сыру, грюйера и пармезана, но сойдет и так, сейчас я буду есть горячее, одно из любимых своих блюд, спагетти болоньезе, ну да, я кивнул, и у Вседержителя есть свои слабости, в глазах у меня стояли слезы, вода закипела, и я вдруг обнаружил, что плачу, обычно мне их готовила Марианна, не слишком разваренные, с поджаристым луком, меня охватила жуткая печаль, ну почему они умерли, почему я не предотвратил такое несчастье, грусть навалилась внезапно, невыносимой волной, я в два счета проглотил свою тарелку спагетти, мысль о них была слишком ужасна.

Я поел и машинально помыл посуду, дряхлый старик, ожидающий знака, зова, чего-нибудь, удара грома, вся эта история, что я Бог, уже казалась мне, прямо скажем, диковатой, может, я и Бог, а может, и нет, это тоже вполне вероятно, но, как ни крути, я все равно свалял дурака, Бог, заблудившийся на земле, словно турист без паспорта и кредитной карты посреди Сахары, да в придачу с целой кучей врагов, не имеющих ни малейшего желания видеть меня снова в составе высшей администрации, что уж тут веселого, если же я всего лишь бедолага или даже последний из бедолаг, гибнущий под оглушительный грохот рушащегося неба и судеб, тогда и вовсе не до смеху. Я вернулся обратно в столовую и взял первую попавшуюся книжку в библиотеке, ища знак, послание, я раскрыл ее наудачу и стал читать.

"Вот родословие сынов Ноевых: Сима, Хама и Иафета..."[1]

Но дальше череда потомков этих героев Книги Бытия не описывалась в литературной форме, а была изображена в виде генеалогического древа.

1. Ср. Быт. 10:1.



Так, в виде схемы, в книге были записаны тысячи имен, имен иной эпохи, явившихся из глубины веков, Авимелех, Пикол, Шева, Гаваил, Иоктан, Уза, Хацармавеф, у меня стучало в висках, я схватил другой том, а потом еще и еще, везде было одно и то же, только имена, даты, пересекающиеся графики, развертывающиеся, сколько хватает глаз, карты, вереницы линий и точек, сведенные в неумолимую, твердую последовательность, поколение за поколением, уверенная поступь мира, его мерный шаг к последнему дню, я залез на стремянку, стоящую у полок, и сбросил вниз стопку, доходившую до потолка, страницы, падая, раскрылись, и на ковер выпала открытка с изображением исполинских статуй, идолов с острова Пасхи, я сказал себе: исполины, мы дети исполинов, и на меня напал нервный смех, по-моему, я был на грани помешательства.

Здесь были генеалогии, восходящие ко временам античности, Древнего Рима, Средневековья, короли, простолюдины, люди известные и не очень, у каждого имени стояли даты, у каждого были указаны предки и потомки, иногда цепь прерывалась пробелом, имя человека по каким-то загадочным причинам стерлось навеки, избежав Страшного суда либо попросту растворившись, растаяв в эфире и небытии.

Еще там были микрофильмы, картотеки, штабеля коробок в других комнатах, громадный компьютер с набором дискет и видеофильмов, занимавших целую стену, генеалогическая память мира, тайно хранящаяся в городке на берегу Луары, гора, воздвигавшаяся медленно, кропотливо, свидетельство правивших нами вековечных циклов, — если, конечно, в этом доме жил не полоумный, не маньяк, вычерчивающий день за днем, через долгие вереницы человеческих рождений и смертей, свою собственную родословную.

Во всех этих грудах не оказалось ни единой книги, ни единого журнала, разве что полная подборка специальных изданий по проблемам наследования, нотариальной деятельности и тому подобной тематике, и еще на ночном столике рядом с кроватью, на втором этаже, должно быть в спальне бывшего хозяина, роман из Черной серии, "Корни зла"[1], его заглавие интуитивно показалось мне точным отзвуком всего остального, этой мешанины существований, сведенных к фамилии и дате и всплывающих из зыбких сумерек прошлого, дабы отпечататься, словно некий зловещий след, в списках безумца.

Корни зла.

Компьютер был IBM, довольно старенький.

Здесь на стенах тоже висело несколько картин, мрачных, на фоне багрового неба.

1. Роман Мориса Дантека. (*Прим. авт.*)

Над дверью красовалась табличка с надписью: “Кто хочет понять, как устроен мир, пусть посмотрит на волны океана, прибой подобен тому устройству, что безжалостно правит нами”, имя автора отсутствовало, мне фраза показалась претенциозной и несколько надуманной.

Корни зла.

Этот дом был вратами в чудовищную бездну, где громоздились души всех несчастных, когда-либо населявших землю.

Прихожая дома мертвых.

Канцелярия, секретарь которой прилежно записывал всех посетителей в огромную конторскую книгу, дабы в точности засвидетельствовать роль каждого, насколько аккуратно исполнили они ужасный долг, наш долг, и вообще, какой высший разум мог бы поручиться, что земля не есть ад какого-то иного мира, у меня пересохло во рту, руки тряслись, я схватил романчик из Черной серии и зашвырнул его в противоположный угол комнаты.

Корни зла.

А пошел ты в задницу, сказал я, плевать мне на тебя, дрянь поганая, это относилось к незримому нотариусу, к книге, а главное, к охватившему меня безумию, к моей чудовищной ярости, я еще несколько раз крикнул: дрянь поганая, дрянь поганая, я орал без остановки добрых четверть часа, круша все вокруг, я вам не дамся, не дамся, хорошо смеется тот, кто смеется последним, на губах у меня выступила пена, как у помешанного, истерика человека, задавленного обстоятельствами, в конце концов я успокоился и рухнул на ковер, шерстяной ковер со сложным узором, напоминавшим план таинственного лабиринта, до вечера я пребывал в прострации, парализованный каким-то тайным ядом, неясным ощущением, дом завладевал мною, превращал в свою собственность.

Не знаю, сколько времени я пролежал так, не знаю, был на дворе день или ночь, что происходило и что я действительно ощущал, по правде говоря, мне казалось, что само время куда-то сгинуло, порой случались смутные проблески сознания, а потом ковер опять вбирал меня в себя, я превращался в мотив лабиринта, застывая в удушающем беге, что сплетался с безумным бегом от настигающего шара, иногда опять всплывали чьи-то лица, и еще жажда, смертельная жажда, которую уже никогда не утолить до конца.

Пиип, звучал незримый сигнал, пиип, пиип, пиип, и в этот миг я ощутил, что живу, пиип, я сидел перед компьютером, бесконечные диаграммы разворачивались на экране, Моисей, Эней, какие-то имена, которых я не знал, Леонардо да Винчи, Людовик XVI, Адольф Гитлер, а потом пустота, я встал и нажал выключатель, люстра в комнате зажглась, с электричеством все было в порядке.

В доме кто-то был.

Кто-то следил за мной, ждал, готовый прикончить меня либо окончательно сдвинуть с катушек.

Я скатился через две ступеньки на первый этаж, там горел свет.

Пошли вы все в задницу, снова подумал я, плевал я на вас, кто бы вы ни были, а потом вспомнил, что я на самом деле Бог, Вседержитель, по чистой случайности оказавшийся в затруднительном положении, от этой мысли стало легче, я успокоился, я не уйду отсюда, заявил я уже увереннее, выходите, я жду.

Никто не вправе заставлять меня выносить то, что я вынес.

Я пошел на кухню и взял нож, я вас жду, пидарасы, выходите, коли не страшно. Волосы у меня стояли дыбом, я вжался спиной в стену, готовый принять последний бой, растерянный Зевс против тысяч восставших демонов Олимпа, мне смутно чудилось, что, если я умру, битва будет проиграна и моя душа, а может, и нынешняя моя божественная сущность исчезнет навсегда, испарится самым жалким образом под лучами полуденного солнца, на границе стратосферы.

Но никто не вышел, ни один злокозненный демон даже носа не высунул, наконец у меня заболели пальцы, сжимавшие рукоять кинжала, и я отложил его, ах, вы только время тянете, гады, войну нервов начали, если я действительно Зевс Вседержитель, то, спрашивается, кто затеял бунт, я не представлял себе, чтобы мои братья Посейдон и Аид были замешаны в заговоре, впрочем, предателем может оказаться кто угодно, ни за кого нельзя поручиться, ясно ведь, что за время царствования мне не раз чинили обиды. Плевал я на вас, шайка подонков, но раз никто так и не осмелился показаться, я решил пройтись, погода стояла теплая, и если бы не мертвая тишина вокруг и не отсутствие всего живого, ничто бы не указывало на то, что до конца света осталось несколько минут, а я — последний обитатель нашей планеты.

Я жадно вдыхал чистый воздух, пытаясь успокоиться, а потом вернулся назад, в свое логово, намагниченный его злыми чарами, внутри был черный туман, и никакой свет его уже не рассеет.

Раз тут было электричество, стоило поставить пластинку. Я открыл лазерный проигрыватель и взял первый попавшийся компакт-диск, музыки я не слушал со времен "Явы", "Явы" да еще жуткого, сверхъестественного "Завтра будет темно, завтра будет совсем темно", это когда Марианна была еще беременна, я закрыл крышку и нажал на Play, раздались первые ноты, невероятной, абсолютной чистоты, во всяком случае так мне показалось, они словно возвещали новую, райскую жизнь, уносили ввысь, заставляли меня звучать в унисон с этим небесным хором, если за мной сейчас явится смерть, то по крайней мере в душе моей будет царить блаженство, а в чувствах — гармония с миром, с космосом, космос, прошептал я, космос, космос, мне смутно помнилось, что в одной книжке герой, оставшись один после кораблекрушения, старался говорить вслух, чтобы не утратить речевых навыков, космос, пропел я, в-гар-мо-нии-с-кос-мо-сом.

В последующие дни я много слушал оперу, я обнаружил, из какого волшебного источника берется электричество, дом был оборудован солнечными батареями, если бы телевидение еще существовало, наверное, можно было бы включить телевизор.

Меня посещали странные видения, лунные пейзажи, где скалы, расположенные в каком-то древнем порядке (его значение оставалось мне недоступно), казалось, всплывали из морских глубин. Каждый менгир исполнял свою, строго определенную роль в зависимости от того, из каких минералов состоял. Одни были сланцевые, другие базальтовые, на их поверхности блестели кристаллы, и мне чудилось, что стоит лишь сделать усилие, и я постигну одушевлявший их разум. Возникавшие фигуры могли представлять какую-то сложную космогонию, карту звездного неба или грозно воздвигшихся древних идолов, но я знал, что это не так. Пружины мира, которые они изображали, подчинялись куда более непостижимой, тайной логике.

Я нашел тетрадь, дневник нотариуса, его записи позволяли взглянуть на череду безумных событий, что привели меня сюда, ввергли в этот кошмар, под иным углом, люди по-разному ощущали конец света, перелистывая страницы, я открывал для себя жизнь деревушки среди сотрясавших этот район катастроф, а попутно — тут никто бы меня не переубедил, в некоторых отрывках это просматривалось совершенно четко — потаенный след колдовских сил, толкающих меня к гибели.

Вторник

Нам удалось сорганизоваться без лишних пререканий, некоторые хотели уехать немедленно, укрыться где-нибудь южнее, но, обдумав положение, мы единогласно решили остаться. Слухи об аварии на атомной станции достаточно тревожные, отмахиваться от них нельзя, поэтому мы договорились, что по первому же сигналу (у Шарля-Жана есть счетчик Гейгера, говорят, с его помощью мы узнаем, когда опасность будет действительно серьезной) деревня эвакуируется. Противоядия на йодистой основе заготовлены. Не знаю, хватит ли мне времени завершить начатую работу.

Среда

Мы отбили атаку варваров. Трое убиты, мы их сбросили в реку. Одни думают, что они больше не вернутся. Другие говорят, что вернутся.

Пятница

Весь день расставлял книги в библиотеке, пусть даже настает последний час, мы должны быть готовы, мы обязаны оставить Ему дом в полном порядке.

Мы обязаны оставить **Ему** дом в полном порядке...

Они знали, что я скоро приду.

Они знали, что я скоро приду, и считали своим долгом завершить выполнение миссии, которую я на них возложил, расписать на карточках генеалогию человечества, ветвящиеся экспоненты Истории, от Адама и до конца, до **меня самого**.

Если только это не заблуждение, не ловушка, устроенная моими врагами, дабы поставить меня перед горькой ответственностью за свое безумное творение, тысячелетние страдания и боль, расположенные в неумолимой последовательности, от великих строек фараонов до христианских мучеников и прочих концентрационных лагерей, меня вновь охватила жестокая тоска, да, я действительно Бог, но Бог сумасшедший, задумавший нечто бредовое, страшное, отдающее мегаломанией: рождение Вселенной. Я перебрал в уме все возможные гипотезы и не нашел иного рационального объяснения всему этому безумию.

Последняя запись в дневнике была помечена июнем, судя по тому, что я прочел, пресловутая атомная станция, должно быть та, что в Орлеане, в конечном счете действительно взорвалась, и ветер понес ядовитое радиоактивное облако к океану, вдоль Луары, жители деревни, до сих пор не поддававшиеся окончательному хаосу благодаря почти полной автаркии, рассеялись кто куда, спасаясь от заражения.

Четверг

Взрыв был виден в радиусе больше ста километров, Шарль-Жан говорит, что это беспрецедентная катастрофа. Мы уходим немедленно. Надеюсь, что Он сумеет найти дорогу и что оставленные для Него сообщения достаточно ясны.

Когда я отложил тетрадь, голова у меня шла кругом, **оставленные для Него сообщения, надеюсь, Он сумеет найти дорогу**, с одной стороны, было яснее ясного, что я не сбился с пути, что меня направляли, вели к четкой цели бесчисленные магические знаки, а с другой, скорее всего, я был облучен, унылый пейзаж, странный цвет неба и даже терзавшие меня отвратительные галлюцинации, к несчастью, объяснялись смертоносным действием радиоактивного облака.

Я поспешно сбросил одежду и бросился к большому зеркалу, чтобы осмотреть свое тело, похоже, никаких язв, никаких симптомов близкого рака у меня пока не было, из рамки на меня глядела фотография мужчины, до сих пор я не обращал на нее внимания, и теперь у меня снова был шок, я обнаружил, что это тот самый человек, которого я видел в Бютт-Шомон с оленем, а потом в Дефанс, когда он совершал пробежку, несмотря на другую стрижку и усы, я был уверен, что это он.

По крайней мере практически уверен, сходство было не только с ним, фотография, казалось, насмехалась надо мной, колебалась, зыбилась, лицо на ней превращалось в другие лица, передо мною был одновременно и один из двух Дюпонов, и персонажи из разных фильмов, и мой мясник из девятнадцатого округа, мясник, кровь и смерть, на голове у него росли свинячьи уши, на ободке подстаканника стала проступать багровая жидкость, и вновь послышался не оставлявший меня голос, тотемы, тотемы, остров Пасхи, у исполинов много потомков, на мониторе компьютера ветвилась бесконечная последовательность имен, я схватил портрет и разбил его о спинку кровати, у меня было такое чувство, будто я попал в фильм ужасов, довольно, сказал я, уже довольно, хватит.

Довольно, сделайте, чтобы это все прекратилось, ну пожалуйста.

Вон, заорал голос, вон сейчас же, выходи из дома и молчи, мне оставалось только подчиниться, мне, Богу, Всемогущему, приходилось, словно малому ребенку, безропотно сносить адское бремя какой-то враждебной, таинственной силы, король, свергнутый непонятным бунтом, я хотел было ответить: нет, нет, не пойду, но я был уже на улице, меня подталкивало к большому сараю на задах церкви, дверь была тяжелая, массивная, петли застонали, издав какое-то устрашающее мяуканье, в других обстоятельствах у меня бы точно случился сердечный приступ, но сейчас это было уже чересчур, я был сыт по горло и плевать хотел на всех и вся.

Я двигался словно в резиновом сне, ужасы меня больше не трогали, гумно было переделано под выставочный зал, белый и непорочный, словно музей, и это лишь подтвердило возникшее у меня впечатление: я сплю, либо, во всяком случае, границы моей способности восприятия раздвинулись, в первом зале были картины, все в пятнах, я не сразу заметил, что все они словно наизнанку, написаны в той мерзкой манере, какая в ходу у многих современных художников, деструктурирующих форму вплоть до мельчайших деталей, краски были уродливые, общий рисунок тоже, да и материал, похоже, заимствован у некоей особо неизящной органической субстанции, я протер глаза, я попал на нео-постмодернистскую выставку в какой-то богом забытой глуши на берегу Луары, после атомного взрыва, после долгих месяцев безумия, и вдруг зал, казалось, заполнили люди, подобные зловещим призракам "Сияния"[1],

1. Фильм Стенли Кубрика по одноименному роману Стивена Кинга.

впрочем, разве не это и происходило со мной, колдовство, чары, первым их источником было само место, невесть откуда взявшиеся посетители подходили ко мне с разговорами, комментировали все то свинство, что было развешано по стенам, с бокалом в руке, светские люди, модники, яркий и в то же время мягкий свет заливал анфиладу комнат, там были самые разные произведения, зародыш в холодильнике, залитая кровью дисковая пила под пластиком, и картины, такие же громадные и отвратительные, испещренные граффити, царапинами, некоторые украшали даже следы подошв, художник топтал свою работу ногами и, похоже, валялся на ней, внезапно я понял, что так часто смущало меня в новейших культурных проектах: изображение хаоса, материализация всего нынешнего бардака в смешении форм и цветов, целенаправленном, возведенном в систему, как будто верх совершенства — это омерзительная куча дерьма и грязи, выплеснутая на прозрачные стены галерей, словно быть уродливым и жалким — это самоцель, тогда как, вероятно, на самом деле это переход, отражение поворотного рубежа между старой и новой эпохой, я интуитивно почувствовал, что современное искусство с его распадом пространства и эстетических критериев, предвещающим иное завтра, быть может сияющее, быть может полное мрака, но в любом случае иное, в точности повторяло все то, к чему постепенно съезжал XX век, — заводские дымы, шум, организованную злобу и торгашеское безумие, которое мы экспортировали во все концы планеты, это было ясно как день.

— Ну как, интересно?

— Очень. Тут есть настоящий замысел, целый мир...

Люди прогуливались, потягивали шампанское и дымили, дымили, как сорок тысяч каминов, являя свое реальное, осязаемое присутствие, какой-то верзила налетел на меня, я потерял равновесие, меня окружала целая армия призраков, голограмм, искусно расставленных незримыми силами, чтобы вконец добить меня, расшатать последние остатки душевного здоровья.

— Особенно эта идея переворота, вывертывания себя наизнанку.

— И мне тоже очень нравятся эти статуи...

Я завязал разговор с одним из посетителей, пусть даже я ни секунды не сомневался в том, что все это только формы, лишенные содержания, возможность говорить, сказать что-то другому человеку словно вдруг вернула мне равновесие, артикуляция давалась мне с трудом, конечно, замысел интересный, но, признаться, мне всегда было трудно воспринимать подобную живопись, гомон и дым достигли пароксизма, ах, так вам не нравится современное искусство? за спиной моего собеседника возникла соседка, та самая, с которой я повздорил и которую, пока меня не было дома, изнасиловали юнцы, а потом и другие старики, старики, которых я обчистил, те, что погибли во время пожара в Сен-Клу, потрясающее сборище стариков, моих жертв, они сошлись снова, одержимые жаждой мести, призраки, виденные мною во время безумной гонки, они опять нападали, ненасытные, неудовлетворенные, я попятился, это он, вы узнаёте его, это он, прохвост, грабитель, жулик, мразь, в дальней комнате сгущалась грозная тень множества статуй, громадных деревянных истуканов, тесанных топором или даже дисковой пилой, что стояла в целлофане в начале выставки, мне пришла дурацкая мысль, что это какой-то эрзац идолов с острова Пасхи, а потом все вдруг исчезло, похоже, я избежал праведной кары, уготованной стариками, я стоял перед две-

рью, оглушенный, вновь и вновь спрашивая себя, было ли мое восприятие мира, с самого рождения, действительно реальным или же, как и все вокруг, лишь тотальной иллюзией.

Статуи в стратегических точках, на месте гениталий, были запачканы алыми брызгами, у нас тоже есть свои правила, ха-ха, и, вспомнив это, я вдруг словно осознал природу сил, окружающих нас, граничащих с нашим миром, и, быть может, причину всего, нашего бреда, помешательства, мы разонравились исполинам, и они решили завинтить гайки, стереть нас в порошок, скоро пыль от наших костей покроет мертвую планету, у нас свои правила, ха-ха, я снова вспомнил соседку и юных дикарей, изнасиловавших ее, лицо Марианны, когда я вернулся, военных на эспланаде Дефанс, у нас свои правила, ха-ха, видение статуй перемежалось чем-то вроде фотовспышек, я вернулся в дом, сел за письменный стол, вновь включил компьютер и принялся за работу.

Чтобы оставить мир после себя в полном порядке, надо было закончить последнее дело.

У Михаэля, сына Приама и Одетты, было трое детей от первого брака, Серж (1915–1972), Анна-Лаура (1922–1942) и Гортензия (1924–1942), Михаэль и обе его дочери погибли в концлагере, щелкните дважды на выбранных вами именах, подсказывал компьютер, и тут же к ним приклеились мириады других людей, из XIX века, эпохи Возрождения, Средних веков, античности, целая когорта имен расположилась под Михаэлем, потом под Анной-Лаурой, наконец, под Гортензией, впечатляющий список, казалось, каждое лицо на миг заглядывает в амбразуру окна, армада призраков, на долю секунды возникающих из небытия, чтобы исчезнуть навек, нужно стереть их из памяти, каждый раз, когда я щелкал по корзине, целый фрагмент истории земли окончательно растворялся во мраке.

Каждый день был разлинован, как нотная бумага, время было расписано в лучшем виде, я спал беспокойным, полным видений сном, поутру охотился на кроликов, я сидел в засаде в поле, за домом, а когда появлялась невинная жертва, гнал ее, вооружившись палкой с привязанным к ней лезвием ножа, гнал во весь опор к подобию сети, которую соорудил из проволочной сетки, обезумевший зверек попадался в ловушку, и я мог с наслаждением пронзить его своим копьем, со временем ко мне пришла уверенность, техника стала более отточенной, постепенно я становился настоящим охотником, воителем без страха и упрека на тропе охоты, в полдень я жарил свой трофей, с картошкой и луком-шалотом, огромные запасы которых обнаружились в подвалах, а потом вновь принимался за работу, уничтожая в компьютере все воспоминания о мире, имя за именем, строчку за строчкой, до полного истребления.

В конце концов я добрался до кучи всяких карточек и ссылок, в сомнительных случаях без колебаний обращаясь к архивам, сын такого-то и такой-то; если человек погиб на поле брани, над крестом следовало поставить ^; знак ? означал “неточно”, О – отец, М – мать, развод обозначался перевернутыми скобками) (, а “б. п.” значило “без потомков”, было странно и одновременно интересно погружаться в глубины времени только для того, чтобы в итоге уничтожить его, так просто, одним движением.

Вечером я ужинал легким супом и, прочитав пару страниц из книжки, найденной в соседнем доме, забывался все тем же мучительным сном. <...>

Они заперли меня на чердаке, довольно далеко от теперешнего побережья, где прежде, наверное, были поля или виноградники, краснорожие мужланы, воняющие перегаром, с огромными мозолистыми ручищами, у меня все предплечья были в синяках, крестьяне, тупые и решительные, я не успел даже возразить или возмутиться. <...>

Дни шли за днями, никто больше не казал носа, я сидел на своем чердаке один, в прострации, практически бестелесный, произрастая меж двух миров и не в силах сделать выбор между тем и другим измерением, и все же уверенный, что, когда действительно захочу, сумею раствориться в эфире, временами перед моим взором мелькали какие-то силуэты, видения, все новые мои друзья и другие прекрасные монстры.

Единственное, что постоянно всплывало из этого хаоса, куда меня, казалось, относило на крыльях сновидений, были обрывки из "Превращения", задававшие ритм цепенившей меня причудливой алхимии: "передние лапы его повисли в воздухе, дрожа в пустоте, задние же тяжко подогнулись под тяжестью тела...", не то чтобы я чувствовал, что, подобно несчастному Грегору, превращаюсь в неописуемого гада, скорее, внутри меня продолжалась работа, начавшаяся, я отдавал себе в этом отчет, задолго до нашего бегства, мне вновь вспоминался один сон, мы шли с Марианной и малышом и встречали многочисленных членов нашей семьи, они всё выпытывали, куда мы направляемся, не думаем ли мы, как все прочие люди, достигнуть Рая, и Марианна отвечала печально, смиренно кивая на меня, словно это я принял такое дурацкое решение, нет, мы не идем на Небо, Бальтазар думает, что это не лучший выход, что мы заслуживаем большего, нет, мы не идем на Небо.

Однажды утром — я не ел уже так давно, что сорок раз мог умереть от голода, — дверь открылась и вошел человек, высокий, в толстом кожаном плаще и с тронутыми сединой волосами, при взгляде на него, на память сразу приходило что-то средневековое или, вернее, извечное, его глаза, тоже серые, казалось, спокойно всматривались в мир, мужичье толпилось позади, на лестнице, все помалкивали и только шептали свои глупости и призывали его быть осторожным, он превращается в монстра, сами увидите, осторожней, но колосс, отнюдь не испугавшись, подошел ближе и изрек загадочную фразу: Ο κοσμος πονος τις νομιζηται[1] — на каком-то странном языке, который произвел на меня приятное впечатление легкости, встань, сказал мужчина, встань и следуй за мной, его приказ эхом повторил Змей, явившийся в нужный момент, словно именования Бога в бурю, давай, вставай, делай что он говорит, снаружи собралась вся деревня, молчаливая и полная ненависти, некоторые плевали в мою сторону, и, по-видимому, обстоятельства не располагали к ханжеству, потому что никто не перекрестился.

Мужчина связал меня и взвалил на лошадь, мое тело свисало поперек неудобного седла, но я не выразил ни малейшего неудовольствия, и мы поехали рысью, не проронив больше ни слова, предоставив мужланов их участи.

Мы скакали то ночью, то днем, изредка нам встречались уцелевшие люди, завидев нашу кавалькаду, они забивались подальше в норы, на стоянках мой страж чертил вокруг меня на земле круг, бормоча какие-то слова, еще более эзотеричные, чем те, с которыми обратился ко мне в первый раз, и я отдыхал, скорчившись в этой тюрьме с незримыми сте-

1. Вселенная задумана как страдание (*греч.*).

нами, полубезумный, полуотключившийся, и я и уже не я, наблюдая, как постепенно меняется все вокруг. Мужчина по-прежнему молчал, погруженный в свои мысли, не обращая на меня особого внимания и ничем не давая понять, какая участь меня ожидает.

Когда мы наконец приехали, я окончательно перестал различать, было ли пережитое мною частью осязаемой реальности, трехмерного мира из плоти и крови или я просто очнулся после глубокого сна.

Книга третья
Чудо при дворе короля

— Вы часто писали об особой человечности западноевропейского Средневековья, когда индивид знал, что его окружает множество незримых существ, что его хранят ангелы, подстерегают демоны,что ему угрожают мертвецы.

— Нет границы между зримыми и незримыми мирами. Сакральное и преходящее неотделимы друг от друга. Пора отказаться от истории религии в том ее виде, в каком она существовала до сих пор. Служителей Церкви следует вернуть в их социальную группу, это позволит лучше понять, что именно неразрывно связывает их с мирянами. И попытаться переосмыслить место, роль, функцию того, что мы называем религиозностью, в общем пространстве социального устройства.

Жорж Дюби, интервью с Мишелем Пьером
("Магазин литтерер", ноябрь 1996 г.)

"Когда вы подъезжаете к Шамбору[1], то, независимо от цвета неба и времени года, погоды и даже вашего собственного настроения, с вами происходит нечто невыразимое, неизъяснимое, какая-то сверкающая аура окружает вас, обволакивая помимо вашей воли, приводя в движение скрытые, таинственные силы, быть может имеющие отношение к вознесению души, к тому неведомому, запредельному, что мы нередко предчувствуем и что безусловно причастно упорядоченному действию какой-то древней магии".

Я по-прежнему висел поперек седла, и вдруг деревья расступились и в глаза мне бросились башни замка.

1. Шамбор — замок на берегу Луары, возведенный при Франциске I, один из шедевров архитектуры Ренессанса.

Мы скакали много дней, редко когда перебрасываясь парой слов, зверь, дремавший во мне, казалось, сник и подчинился той силе, что исходила от моего похитителя. На дороге, где еще сохранился асфальт, нам попадались группки рабочих, занятых какими-то важными делами, с недавних пор, после того как мы миновали Солонь, на обочинах часто встречались люди, которые, казалось, жили обычной жизнью, то ли возделывали поля, то ли гнали скот на пастбище, насколько я мог судить, лежа на муле связанный и выворачивая себе шею, общая атмосфера была откровенно средневековая.

Многие вилланы, завидев проезжавшего мимо мрачного рыцаря на боевом коне, с жертвой позади, похоже, отшатывались, поравнявшись с ними, я не раз слышал, как они бормотали проклятия, люди выглядели странно, как из другой эпохи, и если бы нас не обогнал, едва не раздавив, мотоцикл, я бы, наверное, решил, что просто каким-то чудом перенесся в иное время, в другой век, как в фильме, когда героев внезапно отправляют в прошлое.

Казалось, вокруг нас порхают тысячи блистающих душ, они налетали на нас, плясали, обрамляя утро мерцающими звездочками, и тут на меня сошел мир, какого я не знал уже очень давно, я успокоился, как ребенок, получивший наконец заветную тряпочку, без которой никак невозможно уснуть.

Мне бы хотелось, чтобы мы свернули к замку, вступили в его волшебные стены, но лошади побежали резвее, пересекли обширный луг перед воротами и помчались дальше, в другой конец леса, к кишевшим там косулям и кабанам, стада оленей и ланей рысили по перелескам, и тут, на подступах к чаще, нам преградила путь странная фигура, похожая на огромного муравья, хотя по размышлении — я выворачивал шею как проклятый — она походила скорее на невиданного, чудовищного морского конька или саламандру.

Саламандра.

Озарение поразило меня как ударом грома: саламандра была символом и фетишем царствования Франциска I. Рыцарь обернулся ко мне и сказал: прелесть, а? прямо как настоящая. С тех пор как мы оказались в границах домена, он впервые заговорил со мной. Лошади встали, и он, спешившись, развязал мои путы. <...>

— Ату, ату, это не кабан, он вон там!

Я на миг замешкался, собираясь нырнуть в полузамерзший пруд, но свора уже окружала меня с диким лаем, а сзади неслись людские крики.

— О-ля-ля, — протянул кто-то разочарованно, — это не олень, это еще один говнюк!

Псы были сущие исчадия ада, но натасканные обезвреживать дичь, не попортив ее, потому что клыки их синхронно щелкнули в миллиметре от моих бедных рук, которыми я отчаянно пытался заслониться, здоровенные зверюги с медведя величиной, челядь, сопровождавшая охотников, пыталась свистом отозвать их, впрочем без особого успеха, одно из чудищ ударило меня лапой, и мое предплечье украсилось алой царапиной. Большинство охотников были пешие, на лицах верховых, должно быть сеньоров или главарей, застыло надменное выражение, признак высшей касты, с рождения привыкшей к почтению и покорности. Еще один человек, выше остальных, держался чуть поодаль, не произнося ни слова, а его спутники бурно обсуждали, что со мной делать и какую бы придумать потеху получше.

— Пришпили его там, — предложил какой-то кретин, — спорим, я копьем пробью его отсюда насквозь?

Я мог бы наконец вздохнуть с облегчением, одобрить такую развязку, сложить руки и сдаться, решившись принять конечно мучительную, но освободительную смерть, разум однозначно велел мне сделать это, отречься, с легкой усмешкой, что ж, пусть так, теперь все застынет, наступит конец, и это к лучшему. Я был готов к пыткам, к тому, что дубинки варваров будут крошить меня, а собаки — рвать на куски, избитого, но еще живого, но мое тело, вместо того чтобы спокойно согласиться, кинулось к молчаливому человеку, мерявшему меня с высоты своей лошади отсутствующим взглядом, и на коленях стало взывать к нему, я художник, мессир, всем великим королям нужен художник, чтобы прославить их имя и легенду, я послан к вам Богом, вы меня ждали, я знаю.

Наступило секундное замешательство, все так и остолбенели, собаки продолжали брехать, но кто-то приказал им умолкнуть.

— Ты художник? — спросил рыцарь. — Ты художник, но как ты узнал, что я Обсул, что я король?

Вдали послышался треск мотоцикла, во мне снова застрекотал голос Змея, а может, похитившего меня старца, здесь-не-место-говорить-о-таких-вещах, я повторил, как послушный ребенок, здесь не место говорить о таких вещах, мессир, у них у всех глаза полезли на лоб, они даже не отреагировали, судя по всему, я попал в яблочко.

На обратном пути никто не проронил ни слова, мне дали лошадь, а один из оборванцев снял с себя одежду, и я прикрыл свою позорную наготу. Обсул молчал, погруженный в свои мысли, но позволил мне ехать рядом, когда архитектурное чудо показалось на горизонте, в белых башнях отражались солнечные лучи, и сердце мое забилось сильнее, я был почти уверен, что с этой минуты, силой какого-то таинственного, могучего рока, мои испытания действительно подходят к концу.

У ограды замка группа разделилась, кто-то занялся лошадьми, мне велели спешиться и следовать за Обсулом, весь газон был уставлен палатками, и большими, военными, и обычными, туристскими, вперемежку со всякими постройками из подручных средств, все вместе это напоминало то ли окраины бидонвиля, то ли бедуинский лагерь, заметив Императора, кто-то затрубил в охотничий рог, во внутреннем дворике к нему подбежали люди, спрашивая, не угодно ли ему чего, слуги спешили узнать, удачная ли была облава и остался ли он доволен, но у него это вызвало только гнев и раздражение, при виде его хмурого, озабоченного лица никому и в голову не пришло преградить мне путь в святая святых.

Поспешно поднимаясь по лестнице, занимавшей всю середину первого этажа, по двойной спирали ступеней, я подумал, что это, быть может, сердцевина гигантского космического корабля в виде замка с его гулким эхом, пробуждающим "величие и неосознанное устремление души, всего темного и земного, к блистающим горним высям". Я трусил за Обсулом, королевские апартаменты находились на втором этаже. Всюду озабоченно сновали слуги, целая армия слуг, они растапливали камины громадными поленьями, несли стопки белья, блюда с дичью, проходя мимо, я отвернулся, едва не упав в обморок, входи, сказал Обсул, если ты лжешь, я убью тебя.

У него была татуировка на руке, такие делают в тюрьме в шестнадцать лет, хулиганские наколки и "долой фараонов", жалкие татуировки на громадных ручищах, когда он говорил, во рту блестела золотая фик-

са, над кроватью с балдахином красовался портрет Франциска I, и, несмотря на мужичье сложение, между ним и великим королем ощущалось что-то вроде родства.

— Слышишь, — повторил он, — я тебя убью.

Я тебя убью, как будто подобные угрозы могли хоть на миг, хоть как-то меня тронуть, напугать или заставить вести себя иначе, я не мог не усмехнуться, разве можно убить Змея? можно ли убить того, для кого отныне сошествие в ад — всего лишь прогулка, невинный пустячок? а вслух я ответил: нет, важно не то, что ты меня убьешь, важно, что своими картинами я прославлю твое царство, украшу замок твоими портретами, вот и все на данный момент. Мир, жизнь вдруг показались мне легкими, почти искрящимися, все это лишь шутка, игра, правила которой я отлично знал и мог развлекаться в свое удовольствие. Кто-то возник из-за полога, и Обсул знаком подозвал его, как утопающий, как человек, теряющий почву под ногами, и они зашептались о чем-то важном, что имело отношение ко мне.

Я видел полосы света, цветовые пятна, они двигались, сталкивались, занятные личности, на протяжении веков населявшие замок. Во мне разлилось умиротворение, я был спокоен и уверен в себе. Вновь прибывший посмотрел на меня вполне равнодушно, его лицо не выражало ни враждебности, ни симпатии, мне почудился красный отблеск в его глазах, сразу погасший, когда он начал говорить, Обсул думает, что ты, наверно, врешь, я убедил его отдать тебя нам, если ты говоришь правду, ты станешь придворным художником Нового Царства, если ты лжешь, ты умрешь.

Мы снова стали подниматься по лестнице, еще выше, в одной из комнат были расставлены гигантские зеркала, практически от пола до потолка, и хотя в них не отражалось никого, кроме моего провожатого и меня, я увидел, как в амальгаме движется целая толпа людей, в странных костюмах, похожих на видение, которое я только что наблюдал в покоях Обсула, какой-то бал вампиров, след которого дошел через века, запечатленный в чудовищных золоченых рамах.

С террасы лихорадочная суета внизу выглядела особенно эффектно, огромное поле палаток, лошади, мотоциклы, спешащие, перекликающиеся слуги, можно было подумать, что тут готовится грандиозный спектакль, беспрецедентная историческая реконструкция, один из тех рок-концертов, какие бывали в великую эпоху хиппи, но уж ни в коем случае не апокалипсис, и что земля, весь мир отнюдь не охвачены хаосом и упадком; укрывшись за стенами, Шамбор пребывал под защитой благоволивших к нему богов.

Мы взбирались все выше и наконец очутились под крышей одной из башен, помещение было таким огромным, что там без труда разместился бы целый полк, оно и строилось явно с этой целью, перекрытия были проложены соломой, в большие окна лился яркий свет, здесь тоже в камине гудел огонь, и все вместе создавало ощущение приятного покоя, то было место отдыха, полная противоположность бурлящему замку, несколько человек ожидали нас, и среди них седой старец, что отобрал меня у мужичья, увидев его, я отпрянул, но он сказал, вот и хорошо, кризис позади, теперь ты можешь расслабиться, остальные приветствовали меня, добро пожаловать в клуб, добро пожаловать к нам, они по очереди целовали меня и прижимали к сердцу.

Я был маг.

Или колдун.

Который после вековых странствий попал наконец к своим, к друзьям.

Все накопившиеся тучи, все безнадежные узлы вдруг растворились в облаке тепла и поддержки.

Рад снова с тобой встретиться.

Счастлив тебя видеть.

Я уселся в одно из кресел, расставленных полукругом возле окна, в уме у меня мелькали причудливые образы, я был маг или колдун, я воображал себя в остроконечной шляпе и с метлой в руках, я стоял у кипящих котлов и затевал чудовищные шабаши, но не прошло и минуты, как один из новых моих товарищей вывел меня из заблуждения, сказав, погоди, все немножко сложнее, мы здесь не затем, чтобы столы вертеть.

Меня снедало сильнейшее возбуждение, старец опять повторил мне, успокойся, теперь все будет хорошо, но нужно обязательно успокоиться, видик у всех, кто сидел на этом средневековом чердаке, обставленном словно кабинет интеллектуала в просторной квартире где-нибудь в Шестом округе Парижа, был тот еще, совершенно нелепый, может, они и были колдуны, но ни колдовской внешности, ни ауры у них не было, я заставил себя дышать ровно, хотя тело мое сотрясалось от мощных толчков, словно готовая взорваться скороварка, это довольно сложно, добавил после паузы тот, что в очках, это довольно сложно, и ты должен нам верить, я встал, потом снова сел, а старец тихим голосом начал объяснять.

Мир непонятен, и во Вселенной есть изъяны.

Катаклизмы, обрушившиеся на Землю, были лишь небольшим фрагментом, очередной сценой в том гармоничном театре, чья единственная цель заключалась в раскрепощении и освобождении его актеров.

Каждый должен следовать своим, особым путем в рамках более общего Целого, каждый несет ответственность перед самим собой, но включается также в единую структуру управления, между членами которой существуют самые разнообразные связи.

Многое происходит без нашего ведома, однако по большей части в происходящем можно отыскать смысл, конечно если иметь хотя бы минимальный доступ к свету.

Пока он шепотом излагал все это, я рассматривал вены на его багровом лице, они проступали под кожей, слегка прозрачной, такой рисуют кожу мясников, нос у него был весь в прожилках, наверняка он пил горькую или по крайней мере выпивал, волосы с проседью и густые кустистые брови, из ушей тоже торчали волосы, и эта деталь придавала его речам комический или во всяком случае трогательный оттенок. Картина была четкой и абсолютно плоской, банальной, объективная реальность, наблюдаемая без всяких искажений, что примешиваются обычно к нашему взгляду, бесконечно дробясь, словно те поэмы в прозе, где реальность, предстающая со множества точек зрения, разобранная и исчерпанная до конца в каждом своем аспекте, приобретает тем более тревожный и пугающий вид, что вначале она кажется простой и очевидной и в ней нет никаких тайн.

Небо и земля связаны между собою не только через дождь, тучи или ветер, существует еще странная материя, некая неясная, незримая субстанция, подобная пыли, она есть повсюду, но ее нельзя увидеть невоору-

женным глазом, и колдуны отчасти заключают в себе этот прозрачный песок.

Один из моих новых товарищей громко откашлялся, старец продолжал свои нудные объяснения, и я ощутил физическую потребность стать частью этой неощутимой вибрации, этой соли, приправы, дававшей жизнь и силу большинству стихий.

Я выжил там, где не смог бы выжить никто.

И этот крестный путь подчинялся определенной необходимости и был организован по строгим правилам.

Мое самосознание то внезапно расплывалось, то становилось невероятно сложным, то, наоборот, совершенно однообразным, почти как у камня.

Больше я ничего не слышал, в тех частях моего разума, какие еще не отключились, плавали разноцветные облака.

— Не спи, — говорил старик, — не спи, слушай меня!

И он сильно шлепнул меня ладонью между лопатками.

Мой внутренний взор снова обрел какую-то особенную зоркость, деревянные перекрытия, четкие контуры балок, текстура стен с торчащей из щелей соломой и камни, покрытые надписями, некоторые насчитывали много веков, Франциск Бонифаций, 1680, Марк-Анж, 1961, все это рисовалось в удивительном блистающем ореоле, словно чья-то гигантская рука драила их, пока не устала. Смотри, не засыпай, смотри. Старик взял меня за подбородок и запрокинул мне голову, похоже, один из участников нашего собрания незаметно для меня взобрался на сходящиеся балки конька, смотри, смотри хорошенько, я увидел свисавшую веревку со скользящей петлей, смотри, смотри хорошенько, человек прыгнул вниз, в пустоту, с поразительной ловкостью сумел подцепить головой петлю, от веса его падающего тела удавка внезапно натянулась, на редкость грациозно придушив его, позвонки от удара страшно хрустнули, отчетливо и безвозвратно, как рассохшееся бревно, я почувствовал, как к горлу подкатил ледяной комок, жидкая цепенящая струя, выкаченные глаза повешенного уставились на меня, словно два улыбающихся и светящихся бильярдных шара, какое-то время — мне оно показалось бесконечным — стояла полная тишина, потом старик сказал, ладно, на сегодня хватит, скользящий узел развязался легко, как веревка у фокусника, и повешенный упал на землю, прямо на ноги, скроив восхищенной публике гримасу и слегка поклонившись в благодарность за внимание.

Затем, я помню, меня отвели в большую комнату с огромной царской кроватью под балдахином, кругом было множество картин, охотничьих трофеев и прочего, целая свалка, от пластинок рэпа до телевизора и видеокассет, посередине восседал Обсул, явно под кайфом, к тому же у кровати лежали шприцы, старец сказал, да, это именно тот, кого мы ждали, он не солгал, скоро он тебе это докажет, теперь у тебя есть художник. Колосс встал и заключил меня в объятия, я думал, он меня придушит, он бормотал, я рад, что ты здесь, ты был последним недостающим элементом, но тут мне удалось высвободиться, и мы со стариком, миновав лабиринт этажей, лестниц, комнат и коридорчиков, добрались до помещения, где я наконец смог рухнуть на кровать и проспать до утра.

В последующие дни я узнал много нового о Шамборе, как сложилось теперешнее здешнее общество, кто были люди, оказавшиеся в замке, и

почему Обсул захватил власть, колдуны пришли позже, кроме одного, Жан-Жиля, он уже обитал здесь, служил до катастрофы экскурсоводом. Обсул явился из Орлеана, или Туниса, или еще какой восточной страны, а может, был выходцем из цыган, своего происхождения он никому не раскрывал. Он укрылся в Шамборе после того, как большинство местных жителей погибло при взрыве атомной станции, в два счета занял весь замок, обложил поборами окрестности и, в сговоре с местными охотниками (восстановив их полувоенные прерогативы, разрешив охотиться на кабана и оленя по всему домену) и с шайками, явившимися из крупных городов, теми, кто сумел сюда дотащиться, ввел свои законы. Он провозгласил себя королем, и люди признали его таковым, радуясь, несмотря на варварство его правления, что обрели хотя бы пародию на общественное устройство.

В границах домена сложилась необычайно строгая иерархия, на подступах, там, где располагался лагерь, кучковались пришлые шайки, те, кто не состоял с Обсулом в родстве или в особой дружбе, несколько сохранившихся домов деревни были распределены между охотниками и ее прежними обитателями, в первой ограде замка, там, где прежде, наверно, продавали открытки и путеводители для туристов, находилось помещение для слуг и личной гвардии, наконец, в самом замке, в святая святых, обитал двор, сливки соратников, друзей, доверенных лиц и важных новичков, включенных в королевскую структуру управления, я, как новый художник королевства, естественно, имел право на обхождение по высшему разряду, на резиденцию, и не маленькую, в непосредственной близости к королю.

Мне подобрали помещение в крыле, расположенном над тем, что прежде было часовней, а одна из главных галерей могла служить мне и мастерской, и, при случае, выставочным залом, краски и кисти явились словно из-под земли, мне оставалось только приняться за работу, я снова стоял за мольбертом и, слегка обалдевший, набрасывал на холсте эскизы к картинам "Обсул на охоте", "Обсул на троне", "Возвращение Обсула в Шамбор", передо мной снова было Великое Деяние, о котором я всегда мечтал.

Я изменился. Когда я, напрягая память, пытался соотнести себя с тем, кто шатался по всему Парижу, вынюхивая, где бы чего стащить, у меня не только возникало четкое ощущение, что это был другой человек, но, более того, я не находил в себе никакой зацепки, никакого сочувствия, позволяющего установить с ним хоть какую-то связь. Тот, кем я был в прошлом, стал для меня чужим.

Двор Обсула представлял собой громадный бордель, первое коллективное мероприятие, на которое меня позвали, была охота, непременное условие посвящения в рыцари, рыцарство вновь стало действующей социальной моделью, конечно, рыцарство странное, переиначенное в духе наступавшей новой эры, эры хаоса и бессмысленной черноты, и его ритуалы инициации вобрали в себя как древние языческие обряды, так и правила обветшалой коммунистической бюрократии.

Следовало подать заявку в Совет, изучавший ее обоснованность, Совет состоял из десятка пьяниц и наркоманов, друзей Обсула, потом, если они принимали прошение, а это могло занять и несколько месяцев, и пять минут, продемонстрировать соответствие определенному набору критериев, в частности свою храбрость и верность, а еще надо было быть отмеченным Аллахом, или сговориться с кем-то из членов Совета,

или значиться в записке какого-нибудь влиятельного лица, а после шли испытания, для каждого разные, в моем случае, по распоряжению небес, которые вопрошал придворный оракул, дело могло решить участие в охоте, сражение с саламандрой и клятва Обсулу, Шамбору и Богу, принесенная в надлежащей форме.

Итак, тем утром я был в полной боевой готовности, холод пощипывал щеки, вокруг гомонила наша небольшая полусонная команда, охота отправлялась от флигелей, где жили лесничие, это было вроде как когда действующие президенты в сопровождении нескольких высокопоставленных лиц отправлялись на уик-энд предаваться радостям сафари. В качестве загонщиков собрали довольно большую толпу оборванцев, в их числе находился и я, так было принято, сначала загонщик и только потом, особой милостью, рыцарь, рыцарь Обсула, радетель нового дела и столп Шамбора. Мы окружили мажордома, он начал перекличку, выкрикивая по порядку имена, а Господин, верхом на лошади, наблюдал за нами, его подданными, покорными его желаниям, его всемогущей воле.

Если бы сцена не была такой потрясающей, я бы решил, что это просто смешно.

Майяр. Шукрун. Аззи. Каролюс. Н'Диалло. Задун. Малки. Зегдана. Бадер. Мишель.

И каждый раз названный, нередко угрюмый и полусонный, поднимал руку. Мабрун. Шуми. Мажордом повторил, Шуми, потом второй раз, третий, в конце концов дюжий детина поднял руку, тут Шуми, тут, не гони волну, начальник. Враз настала полная тишина, Обсул тронул лошадь, подъехал поближе, выйди, обратился он к детине, выйди из строя, пожалуйста.

Он провел рукой по лицу, так, словно недоспал утром и теперь из-за тоскливой мути, какая бывает после наркотиков, с трудом различает других. Тот приблизился, с упрямым, настороженным видом, в одном углу глаза у него была татуировка, а в другом нет, это подчеркивало геометрию лица, которая перестала считаться красивой, я тебя слушаю, сказал Обсул, спрыгивая с седла, я тебя слушаю, расскажи, что у тебя на душе, но несчастный Шуми стоял как громом пораженный, перед кем угодно он бы выглядел устрашающе, сущий амбал, но рядом с Обсулом казался жалким и ничтожным, неравенство между ними слишком бросалось в глаза. Ты сказал, что я торчок, ты сказал, что в гробу меня видал, в гробу видал Обсула, ты сказал это прилюдно, и жаловался, что в замке топят, а вы подыхаете от холода.

Тот, казалось, сейчас сдуется, как шарик, он еще успел пролепетать: нет, это неправда, я только сказал, что ты так торчишь по кайфу, что тебе не нужно столько каминов, чтобы они все время горели, и тут кулак Обсула обрушился на его череп, он рухнул на месте, никому не позволено непочтительно отзываться об Обсуле, никому, он оттащил его в сарай, на бойню, там разделывали дичь, уложил на верстак, нам все было видно через окно, и отпилил ему голову пилой мясника.

Он отпилил ему голову и вышел, угрожающе размахивая ею. Мне бы ужаснуться или просто сказать себе, какой ужас, но я лишь подумал, что из этого получится потрясающая картина.

Один из гвардейцев затрубил в рог, давая сигнал к отправлению, собаки возились с окровавленным шаром, который Обсул швырнул на землю, многая лета, многая лета, Обсул, и мы все подхватили хором, многая лета, Обсул, многая лета. Сквозь беловатые облака прорвались толстые

столбы света, вызвав в глубине моего сознания какое-то занятное воспоминание, непонятно, откуда оно взялось, словно перст Божий проткнул недвижную завесу белого-белого неба, перст Божий в белом небе? — хохотнул рыжий рядом со мной, будто осязаемое эхо моих сокровенных мыслей, перст Божий в море крови, да, по-моему, это больше похоже на правду. Наша группка зашевелилась, жалко, у нас нет дудок, заметил один из моих коллег-загонщиков своему соседу, оба явно были местные, а не разбойники, явившиеся из разграбленных городов, в ту минуту я не понял, о чем они, жалко, влепить кабану пулю, и все дела, его кум усмехнулся, ты прав, действительно, глупо, что они отобрали берданы, в самом деле без ружей неудобно. Мне показалось, что при этих словах они хихикнули, как малыши, которые замышляют какую-то проделку, но которых так и распирает выболтать свой секрет.

Добрый час мы двигались в глубину парка, потом толпа разделилась на несколько групп, загонщики, чьим опознавательным знаком служила светящаяся жилетка, какие носят строительные рабочие — она должна была отпугивать зверей, — растянулись на несколько сотен метров, на флангах шли профессионалы в хаки, Обсул галопом скрылся в зарослях в окружении специальных советников по охоте, в основном это были бывшие лесничие Шамбора, сзади бежали псари, в мгновение ока лес, до этой минуты тихий — нам было велено идти молча, чтобы не спугнуть дичь, — перехлестнули лучи криков и воплей, гони, гони, скоты, внимание, крупный зверь слева, крупный зверь спереди, мы должны были хлопать в такт и орать, загоняя в сети кабанов, ланей, косуль и прочих парнокопытных.

Это было однообразно, скучно и немного утомительно. Вдали мелькал двор, гарцуя среди деревьев и бросаясь на очередную жертву, поднятую в чаще, будущий трофей, гони, гони, скоты, здоровенный зверь пронесся прямо передо мной, мне бы испугаться или подумать о жестокости такой охоты, но на меня опять навалилось все то же пресыщенное равнодушие, такого безразличия я не испытывал за всю жизнь.

В канаве, полной воды, гнили листья, дубовые листья на разных стадиях разложения, наваленные слоями, самые старые уже смешивались с разжиженной глиной, прозрачная вода позволяла четко видеть каждую частицу, каждый атом, создавая картину мерцающих кристаллов, совершенно неподвижную и тем не менее словно находящуюся в движении.

— Крупный зверь, крупный зверь впереди.

Я едва успел понять, в чем дело, олень мчался на нас, за ним гналась охота и Обсул, во весь опор, на своем призере-першероне, и с лаем неслись собаки.

Все сбежались с криками, в строй, мать вашу, вернитесь в строй, олень всей своей массой влетел в растянутую сеть, перекувырнулся через голову и грузно рухнул на поторопившегося загонщика, ойо, ойо, Обсул прыгнул на добычу, за ним все егеря, неописуемое родео, я стоял поодаль, вяло стуча колотушкой, крупный зверь, крупный зверь, рога оленя, устремленные в небо, казались мне еще одним знаком, направляющим меня ввысь, бесспорно указующим мне мое высшее предназначение. Истинные причины и поводы всего этого тарарама скрывались за плотной пеленой тумана, тайну которого предстояло разгадать.

Мне хотелось, чтобы старец был здесь, я сел на сухое дерево, внезапно охваченный усталостью, смятением и легкой тревогой, крохотный человечек, заблудившийся в большом темном лесу, где злые великаны

режут невинных агнцев, на меня нахлынули воспоминания, я вспомнил все, лицо Марианны и запах нашей квартиры, и не заметил как по моим щекам потекли крупные слезы.

Быть может, мы возвращаемся вспять, к Книге Бытия, туда, где сходятся воедино все линии, где одновременно и начало и конец всему, как листья, гниющие в болотце со стоячей водой, среди лесной тишины и бесконечной череды спокойных дней.

— Осторожно, осторожно, сзади раненая тварь!

Едва прикончили оленя, как из чащи выскочил новый участник большой забавы, обезумевший, — его гнала другая группа загонщиков, ударом булавы ему разнесли челюсть, он несся на нас как пьяный бульдозер, не обращая внимания на собак, лишь мимоходом расплющил одну из них в лепешку, она с визгом рухнула на землю, он устремился прямо на Обсула, который как раз озаботился тем, что я нахожусь с загонщиками, а не с охотниками, он полагал, что так моя инициация недействительна, чтобы быть рыцарем, надо убивать, а чтобы убивать, надо охотиться. Все были застигнуты врасплох, в тот же миг Обсул покатился по земле, снесенный налетевшей тушей, вокруг взвихрились панические крики, когда зверь его сшиб, он как раз подходил ко мне, поэтому я стоял совсем рядом, всего в нескольких метрах, и пока один из егерей, вооруженный копьем, без толку махал руками, я спокойно взял у него оружие и вонзил его в сердце зверя. Ну так сдохни, мразь, сказал я, сдохни, мерзавец, и тогда кто-то из охотников вскочил на лохматую спину и прикончил его ударом кинжала, убил ровно в тот момент, когда кабанье рыло уже искало яремную вену короля.

По дороге в замок мне были оказаны почести, подобающие доблестным воинам, один из егерей уступил мне свою лошадь, отныне я пользовался особым расположением Обсула.

Дату моего окончательного посвящения в рыцари перенесли, в конце недели должно было состояться грандиозное празднество по случаю дня рождения Обсула, и было принято вполне логичное решение добавить к нему и церемонию, закрепляющую мою принадлежность к истинным столпам Шамбора. А пока я мог рисовать в свое удовольствие, изучать здешние места, приходить в себя и переваривать все, что за столь короткое время свалилось мне на голову.

По правде сказать, я был абсолютно счастлив, что могу бродить по окрестностям замка, среди полотняных палаток варваров, хорошо одетый, сытый и выспавшийся на хорошей постели, это было так здорово, ведь еще совсем недавно общество, а может, и вся земля готовы были окончательно сгинуть, во всяком случае, я уже их оплакал, отрекся от всего, насколько это вообще возможно, согласился принять смерть и даже кое-что похуже, а теперь, так сказать, получил все обратно, свое место в рамках общественного порядка, быть может хаотичного, но в конце концов реально существующего, люди здесь были организованы и передвигались туда-сюда, беззаботные и, казалось, мгновенно позабывшие все невзгоды, которые еще вчера обрушились на нас и погрузили во мрак.

Старец и все прочие, кто встретил меня здесь, кто был на церемонии с повешенным, держались незаметно, одного я видел на кухне, другой был интендантом, а старец вроде бы ничего не делал, только давал советы Обсулу и с озабоченным видом сновал вверх-вниз по бесчисленным лестницам, при встрече он всякий раз отводил глаза или вежливо

осведомлялся, как подвигаются мои картины и не нужно ли мне чего, или говорил, что Обсул высоко оценил мою смелость на охоте, вы знаете, охота здесь — это очень важно. Временами, как тогда в лесу, когда поверх средневековых сцен вдруг всплыло лицо Марианны, у меня к горлу подкатывал комок, вновь пробуждались чувства и подступали слезы, а потом все проходило и я опять погружался в то равнодушное спокойствие, что стало отныне частью моего "я".

Обсул занимался работорговлей, немного в стороне от замка стояло здание, где обитали отборные экземпляры. Всех милашек, каких одну за другой поставляли эмиссары-солдафоны, рыскавшие по полям, зрелых девиц и совсем молоденьких — их взращивали на месте в ожидании, когда плод созреет и будет наконец готов для потребления, — складировали здесь, либо на радость двору и его главе, либо для обмена на разные товары и горючее, которое шайки добывали где-то во внешнем мире.

Окрестные поля, что находились за пределами домена и которые я видел по дороге в замок, лежа связанный на лошади, также возделывали рабы, сервы, на сей раз мужского пола; их не нужно было даже заковывать, ибо смирение и хаос полностью подавили всякий бунтарский дух, там сажали картошку, без которой здесь не обходилось ни одно блюдо и из которой гнали спирт, едва темнело, варвары нажирались до бесчувствия, орали и плясали под звуки гигантского магнитофона, работавшего на аккумуляторах и убаюкивавшего нас звуками техно, чья пульсация эхом разносилось по башням, коридорам, чердакам и всей запутанной архитектуре Шамбора, долетая до моей комнаты с регулярностью несколько назойливого метронома.

Если днем я не видел никаких признаков колдовства и сверхъестественного, которое, однако, безусловно присутствовало вокруг, то по ночам все было иначе. В каждом сновидении передо мною открывались все новые помещения, странные лабиринты, я бродил по ним со старцем и прочими колдунами, мне объясняли множество вещей, и смысл того, что я пережил за время своих испытаний, и как мой дух мало-помалу очистился от них, я стоял посреди гигантской свалки самых разных элементов, мне велели составить их перечень, бесконечный список того, из чего состоял я сам, он простирался в такую даль, что конца его не было видно, и все же, в светозарном, хрустально-прозрачном порыве, я видел его, и тут все рассеивалось, как облачко пара, мир исчезал, и я превращался в ничто.

В другом сне мы приходили в пещеру, где громоздились запасники огромного музея, неисчислимая коллекция статуй из слоновой кости, напоминавшая то ли штабель саркофагов, то ли статуи египетских богов, полулюдей, полуживотных, но с некоторыми отличиями, более округлые, их выпуклости, гладкие, отполированные, распространяющие вокруг себя ауру ласкового покоя, волновали тем сильнее, что они, доброжелательные и неподвижные, казалось, принадлежали иной эпохе, иным векам, несли в себе физический след какой-то бездны, неизмеримой тайны, чего-то такого, что мне не удавалось припомнить. Из этих статуй рождались другие, поменьше, наподобие русских матрешек, с той лишь разницей, что иногда новые видения каким-то необъяснимым чудом оказывались больше тех, из которых они появились.

Однажды утром, встав с постели, я с изумлением обнаружил, что замок абсолютно пуст, ни суеты, ни огня в каминах, большие залы были холодны и безлюдны, казалось, здесь уже лет сто никто не жил, меня

мгновенно охватила безумная паника, все куда-то сбежали и бросили меня, как идиота, на необитаемом острове, который вот-вот уйдет под воду, в ту минуту, когда я собирался закричать, я увидел на полу бумажку, обертку от жвачки, и услышал на лестнице шаги старца, его окружали какие-то призраки, похожие на слуг, на воинов Обсула, армия фантомов вела себя самым естественным образом, да и огонь весело потрескивал в красноватых бликах очага, и мне снова подумалось, что вся земля всего лишь огромный театр, возведенный для одного меня, только чтобы меня замучить и окончательно свести с ума.

Празднество в честь дня рождения Обсула, когда состоялось мое настоящее посвящение, было грандиозным.

Поутру вернулись бензовозы, и заряженные аккумуляторы теперь работали на полную мощность, освещая башни и уступы замка, воскресив на один вечер ту магию прожекторов, что прежде так восхищала туристов, превращая Шамбор в большой белоснежный корабль, картофельный спирт лился рекой, для желающих были даже вино и метадон, Обсул разрешил привести женщин, и толпа, в строгом соответствии с иерархией (бароны, охотники и простые варвары), принятой в этой новой столице сгинувшей Франции, заполонила этажи, балконы и внутренний двор, там сгрудилась большая часть войска, во всю глотку распевая шлягер, имевший бурный успех несколько лет назад:

Мы шагали
Сквозь войны и невзгоды,
Побеждали
Смерть и непогоду.
Оле, оле,
Пляшем в 2000-й год,
Оле, оле,
Веселый хоровод.
Новый век настает,
Мы празднуем столетье,
Танцуем на рассвете.

Варвары орали, голося во все горло куплеты, охотники орали, воины орали, сам Обсул тоже вопил, будто оглашенный, лишь старец оставался холодным как мрамор, точь-в-точь как родитель на школьной вечеринке, внимательный, но отсутствующий.

Оле, оле,
Пляшем в 2000-й год,
Оле, оле,
Веселый хоровод.

Незадолго до полуночи несколько избранных женщин тоже пригласили на бал, туда, где веселился плебс, обычные варвары, естественно, девицы были уже потасканные, далеко не первого разбора, но все-таки еще съедобные, в мгновение ока они растворились в массе танцующих.

Побеждали
Смерть и непогоду

В ограде замка фиеста продолжалась с удвоенной силой, одна из женщин показывала грудь, другие аплодировали, "пускай "Титаник" тонет, мы пляшем в 2000-й год", переодетые мужчины терлись о них, возбуждали остальных, извивались в ритме, "оле, оле, мы празднуем столетье, танцуем на рассвете". Думаю, мы не слишком далеко ушли от осады Гамилькаром Карфагена, и если бы на вершине одной из башен Шамбора появилась сама Саламбо[1] в летящих по ветру покрывалах и произнесла пару ругательств по адресу наемников, по-моему, это никого бы особенно не удивило. Атмосфера располагала к величественным сценам и к магии.

Само посвящение состоялось часа в четыре утра, перед пьяным, расхристанным королем, которого сосали две юные гейши, совершенно иного разбора, отметил я походя, чем те, что были отданы толпе, они трудились без устали, сменяя друг друга, пока он не велел им перестать, слишком разбитый, чтобы кончить. Он сдавил меня в объятиях, твердя снова и снова все хорошее, что думал обо мне, что я почти спас ему жизнь, затем я получил право на ритуальный порез, мы смешали нашу кровь, Обсул, а за ним и прочие столпы Шамбора, и я подумал, что на сей раз СПИД мне обеспечен, что они наверняка все больны, а вот удастся ли раздобыть здесь лекарства, это большой вопрос, а потом я посмеялся над своими глупыми страхами, пришедшими из иных времен, принял поцелуй и повторил фразы, навеки скрепившие мое превращение в Рыцаря Благородного Дела, Столп Шамбора и Товарища Обсула.

Когда занялась заря, в замке оставались только лежащие вповалку тела да несколько доблестных вояк, все еще предающихся оргии, старец сделал мне знак следовать за ним, и мы, я и остальные члены нашей группы, снова совершили подъем на верхотуру восточной башни. В голове у меня вертелись обрывки "Некрономикона":

Волшебники были, есть и будут. С сумеречных звезд пришли они туда, где был рожден человек, незримые и отталкивающие. Они спустились на первоначальную землю. Под водами океанов дремали они на протяжении веков, пока море не ушло; потом они быстро размножились и, во много раз увеличившись в числе, стали править землей. На оледенелых полюсах возвели они мощные города, а на горных высотах — храмы тех, кого не признает природа и кто проклят богами.

Цитата эта выглядела наглядной иллюстрацией того, что мы будем делать: вызывать духов, вступать в контакт с чем-то, что обычно скрыто и запретно для человека.

Мы расселись на равном расстоянии друг от друга, и старец, не произнеся ни слова, объявил собрание открытым. Впервые за то время, что я сталкивался с непонятными явлениями, в моем распоряжении были все средства, каждая деталь, каждое действие представали в перспективе своей конечной цели, в своем оккультном обличье и во всем разнообразии своих возможных значений.

Я видел сложность мира и его очевидную простоту, хитроумные колеса гигантского часового механизма, слепящий свет степенных, неподвижных вещей, покрытых льдом озер и темных пещер, необъятных пустынь и безглазых, безъязыких толп, взбесившихся, разъяренных страданиями, недоступных свету и все же достигающих океана. Я видел

1. Реминисценция из романа Г. Флобера "Саламбо".

доказательство существования Бога и его бесповоротное отсутствие. Я видел все, причину этого всего и его перманентное исчезновение, и ныне и присно и во веки веков, пентаграмма, начерченная на полу стариком, была не чем иным, как опорой наших умов, не позволяющей им окончательно ввергнуться в безумие, а заклинания, которые мы распевали, ничем не отличались от детских стишков, какие произносят на пороге темной комнаты, заклиная страх перед ночным мраком.

Пройдет день, и настанет ночь. Время людей кончится, и они вернутся туда, откуда пришли. Теперь вы знаете, что они лишь грязь и, проклятые, запачкали бы собою землю.

Множество сущностей, или форм, обрели материальный, пугающий вид, мерзкие суккубы, гоблины, тени, зримое обличье того, что в ином плане не имело ни внешнего вида, ни формы.

После этого странного заседания перемены в моей жизни окончательно завершились. Первым осязаемым эффектом нового положения вещей, естественно, стала моя манера живописи, прежде всего сами краски.

Я задумал цикл картин, "Обсул на охоте", "Обсул, отрезающий голову бунтовщику пилой по металлу", "Обсул, схватившийся со зверем", и уже после первых набросков понял, что со мной случилось нечто невероятное, о чем я всегда мечтал, но на что, даже в самых безумных своих мечтах, никогда не смел притязать.

Мои полотна стали подвижными, словно, осененные благодатью, превратились в саму жизнь, обретающую на холсте некую точечную консистенцию, каждый атом цвета, хоть и спрессованный в плотную плоскость, как бы застыл в ожидании, готовый сорваться в вибрирующем, мерцающем вихре, толкнуться в сетчатку, заворожить взор, а затем увлечь его за собой, на дорогу, где нет никаких ориентиров, где он затеряется в череде странных, одушевленных сцен, вроде фильма, только гораздо больше, в своего рода гипнотическом сне, раскрывающем перед нами темное обличье того измерения, что было нашим бытием.

Когда я прибыл в Шамбор, Обсул высказал мысль, что я недостающий элемент, объясняя, почему сразу же проникся ко мне почтением, и когда я спросил у коллег, в чем дело, как я смогу закончить паззл, начатый, когда здесь еще никто не ведал о моем существовании, мне ответили, что было пророчество, точно предсказавшее мой приход, приход художника, которому суждено дополнить магическое социальное устройство. Старец убедил Обсула, что с этого момента колдуны смогут уже не только поддерживать его, но и сделать его новым императором, королем мира, тем, кого ожидала земля, что с этого начнется новый подъем, блистательное царство (разве Гитлер сумел бы предать всю Европу огню и мечу, если б ему не помогали маги, разве самого Александра Завоевателя, не сопровождал повсюду гуру, залог его побед?), сомнений не было, Обсула ждала та же великая судьба.

Во времена
Смятения и битв
Силою гения
Подобного да Винчи
В замке воссияет
Звезда

Эту короткую строфу расшифровал старец, и она обрела ясный смысл, мы были звездой, а ее недостающим лучом был я.

Вскоре после дня рождения, в час заката, когда нижние этажи замка превратились в перманентную дискотеку, а пульсирующие звуки техно отбивали тот самый ритм, который еще до всех этих событий неизменно наводил на меня тоску, иначе говоря, четкую мысль о конце света, Обсул пожелал взглянуть на мои полотна, на начало моей работы.

"Обсул на охоте".

"Обсул и пила по металлу".

На картинах сначала нельзя было различить ничего, глаз видел лишь мутный туман, какую-то серую протяженность, притягивавшую взгляд и словно обволакивавшую вас песчаным облаком, надо было немного освоиться, и тогда проступали все детали и краски.

– Это что за фигня? – заревел Обсул. – Это что, блевотина?

И стадо тупиц-придворных, кучка кретинов, что ходили за ним по пятам, вынюхивая, куда ветер дует, дружно загоготали. Чтобы оценить сцену, надо представить себе Шамбор, его сорок тысяч покоев, ветвящихся во все стороны, его крылья, коридоры, чердаки, лестницы, из каждого окна – величественный, грандиозный вид, и все это заставлено черт знает какой рухлядью, на любой вкус и кошелек, всем, что натащили здешние обитатели, явившись с очередной волной пришельцев, в меру своих удач и неудач, а внутри – нечто вроде Двора чудес[1], скопище умственно отсталых, жертв катаклизма, среди которых затесалось несколько атипичных, вроде бывшего экскурсовода или старца, большинство одевались либо как цыгане в Средние века, либо как панки эпохи посттехно, вся эта круговерть в конечном счете не сильно отличалась от фильмов, где нам предсказывали трудные времена, вроде "Безумного Макса" и "Побега из Нью-Йорка", от которых мы прежде приходили в восторг, говоря себе, что, конечно, ничего подобного не случится, именно то, что это фильм, и гарантирует нам, что такие времена не наступят, и вот мы сидим в них, то ли в исторической книге с описанием всей долгой эпопеи французских королей, то ли в третьесортном детективе, где неграмотные мужланы, большей частью наркоманы и содомиты, торгуют молоденькими девственницами и рабски служат главарю, верящему в свой блистательный удел и в магию.

– Блевотина? – подхватил один из скотов. – Скорей уж дерьмо.

Но прежде чем он успел закончить фразу, Обсул приказал ему замолчать, он глядел на полотно, вытаращив глаза, явно ошеломленный увиденным, завеса разорвалась, и явилось его собственное изображение, ожившее силой красок, оно двигалось, размахивало своим трофеем, окровавленной головой бунтовщика, все формы имели как бы третье измерение, видимое только ему одному, и еще нечто большее, большее, чем реальность, воспроизведенная предельно реалистически, до осязаемости: то была дверь, ведущая в иной мир, к тем обличьям, какие может принимать жизнь и все закоулки мира, на них мы натыкаемся всякий миг, не обращая внимания, но на полотне они начинали светиться и оживать.

– Кайф, – наконец прошептал Обсул, – какой кайф!

1. Двор чудес – старинное название квартала в центре Парижа, где вплоть до середины XVII века обитали воры и нищие; в нем разворачивается одна из знаменитых сцен "Собора Парижской Богоматери" Виктора Гюго.

И, похоже, взволнованный увиденным, кровью и муками обезглавленного, всем тем, чему в тот момент он не придал значения, продолжал сдавленным голосом, о черт, бедняга, получил по полной программе, в уголке картины присутствовало нечто, также незримое в ходе перебранки, тонкий тревожный дымок, быть может, не что иное, как сама смерть, во всяком случае при виде его у Обсула почти перехватило дыхание от ужаса, круто, слишком сильная дурь, я на это долго смотреть не могу, я плыву, в конце концов он отвернулся и, с трудом переводя дух, подмигнул мне, это мощно, что ты сделал, малыш, мощно, отлично, Обсул доволен, пророчество нас не обмануло, ты в этом смыслишь, малыш.

Вся группа сопровождения отхлынула, бросая на меня странные взгляды, для них картина осталась пустой, расплывчатым закопченным пятном на мольберте, кто-то заметил: это ведь не по-христиански, а другой на всякий случай прочел суру, так, на всякий пожарный, мало ли что, я ободряюще улыбнулся ему, браво, до чего здорово быть верующим, в наше-то время.

То ли потрясения, разрушившие наше дивное процветающее общество, в конце концов стали слабее, то ли люди смирились с неизбежным, но они пытались начать жить сначала, несмотря ни на что, это чувствовалось по количеству несчастных, что являлись к границам домена и молили пустить их, хоть в качестве рабов, лишь бы им разрешили обрабатывать землю, а главное, защитили их, как в старые добрые времена, когда дворяне правили поселениями вассалов, только не прогоняйте нас, лучше убейте, старец посоветовал Обсулу принять их, нужно было кормить войско, а урожай ожидался незавидный. Новое завоевание мира начиналось с рационального обустройства близлежащего пространства.

После той первой картины и того впечатления, какое она произвела на Обсула, у меня тоже регулярно стали спрашивать совета, сперва относительно всяких пустяков, а потом и по поводу более важных решений.

Несколько раз в неделю мы, колдуны, собирались вместе, смешивая нашу энергию в неощутимом потоке, быть может сотканном из материи снов, говоря словами Шекспира, всякий раз я уносился к далеким горизонтам, в тот момент они были светлы, как северное сияние, а после я почти не помнил, каково было их содержание, сущность или смысл, но самым главным было ощущение, что я на равных с реальностью куда более реальной, чем та, какую я знавал на земле, и что истинная жизнь — или то, что управляло всем, — и в самом деле не здесь, словно нам по ходу наших опытов на какой-то кратчайший миг удавалось разорвать завесу.

Жизнь в замке стала похожа на театр, каждый день возникало чувство, что вокруг перманентный спектакль, едва наступала ночь, начинала бухать музыка, глухой, а главное, оглушающий ритм танца, техно или транса, заставлял замок мерно пульсировать, словно в нем билось сердце, которого не хватало прежде, а днем мы собирались вместе или охотились, каждый с удовольствием играл свою роль, колдуны в конце концов вышли из тени, явились на всеобщее обозрение, в любом случае необходимо было явить нечто оккультное, показать, что здесь, через конкретных людей, действует какая-то сила, поддерживающая Обсула, так что теперь мы выходили на свет в черном костюме, в чем-то вроде плаща на плечах, и то, что в другое время показалось бы несуразным и

даже просто смешным, сейчас обретало свое законное, необходимое место, мы воплощали собой осязаемый ориентир в мире, утратившем все ориентиры, мы были живым доказательством того, что еще есть возможность, пускай кружным, подспудным путем, сообщаться с иным миром, что этот иной мир существует, а значит, боги еще не совсем забыли и покинули нас, среди царящего кругом хаоса эта мысль служила поддержкой, тонкой натянутой ниточкой, за которую можно было уцепиться, которая давала слабый проблеск надежды.

Речь шла ни много ни мало о новом покорении земли, о сохранении человечества, о том, что с нас, отчего бы нет, начнется новый ренессанс, жизненным центром которого станет Шамбор, если подходить к фактам непредвзято, становилось ясно, что очень многое говорит в пользу этой идеи, по крайней мере именно на это напирал старец, чтобы убедить Обсула и разные группировки, из которых складывалось равновесие сил в нашем лагере:

Мы находимся в замке, где обрел некогда приют величайший гений, жемчужина благословенной эпохи[1].

Практически нет сомнений, что над планами этого уникального сооружения склонялся сам Леонардо.

Радиоактивное облако обошло замок, хотя атомная станция находится совсем рядом.

И еще один момент, снимавший последние сомнения: домен Шамбора в точности повторяет план Парижа в черте города, внутри бульварного кольца.

Тютелька в тютельку, с точностью до квадратного метра.

Так что мы просто-напросто находимся в новой столице, новой столице мира.

Сомневаться в этом мог только идиот.

Теперь уже форму носили не только колдуны. Дворяне, приближенные Обсула, напялили кожаные штаны, мотоциклетные краги и перуанские цветные береты — этим неожиданным штрихом молодчики были обязаны какой-то товарной партии, занесенной к нам магической силой грабежей, у охотников был свой охотничий наряд — костюм лесничих и егерей, каковыми они прежде в основном и были, — цвета хаки, но вместо пятнистых беретов у них были тирольские шапочки с изящным пером, интенданты и слуги в конце концов облачились в синее, вечный удел неимущих, грубые рабочие робы были позаимствованы на ближайшем заводе, что же до рядовых варваров, те брили себе череп, по этому признаку их легко можно было узнать. За короткий срок восстановилось некое подобие социального устройства, и костюмы служили тому вещественным доказательством.

Итак, похоже было, что скоро верх возьмет обычная рутина, всякие мелочи, существовавшие во все времена, вроде сплетен, пересудов и нескончаемых споров, о каком-то странном поведении соседа или о собственных огорчениях и заботах, что, невзирая на бурю, жизнь вот-вот возьмет свое и среди потрясений установится некий статус-кво, но в действительности все обстояло иначе, каждый миг был особым, неповторимым, странным, заключал в себе одновременно и боль от утраты всего, что нам знакомо, и какое-то подобие ауры, делавшей даже самое

1. То есть Леонардо да Винчи, который, по приглашению Франциска I, провел последние годы жизни во Франции; у современников Леонардо пользовался репутацией колдуна.

банальное мгновение переломным, окружавшей его беспокойной, живой оболочкой, отныне каждая секунда, проведенная здесь, на земле, воплощалась целиком, не оставляя нам ни малейшей возможности отвлечься, раствориться в чем-то ином, частично уйти от реальности, от этого мира.

Этого мира, чье эхо время от времени доносилось до нас при поступлении товаров, появлении покупателей, или работорговцев, или тех несчастных, что добредали сюда с севера или с юга и просили убежища, их отсылали на полевые работы, эхо по большей части отдаленное, средиземноморский бассейн ушел под воду, стерев с лица земли по крайней мере Марсель и побережье до самого Авиньона, вокруг Парижа и севернее, судя по всему, по-прежнему царили холод и ночь, целые области находились во власти чудовищ и кошмарных созданий, по крайней мере так нам рассказывал один молодой беженец: в северной части Луары, похоже, настал сущий ад на земле. Я продолжал рисовать, и мои женские портреты, серия картин о гареме Обсула, пользовались огромным успехом.

Каждое полотно в точности отражало красоту девушек, их невинность и свежесть, уже сами изображенные и недосягаемые сокровища немедленно вызывали влечение, и они волновали конечно, но едва взгляд задерживался на них чуть дольше, как всплывало множество деталей, структура кожи, блеск волос, это немедленно создавало дополнительный угол зрения, казалось, сетчатку глаза затягивало между крохотными пятнышками краски, уносило навстречу чему-то иному, неощутимому, словно я сумел соединить в одном произведении и фигуративные, и импрессионистские, и абстрактные выразительные средства, это в конце концов выразил на своей лад, простояв перед картиной несколько часов, один из сотоварищей Обсула: вроде как я попал прямо к ней в душу, и за мной окончательно закрепилась репутация волшебника.

Ибо среди окружавшего нас варварства сохранялась тем не менее некая константа, символом которой служил сам Шамбор, из БОЛОТА К НЕБЕСАМ, с огромным фонарем на макушке здания, тянущимся достать до облаков, и деревянными сваями, державшими весь ансамбль, со множеством символов, начертанных прямо на камнях, формой балясин на перилах, сочетанием круга и квадрата, тесно связанных между собой Земли и Неба, и вездесущей Саламандрой, все здесь несло в себе идею трансформации, тайной алхимии, заключенной в этом месте, которое, несмотря на апокалипсис, а быть может, именно благодаря ему, способно было воздействовать на глубины нашего “я”.

Музыка бухала без перерыва с десяти вечера до шести утра.

Днем в замке иногда стояла мертвая тишина.

Обсул охотился, кололся и грезил о завоеваниях.

Я написал двадцать шесть женских лиц, их развесили в трех больших залах на втором этаже, и варвары приходили любоваться ими, некоторые крестились или читали охранные суры, трогая свои амулеты.

Силы, которые мы призывали на чердаке восточной башни, поставляли нам все более чудовищные, ошеломительные кошмары, старца они не пугали, но на остальных, и на меня в том числе, стали нагонять страх.

Мне вспоминалась одна книга, где говорилось о разных видах магии – Магии Сакральной, когда маг выступает орудием божественной силы, Магии Личной, когда сам маг служит источником магической опе-

рации, и, наконец, Магии Черной, когда маг является лишь игрушкой темных сил, ее обычно называют колдовством, я выходил с наших сборищ, исполосованный странными мыслями и неясным подозрением, что, быть может, все, чему мы предаемся, — лишь тупиковый путь, на который толкает нас старец, ослепленный жаждой власти и шаткой иллюзией, что через заключенный нами неизъяснимый договор проступает сияющая светом вечность, вечность сладострастия и славы, тогда как мы, похоже, только паяцы, отданные на волю бессознательных импульсов мира, шесть бедолаг, чьи вежды, несмотря на всю видимость, сомкнуты, плюс один демиург, полагающий, будто служит небу, а на деле повинующийся лишь собственным иллюзорным законам.

Управление доменом требовало все большей сосредоточенности и внимания, было вполне очевидно, что, если мы не будем начеку, все это вмиг кончится, настанет момент, когда грабители больше не смогут найти ни товаров, оставшихся от минувшей цивилизации, ни горючего для аккумуляторов, а значит, конец празднику, конец музыке, в один прекрасный день кончатся наркотики, кончатся сильные гипнотические средства, погружавшие варваров и придворных в галлюцинаторный транс, конечно, если мы не поднимем голову и не встряхнемся, дав толчок новой эре, новой империи, и Обсул, как возвещали пророчества старца, не станет ее основателем и повелителем.

Я задумал познакомить его с "Воспоминаниями Адриана"[1] и "Войнами" Цезаря, как ребенка, которому по вечерам, чтобы его убаюкать, рассказывают сказку, в надежде, что эта идея найдет в нем отклик и мало-помалу грубое животное превратится в правителя, в просвещенного завоевателя.

Лучше порядок, чем анархия, а для этого нам был нужен король.

Король умный, тонкий, способный властвовать, но одушевленный силами прогресса и справедливости, способный вызвать или не погасить ту искру, от которой заведется весь механизм.

Король будущего.

А у нас был Обсул.

Честно говоря, учитывая, какая фауна населяла королевство, он был, возможно, скорее благом, чем злом, не думаю, чтобы кто-нибудь другой мог, внушая к себе почтение, править варварами, охотниками и сотнями грабителей, с которыми нам каждый день приходилось общаться. Обсул обладал силой, и эта сила была необходима.

Это был новый и необычайный способ ведения войны как по очень большому количеству редутов, по огромному протяжению, по сложности фортификационных работ, по системе блокады, так и во всех других отношениях[2].

Если в момент прибытия мне, связанному, лежащему на лошади, показалось, что местность за пределами домена дышит каким-то подобием изобилия, то в реальности ситуация была далеко не столь радужной. Действительно, какие-то участки земли вновь обрабатывали местные крестьяне, но, к сожалению, процесс был слишком стихийным, чтобы мы могли надеяться в итоге разумно распределить урожай, к тому же бы-

1. Роман Маргерит Юрсенар, написанный от имени римского императора Адриана.
2. Цезарь. Гражданская война, III, 47 / Перев. М. М. Покровского.

вали и злоупотребления, грабители, проходя мимо, естественно, делали то, что умели, то есть грабили, и землепашцы, работавшие без присмотра, ссылаясь на них, без труда укрывали продукты своего труда от наших посланцев.

В общем, в конце концов мы решили, что ради блага домена, но и имея в виду более отдаленную перспективу — будущие завоевания и великое королевство, предмет наших чаяний, — следует выступить в поход, провести показательный смотр нашей армии и тем самым продемонстрировать окрестному мужичью, всяким жертвам катастрофы и пришельцам всех мастей, что Империя в самом деле существует и что правление Обсула — не шутка. Кроме того, нужно было пополнить гарем, а эти сквалыги наверняка укрывали у себя еще каких-нибудь девиц.

Одним из центральных элементов этого триумфального марша, призванного воскресить в сознании окрестных жителей главенствующую роль Государства, было искусное использование нашего символа, Саламандры. Она была первым, что я увидел, когда из тумана материализовался Шамбор, все тогда же, когда я ехал со старцем и еще не был тем, кем стал теперь, Живописцем-Колдуном, особым советником Обсула, я принял увиденное мною странное животное за какого-то громадного муравья, на самом же деле это была гигантская Саламандра, ее соорудили еще до всего для какого-то несостоявшегося исторического представления, а затем утилизировали, основываясь на рассказах современников Франциска I, повествовавших, как король, по тем же причинам, что и мы теперь, возил свое необъятное животное по деревням: впереди стояли четыре обнаженные девушки, символизировавшие чистоту, а из пасти монстра извергалось пламя, дабы поразить воображение народа, утвердить королевскую власть и подвигнуть заскорузлые души крестьян к возвышенным идеям. Саламандра была сильным символом, ее следы обнаруживались даже в библейских текстах, она могла и жить посреди огня, и загасить его, к тому же являлась воплощением "Праведника, что хранит мир в душе своей и уповает на Бога среди потрясений", орудием очищения, как нельзя более необходимым в наши смутные времена.

Мы собирались также использовать этот поход, чтобы навести порядок в сельскохозяйственных работах, назначить новых представителей, проблема теперь была в том, что, поскольку горючего оставалось мало, турне приходилось совершать верхом или, еще того хуже, на велосипеде, и никто в него не рвался, конечно, куда приятнее нежиться на большой лужайке и плясать всю ночь под "Квин".

Когда наш конвой выдвинулся за ворота Мюидов, три грузовика, набитых людьми, машина Обсула, его лошади и Саламандра — ее тащил трактор, а вокруг ехали верхом мы, колдуны, — думаю, это выглядело весьма внушительно.

За те три года, что я участвовал в делах домена, это был мой первый выход за стены замка.

От моей парижской жизни, от прежнего существования не осталось ничего, разве что смутное воспоминание, лицо Марианны, ее стенания, несколько парижских улиц и развернувшаяся на них фантасмагория, суккубы и Левиафан. Я прошел через такую цепь испытаний, пережил такие превращения, что если бы столкнулся с прежним собой, то, наверное, не узнал бы этого человека, он был бы для меня таким же чужим, как те вымышленные персонажи, с которыми трудно себя отождествить

и которые кажутся одновременно и далекими, и несколько надуманными.

Поля выглядели печальными, плешивыми, вдали еще курилась одна из проклятых башен атомной станции.

Я видел нас, выходцев из древних времен, существующих и в прошлом, и в будущем, творящих и в тот же миг врачующих наши беды, наши жизни, полные преград, и те роковые несчастья, с которыми нам так или иначе придется столкнуться, если не подготовиться к ним заранее. До ближайшей деревни мы ехали минут десять, там грузовики остановились, ужасающий скрежет тормозов прозвучал еще громче из-за отсутствия каких бы то ни было шумов, в домене была музыка, или люди, или по крайней мере какие-то признаки более или менее близкой человеческой жизнедеятельности, а здесь ничего, ничего, кроме пустоты, дома казались заброшенными.

— Алло, — заорал Обсул, — алло, алло!

К нам подъехала группа охотников на грузовичке цвета хаки, прежде он, судя по всему, принадлежал Госуправлению лесного хозяйства, на нем еще сохранился знак, и мы все вместе, стоя на пустой площади, обсуждали эту загадку, крича время от времени алло, алло, выходите, вам не причинят зла, Обсул почтил вас своим посещением, охотники говорили, что надо подождать, что люди скоро выйдут, а варвары, которых мы взяли с собой, заскучав, стали курить косячки и обследовать окрестные дома на предмет чем-нибудь поживиться.

Мы оставили замок под охраной привидений и разных призраков, приказав им уничтожать всякого, кто вознамерится им завладеть, на время нашего отсутствия танцплощадку закрыли и всем, кроме слуг, занимавшихся уборкой, запретили заходить на королевские этажи и в гарем.

Ближе к вечеру откуда-то высунулась заляпанная грязью девочка, за ней маленький мальчик, должно быть ее брат, постепенно появились и остальные землепашцы, Жако, глава охотников, поспешил их успокоить, то ли он знавал их раньше, то ли умел в любых случаях сразу находить почву для взаимопонимания, жизнь налаживается, мы хотим снова возродить земледелие и привести район в надлежащий вид, Обсул, король Шамбора, готов вам помочь, несчастные так стосковались по надежде, что готовы были проглотить что угодно, лишь бы избавиться от пелены ужаса, которой внезапно накрыло их, ничего не понимающих, они кивали головами, заранее полные такой благодарности, что хотелось отвести глаза, и все же недоверчивые, однако готовые участвовать в запуске нового, предложенного нами механизма.

Быть может, наша миссия состояла в том, чтобы создать новую образную канву, грошовую мифологию, способную привести в действие целое, включить в нее и эти лоскутные декорации, и бледных, подавленных варваров, и простирающиеся вокруг поля, похожие на преддверие самого ада, на его пригороды в первое утро проклятой недели, при виде толпы обездоленных существ, больных от страха, трясущихся в лихорадке, изголодавшихся, тянущих к нам, сытым, последним избранникам мира, свои худосочные руки, у меня вдруг возникло глупое желание написать одно странное видение, что раз за разом возвращалось ко мне сквозь все туманы апокалипсиса: залитая дождем магистраль, время около трех часов дня, машины застряли в пробке, потому что между Френ и Орли, в направлении Кретейля, авария, они гудят на усталой, раздра-

женной ноте, перед глазами у меня стояли бетонные опоры железнодорожного моста, автозаправка на обочине ушедшей в небытие автострады, и где-то в глубинах моего сознания смутно, интуитивно сложилось объяснение того, чему суждено было стать провозвестием нашей погибели, мне так и не удалось вытащить его на поверхность. У этих оборванцев заплакал ребенок, и вдруг мне стало страшно, стыдно и неловко за свое благополучие и везение.

— Обсул здесь, среди вас, и отныне вы можете опереться на его силу и рассчитывать на его покровительство.

Он спокойно объяснил им, что союз необходим, что мы нуждаемся в них так же, как и они в нас, что, выращивая картофель, они получат право стать частью новой нации, королевства Шамбор, и тогда они не скатятся до уровня диких зверей, а иначе им этого не избежать.

— Посмотрите на себя, посмотрите, на кого вы похожи, если вы меня не послушаете, вы совсем захиреете, сдохнете, как скоты.

Позади включились газовые фонари, упрятанные в глотку Саламандры, и изо рта огромного сверкающего чудища вырвался сноп пламени. Саламандра, заревел Обсул, мы посланы Саламандрой. Вперед вышла женщина, катя в колясочке скрюченного ребенка. Я спрашивал себя, по какому немыслимому безумию этот придурок мог вознестись на вершину власти и за такое короткое время подчинить себе столько народу.

— Если вы действительно король, как говорите, то вы в состоянии облегчить наши страдания.

Похоже, у нее был приличный культурный уровень, может, учительница или библиотекарша, она говорила учтиво, истинные короли — чудотворцы, это все знают, спросите своих советников, они подтвердят. Ребенок хныкал в коляске, лицо у него было настолько смуглое, что он походил на негра. Мои глаза встретились с глазами женщины, и у меня возникло давно забытое чувство, что-то вроде мгновенного соучастия, узнавания. Я наклонился к Обсулу и шепнул ему, что значит чудотворец: это целитель, она хочет, чтобы мы вылечили ее сына.

Теперь задувал ветер, и флажки на автозаправочной станции хлопали о металлический трос.

— Подойди ближе, — сказал Обсул, — подойди, не бойся.

Подъезжая к деревне, мы видели распятие, Христа, терявшегося среди заброшенных полей, с навеки прибитыми к горизонтальной планке руками, в предельно актуальной на сегодня позе, застывшего на кресте, словно не совсем еще мертвый обломок минувшей эпохи, откуда еще всплывали былые идолы, изжитые модели, которые, однако, по-прежнему вызывали мысль о возможных, даже более чем возможных грядущих превратностях наших несчастных судеб.

Женщина подкатила коляску, колеса скрипели по гравию. Охотники ждали с внимательным, озабоченным видом, мы, колдуны, оставались безучастными.

— Иди сюда, — повторил Обсул, — иди сюда, Обсул тебя вылечит, Обсул облегчит твои страдания.

Женщина посмотрела на нас, мне показалось, что она глядела именно на меня, и я незаметно кивнул, это могло почти сойти за поощрение. Двое варваров бросились к ней и вынули смуглое тельце из груды тряпок, пасть Саламандры изрыгала пламя, обжигающее дыхание заставило нас слегка отступить. Лицо ребенка сморщилось в гримасе боли. Обсул взял его на руки, как младенца, поддерживая голову мощной рукой

исполина, веки старца были полуприкрыты, казалось, он дремлет. Обсул облегчит твои страдания, вылечит тебя, и тут он одним ударом размозжил ему голову, легко, словно крольчонку, а потом поднял тело и швырнул его в огонь, мать зашлась в рыданиях и проклятиях, а в воздухе жутко завоняло паленой свиньей.

Я вяло прислушался к себе, чтобы понять, сделаю я из этого картину или нет, скорее да, из трубы, проделанной в спине металлического монстра, взметнулись черные хлопья, словно клочья горелой бумаги в горячем воздухе, и я представил себе, как душа ребенка вперемешку со зловонной сажей спокойно поднимается к небесам.

— Обсул плевать хотел на зло, Обсул здесь, он наблюдает за вами и хранит вас, да здравствует Обсул.

Прислуга сбила пламя, грузовики завели моторы, и наш конвой тяжело двинулся вперед, теперь к величавой процессии присоединилась армия оборванцев, они шли за нами, гибель малыша вызвала такой шок, что никто не посмел и рта раскрыть, только Жако, глава охотников, заметил в замешательстве, я не понимаю, Обсул, эта женщина тебе поверила, она была готова слепо следовать за тобой, а ты убил ее сына, не понимаю, в конце концов старец сказал, ты что считаешь, этому ребенку хорошо жилось, у него ожог последней степени, он облучен, тебе не кажется, что ему лучше там, где он сейчас, но я прекрасно видел, что этот довод, хоть и достаточно веский, охотника не убедил, и мне пришло в голову, что в один прекрасный день у нас могут быть проблемы с туземцами и со всей этой командой хищников в хаки, куда ни кинь, Обсул здесь чужак, да и мы не лучше.

Мы перебрались через реку и направились к атомной станции. Я впервые видел Луару с тех пор, как спускался по ней на лодке, вода была грязная, вся в водоворотах, кто-то сказал, это последняя дикая река во Франции, единственная, которую не регулировали искусственно, теперь они небось все такие, плотины сто лет назад рухнули, и внезапно, этого не случалось со мной уже давно — жизнь в Шамборе охраняли такие мощные чары, что внешний мир, даже его упоминание, не значил ровно ничего, — на меня нахлынула печаль, что же случилось с землей, которую мы знавали, сердце мое сжалось при мысли обо всех этих сооружениях, об искусных постройках, возведенных человеком на протяжении веков, а ныне сгинувших навеки.

Кто-то крикнул, что если мы пойдем дальше, то сгорим все, но Обсул воздел кулак к небу, повторив: Обсул плевать хотел на зло, Обсул сильнее того огня и дерьма, которого вы боитесь, и остановившиеся было оборванцы снова зашагали вперед.

За годы хаоса станция превратилась в этом районе в символ перманентного стресса, мало-помалу на нее возложили ответственность за все, за конец света, хотя катастрофы случались и раньше, а эта авария была его прямым следствием, а не причиной — ведь именно то, что персонал сбежал, сеть разомкнулась и тьма сошла на землю, вызвало взрыв реактора, — и ныне люди в окрестностях домена старались не поднимать глаз, их поминутно преследовало видение струйки дыма, по-прежнему вившегося из неповрежденной трубы, тот факт, что Обсул, король Шамбора, собирается сразиться со злом на его территории, обретал тем самым символический смысл.

На перекрестке, сразу за деревней Сен-Лоран-дез-О, все снова заколебались, труба, казалось, была так близко, что протяни руку под нависВенсен Равалек. Ностальгия по черной магии

шей пеленой облаков, и можно ее коснуться, оборванцы снова сказали, что не хотят идти дальше, что, если подойти слишком близко, эта штука опять закипит, словно реактор — обскурантизм окончательно поселился в нас — каким-то сверхъестественным образом жил собственной жизнью. Обсул опять заорал: плевать я хотел на станцию, плевать я хотел на зло, и Саламандра, благодетельный двойник громады, высившейся перед нами, вновь изрыгнула поток огненных языков.

Голова старца, сидящего верхом, слегка покачивалась, и мне вдруг привиделось, что он плавится, тает под раскаленным, громадным солнцем и в то же время под действием чар, столь древних, что и причины их, и смысл давным-давно позабыты.

— Вам плохо? — спросил я. — У вас проблемы?

Я по-прежнему называл его на "вы", несмотря на наши узы, несмотря на общую судьбу: так принято среди колдунов.

Он сделал какой-то неопределенный жест, это могло значить все что угодно, недомогание, удушье, неодолимую усталость, я увидел крохотное существо на фоне красного, иссушенного пейзажа, горящее в вечном пламени, и мною овладела странная ностальгия, ностальгия по могущественной древней магии, к которой мы были причастны и из-за которой все потом и случилось, ностальгия по черной магии.

По магии и судьбе, которую мы позабыли, но которая сказывалась в каждом нашем поступке, в каждом моменте нашей жизни.

Мы затормозили на стоянке, там был припаркован автомобиль, что хочешь, то и думай, то ли он сломался, то ли владелец бросил его здесь; или бедняга оказался в ловушке внутри станции, или, может, вообще здесь живет, исправно платит за квартиру и ежедневно около одиннадцати отправляется по магазинам.

— Ау, — закричал Обсул, — эгей!

И несколько варваров заорали хором: "Эй! есть тут кто, есть кто внутри?"

Еще перед моими глазами мелькало нечто несуразное, Дьявол снова был среди нас, здоровался, подходил к старцу и чмокал его, рад тебя видеть, мой мальчик.

— Ладно-ладно, — прокричал чей-то голос, — иду-иду, зачем же так нервничать.

И к нам вышел человечек, смуглый, словно только что вернулся с Карибских островов, его зубы, о боже, какие у него были зубы, заостренные, как у дикаря, и до того прозрачные, что казалось, будто у несчастного во рту острые ледышки или ему вставили в челюсть куски целлофана, это тем более бросалось в глаза, что говорил он, неимоверно разевая рот.

— Алло, — повторил он, — кто здесь? вы кто?

Замок Шамбор был выстроен в форме свастики, а площадь парка в точности соответствовала площади столицы. Я спросил себя, на каких таких таинственных чарах мог быть основан план станции.

На миг все растерялись, варвары стояли разинув рот, человечек снова спросил: "Ну, вы что, языки проглотили?", Обсулу пришлось реагировать, он выпятил грудь и провозгласил: "Я, Обсул, король Шамбора и император всего мира, пришел вернуть станцию под свое владычество и обеззаразить ее", на что тот откровенно усмехнулся, охотники были с ног до головы в зеленом, мы, колдуны, в черных плащах, варвары тоже при всех регалиях, при перуанских беретах, а у оборванцев не было ни-

каких опознавательных знаков, просто они были оборванцы, и рвань сидела на них лучше любой формы, вообще сцена комичная до гротеска, да еще наш придурок со своими скакунами и Саламандрой, волочащейся за трактором, разойдись, сейчас плюнет, я поискал глазами старца, чтобы обменяться понимающей улыбкой, и тут заметил, что выглядит он и в самом деле паршиво, с него крупными каплями стекал пот, руки вцепились в луку седла так, что лопались сухожилия, взять его, приказал Обсул, указывая на смуглого, несколько варваров бросились вязать человечка, тот не пытался защищаться и не выразил ни малейшего неудовольствия.

Словно вышколенная группа морской пехоты, авангард варваров ворвался в первое здание, прежде здесь принимали экскурсантов, школьников и посетителей, на стенах еще сохранились таблички с маршрутом, охотники заняли позиции, у некоторых, прямо как по заказу, оказались ружья, и они воинственно прицелились в потемки холла, упреждая появление случайного врага.

— Там никого нет, — хихикнул этот необычный демиург, его привязали к колесу трактора, — и нечего суетиться, внутри пусто, кого вы там найдете, кроме протонов и электронов, ха-ха!

Но Обсул, не слушая, слез с седла и с царственным видом двинулся навстречу возможной опасности, мы шли сзади, на плакатике было написано: МЫ НЕСЕМ ВАМ БОЛЬШЕ ЧЕМ СВЕТ, и Обсул, явно под действием странной обстановки и остроты момента, обернулся и возвестил, обращаясь к оборванцам: ОБСУЛ НЕСЕТ ВАМ БОЛЬШЕ ЧЕМ СВЕТ, ОБСУЛ ПЛЕВАТЬ ХОТЕЛ НА ЗЛО, ОБСУЛ ОБЕЩАЕТ ВАМ ЗАЩИТУ И ВЛАСТЬ.

Поднявшись вверх по лестнице, выходившей на сторожевую вышку, что высилась над всеми постройками, он снова повторил свой новый лозунг, трижды, по слогам, что он плевать хотел на зло, что он несет больше чем свет, прислуга, оставшаяся внизу, разожгла Саламандру, кто-то велел оборванцам аплодировать.

Обсул плевать хотел на зло.

Обещает вам защиту и власть.

Несет вам больше чем свет.

Это звучало почти как песня или рекламный слоган.

Спустившись, Обсул пустил пулю в голову загадочному вахтеру, а потом мы опять отправились назад, в Шамбор, окутанные дымом горящего тела, чья темная, загорелая рука свешивалась из пасти нашего зверя-фетиша, трясущегося по дороге за трактором.

Мы вернулись в домен через ворота Мюидов, совершенно разбитые, слегка опьяневшие от всех этих приключений и простора, но весьма довольные путешествием. Глядите, сказал Жако-охотник, у нас получилось, труба больше не дымится! И в самом деле, небо расчистилось, от темной полосы, обычно делившей пополам горизонт, не осталось и следа, на сей раз оборванцев не нужно было уговаривать, они захлопали, и мы завершили дело, которое, по замыслу Обсула, должно было стать провозвестьем наших скорых побед, триумфальной овацией. Лицо старца немного оживилось, меня по-прежнему беспокоило его состояние, хотелось знать, что с ним; из всех мрачных, зыбких опор, которые я обрел по окончании крестного пути, он был для меня, кроме неотступного ощущения, что меня окружают незримые силы, единственным более или менее прочным ориентиром.

Есть ли еще на свете горы, с их заснеженными вершинами и грациозными сернами, перелетающими с утеса на утес, или и они рухнули с ужасающим грохотом, покуда Бретань и устье Луары заливали воды Атлантики, в Париже лил дождь, а в мире царило запустение?

Мы как раз расходились, варвары возвращались в лагерь, придворные в замок, а охотники в свои дома и в особняк Великого Монарха, когда вдруг раздался звук клаксона, все подскочили, это би-бип было настолько неуместным, что все застыли в растерянности и изумлении, то был здоровенный грузовик, с папашей Мишленом[1] на лобовом стекле и румяным здоровяком-шофером, он сигналил нам фарами, сворачивая на дорогу, ведущую к замку, из-за опущенных стекол неслись звуки рэпа, в кабине даже было прикноплено несколько снимков.

— Эй, — позвал дальнобойщик, — эй, парни, к замку Шамбор сюда?

Заметив Обсула, он махнул ему рукой, это могло значить и подойди, малыш, и что-нибудь более фамильярное, типа эй, малыш, двигай-ка сюда. Старец в это время уже направлялся к замку, издали я видел, как он обернулся, посмотрел на грузовик и на нас, столпившихся вокруг, а потом, словно охваченный страхом, перешел на рысь и скрылся за воротами.

С этой минуты и ход вещей, и мое восприятие реальности снова пошатнулись. Шофер вылез из грузовика, у меня проблемы со сцеплением, вроде барахлит, пожал руку Обсулу, я так понимаю, ты здесь главный, показал на прицеп и сказал: у меня тут куча всякого товара, книги, картины, в замке это не помешает, а? У меня было странное ощущение, что передо мной мое второе “я”, что этот человек — мой двойник, явившийся невесть откуда, чтобы напомнить мне о чем-то забытом, теперь уже смутном и неопределенном, впечатление было настолько отчетливым, что в какой-то момент я испугался, а вдруг присутствующие это заметят и закричат, показывая на меня пальцем, смотрите, смотрите, это он, но шофер снова сел за руль, а Обсул сказал, оставь машину на стоянке и ступай за нами в замок, есть разговор.

На следующее утро, возвращаясь с охоты, мы обнаружили неподалеку от кладбища изувеченное тело старца, а из зеркал начали выходить люди, присоединяясь к нам, словно они были живые и такие же реальные, из плоти и крови.

Во славу нового Завоевателя устроили грандиозное празднество в лесу, Обсул сделал широкий жест и повелел выпустить в чащу тридцать юных девственниц, дав сигнал к началу охоты, следовало достойно отпраздновать победу — тушение чертовой трубы и замирение областей, а значит, стоило поразвлечься и повеселиться, но покуда все население Шамбора толкалось в зарослях, поднимая знатную дичь, чтобы в лучшем виде завершить вечер, раздался громкий лай, крики и вопли, сначала удивленные, потом испуганные, мы поймали странное существо, полумужчину, полуженщину, некоторые части тела у него были волосатые, другие покрыты чешуей, оно до крови укусило одного охотника, и Обсул проткнул его копьем. В наши сети, сомнений не было, попался демон, явившийся из ада.

Вечером над картиной охоты — эту фиговину положили на бетонную плиту, и трубачи завели ритуальную оду — сгустилось тревожное,

1. Папаша Мишлен — составленный из покрышек человечек, символ фирмы “Мишлен”, известного производителя автомобильных шин.

странное ощущение, и когда кто-то примчался с криком, что убили старца, что его повесили рядом с кладбищем, а в животе у него торчит кол, оно перешло в откровенную панику. Какие-то силы вторглись в пространство, которое жило до сих пор как под колпаком, где все считали себя защищенными от мрака и злых чар. Больше нам негде было укрыться от зла, это нам показали совершенно ясно.

Возвращаясь в замок с трупами старца и чудовища, — на них смотрели с одинаковым благоговейным страхом, — мы с удивлением обнаружили вчерашнего водителя грузовика, он устроился на лужайке, кузов машины был откинут наподобие прилавка, какие бывают на рынках, там был целый ворох книг, гравюр и картин с маленькой табличкой "Распродажа, скидки на татуировку", завидев нас, он громко закричал, спешите, время скидок ограничено. Первое, что бросилось мне в глаза, была "Джоконда" в своей золотой раме, и даже под стеклом, прямо как в Лувре, у меня, наверное, глаза полезли на лоб, потому что торговец поспешно сказал, усмехаясь, да-да, паренек, продается, это частная собственность, только для знатоков. Я уже знал, что мне напомнило пойманное существо: улыбку Моны Лизы, только еще страшнее.

Нас как будто вдруг втянула какая-то мощная центрифуга, наш взгляд на вещи совершенно изменился, стопки книг, к примеру, выглядели офигительно, там были только книги по искусству, более того, по современному искусству, можно подумать, он вынес всю библиотеку Бобура[1] или Токийского музея. "Искусство дадаизма и сюрреализма", "Поп-арт", "Искусство XX века", "Тридцатые годы в Европе: грозные времена", "Католическая порнография" и "Бруно Ричард представляет", россыпь пестрых обложек неприятно и в то же время сладко резанула по глазам. Я делаю татуировки, сказал продавец, могу в точности повторить на коже любой рисунок из этих книг, разницы не заметишь.

Вечером мы сожгли труп старца (лесное существо, чтобы избежать дурных флюидов, увезли и бросили в Луару), а пришелец первый раз демонстрировал то, что в итоге вошло у нас в моду, — создавал точную репродукцию картины на волосатом торсе одного из варваров, которого ради такого случая побрили и который со стоическим безразличием переносил уколы толстой иглы, скользившей взад-вперед по его груди.

Бросая в пламя тело нашего вожака, мы с товарищами произнесли ритуальную фразу, призванную облегчить его муки в загробном мире, Ο κοσμος πονος τις νομιζηται. Мы пришли к единодушному выводу, что он затерялся в измерении, откуда не возвращаются. Временами меня тошнило от нашего кривляния.

Словно в доказательство нашей правоты тысячи призраков, которые время от времени виднелись в громадных зеркалах, украшавших этажи дворца, и к которым мы постепенно привыкли, начали оживать, выступать из амальгамы, прежде державшей их в плену, и смешиваться с толпой, персонажи иных веков, иногда знаменитые, след тех, кто когда-то бывал в Шамборе или был его современником, Мольер, Люлли, граф Сен-Жермен, Ронсар, один из президентов Франции, что любил здесь охотиться, словно старец, исчезая, уносясь в какой-то неясный иной мир, открыл врата и оттуда хлынула энергия, безудержная и неукротимая.

1. Т. е. Центра Жоржа Помпиду в Париже, включающего музей современного искусства, библиотеку, синематеку, театр и др.

Обсул казался безучастным, во всяком случае беззаботным. Похоже, смерть старца не особенно взволновала его, и когда к нему в панике прибежали с известием о новой жертве – опять один из наших, на сей раз его утопили в водоеме, на шее была стальная проволока, – он проявил лишь вежливый интерес. Похоже, только мне еще удавалось заинтересовать его внешним миром, нашими планами, завоеваниями и подвигами, которых ждала от него судьба. Одна из шаек, с которой мы торговали, обещала привести нам слонов (из зоопарка похитили множество зверей), а со слонами все должно было выглядеть совсем иначе, обрести мифологическое измерение, – так Ганнибал переходил через Альпы и шагал от победы к победе, – их прибытие станет условным знаком, сигналом к началу похода, к выступлению нашей армии.

После смерти старца я стал ближайшим советником короля, и окружающие глядели на меня косо.

Я выяснил загадку картины под стеклом, по словам татуировщика, это была действительно та самая "Джоконда", вывезенная из Парижа после наводнения, каждый раз, разговаривая с ним, я как будто видел его с другой стрижкой, и внезапно во мне окрепло убеждение, полная уверенность, что это я сам, мой двойник, мое второе "я", с которым я беседовал об искусстве и живописи, который давал мне почитать какую-нибудь книжку или показывал репродукцию в одном из томов, по-прежнему валявшихся у него в грузовике. В конце концов я попросил вытатуировать мне картину Макса Эрнста "Таинственный лес", этот образ, чьи краски слегка проступали под засохшими капельками крови, безусловно символизировал мой окончательный отказ – несмотря на магию, несмотря на все, что я пережил до сих пор, на все мои трансформации – понять до конца судьбу мира и его будущее. Какой-то элемент ответа всегда будет ускользать от меня, и с этой частицей тайны приходилось смириться.

Спустя несколько дней обнаружили очередную жертву из нашего клана, его затоптал жеребец, превратив в почти неузнаваемое месиво, и эта смерть тоже по-особому задела меня. Из тех семи человек, что составляли нашу группу, с Жан-Жилем, бывшим экскурсоводом, мы сошлись, наверно, ближе всего. Выходец из Солони, он уже по одной этой причине служил необходимым связующим звеном между всеми общинами, составлявшими новое королевство: охотниками, которых он знал с давних пор и с которыми был связан узами дружбы, Обсулом, которого завораживал рассказами о замке, и Союзом, основанным старцем; он регулярно мирил всех и улаживал проблемы, которые иначе быстро могли вылиться в более серьезные конфликты.

Кроме сожалений, он оставил по себе неоконченную "Магическую историю Шамбора".

К тому же его смерть послужила поводом для целой серии погромов, серьезно пошатнувших ту относительную гармонию, которая царила здесь вот уже три года. Узнав о случившемся, Жако, глава охотников, потребовал от Обсула возмещения ущерба, ссылаясь на то, что это его близкий друг, королевство не может так дальше существовать, ведь убивают самых верных его служителей, тем более что ходят слухи, будто в деле замешаны варвары, похоже, Жан-Жиль раскопал одну историю с пропажей метадона (с какого-то момента все наркотики, их стало мало, перешли в монопольное владение короля, и никто, под угрозой смерти и пытки, не имел права пользоваться ими), под таким напором Обсулу ничего не оставалось, как созвать основных главарей, те в свою очередь

стали кивать на других и обвинили во всем евреев, или, во всяком случае, тех, кого так называли, это была низшая каста варваров, на самом деле не столько собственно евреи, сколько те, кто открыто презирал ислам, не бил себя кулаком в грудь в знак приветствия, пил и курил во время рамадана, они жили вместе в помещении бывшего жокей-клуба, его конюшни служили теперь хижинами племени. В общем, обычные варвары во всем обвинили варваров-евреев, те возмутились, ситуация накалилась, и в итоге произошло побоище, всех евреев истребили, Саламандра работала сутками напролет, и вонь паленой свиньи окутала Шамбор, словно облако гнетущих, мрачных воспоминаний.

Слава богу, однажды утром, когда положение становилось откровенно тяжелым, из тумана показались слоны, двое взрослых и один слоненок, их пригнали грабители, лагерь ликовал, встречая вновь прибывших криком "Да здравствует Бабар, Да здравствуют все Бабары"[1], тут же было назначено празднество, небо вновь явило нам свою благосклонность, это следовало отметить. Одно удовольствие было смотреть, как молодые дерутся за право поиграть в погонщика, дразнят животных, за всем этим флегматично наблюдал татуировщик, он довольно быстро освоился здесь и целыми днями создавал бесконечный альбом современной живописи на коже неграмотных плебеев, которых, однако, не оставляла равнодушными прелесть полотен, украшавших прежде музеи западных столиц.

"Розовый буксир", "Черный и цветной мел на бумаге слоновой кости", "Испанская ночь" или "Натюрморт со скрипкой", образы из тысячи и одного каталога, принадлежавшего этому художнику нового жанра, он вызывал во мне смешанное чувство — влечение, отторжение, недоверие, я попытался включить его в одно из своих собственных полотен, но в первый раз с тех пор, как я поселился здесь, у меня ничего не получилось.

Вскоре после смерти Жан-Жиля, в самый разгар погромов, мы попытались собраться в последний раз, решив больше не заниматься магией, прекратить наши обряды, все, что мы делали раньше, мне вдруг опротивело, и чудовища, и созданные нами кошмары, и обретенная нами иллюзорная власть над материей и над другими людьми, одно было ясно, наша затея, равно как и все, что тщились предпринять жители Земли с начала времен, всего лишь бесплодная суета, в моем мозгу навсегда запечатлелись последние мгновения жизни старца и отвратительное видение: его душа, затерянная среди гнилых болот и клубов серы, и приторный голосок, напевающий "в танце кружится дедушка, в вальсе кружится бабушка", гротескная стихотворная эпитафия, скрепляющая его участь.

Многие предметы, их металлические части, дверные петли, ручки оконных рам — всё разом покрылось ржавчиной, и вдруг стало казаться, что эта проказа скоро распространится на весь Шамбор, заразит камни, людей, деревья, неодолимая ржавчина, возникшая, словно призраки из зеркал, словно неуязвимый шанкр, что незаметно подтачивает еще теплящуюся жизнь. Вместе с нашим наставником и двумя сотоварищами мы потеряли и свою силу, и способность творить чудеса, я видел, как нас тихонько уносит какая-то спираль, а Земля понемногу исчезает под слоем

1. Слоненок Бабар — персонаж французских детских сказок.

безжалостных черных чернил, нечувствительных к нашим бедам и страданиям, а мы ничего не можем поделать, да и как иначе?

Вместе со слонами явилась целая банда, словно нам не хватало своих. Хотя обитатели Шамбора были по большей части людьми грубыми и злыми, они все же чтили установленный порядок, в этом были заинтересованы все, ведь даже в недрах величайшей анархии должно царить некое подобие организации, но эти пришельцы вовсе не соблюдали правил, вели себя хуже некуда и, что самое ужасное, практически не встречали отпора со стороны короля. В голову даже закрадывалась мысль, уж не побаивается ли их Обсул, потому что он только помалкивал, выжидал, роняя время от времени: да нет, они симпатяги, просто им нужно поразвлечься, к тому же они нам привели слонов, и так до тех пор, покуда последняя капля не переполнила чашу терпения, снести такое было уже невозможно, негодяи напали на гарем и изнасиловали скопом всех королевских протеже.

— Что-о, — отреагировал Обсул, — напали на кого?

Мы как раз играли в шахматы с графом Сен-Жерменом и в окружении громадных карт Солони, Франции, Европы и остального мира — их развесил я — рассуждали о том, что станем делать с новыми землями, какую пользу можно из них извлечь, как ими нужно управлять, дипломатично, но твердо, и тут вбежал, весь в крови, один из охранников гарема и сообщил эту немыслимую новость.

Скольким городам, погрязшим в пороке, допустили мы до времени процветать! Но в конце концов возмездие наше посетило их.

В лице вновь прибывших мы получили целую толпу верующих, кругом обложившихся заветами и именами Аллаха, с кучей сур на все случаи жизни, но Обсул и здесь выжидал — по отношению к религии, во всяком случае к тому, что от нее осталось, он занимал позицию осторожного, предусмотрительного правителя, который щадит чужие чувства и, в меру обстоятельств, предпочитает плыть по течению. Сказать по правде, все эти аятоллы с их запретами и воздержанием говорили одно, а назавтра делали нечто совсем другое: нам показали видеосъемку заброшенного Аквабульвара[1], на пленке было видно, как там развлекаются многие из наших новых дружков, джакузи были завалены экскрементами, горки разломаны, женщины позволяли себя насиловать, а посреди остатков бассейна копошилась скотская оргия, а в Париже еще клево, прокомментировал один из святош, знай пошевеливайся, и можно оторваться по полной, и всякий раз они по-детски выпендривались, с этим все время приходилось считаться, но когда Обсул узнал, как ужасно и низко обошлись с его нареченными, с его священными, дорогими девочками, которых никто не имел права тронуть пальцем, он первым делом отловил случившегося рядом имама и, рыча, размазал его по плитам залы, как раз у кровати, на которой якобы почивал сам Франциск I, а потом ринулся вперед, безудержно, как псих, и укокошил насильников одного за другим, крича, что у него украли женщин, его самую большую драгоценность, и многие варвары из первого лагеря присоединились к нему, истребляя весь этот сброд.

1. Аквабульвар — водный развлекательный комплекс в Париже.

Мало того, один за другим исчезали все, кто еще оставался в живых из нашей группы, что ни день, их тоже находили убитыми, самыми разными способами, а поскольку еврейский погром уже был, первое, что приходило в голову, это что на нас наползает плотный туман, время замка подошло к концу и этот последний бастион человечества, каким бы хаотичным он ни казался, тоже скоро погрузится в ужас и ночь. Но ничего не происходило, мы пережили эту новую напасть с безучастностью обреченных, которым что завтра, что вчера, в сущности, все равно. Разве что Обсул, осознав, что все колдуны, кроме меня, уже сгинули, тревожился иногда за последствия пророчества, и мне приходилось успокаивать его, напоминая о Да Винчи: Да Винчи — это художник, художник тут главный, потерпи немного и положись на меня.

Люди, выходившие из зеркал, были прелестны, с ними было приятно общаться, бесплотные, чуть светящиеся, они всегда готовы были поддержать беседу, сыграть в какую-нибудь светскую игру или спеть. Мазут кончился, аккумуляторы выдохлись, погрузив в безысходную черноту мониторы, на которых придворные прежде упражнялись в стройке, тогда любители переключились на "Монополию", "Тысячу километров" и прочие настольные игры, партию которых мы однажды раздобыли.

Правда, у нас не оставалось особенно много времени играть, сразу после затишья, воцарившегося за погромами и резней, мы столкнулись с новым явлением, окончательно повергшим нас в изумление и недоумение: пятна ржавчины, уже несколько месяцев видневшиеся по краям зеркал, действительно мало-помалу расползлись по камням, по предметам, по некоторым деревьям в парке, и стало ясно, что эта мерзкая проказа подвержена изменениям, сначала она превратилась в нечто вроде мха, казалось, в нем шло подспудное кипение, на поверхности пробегали тревожные волны дрожи, а потом возникли более развитые формы, нитяные коконы, и в одно прекрасное утро из них вылупились малюсенькие, но уже совершенно готовые существа, я не сразу их опознал, подойдя ближе на тревожные крики варваров, я обнаружил крохотный, всего в несколько сантиметров, силуэт, чьи глаза, казалось, метали молнии и который громко и непонятно ругался тоненьким голоском, один из остроготов раздавил его пальцами, призрак испустил дух, и из него полезла синеватая пена. За неделю, как раз к наступлению весны, они заполонили весь замок и его окрестности.

Юнона

Посмотри на меня внимательнее, Парис, но учти и еще одно: цену победы. Ибо если ты выберешь меня, я сделаю тебя царем всей Азии.

Парис

Я не честолюбив, но несправедливости вам не учиню. Отойдите, пусть подойдет Паллада.

Паллада

Если ты предпочтешь меня, я сделаю тебя непобедимым.

Парис

Доблесть меня не волнует, и царство моего отца живет мирно, но не бойтесь, меня нельзя подкупить ни обещаниями, ни дарами, заберите свою одежду и оружие; пусть подойдет Венера.

Существа, повозившись, вырывались из тесного плена паутины и выбирались наружу, сперва насупленные, немного брюзгливые, словно

проснувшиеся после сиесты, а потом они присоединялись к нам, декламируя, точно прелестную, грустную оду, нескончаемые поэмы и трагические песни, где они были одновременно и авторами и героями: боги всего мира, из всех уголков планеты, воплощались ныне в странном обличье многих тысяч кукол, дабы поведать нам о своих невзгодах и страданиях, своих невероятных историях и трагических судьбах.

— Это еще что за бардак? — спросил Обсул. — Опять какая-нибудь колдовская чушь?

Я видел Зевса и Посейдона, они ругались и топали друг на друга ногами.

Боги.

Все боги земли, невесть каким чудом ставшие смешными и жалкими.

Все боги, с зарождения человечества и до сегодняшнего дня, когда оно вот-вот исчезнет.

Казалось, нам дали слишком сильное психотропное средство и это очередной бред.

— Нет, — ответил я, — если это и колдовство, то не мое.

Честно говоря, я устал, после ухода остальных, моих товарищей, способность воздействовать на физический мир у меня ослабла, мне казалось, что я буксую, что иногда ко мне возвращаются прежние ощущения и я снова смотрю на вещи так же, как когда-то, глупо и эмоционально, придавленный к земле бременем реальности, и иногда даже снова возникала мысль, что я сошел с ума, что это я все придумал — катастрофы, погромы, Обсула и замок, где управляю этим кошмаром по своему усмотрению.

— Нет, — повторил я, — это не колдовство, это что-то другое, я не знаю, почему так получилось.

Все, что мне приходило в голову, это что, быть может, точно так же, как я стирал, имя за именем, на маленьком компьютере в заброшенном доме нотариуса, память о многих обитателях земли, так и боги явились сегодня дать последнее представление, поприветствовать тех, рядом с кем они шли на протяжении столетий.

Вначале варвары забавы ради убивали их, для смеху, конечно, но еще и опасаясь, что жуткие гномы могут натворить неизвестно что, однако скоро все заметили, что у виновных в таких убийствах на следующий день начинались конвульсии и они умирали в страшных мучениях.

Здесь были Янус и Плутон, Хрисор, финикийский бог, и Маммона, и Пан, и Мелхом, Геката, Амон, Вишну, Шива, Фемида, Бафомет, Астарта, боги из других эпох, боги африканские, австралийские, папуасские, индейские, боги самые разные, они сыпались как из решета, и каждый создал землю, или людей, или солнце, или хранил тот или иной вид деятельности под своим доброжелательным надзором, или, наоборот, способен был ввергнуть вас в ад, — звери, пьющие кровь из книги "Бардо Тёдоль", и Противные Обезьяны, населявшие древнейшие мифологии, целая армада фигурок, которые почитали разные народы земли и которых мы наблюдали сегодня в уменьшенном варианте, они метались в отчаянной попытке не исчезнуть окончательно. Варвары, попробовав было их убивать, потом вошли в разум и привыкали к их странному присутствию, Обсул забрал в свое личное пользование тех демонов, какие казались ему самыми могущественными, способными наделить его наконец желанной властью, а я бродил по залам под аккомпанемент воплей невероятных полубогов и мрачных героев позабытых мифов.

В самом их маленьком росте было что-то особенное, что заставляло иначе смотреть на эти великие фигуры (в памяти еще хранились колоссальные статуи, Зевса, или Посейдона, или Геракла), встреча с ними в обличье маленьких статуэток, время от времени обретающих жизнь, заставляла относиться к ним почти что нежно, во всяком случае, идея обширных просторов, где обитают высшие духи, ласково подбадривающие нас, бедных, незрячих и невинных обитателей Земли, идея, отдаленно, но вечно присутствующая в сознании, была развенчана навсегда. Нам оставалось жить не так долго, и боги решили прийти умирать среди нас, больше того, прийти умирать в обманчивом обличье отталкивающих карликов.

Однажды ночью мне снова, как в начале потопа, приснилось, что Бессмертные, правящие миром, собираются вместе и постановляют включить на полную мощность красный сигнал тревоги.

Красный сигнал тревоги существовал на случай страшного кризиса.

Небо словно затянулось белой скатертью, прорезанной бесчисленными прозрачными нитями (словно предупреждение о неизбежной и невиданной буре) и образовавшей над Шамбором удушливый защитный купол, в течение дня мы нередко начинали задыхаться, воздух, казалось, становился разреженным, и неодолимая тяжесть стискивала грудь, лишний раз показывая, что праздник окончен, что отныне следует обратиться к более серьезным вещам, к менее беззаботной жизни.

Единственным местом, которое, как мне казалось, было защищено от атмосферных флуктуаций и смятения, вызванного разбушевавшимися крикливыми гномами, оставалась лестничная площадка, вокруг которой завивались две параллельные спирали, я подолгу стоял на этой площадке, спокойный и умиротворенный, думая о пустоте внутри всего, о том всеобъемлющем вакууме, из которого вышел весь космос, незримый и бесплотный, словно легкое, нежное дуновение, а затем снова погружался в окружающий хаос, сопровождавшийся постоянными звуками радио, которое поначалу развлекало, а потом начинало действовать на нервы, словно взвинчивающий, безжалостный бурав, варвары от него шалели, да и Обсул тоже.

Мы с ним переговорили о том, что нам делать, а главное, к чему готовиться, впервые он выглядел растерянным, неуверенным, наркотики, которые он хранил про запас, растаяли как снег на солнце, а с ними и наши мечты о завоеваниях, слоны кончили свой век самым жалким образом, их зажарили варвары, только слоненок избежал этой роковой участи и, явно поняв, что его ожидает, с тех пор больше не показывался, мы оба были как идиоты, меня смущало отсутствие незримых сил, которые до сих пор так удачно мною руководили, а он, с каплей на носу, ныл каждую минуту, что у него ломка, он от этого отвык и ему это не нравится.

Теперь я писал ледяные просторы, скованные холодом пейзажи без единого живого пятна, айсберги поблескивали розовым и голубоватым отливом, солнце на картинах было бледным и не давало тепла, все навек застыло, бесконечная Гренландия во веки веков распространяла повсюду свою хрустальную тишину, если же эта ледяная кора каким-то чудом растает, то под ней все равно нет ничего, кроме неосязаемого, призрачного отпечатка каких-то неведомых растений, излучавших тот же стылый, оцепеневший покой, любые другие формы жизни исчезли без следа.

Жуткие гномы после летнего солнцестояния начали потихоньку вымирать, их трупы, выбеленные ночным инеем, подбирали на террасах,

во дворах и в окрестностях замка. Кто-то предложил набить чучело ангела, но их тела вскоре после гибели, безусловно под действием потусторонних сил, словно таяли, испарялись в воздухе, оставляя на память о своем появлении лишь визгливое эхо, которое странным образом с утра до вечера продолжало звучать в коридорах, преследуя нас дьявольскими воплями целые дни напролет, мы уже ощущали близкие и горькие потрясения будущего, с каждым днем принимавшего все более неслыханные и тревожные формы. Мы решили, что обрели абсолютную власть над миром, и ошиблись. Иногда я видел в отражениях зеркал моего бывшего наставника, старца, и его приспешников, их печальный, покорный взгляд не оставлял мне никаких надежд.

Эта песнь с макабрическим оттенком в конце концов стихла, а вместо нее в прозрачном воздухе возникли созвездия из мириадов букв, самого разного рода, распад алфавита, который можно было различить на какое-то мгновение, но только на мгновение, если вдруг резко обернуться или зажмуриться, делая вид, будто смотришься в сторону,

aaaaaaaaaakkkkkkkkkkkkkk l l l l l l l l l l l l l l l r r r
r r r r r r r r t t t t t t t t t t t t zzzzzzzzzzzz
nnnnnnnnppppppppppppppssssssssssssshhhhhhhhhhh
hhqqqqqqqqqqqqqqvvvvvvvvvv
jjjjjjjjjjjjjj xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
bbbbbbbbbbbbbbbcccccccccccccccc,

буквы принимали разные формы, складывались в очертания тел и нагромождения арабесок, в которых угадывались какие-то более мрачные сущности, их сопровождало басовитое, тревожное гудение, словно бы смутное "ом" разносилось по всему замку подобно медленной волне, уверенной в своем размахе, иногда буквы перемешивались,

a y r t i h l o e p l a r t e u r t e u i i i i i
etetejsuehfiucvioebfhsgieuqso
etrueiar r teiasduenbdfpertaierqbvdjenrt t
raraorteznds
yertrabdinegdsfqkjeidggartsdvdflfpgneydbsh
gqfeztdkoepfdkfng, d,

но тогда музыка была не такой ясной, почти отрывистой и навевала еще бóльшую тоску, словно все мы скоро умрем или, даже хуже того, навсегда вольемся в этот сбивающий с толку звук, который, казалось, заключал в себе универсум, Великое Всё в многообразии своих вариаций.

Иногда буквы превращались в цифры, в чудовищные уравнения, вращавшиеся вокруг своей оси — на манер тех манекенов в витринах магазинов, на которых считалось некогда делом чести продемонстрировать вам со всех сторон главную модель, гвоздь поступившей в продажу коллекции,

xxx — y (a2 – 558)
97687954345678987656789043209 87x-z
3 + c-r
— Л —
E888888888888888888888888888888
888888888888888
765487678908987676544677909 8767655
443245654435 56 x = x-zz (t-z-a),

и в каждой из этих операций проступали очертания какого-то воспоминания и его смысл — воспоминаний было больше, чем если бы мне была

тысяча лет и какой-то злой гений открывал, ящичек за ящичком, целые пласты моей памяти, о существовании которых я до сих пор даже не подозревал.

Обсул был числовым уравнением, камни замка были уравнением, люди, которых я встречал, были уравнениями, каждый жест, каждая вещь, каждый предмет, человек, факт, шум, движение были уравнениями, так что я воспринимал их не зрительно, а нутром, своим вторым "я", которое не было ни моим мозгом, ни обычной способностью к анализу и которое, начав работать, в миллионную долю секунды тщательно анализировало поступающую информацию; знание, что я получал, стало иным, молниеносным и невыразимым одновременно.

Я больше не выходил из замка, я сидел по-прежнему на верхних этажах, подстерегая с высоты плоских крыш знаки, возвещающие, что будет дальше, как нас увенчают на царство в горних высях, я предупредил Обсула, чем все это может кончиться, спасутся лишь немногие, но мы будем в их числе, и он и я. Из внешнего мира к нам приходили дурные новости, говорили о волнениях и, возможно, мятеже оборванцев, но меня это не волновало, пусть идет как идет, будем полагаться на время, призраки вернулись обратно в зеркала, мы с Обсулом играли в клуэдо, в кости и в гонки, вылущивая из вереницы карт мелодию знания, не имевшего теперь ни малейшего смысла. Среди прочих слухов, которые донес нам шпион, шла речь о том, что оборванцы организовались в некое подобие секты, избрав главой ту самую женщину, облученного ребенка которой мы сожгли во время нашей триумфальной вылазки, каждый раз, когда я думал об этом, мне виделись мученики-христиане, катакомбы, а женщина казалась похожей на героиню "Метрополиса"[1], пока еще Зло не завладело ею, а подлец ученый не превратил ее в клона.

Поскольку нельзя было позволить, чтобы власть безучастно взирала на зародыши восстания, мы повелели принести новые жертвы. Саламандру установили на лужайке перед входом, между замком и лагерем варваров, ряды которых со временем, из-за поножовщины и всякого рода бедствий, заметно поредели, и каждый день приносили кучу новых искупительных жертв, сначала это были старики и больные, а затем, поскольку их почти не осталось, женщины и дети.

Мы наблюдали за ритуалом с плоских крыш, мы снова запустили руку в шкатулку с тераленом, который Обсул посасывал с отсутствующим видом, а я сосал карамельки, обнаруженные у одного беглеца, карамельки в блестящей обертке, которую я сдирал, думая о резне, что не прекращалась с сотворения мира, о Нероне и бессмысленных войнах, которыми была полна История, мне приходила в голову занятная мысль, что, быть может, я стал самим собой (после того как приблизился, однако, к высшим путям), первосвященником, следующим до конца кошмара за безумным королем, жаждущим сеять ужас.

Людей приводили со связанными за спиной руками, они кричали, отбивались, до последней минуты отказываясь верить в роковой исход, но палачи толкали их, и они кончали в пасти чудовища. Часто мои мысли уносились ко временам чистоты, когда земля не ведала ни присутствия человека, ни какого бы то ни было загрязнения, где величествен-

1. Фильм 1927 г. немецкого кинорежиссера Фрица Ланга.

ные, девственные пейзажи простирались за океаны, и мне казалось, что мы продвигаемся в этом направлении, к полной, последней чистке и это хорошо, что наше время подошло к концу и теперь надо произвести уборку, оставить место чистым, таким же, каким оно нам досталось, и я один из тех, кому велением свыше выпала миссия осуществить эту задачу.

Я представлял себе ночь, полную звезд, и поверхность земли, мчащуюся передо мной со скоростью трехсот километров в час, она была твердая и холодная, на ней еще не зародилась жизнь, а были только камни, и пыль, и темнота.

"... и, проклятые, они запачкали бы собою землю..."

Снова воняло паленой свиньей, в конце концов мы привыкли к этому запаху, к мольбам, стонам и тому мученическому выражению, которое неизменно возникало на лицах казнимых, в слепоте своей они даже не сознавали, что идут навстречу не аду, но освобождению.

От меня ускользала сердцевина вещей.

Я был похож на тех паломников, что ползут на коленях по лабиринту Шартрского собора и которых змеящаяся дорожка плит выводит наружу, едва лишь им покажется, что они вот-вот доберутся до центра, но в отличие от них меня в конце пути вряд ли ждала разноцветная роза.

Я был обречен.

Временами кто-нибудь из этих молодцов воздевал руки в сторону замка, балконов, откуда Обсул и я наблюдали за жертвоприношениями, и у меня создавалось впечатление, что я — нечто вроде египетского божества, узаконивающего одним своим знаком их переход в мир иной и холодно отвергающего обращенные ко мне мольбы.

Я был словно те алхимики, что, почти достигнув цели, терпят крах при последних манипуляциях.

Прежде всего мы соединяем, затем разлагаем, после растворяем то, что разложили, очищаем растворенное, соединяем вновь очищенное и коагулируем его.

И напрасно я до головной боли вывихивал себе мозги, я не понимал, какую ошибку мог совершить.

Я становился все меланхоличнее, все беспокойнее, во мне росла решимость со дня на день тоже покончить со всем.

Малюсеньких божков сменили огромные тени. (Быть может, тени породивших их исполинов.) Их силуэты встречались в парке повсюду.

Однажды утром, проснувшись, я решил поговорить с Обсулом, предложить ему коллективный холокост, великое самоубийство, какие затевались в конце прошлого века в надежде проверить реальность паранормальных измерений, существование инопланетян или попросту идею Бога.

Мы были обречены, и теперь уже никто не смог бы нас спасти. Ремонтные работы, начатые рабочими по моему приказу, замерли, и вся лестница была завалена строительными лесами.

Самоубийство.

Завершение конечного решения.

Скажи: Мы все ожидаем конца. Подождите и вы, и узнаете, кто из нас идет по прямой дороге, кого направляют высшие силы.

А потом, ровно в ту минуту, когда я думал обо всем этом, о нашем крахе, о том, к какому способу нам следует прибегнуть, если мы хотим уме-

реть, скорее всего к яду, я услышал будто бы рокот тамтама, резкую барабанную дробь, выбивавшую абсолютно неуместную мелодию, которая прорвала паутину колдовских чар, и я подумал, что с тех пор, как разрядились батареи, нам всем не хватало музыки.

Снимай скорей штанишки,
Снимай скорее лифчик,
Смотри, сияет солнце
И моря синева.

Алло, закричал чей-то голос, алло, есть тут кто?

Давай любить друг друга,
Как любят все на свете,
Ведь мы уже не дети,
А мама не права.
Любовь полна загадок
И поцелуй так сладок!

Господи, песня, такая пошлая и одновременно веселая, что я остолбенел от изумления, вроде тех шлягеров, что прежде, когда мы их слушали по радио, наводили на нас ужас, "Танец утят" и "Так дай же нам выпить, Марго", но что-то в ней было такое, отчего я неожиданно для себя самого громко расхохотался.

Снимай скорей штанишки,
Снимай скорее лифчик...

Появился какой-то человек в очках с большими диоптриями, толстых как лупы, и со стрижкой – я даже икнул – клоун, да и только.

Мне показалось, что одновременно на стенах и потолках появились гигантские диапозитивы, и что на них была Марианна и много других знакомых мне людей.

А-га-гаааааааа, гримасничал клоун, огогогогогоооо, остальная труппа хлопала в ладоши.

Их было человек десять, все напялили на себя дурацкие маскарадные костюмы, пестрые или слишком большие, в них было что-то забавное, смешное, что сразу вызывало желание повеселиться, так что я, даже не подумав, как им удалось проникнуть в запретную часть замка, пробраться к нам, позвал Обсула посмотреть. Ты маленькая птичка, одна из девушек окружила меня своими покровами и распущенными волосами, ты маленькая птичка, легкая как перышко, лети, лети, и те же чары вмиг подействовали на Обсула, ибо, хоть он и валялся как скотина на кровати, лелея свою никчемность и страдания, едва появился карнавал, "Встал король спозаранку, надел штаны наизнанку", как он тоже расхохотался, точно перед нами был какой-то волшебный флюид, особый веселящий луч, словно явились Весельчаки, одержавшие бесповоротную победу над Печальниками.

– Бесповоротную, – провозгласил тот, что в бифокальных очках, – бесовски неповоротливую, вы хотите сказать?

И его сосед всплеснул руками, вопя, до чего ты умный, Роберто, до чего ж ты остроумный сегодня, бесовски неповоротливую, каково чувст-

во поэзии, какая афористичность, и Роберто, скромник, ответил, знаешь, это просто игра слов, ничего больше, откровенно издеваясь надо мной, но я даже всерьез не рассердился. На одном из диапозитивов я видел своего сына, того, что был у меня от Марианны и умер, его тело было бледное, как слоновая кость, и мне показалось, что это красиво. Пись-пись, изобразила одна девчушка, словно собиралась пописать прямо на землю, и Роберто спросил, где тут туалет, труппа подхватила, все хотели знать, где тут душ, кухня, затевая немыслимую перебранку с очкариком, он делал вид, будто извиняется, простите их, знаете, ведь это комедианты, бродячие комедианты, я вас уверяю, это чертовски трудно, хитро подмигивая нам с наигранным сожалением, а они уже разбегались повсюду, рылись в шкафах, тащили кофеварку, чтобы сварить кофе, какой к черту кофе, сказал Обсул, он уже полгода как кончился, переругались из-за игры в "Тысячу километров", которую откопал какой-то малый в костюме Попая[1], и учинили такой тарарам, что в конце концов сбежались слуги взглянуть, что происходит, что тут за базар, король, что ли, сошел с ума и в приступе безумия громит все вокруг.

— Все в порядке, — успокоил их Обсул, — это актеры, они пришли сыграть пьесу.

И все комедианты покатились со смеху, да-да, пьесу, точно, у нас как раз есть спектакль с пылу с жару, мы бы вам его показали, ха-ха!

Снаружи через дыры по-прежнему виднелись тени выше деревьев, они взмывали к небу, словно ракеты, и, ухмыляясь, глядели на нас. Меня подмывало подвести окончательный итог, сложить по очереди все деяния, в которых я провинился с момента своего появления на свет, и в этой жизни, и в предыдущих, составить баланс и получить точный результат, быть уверенным, что вот это мне удалось, а это нет.

В какой-то момент я подумал, что, быть может, это опять существа из зеркал, но поскольку от них не исходило того ощущения прозрачности, эфирности, как от привидений, я в конце концов решил, что, хоть они и вырядились нелепо, словно сбежали из какого-то сверхъестественного дурдома, и выглядели так, что их легко можно было принять за персонажей фантасмагорических комиксов для взрослых, где реальность населяют чудные супергерои и совершенно невероятные и свихнутые существа, мы имеем дело просто-напросто с настоящими людьми из плоти и крови.

Откровенно говоря, они были явно сродни татуировщику, который в одно прекрасное утро исчез, оставив по себе как единственный след своего мимолетного явления лишь картины, выгравированные на эпидермисе нашего немногочисленного населения.

Один из фигляров смахивал на Верцингеторига[2].

Другой на Багза Банни[3].

Одна из девиц могла бы без проблем сыграть роль девчушки в какой-нибудь детской сказке.

Еще там было трое здоровенных крепышей с обезьяньими физиономиями и в купальных костюмах и красивая блондинка, которой бы вполне пошло изображать святую. Того, что носил очки толщиной с донышко бутылки, звали Роберто, а их главный, если у них вообще имелся

1. Персонаж комиксов и мультфильмов.
2. Верцингеториг (72—46 до н. э.) — вождь галлов, возглавивший антиримское восстание в 52 г. до н. э.; герой популярного исторического комикса.
3. Багз Банни — кролик, персонаж комикса.

главный, носил имя Варнава и упорно напоминал мне одного персонажа из книжки, которую мне читали, когда я был маленький, — "Восстание игрушек", где оный Варнава был весьма опасный злодей.

За несколько часов они завладели всей округой, мы сидели вконец огорошенные и растерянные, повсюду висели афиши, извещающие о скором представлении, "Итак, они пришли, сыны неба", комедия в пяти актах, сочинение Б. Лемага, Р. Диаволо и В. Ангельер.

Все было в точности так, словно незримое непременно стремилось проявиться самым грубым и неуклюжим образом, в виде своего рода карикатуры, нелепого видения.

Меня бил озноб, я был явно нездоров.

Я ковылял, хромая, под черным, грозным небом, откуда сыпался целый дождь молний, первая со всего размаху влетела в меня, но я все равно продолжал идти вперед, будь что будет, навстречу новым землетрясениям.

Пьеса начиналась такими стихами:

Видишь ли, прелестный дьяволенок,
Лишь в холодном сердце очага
Жар несет восторг, незрим и тонок.

Думаю, что если бы стянуть воедино те мрачные формы, что бродили в окрестностях, слепить их вместе на манер современных скульптур, где соединяются, взаимно уничтожаясь, остов автомобиля и несколько драгоценных камней, то из них бы вышло обличье самого Дьявола, абсолютного Зла, а может, наоборот, тучи бы рассеялись и мы в конце концов обнаружили за всей этой чернотой начало космического волшебства, лучистую и вечную сущность менее сложных небес.

Ради такого случая — нас пригласили на театральное представление — я вновь облачился в костюм специального советника, а Обсул — в императорское платье, которое ему сшили по моему заказу для церемоний.

Весь Шамбор собрался посмотреть на такое событие, с краю в толпе я приметил Жако с прочими охотниками, и мне показалось, что за моей спиной затевается нечто ужасное, что нам хотят зла и что конец мой близок.

И я опять видел числа, расставленные на невидимых нитях, горизонтальных и вертикальных, странных абсциссах и ординатах, подвешенных в эфире.

18. Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число зверя; ибо это число человеческое. Число его шестьсот шестьдесят шесть[1].

Тучи нависали все ниже, но дождя по-прежнему не было. Пьеса продолжалась, ее обступала тревожная, недобрая тишина.

— Огонь жжет, — кричал Багз Банни.

— Огонь делает больно, — отвечал ему Верцингеториг.

— В костер тиранов, — громогласно обратился Роберто к толпе, — в костер негодяев!

1. Откр. 13:18.

И с той стороны, где стояли охотники, кто-то закричал, по-моему, это был Жако: "Правильно, их давно пора сжечь, довольно мы натерпелись", грянул выстрел, и комедиант повалился на землю, и тут все охотники начали стрелять, карабины появились у них в руках словно по волшебству, и прежде чем кто-то успел среагировать, варваров перестреляли на месте, Обсула и меня связали и оттащили на первый этаж замка, я лишь успел увидеть, как Варнава бьет по земле рукояткой мотыги и произносит непонятную фразу, *Дера даббо утхао*, окончательно укрепив меня в мысли, что я от века был брошен на арену гигантского цирка, вся актерская труппа рассеялась столь же бесследно, как облако пыли на вечернем ветру, я сплю, я вижу сон, сон безумца, сейчас я проснусь, конец света так и не состоялся, я сейчас проснусь, позавтракаю, и все будет хорошо.

Но вместо этого на меня обрушился град ударов, я был скован цепями с висячим замком, потом меня привязали у подножия лестницы, в том пустом центре, вокруг которого обвивались две спирали, охотники поднялись на верхние этажи, и весь вечер мне пришлось выносить издевательства, в меня швыряли со смехом отбросы и экскременты, женщина, ребенка которой мы сожгли, пришла и, увидев меня в столь жалком виде, тоже засмеялась, легким, брызжущим смехом, смехом облегчения, наконец-то чудовище наказано и уничтожено.

Вспоминая Нотр-Дам, я был практически уверен, что в измерении, параллельном нашему, существует его точная копия, созданная из света и хрусталя. Но когда я пытался представить его себе, ослепительно сияющим в бледной эфирной лазури, он немедленно покрывался толстым слоем шоколадных сливок "Монблан", которые придавали ему вид огромного растекающегося десерта, и мне казалось, что сам я обратился в свинец, что превращение, на которое я надеялся, не только не свершилось, но наоборот, что я регрессирую и меня необратимо тянет вниз.

По всему замку раздавались радостные крики и восклицания, ближе к середине ночи революционеры пришли насмехаться надо мной, размахивая головой Обсула, на эшафот, на эшафот тиранов, она была окровавленная и уже окоченевшая, с застывшим выражением лица, тем самым, какое бывало у него в состоянии глубочайшей подавленности. Я ждал, что меня постигнет та же участь, я буду просто-напросто обезглавлен, но чуть позже мне сообщили, что сейчас собирают хворост для костра и меня сожгут живьем, огонь жжет, огонь делает больно, на костер колдунов, у меня в ушах еще звучали вопли карнавальных видений, огонь жжет, и это скоро станет моей участью.

Когда меня вывели, небо было еще черным, и кто-то сказал, надо поторапливаться, скоро будет дождь. Я боялся боли и страдания. Я попытался возразить: все, что я сделал, я сделал ради них, на благо всем, сам я не извлек из этого никакого дохода и очень мало преимуществ.

Поднимаясь на кучу поленьев, я поскользнулся и разбил колено о чурбак. Мне вспомнился "Храм Солнца", когда Тентена и Хэддока[1] инки приговорили к смерти, мне хотелось быть дома, читать или рисовать. Я попросил еще, чтобы они хоть обратили внимание на мои полотна, сохранили их, что речь идет об уникальном свидетельстве смутной эпохи на земле, но бесстыжие палачи свалили все мои творения на костер.

— Умри, — вопили эти подонки, — сдохни, ты подохнешь, ублюдок.

1. Персонажи комиксов.

Они бы с удовольствием изжарили меня в Саламандре, но газ кончился. Они швырнули факелы, и первые вязанки хвороста вспыхнули. У меня страшно стучало в ушах, бумм-бумм, звук отдавался, словно в фонендоскопе, который прикладывают к животу беременных, чтобы выслушать сердце младенца. Перст Божий в белом небе, завопил тот же раздражающий рыжий, что комментировал перепалку между варваром и Обсулом в день моей первой охоты. Перст Божий в море крови, так будет правильнее. Я грезил, что ухожу с Багзом Банни, Верцингеторигом, толстым Роберто и обезьянами-купальщиками. Дым становился невыносимым, и я закашлялся. Я сидел на переднем сиденье грузовика, Венди улыбалась мне, а Жоэль, пытаясь отыграться, рассказывал о каком-то своем старом приятеле, который попал в тюрьму из-за милашки семнадцати лет, ее звали Мари-Пьер[1].

Шум в фонендоскопе достиг адской громкости.

Варнава, который вел грузовик, прибавил газу, и я отметил, что дождь так и не начался и что погода, похоже, налаживается.

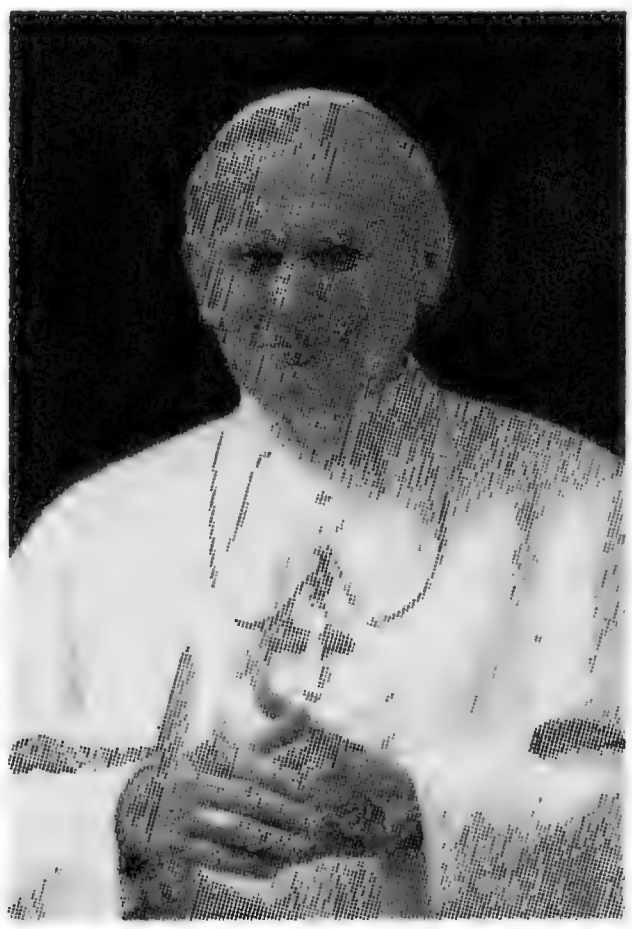
Я бы не удивился, если бы в небе появилась радуга.

Я глубоко вздохнул.

В конце концов, я еще жив, а это все-таки главное.

1. Венди, Мари-Пьер – персонажи романов В. Равалека.

Иоанн Павел II



Римский триптих

Размышления

Перевод с польского Асара Эппеля

I

Ручей

Руах

Дух Божий носился над водою...

1. *Изумление*

Лесной залив нисходит
в ритме горных потоков,
мне эта согласность являет
Тебя, Предвечное Слово.
Сколь предивно Твое молчанье
во всем, что тысячегласно
молвит сотворенный мир...
что склоном каждым нисходит
вместе с заливом леса...
и то, что куда-то уносит
серебристый каскад потока,
с кручи спадающий мерно,

© 2003 by Wydawnictwo św. Stanisława BM, Kraków
© А. Эппель. Перевод, 2003

своим теченьем несомый...
куда несомый?

Что, горный ручей, мне молвишь?
где встретишься ты со мною?
со мной, чья жизнь преходяща
подобно твоей...
Подобно ли твоей?

(Дай же мне здесь остаться,
побыть на этом пороге, —
вот одно из простейших изумлений.)
Покуда леса в молчанье нисходят в ритме потока,
поток не удивляет, упадая вниз, —
удивителен человек!
В коем преступленный миром
порог есть порог изумленья.
(Изумление это нареклось когда-то "Адам".)

Он был одинок в изумленье
меж существ, к изумленью не склонных, —
с них сталось прийти и прейти.
Человек преходил вместе с ними
на волне изумлений.
Изумленный, он появлялся
из волны, его увлекавшей,
словно молвя всему окрест:
"повремени! — во мне твоя пристань"
"во мне твое повстречанье
с Предвечным Словом" —
"остановись же — бренность исполнена смысла"
"смысла... смысла... смысла!"

2. *Исток*

Лесной залив нисходит
в ритме горных потоков...
Желаешь сыскать источник,
взбирайся вверх по теченью.
Продирайся, ищи, не сдавайся,
ты знаешь — он где-то тут...
Где ты, исток?.. Где же? Где?!

Тишина...
Ручей, лесной ручей,
яви мне тайну
своего возникания!

(Тишина — отчего молчишь?
Сколь укромно, ручей, сокрыл ты изначальную тайну.)

Дай увлажнить уста
в твоей родниковой воде,
ощутить свежесть,
животворную свежесть.

II

Размышления над Книгой Бытия у порога Сикстинской капеллы

1. Первоузревший

"Им живем и движемся и существуем" — говорит Павел
на афинском ареопаге —
Но кто Он?
Он словно бы неизреченное пространство,
которым все объято —
Он Создатель:
Объемлет всё, вызывая к существованию из небытия
не только изначально, но и постоянно.
Все продолжается, беспрестанно установляясь —
"В начале было Слово, и всё чрез Него начало быть".
Тайна нача́ла, рождаясь со Словом вместе,
из Слова же возникает.
Слово — извечная явленность и вековечная объявленность.
Творивший зрел, видел, "что это хорошо",
зрел зрением не подобным нашему.
Он — Первоузревший —
видел, находил во всем след своего Существа,
своего преизбытка —
Видел: Omnia nuda et aperta sunt ante oculis Eius[1] —
Нагое и проглядное —
Истинное, доброе и прекрасное —
Зрел зрением, сколь же не подобным нашему.
Извечная явленность и вековечная объявленность:
"В начале было Слово, и всё чрез Него начало быть",
всё, в чем живем и движемся и существуем —
Слово, пречудное Слово — Слово предвечное,
некий порог незримый
всего, что воссуществилось, существует и будет существовать.
Словно бы Слово стало порогом.

Порог Слова, в котором всё было в образе незримом,
вековечном и божественном — и вот за порогом начало
хода времен!

1. Всё обнажено и открыто пред очами Его (*лат.*). (Евр. 4:13.). (*Здесь и далее – прим. перев.*)

Стою у входа в Капеллу –
Быть может, всё сказалось бы проще Книгой Бытия –
Но Книга ждет образа. – И верно. Она ждала своего
Микеланджело.
Ибо Творивший "видел" – видел, что "было хорошо".
"Видел", а значит Книга ждала плодов "ви́дения".
О, человек, который тоже видишь, явись –
Призываю вас, "видящие" всех времен.
Тебя призываю, Микеланджело!
Некая ватиканская капелла ждет плодов твоего ви́дения!
Оно дождалось образа.
С той поры как Слово стало телом, ви́дение непрестанно ждет.

Мы стоим на пороге Книги.

Се Книга Бытия – Genesis.
В капелле ее изобразил Микеланджело
не словом, но преизбытком
великого сонма красок.

Входи́м, дабы узнавать,
идя от изумления к изумлению.

Итак, значит, это здесь – мы глядим и узнаем
Начало, явленное из небытия,
послушное творящему Слову;
Оно говорит с этих стен.
Но, пожалуй, громогласней Предел.
Да, громогласней говорит Суд.
Суд, Страшный Суд.
Вот дорога, которую проходит
всякий из нас.

2. *Образ и подобие*

"И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию
сотворил его;
мужчину и женщину сотворил их –
и увидел Бог всё, что Он создал, и вот, хорошо весьма,
и были оба наги, и не стыдились".
Возможно ли такое?
Нынешних об этом не спрашивай, спроси Микеланджело,
(а может, и нынешних тоже?!).
Спрашивай у Капеллы.
Сколь многое сказано на ее стенах!

Начало незримо. Всё тут указывает на это.
Вся буйная зримость, какую вызволил человеческий гений.
И предел тоже незрим.
Хотя явлена здесь твоему взгляду, путник,

визия Страшного Суда.
Как сделать зримым, как проникнуть в границы добра и зла?

Начало и конец, незримые, достигают нас с этих стен!

Он
"Им живем и движемся и существуем".
Разве Он лишь пространство бытованья бытующих?

Он есть Создатель,
объемлющий, творя и продлевая в существовании, всё —
осуществляя подобность.
Когда апостол Павел говорит на ареопаге,
в словах его вся традиция Завета.
Всякий день там завершался словами:
"И увидел Бог, что это хорошо".

Он видел, отыскивал след своей Сути —
Находил свой отсвет во всем, что зримо.
Предвечное Слово, оно словно бы порог,
за которым живем, движемся и существуем.

Человек (Я)
Почему только об этом дне сказано:
"И увидел Бог всё, что он создал, и вот, хорошо весьма"?
Не противоречат ли этому времена?
Хоть бы наш двадцатый век! Хоть бы не только двадцатый!
И все-таки никакому из них не сокрыть истины
об образе и подобии.

Микеланджело
С истиной этой он когда-то затворился в Ватикане,
чтобы выйти оттуда, оставив Сикстинскую Капеллу.
"И сотворил Бог человека по образу Своему,
по образу Божию сотворил его,
мужчину и женщину сотворил их.
И были оба наги,
и не стыдились"!
И увидел Создатель, что было весьма хорошо.
Не он ли проницает всё во всей истинности?
Omnia nuda et aperta ante oculis Eius —

Они
Они тоже у порога времен
видят себя во всей истинности:
оба были наги...
Они тоже стали сопричастники ви́дению,
какого сподобил их Создатель.
Разве они не хотят в таковых оставаться?
Разве не хотят обретать видение снова и снова?
Разве не желают для себя оставаться истинными и
прозрачными —

такими, как для Него?
Если оно так, они возносят гимн благодарения,
некий Magnificat людских сердец,
и при этом сколь же глубоко ощущают,
что только "Им живем и движемся и существуем" —
Только Им!
Ибо Он дает пребывать в красоте, какую в них вдохнул!
Ибо Он отверзает им очи.
Некогда Микеланджело, покидая Ватикан,
оставил росписи, ключ к которым "образ и подобие".
Согласно ключу тому незримое выражается в зримом.
Пратаинство.

3. *Пратаинство*

Кто же он? Неизреченный. Самосущее Бытие.
Единый всему Создатель.
А еще Причастие Человеков.
В Причастии этом взаимоодарение преизбытком истины,
добра и красоты.
Однако прежде всего — неизреченный.
Хотя и сказал нам о Себе.
Сказал также, создавая человека по своему образу и подобию.
В Сикстинской фреске у Создателя человеческий облик.
Он Всесильный Старец-Человек, уподобленный
сотворяемому Адаму.
А они?
"Мужчину и женщину сотворил их".
И был им положенный Господень дар.
Они обрели в себе — на людскую мерку — обоюдное это
одарение,
которое в Нем.
Оба нагие...
Они не ведали стыда, покуда знали дар —
Стыд явится вместе с грехом,
а пока упоение не преходит. Они живут, сознавая дар,
хотя не умеют возможно даже его осмыслить.
Но живы им. Они чисты.
Casta placent superis; pura cum veste venite,
et manibus puris sumite fontis aquam[1] —
эти слова читал я всякий день восемь лет,
входя в двери вадовицкой гимназии.

Пратаинство — само бытование зримым знаком
вековечной Любви.
А когда будут становиться "одна плоть" —

1. Вышним угодно чистое, в чистых одеждах войдите
и руками чистыми черпайте родниковую воду (*лат.*).
(Из "Элегии" Альбия Тибулла. Первая элегия второй книги, строки 13–14).

преудивительное единение,
за которым распахиваются горизонты
отцовства и материнства.
— Они обращаются во время это к истокам жизни,
которые в них.
— Обращаются к Началу.
— Адам познал Еву, жену свою;
и она зачала, и родила.
Они знают, что перешагнули порог величайшей
ответственности!

Свершение — Apokalipsis

Предел столь же незрим, как начало.
Вселенная возникла из Слова и в Слово возвращается.
В оконечье Капеллы художник написал
незримый предел — зримую драму Суда —
И незримый Предел сделался зрим словно бы апогей ясности:
omnia nuda et aperta sunt ante oculis Eius!
Слова, записанные у Матфея, обратились визией живописца:
“Приидите, благословенные... идите от Меня, проклятые...”
И так преходят поколения —
Нагими приходят на свет и нагими возвращаются в землю,
из которой были взяты.
“Ибо прах ты, и в прах возвратишься”.
Что было складно — тому стать тленным.
Что было живо — и вот оно мертвое.
Что было красивым — отднесь мерзость запустения.
Но я же не весь умираю.
Неуничтожимое во мне не пересекается!

4. *Суд*

В Сикстинской Капелле художник написал Суд.
Суд в ее пространстве доминирует надо всем.
Се незримый предел стал тут ошеломляюще зрим.
Предел и вместе с тем верх ясности —
Вот она дорога поколений.

Non omnis moriar[1] —
неуничтожимое во мне
повстречалось лицом к лицу с Тем, кто Сущий!
Так заполняется людьми главная стена сикстинской фрески.

Помнишь, Адам? Он в начале спрашивал тебя “где ты?”
Ты же ответил: “Убоялся, потому что я наг, и скрылся”.
“Кто сказал тебе, что ты наг?”...
“Жена, которую Ты мне дал” протянула мне яблоко...

1. Нет, весь я не умру. (Гораций. Оды. 3, 30, 6.)

Все те, кто заполняет главную стену сикстинской фрески,
несут в себе след твоего тогдашнего ответа!
Того вопроса и того ответа!
Таков он, предел вашей дороги.

Послесловие

Здесь у подножия преудивительной этой росписи
сбираются кардиналы –
сообщество, которое в ответе за наследование ключей
Царства.
Они приходит сюда.
И Микеланджело снова объемлет их ви́дением.
“Им живем и движемся и существуем”...

Кто Он?
Се творящая рука Всесильного Старца протянута к Адаму...
В начале сотворил Бог...
Он, всё прозревающий...

Сикстинская фреска речет меж тем Словом Господним:
Tu est Petrus[1] – услыхал Симон сын Ионы.
“Дам тебе ключи Царства”.
Люди, кому вверена забота о наследовании ключей,
сойдясь сюда, дают объять себя сикстинской росписи,
визии, которую Микеланджело оставил –
Так было в августе, а потом в октябре памятного года
двух конклавов[2],
и так будет снова, после моей смерти,
когда явится необходимость.
Надо, чтобы к ним обращалась визия Микеланджело.
“Con-clave[3]: общая печаль о наследовании ключей,
ключей Царства.
Они видят себя между Началом и Пределом,
между Днем Творения и Днем Суда...
Человеку определено однажды умереть, а потом Суд!

Окончательные ясность и свет.
Ясность времен –
Ясность совести –
Необходимость, чтобы в дни конклава Микеланджело
довел человекам –
Не забывайте: Omnia nuda et aperta sunt ante oculis Eius.
Ты, который всё проницаешь – укажи!
Он укажет...

1. Ты – Петр (*лат.*).
2. Речь идет о 1978 г., когда в августе был избран папой Иоанн Павел I, а в октябре, после его смерти, – Иоанн Павел II.
3. С ключом (*лат.*).

III

Гора в земле Мориа

1. Ур Халдейский

Было время, когда люди
постоянно кочевали.
Со своими стадами влеклись они, куда звали пастбища:
где земля — тучная матерь —
могла прокормить животных,
там человек ставил шатры
и принимался жить.

Зачем мы сейчас ищем
место в земле Халдейской,
откуда с толпой таких же, как сам, кочевников
вышел Аврам, сын Фарры?
Быть может, он думал: зачем уходить?
Зачем покидать Ур Халдейский?
Думал ли он так? Переживал ли печаль расставания?
Оглядывался ли назад?
Не знаем. Знаем лишь, что был ему Голос,
сказавший: Ступай!
Аврам решил идти за Голосом.

Голос говорил: Будешь отцом множества народов,
потомство твое будет многочисленно, как песок
на берегу моря.
Как же исполнится такое обетование, думал Аврам,
если натура отказала мне в даре отцовства?
Жена, которую с дней моей молодости я возлюбил,
не принесла мне сына, и оба мы посему сокрушаемся.
Голос однако молвил: Будешь отцом. Будешь отцом
множества народов.
Потомство твое будет столь многочисленно, как песок
на берегу моря.

2. Tres vidit et unum adoravit[1]

Кто мог так прорицать будущее
далекое и близкое?

1. Трех увидел, а одного почтил (*лат.*). (Из "Contra eumdem Maximinum Arianum" блаженного Августина. Вторая книга, глава 26. 7.)

Кто он, этот Безымянный,
пожелавший объявить о себе голосом?
Обращавшийся к Авраму,
как Человек к человеку?

Он был Иным. Не подобным всему,
что мог представить о Нем человек.
Говорил — и, значит, ожидал ответа.

Однажды Он пришел к Авраму в гости.
Пришельцев было Трое, тот их принял
с превеликой почестью.
Ибо Аврам ведал, что это Он,
только Он.
Узнал голос. Узнал обетование.
Год спустя оба они с Сарой радовались
рождению сына,
хотя были уже в преклонных летах.

Сын — это значит: отцовство и материнство.
Ты станешь отцом, Аврам, отцом множества народов.
Имя тебе отныне будет "Авраам".
В именовании этом стану благословлять тебя.
В именовании этом до самых крайних пределов земли
приумножу твое потомство.
Ибо имя будет значить: "Тот, кто уверовал вопреки надежде".

Вокруг племена и люди сотворяли себе богов
(так Египет, так Эллада, так Рим).
Он, Авраам, уверовал Тому, который Сущий,
с Которым говорил, следуя за Голосом,
перед Кем распахнул полог своего шатра,
просил быть гостем,
оставался с Ним.

Сегодня мы возвращаемся в те места,
ибо туда когда-то пришел к Аврааму Бог.
К Аврааму, который уверовал, пришел Бог.

Когда племена и люди сотворяли себе богов,
пришел Тот, который Сущий.
Вошел в деяния человека
и открыл ему Тайну, сокровенную
от начала мира.

3. *Разговор отца с сыном в земле* Мориа

Так шли они и вели разговор уже третий день:
Вот гора, на которой я должен принести жертву Богу,
говорил отец. Сын молчал, не смея спросить:

Где жертва? с нами огонь и дрова, и жертвенный нож,
но где жертва?
Бог сам эту жертву усмотрит,
так сказал, не смея
промолвить: жертвой, мой сын, будешь ты —
поэтому молчал.

Молчаньем Своим он вновь запропал в глухую дебрь.
Внимая Голосу, который его вел.
Сейчас Голос умолк.
Он остался наедине со своим именем Авраам —
тот, кто уверовал вопреки надежде.
Вот-вот он сложит жертвенный костер,
запалит огонь, спутает руки Исааку —
и тогда — что? займется костер...
Он уже видит себя отцом мертвого сына,
которого дал ему Голос, и вот отнимает?

О Авраам, который восходишь на гору в земле Мориа,
есть такая граница отцовства, такой порог, которого ты
не переступишь.
Иной Отец тут приимет жертву Сына.
Не бойся, Авраам, иди, как шел,
делай, что должен делать.
Ты будешь отцом множества народов,
делай, что до́лжно, до конца.

Он сам остановит твою руку,
готовую нанести жертвенный удар...
Он сам не допустит, дабы десница твоя исполнила,
исполненное в сердце.
Да — замрет в воздухе твоя рука.
Он сам ее остановит.
И с этого времени гора в земле Мориа станет ожиданием —
ибо на ней уготовано совершиться тайне.

4. Б*ог завета*

О Авраам — Тот, кто вошел в деяния человека,
только через тебя желает открыть эту тайну,
сокровенную от начала мира,
тайну прадавней мира!

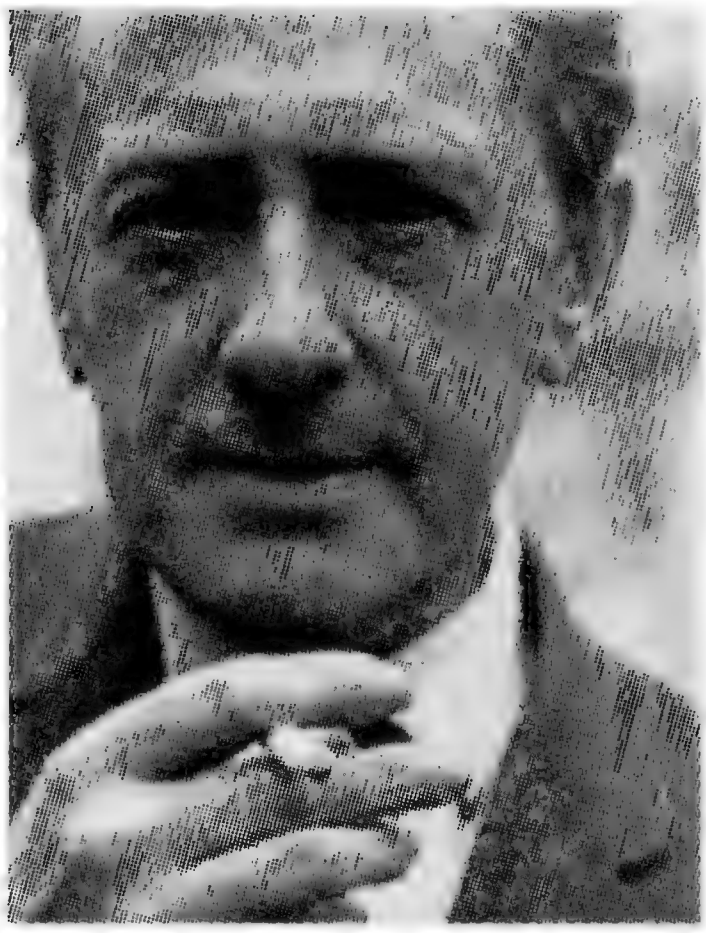
Если мы сегодня отправляемся к тем местам,
из которых когда-то вышел Авраам,
где был ему Голос, где исполнилось обетование,
то лишь затем,
чтобы оказаться на пороге —
чтобы достигнуть начал Завета.

Ибо возвестил Господь Аврааму,
что́ есть для отца жертвоприношение сына —
смерть жертвенная.
О Авраам — ибо таково Господь возлюбил мир,
что Сына своего отдал, дабы каждый, в Него уверовавший,
обрел жизнь вечную.

— Остановись же —
Я ношу в себе твое имя,
оно же знак Завета,
заключенного с тобой Предвечным Словом,
прежде чем был сотворен мир.

Запомни это место, когда пойдешь отсюда,
оно останется ждать своего дня —

Луи-Поль Боон



Менуэт

Роман

Перевод с фламандского Сильваны Вейдеманн и Марины Палей

Танцующие в темноте

Луи-Поль Боон (1912—1979) — фламандский классик, несколько раз номинированный на Нобелевскую премию, родился и вырос в среде, возникновения художественных талантов не предполагавшей. Он родился и вырос в Алсте, в семье маляра, имевшего собственную артель; будущий писатель работал в ней уже с шестнадцати лет. Дар, по рождению угодивший в лишенную соответствующих традиций среду, осознает себя, как правило, болезненно и поздно, но пытается самоосуществиться инстинктивно — в любых "подручных" формах. У работавшего малярной кистью Боона этими формами стали рисование и живопись. Несмотря на острую денежную нужду, он упорно отвоевывал время для посещения Академии изобразительных искусств — там же, в Алсте. Это занятие осталось с ним и потом, когда он работал в морозильных камерах местного пивоваренного завода (впечатления от чего пригодились для "Менуэта", 1955). Точнее будет сказать, что страсть к рисованию и живописи прошла через всю его жизнь. Однако в профессиональном смысле литература возобладала: успев в 1936 году жениться, а в 1939-м — мобилизоваться, попасть в немецкий плен и счастливо вернуться, Боон, работая насущного хлеба ради стекольщиком и продолжая отводить душу в визуальном искусстве, начал служить также и другой музе. Сочинял он при этом, что называется, в стол. Плоды этих занятий оставались сокрытыми от глаз публики — до тех пор, пока его преданная жена, ставшая в "Менуэте" частично прототипом жены, типичной представительницы "чужеродной среды", — пока эта самоотверженная жена, на содержании которой писатель время от времени находился, не послала тайком его роман "Предместье растет" на национальный ли-

© С. Вейдеманн, М. Палей. Перевод, 2003
© М. Палей, вступление, 2003
Переводчики выражают признательность господину Гансу Энгбертсу (Hans Engberts), букинистический магазин "Хиндерикс и Виндерикс", Утрехт, на канале Аудеграхт (Utrecht, Oude 9v. 234), за безотказную консультативную помощь.

тературный конкурс. И тогда (в 1942 году) чудо свершилось: никому дотоле не известный сочинитель получил престижную премию имени Лео Крайна, фламандского писателя и журналиста.

В дальнейшем его литературная судьба развивалась скачками. С 1946-го по 1952 год Боон, работая журналистом, не печатался как прозаик вообще. Это, в частности, объясняется тем, что консервативные тиски католической Фландрии его публикациям, мягко говоря, не благоприятствовали, а установившаяся за писателем репутация богохульника и сотрясателя нравственных основ ему, в отличие от современных авторов, никаких дивидендов не приносила. Поэтому можно сказать, что читателям Бенилюкса (в том числе и своим соотечественникам) он стал более-менее известен только после публикаций своих книг в либеральной Голландии, а европейцам — после того как его произведения оказались переведены на немецкий язык. Именно после обретения новой жизни на немецком два романа — "Улица Капеллекенс", 1953, и "Лето в Тер-Мюрене", 1956, составляющие в целом opus magnum этого автора, — были выдвинуты на Нобелевскую премию. Однако настоящую известность и даже славу Боону принесли его так называемые "эротические" книги — "Непристойная юность Мике Маайке", 1972, и "Эрос и одинокий мужчина", посмертное издание.

Каким сложился образ Боона в его отечестве? Нет дыма без огня — приведу для примера фразу, дающую представление, почему в католической Фландрии за этим автором закрепилась репутация богохульника: "Единственная книга, которая меня интересует, — это "Учебник психиатрии" Бумке. На мой взгляд, в ней есть все, что надо знать о человеке. Говорят: читайте Библию, вот книга книг. Но кто способен понять Библию, если он не прочтет сначала Бумке?" (цитата из автобиографического рассказа "Платная библиотека", 1949).

Заведующая умонастроениями советская машина зачислила Боона по наиболее левому департаменту. Нельзя проигнорировать реальные "улики": после освобождения Бельгии в 1944 году Боон — очень недолго — работал в коммунистической газете "Het rode vaan" ("Красное знамя"). Однако в романе "Менуэт" (менее чем через десять лет после конца упомянутой службы) alter ego этого автора выглядит уже беспримесным анахоретом и мизантропом.

Что касается общеевропейских толкований: принято считать, что многие мужские персонажи Боона, являющиеся его воплощениями, отчаянно переживают разлад между дряхлеющей плотью и прежней свежестью — увы, бесплодных — телесных желаний. С моей точки зрения, такая (рассчитанная на общепонятное "житейское сочувствие") дефиниция здесь не очень уместна. Например, главный мужской персонаж "Менуэта" как-то совсем мало цепляется за жизнь. То есть не цепляется за нее вовсе. То есть, конечно, ему мерзопакостно было бы погибнуть, например, от бряцающих оружием троглодитов в военной форме, но к завершению собственных счетов с жизнью он, несомненно, готов.

Тут мы подходим к самой главной точке в мировоззренческой системе Боона. Начнем с отчаянных выпадов мужского (безымянного) персонажа в "Менуэте" против чуждой ему среды. Страница за страницей эти выпады перерастают в нескрываемый, бессильный, почти мифологический ужас героя перед существами — формально одной с ним крови, — которые "много работают и мало думают"; проще было бы сказать — не думают вовсе и растаптывают в зародыше мысль как таковую. Конечно, "натурщиками" для упомянутых существ послужили люди из детства самого автора (слишком уж много "совпадающих данных"), а затем из даже более позднего периода, когда он, не сразу вырвавшись из лап той косной среды, еще долго чувствовал себя зависимым, беспомощным и во всем сразу виноватым подкидышем. Однако совсем уж близоруко и одномерно было бы трактовать это неприятие лишь в узкосоциальном аспекте.

Для Боона, по большому счету, этот аспект не важен. Конечно, механизм удушения мысли, уничтожение ее в самом зародыше (а как раз убийство священной и свободной человеческой мысли является, на мой взгляд, главной темой и страданием Боона), этот механизм с *наибольшей наглядностью* осуществляет себя именно в убогих кварталах описываемого им предместья. Однако и цивилизация в мировоззрении Боона альтернативой торжествующему невежеству ни в коем случае не является. Отвращение бооновского героя к врачам ("ученым макакам", "священникам новой веры"), а также к служителям культа, чиновникам, коммивояжерам (не говоря уже о политиках) как к наиболее репрезентативным ее, цивилизации, представителям — еще мучительней, чем брезгливое неприятие "простых людей" полуграмотного предместья. Ибо просвещенная цивилизация наизобретала куда более действенные механизмы истребления мысли и чувства — совершенную технологию нивелирования, безотказно функционирующую в широком диапазоне: от религиозных до идеологических догм, от капканов, срабатывающих на ненасытной алчности, до ловушек, что прочно зиждутся на инстинкте предвечного страха...

Боон был крайне далек от так называемого социального обличительства. В "Менуэте" враждебным гамлетоподобному (точнее, гамлетопародирующему) герою является не социальное и даже не биологическое племя людей (это частность!), а мертвый автоматизм, мертво управляющий мертвой материей. Да, мертвой материей, включающей человеческий мозг. Думаю, не преувеличу, если скажу, что вопрос о местонахождении Зла является одним из самых настойчивых (хотя зачастую и бессознательных) вопросов искусства. Обычно в зависимости от социальной погоды — штормовой или штилевой — литература по-разному, то есть прямо противоположно, указывала местонахождение Дьявола: то сугубо *вовне* человека (в хаосе толп, в социальных контрастах и диспропорциях, во мраке космоса), то именно *внутри* нашедшего наконец время для самокритики индивида. XX век постепенно совместил два местонахождения Зла в одно. Этим единым местонахождением Зла стала материя как таковая. Материя, подлежащая неизбежному распаду — и вовлекающая в черную воронку уничтожения обезумевший от ужаса и отвращения разум. Литература заговорила об этом давно.

Некий автор, поднявший русскую литературу на новый уровень, примерно на треть века раньше Боона оказался буквально отравлен непереносимым, нечеловеческим ужасом перед "серой кашей" (которая неотвязным кошмаром проходит — в разных внешних своих ипостасях — через весь "Менуэт"), и при этом не только "не подавился криком", но сумел отлить хриплый звериный вопль в прозрачную форму классического стиха... Автор, который уже на заре прошлого века ясно уловил эту непоправимую, трагическую отчужденность человека от, казалось бы, "соприродных ему материалов", — это, конечно же, Ходасевич. Чего стоит хотя бы его стихотворение "An Mariechen"! Чем механически вести мертвую жизнь мертвого тела, "Уж лучше бы — я еле смею / Подумать про себя о том — Попасться бы тебе злодею / В пустынной роще, вечерком. / Уж лучше в несколько мгновений / И стыд узнать, и смерть принять, / И двух истлений, двух растлений / Не разделять, не разлучать. / Лежать бы в платьице измятом / Одной, в березняке густом, / И нож под левым, лиловатым, / Еще девическим соском". Это бесстрашное, бесстыдное, безоглядное — сродни суициду — попрание основ отвлеченной морали ради свободного, во весь выдох легких, крика ужаса перед безумием слепого существования — разве оно, это попрание, не напоминает о коллекции газетных заметочек сходного содержания (изнасилования, убийства, изнасилования и убийства) — заметочек, которые с маниакальным упорством ежедневно вырезает герой "Менуэта"?

Эти заметочки герой Боона все мечтает в один прекрасный день куда-нибудь вклеить — и вот они наконец оказываются упорядоченно вклеенными в текст "Менуэта". Полосы крупного шрифта, этакий бордюрчик, узор которого напоминает бегущие телеграфные строки, расположен в разных изданиях "Менуэта" по-разному — в некоторых вверху, в некоторых — внизу страницы. Мне сдается, что этот бордюр-бюллетень, идя через весь роман по верху страниц, дает ощущение наглухо перекрытого (заколоченного) неба; идя же по их низу — непоправимой порочности самой почвы. Точнее — отсутствия почвы под ногами танцующих в темноте персонажей. Но главное, на мой взгляд, здесь то, что дела "большого мира" (социального) и "малого мира" (жизни персонажей) нимало не разделены таким, казалось бы, "авангардным" способом — напротив, эти миры неразрывно связаны. Вертикальная связь проявляется, например, в том, что сведения о "большом мире" донашиваются (как шмотки из секонд-хенда) в виде сплетен-пересудов обитателями "мира малого" — и наоборот, сплетни-пересуды "малого мира" неизбежно материализуются в зафиксированных прессой кошмарах "большого".

Текст романа связан также по горизонтали. На мой взгляд, менее удачно. Хотя очевидно, что в этом и состояла идея автора: все три персонажа, равноправно имеют возможность свободного — даже безоглядного — танца-высказывания. Каждому, в соответствии с этой идеей равенства, предоставлена отдельная сцена-глава.

Итак, роман Боона работает как ткацкий станок: он переплетает воедино вертикальную и горизонтальную основу (словесной ткани) — и в результате у нас буквально на глазах рождается очень плотное и прочное полотно. Агрессия, зло, разрушение зиждутся именно в этом нерасторжимом полотне существования, в материи как таковой — и здесь нет разницы, "мыслящая" она или нет.

В заключение несколько слов о единственном пока на русском языке издании Боона. Книга "Избранное"(1980) вышла в свет как перевод с нидерландского, мы же обозначаем наш текст как перевод с фламандского. Как объяснить это разночтение? Дело в том, что Боон сначала стал известен именно в Голландии, а не во Фландрии — из-за либерализма первой и жесткого католического консерватизма второй. То есть публикации Боона в большинстве своем осуществлялись именно нидерландскими издательствами. Но писал Боон на фламандском языке, который голландцам понятен. Не вдаваясь в сходство и различие этих двух языков, подчеркну, что все иностранные издания Боона значатся как перевод с фламандского.

Что можно добавить о Бооне как "человеке"? Несмотря на свои резкие — понятные почти всякому писателю — утверждения о непринадлежности к данному разряду существ, Боон в течение жизни совершил как минимум два "человеческих" поступка: построил дом и вырастил сына. Участок для дома, а также материалы были куплены на гонорары из вольнодумствующей Голландии. Это произошло в 1953 году — деревушка Эрембодегем располагалась хоть и недалеко от Алста, но давала отраду уединения. Постройку дома писатель осуществлял сам — руками потомственного мастерового. Там он и умер — в конце жизни довольно много пил, не выдержало сердце. Версия о самоубийстве (целенаправленный перебор спиртного) остается открытой.

После этого его земляки, обитатели Алста, — те, о которых он с таким горестным изумлением пишет в "Менуэте", те, для которых при жизни он был, разумеется énfant terrible, и притча во языцех, те, от которых (добровольный остракизм) он бежал без оглядки, — эти люди совершили поступок, насквозь "человеческий" и полностью предсказуемый: поставили писателю памятник.

Марина Палей

ХОЗЯИН ФЕРМЫ ОБНАРУЖИЛ ДЕВОЧКУ, РАЗДЕТУЮ ДОНАГА И ПРИВЯЗАННУЮ К ДЕРЕВУ ПОСРЕДИ СНЕЖНОГО ПОЛЯ – ЕЕ ОДЕЖДА ЛЕЖАЛА НЕПОДАЛЕКУ, ОН ОСВОБОДИЛ ЭТУ ДЕВОЧКУ, КОТОРАЯ, НЕ ДАВ ЕМУ НИКАКИХ ОБЪЯСНЕНИЙ, ТУТ ЖЕ ОДЕЛАСЬ И УШЛА ПРОЧЬ / В ЧЕТВЕРГ ДНЕМ 6 МАЛЬЧИКОВ, СНАРЯЖЕННЫЕ СВЕЧАМИ И КЕРОСИНОВЫМИ ЛАМПАМИ, РЕШИЛИ СПУСТИТЬСЯ В КАМЕНОЛОМНЮ, ЧТОБЫ ИССЛЕДОВАТЬ ШТРЕКИ С ПРИМЫКАЮЩИМИ К НИМ ГЛУБОКИМИ ПРОВАЛАМИ, – ТОЛЬКО С НАСТУПЛЕНИЕМ СУМЕРЕК РОДИТЕЛИ НАЧАЛИ БЕСПОКОИТЬСЯ, СПАСАТЕЛЬНЫЙ ОТРЯД, ПОДКРЕПЛЕННЫЙ ПОЖАРНОЙ КОМАНДОЙ, ПРОШЕЛ МНОГОЧИСЛЕННЫЕ ШТРЕКИ, ТРУБЯ ПРИ ЭТОМ В ПОЖАРНЫЕ ГОРНЫ, ЧТО-

МОЯ работа в морозильных камерах была довольно однообразной: она состояла в проверке температуры, которой днем и ночью надлежало оставаться в точке замерзания. Это занятие не было трудным, но лишь немногие могут вынести восемь часов ежедневного пребывания на Северном полюсе. Высокие побеленные стены, слегка даже пересиненные, стояли там покрытые чужеродной, хрустящей от чистоты остекленелостью. Время от времени в мертвом безмолвии зависало лишь замирающее эхо, как призрак каждого моего предыдущего шага. Это был другой, искусственный мир. Весной, по утрам, когда я спускался в камеры морозильного подвала, бывало еще довольно темно. После этого я уже не знал, какая погода, весенняя или почти летняя, устанавливается там, снаружи. Моя отсыревшая зимняя одежда ждала меня в металлическом шкафу. Тяжелая термоизолирующая дверь мгновенно меня вталкивала в ледяную тьму, которая сжимала мне сердце. На миг я задыхался, возникало чувство, близкое к страху – пожалуй, даже больше сходное с горем, но то была просто физиологическая реакция на перепад температур. У меня никогда не оказывалось достаточно времени, чтобы подумать об этом, – в тот же момент начиналась работа: я должен был повернуть массивный электрический рубильник (для появления какого-то несущественного света), затем запустить вентиляционную установку, и, когда все это оказывалось проделанным, прежнее чувство, сродни страху или беспричинному горю, уходило и забывалось. Острые волны холода врезались в самые разные кости моего скелета. Мир снаружи отступал на восемь механических циферблатных часов; я был призраком, который одиноко блуждал по гектару пустых морозильных камер. Обычно на протяжении всего этого времени я то слегка открывал, то закрывал краны, записывал несколько замороженных цифр, грезил наяву или целыми часами вел разговоры с собой. В полдень я имел право взобраться по железной лестнице на узкую площадку, ведущую в небольшую удаленную камеру – мое излюбленное место для трапезы. Ею всякий раз являлись несколько бутербродов, таких же, как вчера, и

БЫ ПРИВЛЕЧЬ ПО ВОЗМОЖНОСТИ ВНИМАНИЕ ДЕТЕЙ, ДАЛЬНЕЙШИЕ СООБЩЕНИЯ ОЖИДАЮТСЯ / ВЕЧЕРОМ С ТОВАРНОЙ СТАНЦИИ БЫЛ УКРАДЕН КРЫСИНЫЙ ЯД – ВИДИМО, ВОРЫ ПРИНЯЛИ ЕГО ЗА МУКУ, УПРАВЛЕНИЕ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ ПО РАДИО И В ПЕЧАТИ ПРЕДУПРЕДИЛО НАСЕЛЕНИЕ, ЧТОБЫ МУКА НЕ ПОКУПАЛАСЬ НИГДЕ, ПОМИМО ОБЫЧНЫХ ТОЧЕК / 18-ЛЕТНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ РАБОЧИЙ ПРИШЕЛ К СТОРОЖАМ ЗАМКА ЗАЯВИТЬ, ЧТО ОН ОКАЗАЛСЯ СВИДЕТЕЛЕМ УЖАСАЮЩЕГО СЛУЧАЯ: 5-ЛЕТНЯЯ ДЕВОЧКА, ВОСПИТАННИЦА КОНСЬЕРЖКИ, УПАЛА, НАДО ДУМАТЬ ПО НЕОСТОРОЖНОСТИ, В ПАРКОВЫЙ ПРУД, ПАРЕНЬ УТВЕРЖДАЛ, ЧТО ХОТЕЛ СПАСТИ РЕБЕНКА, НО ВЫТАЩИЛ ЕГО ИЗ ВОДЫ УЖЕ БЕЗ ПРИЗНАКОВ ЖИЗНИ, ВСКОРЕ, ОДНАКО, ВЫЯСНИЛОСЬ, ЧТО ЭТО БЫЛ СУБЪЕКТ С ПЛОХОЙ РЕПУТАЦИЕЙ И ДАЖЕ, КАЖЕТСЯ, НЕОДНОКРАТНО НАСИЛОВАЛ ДЕВОЧКУ

всякий раз такая же, как вчера, плиточка шоколада. Только по наполнению моих грез горячей дымящейся пищей я узнавал, что полдень уже близко. Мне не особенно нравится шоколад, а его серебряная обертка в промозглом электрическом свете даже вызывала у меня некое недомогание – хотя не берусь определить, где именно. Но я продолжал покупать шоколадки, потому что к каждой плиточке прилагалась хромированная картинка-вкладыш, так что удаление враждебной бумаги, которая хрустела посреди этого безлюдья, всегда вознаграждалось появлением под ней некоего изображения – из этих картинок легко можно было бы собрать коллекцию, и тогда в мою собственность перешли бы все цветы гор и лесов, можно было бы, поднакопив деньжат, приобрести и альбом, чтобы туда их вклеивать. Порой, когда наконец проползали два, а то и три многовековых часа – в дыру, куда валятся все отжитые часы, – я шел в ту отдаленную маленькую камеру, чтобы еще раз посмотреть на свое новейшее хромированное приобретение, добавляемое к моему богатству, – дикую лесную анемону. (Дремучий лес, я брожу в нем, и вот на поляне вдруг – дикие лесные анемоны.) Когда-нибудь, в длинное неторопливое воскресенье, я буду вклеивать их в альбом, который непременно себе заведу, – возможно, такое воскресенье уже скоро наступит. Сейчас подтянуть бы колени к груди и немножко вздремнуть на узкой площадке... а потом будет сигнал первого часа: в камере Б температура стремится подскочить выше нуля, так что я должен опять приводить в действие вентиляционную установку, затем ощупывать белую искусственную оболочку змеевика, которая – не являясь ни снегом, ни льдом – есть лишь мертвое техническое ничто. Кожа на кончиках моих пальцев слегка к ней примерзает. Сегодня утром в газете промелькнуло сообщение о девочке, которая была найдена раздетой донага и привязанной к дереву. Не исключено, что мне бы следовало его вырезать: ведь может же человек собирать вырезки из газет (как, например, хромированные картинки) и вклеивать их в книгу, почему бы нет? Луговые цветы и горные цветы, дикие лесные анемоны, искусственный лед и вырезки из газет. Итак,

9 ЛЕТ, ТОЖЕ ВОСПИТАННИЦУ КОНСЬЕРЖКИ – ПАРНЯ АРЕСТОВАЛИ НА СТАНЦИИ, КОГДА ОН НАМЕРЕВАЛСЯ СЕСТЬ В ПОЕЗД, И НЕМЕДЛЕННО ПРЕПРОВОДИЛИ К ПРУДУ, ГДЕ НА БЕРЕГУ ЕЩЕ ЛЕЖАЛО МЕРТВОЕ ТЕЛЬЦЕ, ДЛИТЕЛЬНЫЙ ДОПРОС ПРИВЕЛ К ПОЛНОМУ ПРИЗНАНИЮ: ОН ВСТРЕТИЛ ДЕВОЧКУ ВОЗЛЕ ПРУДА, СХВАТИЛ ЕЕ И ПРИМЕНИЛ ФИЗИЧЕСКУЮ СИЛУ, НО, ПОСКОЛЬКУ ОНА ПРОДОЛЖАЛА КРИЧАТЬ И ВЫРЫВАТЬСЯ, ОН, ЗАТКНУВ ЕЙ РОТ КЛЯПОМ, СВЯЗАЛ ЕЕ ВЕРЕВКОЙ, А ПОСЛЕ ТОГО КАК ИЗНАСИЛОВАЛ, БРОСИЛ В ВОДУ И ЕЩЕ 10 МИНУТ ПОДОЖДАЛ – ЦИНИЗМ ЮНОГО НЕГОДЯЯ КАЖЕТСЯ ПРОСТО БЕСПРЕДЕЛЬНЫМ: КОГДА ЕГО СПРОСИЛИ, С КАКОЙ

она, раздетая и привязанная к дереву, стояла посреди покрытого снегом поля. Ее обнаружил хозяин фермы. Она оделась и ушла прочь, не дав ему никаких объяснений. Грезы. Бесконечные разговоры с самим собой.

Дорога домой была ежедневным блаженством и пыткой. Довольно длинное расстояние я проходил пешком – в тепле улиц, в благодатной прогретости города ранним апрелем. У меня уже не было возможности продолжать с собой разговоры, и, чтобы не погружаться в грезы наяву, я считал свои шаги. Однажды я досчитал почти до четырех тысяч, – хотя шагов, наверное, было и больше, – но дети возле ограды, как всегда, прерывали меня. Я сразу терял счет, как только появлялась многоцветная реклама на углу улицы. Да, они, как всегда, были там, эти маленькие девочки, – повиснув на металлической перекладине. Они были приклеены к ней, как мухи. Хватаясь за нее руками, они затем упирали в нее стопы и в таком положении опрокидывались назад – но не падали, а продолжали висеть – или вдруг принимались вокруг перекладины вращаться – при этом волосы их распускались по воздуху, как водоросли, а юбочки разлетались – как раз в тот момент, когда их ножки были задраны вверх. Мои глаза буквально примагничивались к ним, но я заставлял свой взгляд снова стать равнодушным. Кровь, все больше дрожа, оттекала от слабеющих моих запястий, где я отчетливо чувствовал гул в сосудах – я часто спрашивал об этом чувстве у знакомых, но они ничего не знали о своих органах, молчаливо и безропотно выполняющих положенные им функции. Во мне же по всем направлениям внутри тела происходило беспрерывное мелькание неких взаимосообщений. Я чувствовал, как почки осуществляют свою работу, я ощущал, как сердце, вдруг резко подпрыгнув, затем уже спокойно и равномерно качает кровь, я знал, как накапливается мое семя, как мозг питается наяву своей грезой или полностью забывается в ней. Чем ближе я подходил к девочкам, тем все больше обмякали мои сосуды, а руки делались все бессильней. Мои глаза подергивались хмелем, а тем временем маленькая птичка, живущая между моих ног, затаивалась там в кустах. На прошлой неделе в газете писали, что некий ребенок не вернулся домой к сумеркам, а через несколько дней в реке нашли мешок с трупом этой девочки. Но здесь, на моем пути, девочки снова прочно вставали на землю, они смотрели на мир удивленными и радостными глазами – мир снова водворялся на положенное ему место, хотя только что земля уходила из-под их ног, дома,

ЦЕЛЬЮ ОН НАМЕРЕВАЛСЯ СЕСТЬ В ПОЕЗД, ОН ОТВЕТИЛ, ЧТО ХОТЕЛ ИЗВЕСТИТЬ РОДИТЕЛЕЙ О СМЕРТИ ИХ ДОЧЕРИ / В КРУПНОМ УНИВЕРМАГЕ БЫЛА ЗАМЕЧЕНА ЖЕНЩИНА, КОТОРАЯ, НИЧЕГО НЕ ПОКУПАЯ, ПОДОЛГУ СТОЯЛА ВОЗЛЕ ПРИЛАВКОВ – КОГДА ОНА НАКОНЕЦ ВЗЯЛА КАКУЮ-ТО ВЕЩЬ, ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОХРАННОЙ СЛУЖБЫ, ПОДОЙДЯ К НЕЙ, ПОПРОСИЛИ ПРЕДЪЯВИТЬ ДОКУМЕНТЫ, НО В ТОТ ЖЕ МИГ ОНА РУХНУЛА НАВЗНИЧЬ: СМЕРТЬ НАСТУПИЛА МГНОВЕННО / НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ НАЗАД БЫЛ ЗАДЕРЖАН КАННИБАЛ: ДЕЛО КАСАЕТСЯ ИНДИВИДА, КОТОРЫЙ ЗАМАНИЛ К СЕБЕ В ДОМ 12-ЛЕТНЕГО РЕБЕНКА, ЧТОБЫ ИЗРЕЗАТЬ ЕГО НА КУСКИ, ЛЮДО-

крыши, разноцветный забор – все подлетало вверх, а благодатный воздух апрельского неба оказывался внизу. Они еще продолжали смеяться над этим, когда вдруг замечали мужчину, который по-старчески медленно проходил мимо и глубоко – глубже, чем это можно было бы счесть нормальным, – смотрел им в глаза. Я видел, как детские улыбки сползали с их уже полноватых губ, как они отворачивали лица, чтобы в уголках глаз спрятать свою победу, насмешку и страх. Мгновением позже они уже забывали об этом и возвращались к своей игре. А я снова начинал чувствовать приятное тепло улиц и тут обычно вспоминал, что перестал считать шаги. В одном месте на моем пути собралась невероятно большая толпа, и я вынужден был продираться сквозь нее, как странствующий исследователь сквозь джунгли. Обрывки разговора, все больше искажаясь, переходили из уст в уста: женщина рухнула замертво; все страстно желали разглядеть в трупе что-нибудь особенное. Руки и ноги этой толпы были лианами, преграждавшими мне дорогу; прокладывая путь, я невольно наткнулся на нежную грудь женщины, незащищенный плод, но она этого не заметила. Над толпой медленно и прочно сгущался тепловатый смрад разложения. Мне следовало немного успокоиться, чтобы я мог опять дышать, не боясь заразиться их бациллами. Ближе к дому я начинал представлять себе жену: она виделась мне рассеянно накрывающей стол к ужину.

Мысль о разнообразной и обильной еде снова стерла образ жены. Я уже несколько недель страстно мечтал о разноцветной закуске – салате, сардинах, рубленом мясе, редисе – обильном красном цвете, который дает редис, – посреди зелени салата. Едва открыв дверь с улицы, я привычно вдохнул воздух заброшенности – видимо, моя жена, как всегда, ушла по каким-то своим суматошным делам, или к своей матери, или поболтать с соседями. Она всегда крутилась как белка в колесе и делала такое, что никогда не пришло бы мне в голову. И где ее носит? – думалось мне порой, а потом, несколько часов спустя, она возвращалась, свершив такие чудеса, от которых у меня пропадал дар речи и которые загоняли меня назад в бункер. Стол был накрыт, можно сказать, исключительно для меня: кофе, хлеб, сыр. Сыр ничем не соблазнил меня, он был разновидностью хлеба – едой, которой заполняют рот, чтобы жевать; желудок при этом был машиной, нуждающейся в загрузке определенным веществом, чтобы преодолевать грозное и непостижимое чувство. Недавно я прочел о мужчине, который, угостив себя двенадцатилетним

ЕД ЗАКАЗАЛ СВОЕЙ ЖЕНЕ ОБЖАРИТЬ ЭТИ КУСКИ И ПОДАТЬ ИХ ЕМУ К УЖИНУ; В СВОЮ ЗАЩИТУ ОН СОСЛАЛСЯ НА ТО, ЧТО ПОСТУПИЛ ТАК ОТ ГОЛОДА / УЧИТЕЛЬ ТАНЦЕВ, КОТОРЫЙ ВЫДАВАЛ СЕБЯ ЗА СПИРИТА И ПЕРВОСВЯЩЕННИКА ТАЙНОЙ СЕКТЫ, УТВЕРЖДАЛ, ЧТО ОБЛАДАЕТ МАГИЧЕСКОЙ ТАЙНОЙ – С ЭТОЙ ЦЕЛЬЮ ОН И ОСНОВАЛ УПОМЯНУТУЮ СЕКТУ, КОТОРАЯ СТРЕМИЛАСЬ К ЧИСТОТЕ ДУХА, ЕМУ УДАЛОСЬ СОБРАТЬ В НЕЙ ПОЧТИ 150 ЛИЦ ОБОЕГО ПОЛА, НО В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ОН УДЕЛЯЛ ВНИМАНИЕ ДЕВОЧКАМ, КОТОРЫМ ПРЕПОДАВАЛ РИТМИЧЕСКИЕ ТАНЦЫ – ИЗ ЭТИХ ЮНЫХ ТАНЦОВЩИЦ ОН ОТБИРАЛ НЕОФИТОК (ИХ ВОЗРАСТ КОЛЕБАЛСЯ ОТ 12 ДО 15

ребенком, сказал, что поступил так вследствие голода. Итак: вследствие голода — а не для того, чтобы, проглотив маленького человека, удовлетворить некое грозное и непостижимое чувство. Кофе был холодным, хлеб черствым, сыр еще черствее. Я ел безмолвно, но со странным ощущением. Жены не было дома, а девочка была здесь. Она была здесь для того, чтобы пришивать пуговицы, мыть лестницу, служить для моей жены курьером. Она выполняла мелкие поручения по хозяйству, какие в любой другой семье выполняет жена, в то время как моя жена проделывала ту работу, какую на самом деле должен был бы проделывать я. Она была очень энергична, моя жена. И главное — она была категорична. Сказав: предмет таков, точка, она уже не знавала сомнений. Любой спор она пресекала на корню, не допуская даже возможности иного взгляда. А девочка при этом вертелась по всему дому. Насколько я знал, она не делала ничего явно полезного, она лишь пыталась наладить то, что уже было так или иначе расстроено. Иногда она сидела целыми часами, вечер за вечером, просто распарывая швы. Это распарывание того, что было сшито, являлось ее прямым делом. Таковой была сама основа ее существования. Сейчас она сидела на корточках, шаря под шкафом. Я смотрел на нее, но так, будто смотрел мимо, чтобы не потревожить ее лезвиями моих глаз. Она шарила под шкафом, вытаскивая оттуда булавки. Скорее всего, она — или моя жена — обронила коробку. Это и являлось обязанностью девочки в нашем доме: что-то ронять, чтобы потом целыми часами, сидя на корточках, рыться под шкафом. Ее тело еще не вполне обросло плотью, у нее были плоские ляжки подростка, а трусики — там, высоко между ними, — неизменно оставались безупречно белыми. Трусы моей жены всегда были запятнанными, отдавали тухлятиной, а в щели между ляжек быстро становились какими-то буроватыми. Моя жена крутилась как белка в колесе и, организовывая множество всяких дел, уделяла совсем мало внимания своему женскому началу. Она почти или даже вовсе о нем не задумывалась. Потом, неизвестно почему, она наконец-то замечала, что ее трусы стали зловонны, тогда она просто снимала их и заменяла другими (при этом она становилась, широко расставив ноги, и в таком положении их натягивала). В этот момент моя жена не была женщиной и больше смахивала на пловца, намеренного проплыть стометровку. А несколько часов спустя от ее трусов снова исходил отнюдь не прельстительный запах — я думаю, ей просто не хватало времени для полноценного посещения туалета. Девочка ползала на корточ-

ЛЕТ), ЧТОБЫ ЗАТЕМ НАСИЛОВАТЬ В СВОЕМ ОСОБНЯКЕ / УЖЕ ДЛИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ ВЕДЕТСЯ РАССЛЕДОВАНИЕ В СВЯЗИ С БАНДОЙ УБИЙЦ, ОРУДОВАВШИХ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ – НА ИХ СЧЕТУ ЗА НЕСКОЛЬКО МЕСЯЦЕВ НАКОПИЛОСЬ НЕ МЕНЕЕ 17 ЖЕРТВ, ЛИШЕННЫХ ЖИЗНИ С ЦЕЛЬЮ ОГРАБЛЕНИЯ, СДЕЛАНО НЕВЕРОЯТНОЕ ОТКРЫТИЕ: ГЛАВАРЕМ ЭТОЙ БАНДЫ ОКАЗАЛАСЬ 22-ЛЕТНЯЯ КРАСОТКА, ОБЛАДАЮЩАЯ, БЕССПОРНО, ЗАВИДНЫМ ХЛАДНОКРОВИЕМ: НЕ МОРГНУВ ГЛАЗОМ, ОНА ЗАЯВИЛА, ЧТО ПРИСУТСТВОВАЛА ПРИ 13 УБИЙСТВАХ, ВЫСТУПАЯ НЕПОСРЕДСТВЕННЫМ ИНИЦИАТОРОМ НЕКОТОРЫХ И ДАЖЕ БЕРЯ РУКОВОДСТВО ПО УМЕРЩВЛЕНИЮ ЖЕРТВ НА СЕ-

ках — я надеялся, что, может быть, она, шаря рукой под шкафом все глубже, наконец повернется в мою сторону. Я выпил свой кофе, но еще оставался за столом, намереваясь почитать ежедневную газету. Лучше всего было ничего не предпринимать вообще, чтобы не спугнуть девочку в ее бессмысленном занятии. Тихонько, через край газеты, мои глаза, две задыхающиеся рыбы, двинулись к пещерке под ее юбкой. Она, должно быть, поняла, что открыта моему взгляду, но все-таки продолжала улыбаться, позволяя снегу своих трусиков кружиться перед моими глазами. Я заговорил с ней о картинках-вкладышах в плитках шоколада, о диких лесных анемонах. Она предложила мне поменять их на ее дикий водосбор[1]. Я коллекционирую только белые цветы, — сказала она.

Когда я вознамерился отправиться в свою рабочую каморку, она мыла лестницу. Была там одна ступенька, которую она все пыталась обойти, как будто на ней находилось какое-то препятствие. Я знал, что мог бы без конца говорить о руках этой девочки — о независимой, странной и нерешительной жизни, которую ведут эти руки, — но сейчас они просто обегали препятствие, как вода в ручье обегает камень. Вода хрупка и беспечна, она распадается на струи, вовсе не помышляя камень сдвинуть. Бормоча, она распадается на струи, а потом срастается снова и течет себе дальше — без памяти, без боли. Таким же образом руки девочки обегали лежащее на ступеньке лестницы препятствие. Я присмотрелся: это была гигиеническая прокладка моей жены. В те дни, когда у нее шли перемены (как называли это жители нашей округи), она задирала юбку и прилаживала такую прокладку между ног. Проделывала она это почти тем же манером, каким шофер насаживает на ось запасное колесо. Такие прокладки бывали разбросаны ею по всему дому — то за дверьми, то на лестнице, зачастую на самом видном месте, чтоб не забыть, что в течение нескольких дней ей надобно бросать их в лохань. В такие дни жена бывала очень раздраженной. Женщина!.. — обычно произносила она с горечью и досадой. По сути, она была обижена на природу, являющуюся природой. Ее не устраивало, что мужчина испускает семя, что у женщины наступают месячные, что беспомощные младенцы писают в постель. Она смутно верила в какого-то Бога и, как положено, регулярно посещала церковь. А когда не ладилось какое-нибудь из ее сума-

1. Отсылка к "Гамлету": дикий водосбор фигурирует в монологе Офелии (акт IV, сцена 5) и, в соответствии с символикой того времени, олицетворяет измену. *(Прим. перев.)*

БЯ – БАНДА СОСТОЯЛА ИЗ 12 УБИЙЦ-РЕЦИДИВИСТОВ ПО КЛИЧКЕ "ДВЕНАДЦАТЬ АПОСТОЛОВ", НА ДОПРОСЕ АТАМАНША ОПИСАЛА, КАК ОДИН ИЗ АПОСТОЛОВ ОДНАЖДЫ БРОСИЛ ЕЙ НА КОЛЕНИ ИСКУССТВЕННЫЕ ЧЕЛЮСТИ С ЗОЛОТЫМИ ЗУБАМИ, СКАЗАВ: "Я УБИЛ ЕГО, ЧТОБЫ ПРЕПОДНЕСТИ ВАМ ЗОЛОТО ЕГО УСТ" / НЕСКОЛЬКО НЕДЕЛЬ НАЗАД ДВА ЛЕСНИКА ДОЛОЖИЛИ, ЧТО В СОСЕДНЕМ ЛЕСУ ИМИ ЗАМЕЧЕНО СТРАННО ОДЕТОЕ СУЩЕСТВО, КОТОРОЕ, ЕДВА ИХ УВИДЕВ, ОПРОМЕТЬЮ БРОСИЛОСЬ ПРОЧЬ, БЫЛО НАЧАТО РАССЛЕДОВАНИЕ, И ПОСЛЕ ДВУХНЕДЕЛЬНОГО РОЗЫСКА СУЩЕСТВО УДАЛОСЬ ИЗЛОВИТЬ: ИМ ОКАЗАЛАСЬ ОДЕТАЯ В ЗВЕРИНЫЕ ШКУРЫ ДЕ-

тошных дел, она зажигала свечку перед фигуркой святого. Но и после этого она с досадой швыряла намокшую кровью прокладку куда-нибудь с глаз долой – если дело происходило в спальне, то на постель (причем на мою половину). А девочка была так молода, что у нее еще не приспели хлопоты с месячными. Она сидела на корточках, и руки ее струились, как вода, обходя препятствие. Когда я встал возле ступеней, намереваясь подняться, она взглянула на меня сверху вниз. И вновь я увидел меж ее ног безупречно белые трусики, похожие на покрытое снегом поле – точнее, на ясную лунную ночь. Мы оба обошли взглядом препятствие, как это делает вода, легкомысленная и беспечная. Девочка улыбнулась, но в глубине ее глаз оставалось что-то издевательское, даже осуждающее. ("Я... да... Но как?") Пройдя мимо нее, я заперся в своей каморке. Нечто, похожее на тонкий лед, разбилось во мне – но не из-за серебристо-белого ландшафта меж ее ног, а от собственных моих холодных мыслей, от моей крови, которая, как я ощущал, ползла по моим сосудам совсем вяло. Однажды, давным-давно, моя мама сказала: каким он, однако, становится странным, каким безразличным он делается...

И все-таки, несмотря ни на что, моя мама так или иначе любила меня. И все-таки, несмотря ни на что, и моя жена, скорее всего, любила меня – так или иначе. Я еще помню те ее письма, которые она писала мне, когда я попал в солдаты (будучи тогда очень одинокой вечерами, как она сообщала). Все письма начинались одинаково: "Мой мальчик". А далее она докладывала о новостях в округе, обо всем, что когда-либо дышало и шевелилось: вот умерла одна женщина, вот муж изменил жене, вот погиб ребенок – или чуть не погиб. Все это не интересовало меня. Гораздо интереснее было мне услышать о том, как она ест, как она спит, как кровь ее с помощью сердечного насоса прокачивается по сосудам и каким она представляет себе Бога, в которого верит вся ее семья. Но ничего из этого она не ведала и сама. Заканчивала она все письма вполне выверенным: "Тысяча поцелуев". Она почти никогда не целовала меня. Впрочем, ее поцелуи не были настоящими, они не походили на то, как целуются влюбленные, – на жадное утоление жажды колодезной влагой, а ведь иногда надо целоваться именно так, словно ты блудливо роешься в пещерке, откуда берет начало родник. Для нее поцелуй был совмещением губ и губ, простым тактильным контактом – таким же формальным, как рукопожатие. "Мой мальчик", – писала она. Отчасти она чувствовала себя моей мамой, следовательно, наверняка знала, что

ВУШКА, КОТОРАЯ, ПОСТРОИВ СЕБЕ В КРОНЕ ОРЕХОВОГО ДЕРЕВА ЧТО-ТО ВРОДЕ ШАЛАША, ПИТАЛАСЬ ЗЕМЛЯНИКОЙ И ДРУГИМИ ЛЕСНЫМИ ЯГОДАМИ, ОНА ЗАЯВИЛА, ЧТО ЕЙ 23 ГОДА И ЧТО ОНА ИЗБРАЛА ТАКУЮ ЖИЗНЬ, ПОСКОЛЬКУ ЕЙ ДО ГЛУБИНЫ ДУШИ ОПРОТИВЕЛА ЦИВИЛИЗАЦИЯ; ВЗЯВ С СОБОЙ НЕСКОЛЬКО САМЫХ НЕОБХОДИМЫХ ПРЕДМЕТОВ, ОНА СБЕЖАЛА ИЗ РОДИТЕЛЬСКОГО ДОМА, ЧТОБЫ НАСЛАЖДАТЬСЯ ЧУДЕСНОЙ ЖИЗНЬЮ В ЛЕСУ, ЕЙ БЫЛО НЕТРУДНО НАХОДИТЬ ТАМ СЕБЕ ПРОПИТАНИЕ, И ОНА ЗАЯВИЛА, ЧТО ПОСЛЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ СНОВА СБЕЖИТ В ЛЕС / 18-ЛЕТНИЙ ЮНОША, КОТОРЫЙ КАТАЛСЯ В КОМПАНИИ НЕКОЙ ДЕВУШКИ НА УГ-

я никогда не привыкну к жизни людей, что я так и останусь ничего не разумеющим среди них. В какой-то степени я всегда пребывал ее ребенком, странным и несколько непослушным, от которого некоторые вещи следует прятать, а другие как можно дальше убирать – те вещи, которыми, по ее убеждению, я никогда не смог бы надлежащим образом ни распоряжаться, ни пользоваться. Я виделся ей юношей, тихим странным мальчиком, никогда не решавшимся удаляться далеко от дома. Когда я действительно был подростком, то мог еще пофантазировать о том, что вот когда-нибудь женюсь и стану жить в тихом местечке, пропуская свою кружечку пива каждым воскресным утречком и ведя неторопливые разговоры. Однако весьма скоро я понял, что ни с кем не смогу вести разговоры. Все говорили о своих женах и о своей зарплате – всегда о фактах, но никогда о причинах – никогда о "почему?" или "зачем?" всех этих дел. Я мог вести длинные разговоры лишь с самим собой. Я мог лишь себе задавать вопросы: почему именно Христос был избран ими как символ цивилизации? Почему именно этот мужчина висит в наших комнатах – голый, со смешным половым органом, вынужденным быть спрятанным под набедренной повязкой, – с половым органом, который он ненавидел на протяжении всей своей общественной жизни и расценивал как балласт? Так почему же тогда именно Христос висит на стенах наших спален как некий тайный свидетель, уменьшая и без того скромное мое удовольствие, – почему человечество избрало именно его, а не кого-нибудь из Неронов, или из Пифагоров, или, скажем, из каких-нибудь там Блаватских с их психически нездоровыми глазами? Почему оно не избрало 22-летнюю предводительницу банды – атаманшу, на счету которой не менее семнадцати жертв (по-моему, эти газетные формулировки – просто невыносимые штампы, кроме того, на них лежит отпечаток массового производства и невероятной тупости: почему "не менее"? и почему "жертвы"? – как будто все эти люди действительно являются сакральными агнцами, заколотыми на алтаре собственного легковерия), то есть получается так, что и в спальне этой красотки, этой женщины-убийцы, взирал со стены тот же самый человек в набедренной повязке, вовсе не стремившийся что-либо скрывать, – взирал на совершаемые ею убийства. Но об этом я ни с кем не разговаривал, кроме как с самим собой. Разговаривать с кем-либо другим было бессмысленно. Я отлично знал, и уже давно, что я чужой среди всех. Я только не понимал, почему этот факт не признавал-

НАННОЙ МАШИНЕ, СОЗНАЛСЯ, ЧТО СОВЕРШИЛ 5 УБИЙСТВ ЗА 5 ДНЕЙ: ЕГО ЖЕРТВАМИ ОКАЗАЛИСЬ 3 ЖЕНЩИНЫ И 2 МУЖЧИНЫ, ЛИШЕННЫЕ ИМ ЖИЗНИ ПРИ КРАЖЕ СО ВЗЛОМОМ, ОН ТАКЖЕ СОЗНАЛСЯ И В ТОМ, ЧТО ВСЕ ЭТИ ПРЕСТУПЛЕНИЯ БЫЛИ СОВЕРШЕНЫ ИМ ДЛЯ ПОКРЫТИЯ ДОРОЖНЫХ РАСХОДОВ; ДЕВУШКА ЗАЯВИЛА, ЧТО ОНА БЫЛА В КУРСЕ СОБЫТИЙ, И ВЗЯЛА ЧАСТЬ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НА СЕБЯ / 2 МОЛОДЫЕ ЖЕНЩИНЫ БЫЛИ ЗАДЕРЖАНЫ ЗА НАРУШЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА / В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ПОДРОСТКИ РАЗВЛЕКАЮТСЯ НОВОЙ ИГРОЙ, КОТОРУЮ ОНИ НАЗЫВАЮТ “НАКА-

ся ими, почему бы им было не произнести просто: он чужой среди нас. Почему бы им просто не оставить меня наедине с моими бессловесными беседами и мечтаниями? Я всегда предпочитал отсиживаться дома, устроившись где-нибудь на стуле. Как-то я вырезал заметку о найденной в лесу девушке, которая питалась земляникой и другими лесными ягодами (дикая лесная анемона, я уж было хотел променять тебя на дикий водосбор!..), и надолго забылся над этим занятием. Я неизвестно как очутился среди людей, каким-то образом меня любящих и держащих у себя под арестом. Каждый вечер моя жена бралась за работу следующего дня: она чистила картошку, нарезала овощи, ну и тому подобное. Так я обгоняю мое завтра, — говорила она. Я не спрашивал ее никогда, почему она должна именно обгонять завтрашний день. Этот вопрос показался бы ей бессмысленным. Однако, следуя ее логике, то же самое она должна будет делать вплоть до дня своей смерти, иначе все выполненное ею оказалось бы бессмысленным. А какая польза в том, чтобы обогнать день своей смерти? Тем не менее она не понимала ни этого, ни того, что когда-нибудь умрет, будучи не только сложным, но и хрупким механизмом, который, ежечасно подгнивая, однажды полностью распадется. И что ее трудовые усилия, которые она экономила и с помощью которых она опережала день своей смерти, совершенно бессмысленны. Тем не менее я все еще оставался немного ее мальчиком, и она проявляла по отношению ко мне материнскую заботу. А кроме того, она еще вовсю судачила с окрестными соседками. Все эти женщины — под сорок, пятьдесят и старше — были старыми и некрасивыми, а моей жене едва минуло двадцать шесть. Она всегда предоставляла мне точный отчет, о чем говорили эти женщины, со всеми подробностями — любую мелочь об их мужьях, о детях, о жизни... Они живут себе и когда-нибудь помрут, как помирают мухи, ничего не зная об этом, тем не менее жужжат они без умолку. Моя жена вышла из семьи с таким домашним укладом, когда все постоянно вертелись как заведенные, много работая и мало думая. Вот такие делишки, — приговаривали они. К тому же были они верующими — но не непоколебимо верующими, а обычными. Насчет религиозных доктрин у них была полнейшая уверенность. И моя жена не понимала, что я, напротив, вел существование сомневающегося — совсем непрочное существование. Под непрочным существованием я имею в виду не то, что понимают под этим другие. (Я все время безуспешно ищу иные слова, чем те, которые употребляют обычно...) Я имею в виду мою неуверенность, нереши-

ЗАТЬ ВОЕННЫХ ПРЕСТУПНИКОВ" – НАСКОЛЬКО ОПАСНОЙ, ОДНАКО, ЯВЛЯЕТСЯ ЭТА ИГРА, ВЫЯСНИЛОСЬ, КОГДА БЫЛО ОБНАРУЖЕНО, ЧТО ГРУППА ЮНЦОВ РАЗОЖГЛА КОСТЕР, В КОТОРОМ ЛЕЖАЛА ОБЕРНУТАЯ БУМАГОЙ КАРТОННАЯ КОРОБКА С УПАКОВАННЫМ В НЕЙ 3-ЛЕТНИМ МАЛЬЧИКОМ / ЭНУРЕЗ: 16-ЛЕТНИЙ МАЛЬЧИК, КОТОРЫЙ МОЧИЛСЯ В ПОСТЕЛИ КАЖДУЮ НОЧЬ, ПРИСЛАЛ НАМ ПИСЬМО: СПАСИБО ЗА ВАШЕ ПРЕКРАСНОЕ СРЕДСТВО – Я НАЧАЛ ЛЕЧЕНИЕ ТОЛЬКО 2 НЕДЕЛИ НАЗАД И УЖЕ НИЧЕГО НЕ ЧУВСТВУЮ / ПРОШЛОЙ НОЧЬЮ БЫВШИЙ ЛЕГКОАТЛЕТ ПРОИЗВЕЛ ДЕЗИНФЕКЦИЮ СВОЕЙ ВЫ-

тельность, мой поиск... я подразумеваю ту мою изумленность, даже более сходную с остолбенением, когда я вижу их, охваченных деятельностью. Уверенность моей жены воистину изумляла меня. А что будет, если что-либо не получится? – спрашивал я себя иногда. Но когда что-либо грозило не выйти, жена зажигала свечку перед (подаренной нам на свадьбу) гипсовой фигуркой святого. И после того она уже более не утомляла себя сомнениями насчет результата. Иногда я слышал, что́ она говорила обо мне. Это случалось, когда я, как обычно, сидел наверху, в своей рабочей каморке, будто бы что-то там мастеря, а на самом деле попросту запершись, – и вот, когда я выходил в туалет, я улавливал кое-что из ее разговора с другими. Я, у которой есть хороший муж, – говорила она... Я молча входил в туалет и, засев там, вперял свой взгляд между ног. Итак, я был хорошим мужем: не сердил жену, не пил, не гонялся за юбками. В такие моменты мне всегда вспоминалась мама: вот я тихо сижу у порога нашего дома и смотрю на улицу, а она говорит обо мне.

В ее голосе явно слышится озабоченность. Будучи ребенком, я уже ощущал эту, похожую на страх, некую вокруг себя озабоченность, потому что... потому что я был таким малоподвижным. А позже она, моя мама, утешала себя тем, как говорила она соседкам, что я был хорошим мальчиком. Это жило в ней утешением-страхом. И сейчас вот моя жена... Был ли у нее тот же страх – оттого, что я существовал так тихо, так непрочно стоял в этом мире, так всегда колебался, так бесстыдно старался найти причину всех причин, оттого, что я истязал себя так преступно, можно сказать, бесчеловечно, оттого, что я проживал рядом с ними, с ней, какое-то незначительное количество лет? И все-таки я любил ее, свою жену. Но каким образом? Я замечал, что любил ее, находясь не иначе как вдали от дома – куда другие утаскивали меня, чтобы совместно что-нибудь натворить. Когда они вызвали меня, чтобы я принял участие в их войне, и когда меня загнали в окоп, грязный, черный, липкий, без хлеба, без воды, меня, с растрескавшимися ногтями и вкусом земли во рту, то таким образом, в окопе, они заставили меня занять надлежащее мне место. И тогда я думал о своей жене с отвращением, с яростью, с ненавистью – потому что она не сумела воспрепятствовать этому, потому что она участвовала в этом деле, потому что она отчасти была виновата в этом, как и все остальные, которые, вечно суетясь, были усердно заняты тем, чтобы вращать мир вокруг его извечной оси. И я также понимал, что любил свою жену, хотя до меня никак не доходило,

ГРЕБНОЙ ЯМЫ КАРБОЛОВОЙ КИСЛОТОЙ С ЦЕЛЬЮ УНИЧТОЖЕНИЯ МУХ, ВО ВРЕМЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ УБОРНОЙ СЛЕДУЮЩИМ ВЕЧЕРОМ СЛУЧИЛСЯ ВЗРЫВ, В РЕЗУЛЬТАТЕ КОТОРОГО ОНА ВЗЛЕТЕЛА НА ВОЗДУХ / СЕГОДНЯ, ОКОЛО ОДИННАДЦАТИ ЧАСОВ УТРА, ОДНУ ИЗ РАБОЧИХ СЛОБОДОК ВДРУГ ОХВАТИЛ АЖИОТАЖ: НЕКИЙ ЧЕЛОВЕК, ВОЗВЫШАВШИЙСЯ НАД ТОЛПОЙ, РАЗДАВАЛ ЖЕЛАЮЩИМ ДЕНЕЖНЫЕ БАНКНОТЫ, ПОСЛЕ РАЗДАЧИ КУПЮР НА СУММУ ОКОЛО 50 ТЫСЯЧ ФРАНКОВ ОН ОБЪЯВИЛ, ЧТО ВЕРНЕТСЯ ОКОЛО ПОЛДУДНЯ, УВЫ, ЩЕДРЫЙ ДАРИТЕЛЬ, ИЗВЕСТНЫЙ НЕКОТОРЫМ ОБИТАТЕЛЯМ

в чем же проявляется моя любовь. И когда понесли первых раненых, а прочие изувеченные пытались зарыться в землю, чтобы наконец умереть, и пришли не наши, и я вынужден был сделать “руки вверх” (вам когда-нибудь доводилось делать “руки вверх” перед человеческими самцами, которые надвигаются на вас, вцепясь лапами в орудия убийства? вы бывали когда-нибудь предоставлены их произволу и их богу?) — и я, поднимая руки, чтобы они по своей прихоти убили меня или разрешили пожить еще немножко, я понимал, что любил ее и что это она растаптывала меня и что это она меня убивала. И то, что всеми людскими законами тогда было позволено меня уничтожить, само по себе было убийство. И тогда я любил ее со всем отвращением к ней — именно с отвращением, потому что она никогда не говорила мне, что не имеет с ними ничего общего. И тогда эти убийцы, эти люди, загнали меня за колючую проволоку, будто я был зверем, — да, я был зверем, и никем больше, — выходит, именно потому убийцы имели право, загнав меня за колючую проволоку, швырнуть на солому, уже вовсю кишевшую насекомыми? Через несколько дней моя одежда тоже кишела вшами — они шныряли себе в ней, как в захваченном ими городе. Особенно полюбились вшам окрестности моего члена — там они ползали так, будто он принадлежал именно им, а вовсе даже не мне. И кроме того, меня загнали в толпу прочих пленных — нас было триста, запертых в узком бараке, который вонял их голодом, их половыми органами, их ранами. И когда я думал о жене, то знал, что любил ее — но не так, как положено любить своих жен. Я старался уйти как можно дальше от других, пытался незаметно для них продолжить этот напряженный разговор с собой. Они, другие, тем временем рассуждали о конце войны, то есть о том, чем именно они намерены заняться после. На всех попадавшихся им бумажках они, терзаемые голодом, писали свои кухонные рецепты. Не чувствуя к ним ненависти, я уходил подальше лишь потому, что они постоянно мешали мне оставаться наедине с собой и думать о жене. Те, которые на том этапе выигрывали войну, заперли меня за своей колючей проволокой, а те, которые проигрывали, хотели втянуть меня в свои кухонные рецепты и в свои вонючие раны. Иногда мне удавалось представить себе жену такой, какой я знал ее: вот, к примеру, она обсуждает с соседками чью-то кончину, обратившись на миг в самую обычную сплетницу, вот она молится Богу (хотя и не доверяет Ему, но, учитывая соотношение сил, бросает немножечко мелочи в кружку для пожертвований или направляется на богомолье). В своей юности она проделала

ВЫШЕУКАЗАННОЙ СЛОБОДКИ, В НАЗНАЧЕННЫЙ ЧАС ТАК И НЕ ВЕРНУЛСЯ / ПРИ РАЗГРУЗКЕ КУКУРУЗЫ ОДНОГО ИЗ ДОКЕРОВ ЗАСОСАЛО В ЖЕРЛО ЭЛЕВАТОРА, КОТОРЫЙ – ХОТЯ В ТАКИХ СЛУЧАЯХ УСТРОЙСТВО ДОЛЖНО АВТОМАТИЧЕСКИ ОТКЛЮЧАТЬСЯ – ПРОДОЛЖАЛ РАБОТАТЬ, 2 ДРУГИХ ДОКЕРА ПОСПЕШИЛИ НА ПОМОЩЬ НЕСЧАСТНОМУ, НО ИХ ЗАСОСАЛО ТОЖЕ / ОДНОМУ ИЗ МОЛОДЫХ ШУТНИКОВ, ШАТАЮЩИХСЯ ПО ЯРМАРКЕ, НЕ ПРИШЛО В ГОЛОВУ НИЧЕГО БОЛЕЕ ИНТЕРЕСНОГО, ЧЕМ ШВЫРНУТЬ ГОРЯЩУЮ СПИЧКУ В ГРОЗДЬ ВОЗДУШНЫХ ШАРОВ, ВСЛЕДСТВИЕ ЧЕГО 60 ШАРОВ ВЗОРВАЛОСЬ,

множество таких паломничеств, однако всегда в компании молодых девушек и парней, чтобы иметь какую-нибудь цель и по пути развлекаться, то есть, заглядывая в разные кафе, потягивать пиво и потом распевать песни по дороге домой. Сидя за колючей проволокой, я иногда думал, что вот сейчас, в этот момент, она, может быть, пишет мне мысленно письмо; собственно, и не было никакой необходимости в том, чтобы я непременно получал эти письма, все они начинались бы с "Мой мальчик" и завершались бы фразой "Тысяча поцелуев", а то, что находилось между тем и этим, не имело для меня никакого значения. Для нее, равно как и для запертых вместе со мной, это значение имело. Отрезав зачины и концовки всех ее писем, я мог бы остаток легко отдать на прочтение другим. Она всегда вела жизнь других, но, будучи молоденькой, была при этом довольно забавной, иногда непредсказуемой, а иногда в ней проглядывало, можно сказать, что-то природно звериное (но бывала ли она и в самом деле такой?) — вот о чем размышлял я, пытаясь представить ее себе природным зверьком. Но мне это не удалось. Она была уверена в себе и ловка — к примеру, она отлично умела чинить электропроводку. Вооружившись ножичком для чистки картофеля и кусочком проволоки, она влезала на стремянку и легко устраняла дефект. Да, лучше всего я мог представлять себе ее именно такой: вот она стоит на стремянке и покуривает сигарету, чуть свисающую с губы, при этом слегка отворачивая голову, чтоб дым не лез в глаза, и одновременно давая какие-то указания девочке. Это происходило всегда безотчетно: когда в мыслях я пребывал с женой, руки мои блуждали по моему собственному телу. Мои руки и мои мысли умели проживать свои жизни раздельно — в морозильных камерах, например: когда руки закрывали краны или записывали замороженные цифры, мысли полностью были погружены в смысл существования. Они вели вполне независимую жизнь, мои руки, — они скользили по моему лицу, они находились в исследовательской экспедиции по ландшафтам моего тела, и вдруг я заметил, что они блуждают между моих ног, отгоняя насекомых, захвативших тамошний лес. И я открыл тогда (без страха, но, как странствующий исследователь, лишь отстраненно констатируя), что мой половой орган не возбуждается при мыслях о жене. Эти мысли не возбуждали меня, несмотря на то что я любил ее и тосковал по ней. И вот ни одна часть некоего совершенно мне неизвестного глубинного существа — моих жизненных соков, часть как бы даже самой души (ах, не следует считать оскорблением природы, если я говорю, что антенна ду-

А ПРОДАВЕЦ ПОЛУЧИЛ СЕРЬЕЗНЫЕ ОЖОГИ / 1 ЧЕЛОВЕК БЫЛ УБИТ И ОКОЛО 100 РАНЕНЫ, КОГДА ВО ВРЕМЯ БАНКЕТА РУХНУЛ ПОЛ 3-ГО ЭТАЖА: ПРИМЕРНО 50 ТАНЦУЮЩИХ ПАР, ОТМЕЧАВШИХ РАДОСТНОЕ СОБЫТИЕ, ПРОВАЛИЛИСЬ НА НИЖЕРАСПОЛОЖЕННЫЙ ЭТАЖ / ГОСПИТАЛИЗИРОВАННЫЙ СОРОКА ЛЕТ, ОЖИДАЯ В ХИРУРГИЧЕСКОМ ОТДЕЛЕНИИ СВОЕЙ ОЧЕРЕДИ, ОБЛОКОТИЛСЯ НА ПОДОКОННИК, НО ПОТЕРЯЛ СОЗНАНИЕ И ВЫВАЛИЛСЯ ИЗ ОКНА – ЕГО ПРИНЕСЛИ НАЗАД УЖЕ В ПРЕДЛЕТАЛЬНОМ СОСТОЯНИИ / 5 ДЕТЕЙ, СРЕДИ НИХ 2 ДЕВОЧКИ 13 и 14 ЛЕТ, ИГРАЛИ НА ВЕРЕСКОВОЙ ПУСТОШИ, КОГ-

ши проходит у меня изначально сквозь мою чувственную основу и там, предупреждая меня, постоянно контактирует с миром) — ни одна часть этой основы не принималась дрожать даже тайком, когда я тосковал по жене. Я любил жену, потому что скучал по нашему дому, и по своей каморке, и по девочке, но моя жена, бегая по кругу, все и везде устраивая, являясь моим щитом против мира, была для этого мира своей.

Мой отец был во многом натурой задумчивой. Он тоже любил размышлять и вести с собой бесконечные разговоры. Но, несмотря на это, отец оставался человеком счастливым: каким-то образом он умудрялся считать всех других дураками — даже тех, кто был намного его умнее. Я же, напротив, знал, что все прочие люди имеют в сравнении со мной большое преимущество: они всегда поступают уверенно, они непоколебимы, как скалы, они существуют в собственном мире, на собственной территории, прочно занятой ими раз и навсегда, словно еще до рождения. И они-то правы, а я нет. Мой отец, тоже будучи "неправым", жил с иллюзией, что все как раз наоборот. Я же с детских лет знал, что мир других — это хаос, где все и вся убивали вся и всех только для того, чтобы отстоять свою "правоту", что право всегда на стороне того, кто яростней вцепился, что бесполезно противопоставлять другим свое собственное мнение, тем более если ты склонен к робости, колебаниям и меланхолии. Как-то я, совсем еще маленьким, должен был съездить с отцом в другой город. Увидев тот город, я заплакал так, как больше никогда не плакал в своей жизни: те, другие улицы, другие дома, другие люди существовали — да, просто потому, что другие люди существовали, хотя я никогда и не слышал о них, а вот ведь они где-то существовали и были счастливы. Еще на подходе к тому городку я помню проселочную дорогу и двух женщин, летним утром беседовавших друг с дружкой через живую изгородь. Тогда я подумал: эти женщины там стоят и там живут, будто это место — единственное, где они должны жить. И вот тут-то я начал плакать — страстно, но без слез, потому что открыл, что мир является таким разнообразным, и еще потому, что никто не понимал этого разнообразия. И чем старше я становился, тем ясней понимал: каждый человек считает, что тот камень, на котором он стоит, и есть единственный камень на всем белом свете. Каждый отдельный человек является единственной осью этого мира. А осознав это, я оказался навсегда сорванным со своей оси. Когда-то на ярмарках водилось Веселое Колесо. Это был большой деревянный диск; после того как все занимали места, он приводился в движение, и тех, кто садился далеко от

ДА ПОДЪЕХАВШИЙ ВЕЛОСИПЕДИСТ СХВАТИЛ ОДНУ ИЗ НИХ И УТАЩИЛ В ПРИДОРОЖНЫЕ КУСТЫ – РЕБЕНОК ГРОМКО ВЗЫВАЛ О ПОМОЩИ И ОТЧАЯННО ЗАЩИЩАЛСЯ / ВЕСЕЛАЯ ВДОВА С ТРЕМЯ КАВАЛЕРАМИ ЗАТЕЯЛА У СЕБЯ НА КВАРТИРЕ САБАНТУЙ – НАПИВШИСЬ ВДРЕБЕЗГИ, ОНИ УСТРОИЛИ НАСТОЯЩУЮ ОРГИЮ, ПРИ ЭТОМ ХОЗЯЙКА УПАЛА С ЛЕСТНИЦЫ – ГОСТИ ПОДНЯЛИ ЕЕ НАВЕРХ И, ПОЛОЖИВ НА КРОВАТЬ, ВЫСЫПАЛИ ЕЙ НА ЛИЦО МЕШОК ЦЕМЕНТА – КОГДА ОНА УМИРАЛА, КАВАЛЕРЫ ПРОДОЛЖАЛИ ВЕСЕЛИТЬСЯ / НА КНИЖНОМ АУКЦИОНЕ ПРОДАВАЛАСЬ КНИГА ДОВОЛЬНО РИ-

оси, быстро с этого диска сметало. Однажды мне удалось завладеть этой осью и покружиться довольно долго, пока какой-то болван не спихнул меня оттуда.

Именно тогда и закралась в меня эта безграничная печаль. Не потому, что меня прогнали с того места, а потому, что, как оказалось, оттуда в принципе можно быть изгнанным. И было еще кое-что... К примеру, вот: недавно к моей жене наведывались соседские балаболки – в таких случаях она, готовя кофе или чай, старается вовсю – делает она это для того, чтобы никто не заметил, как мне противны любые гости, каким я становлюсь беспомощным и унылым от их разговоров, их мелочной трескотни, их уверенности. И вот она откопала одно воспоминание своего детства – о ярмарках, где водилось Веселое Колесо. Однажды ей удалось сесть почти к самой оси, но какая-то толстуха крестьянка спихнула ее, и она, отлетев на край диска, поранила руку. Конечно, она раздосадовалась тогда, даже крепко обозлилась на ту мужичку. Но судя по тому, как моя жена рассказывала все это сейчас, она и годы спустя все еще продолжает на нее злиться. Соседки незамедлительно выложили ответную байку – о другом Веселом Колесе и о другой руке, которую они ранили, которую они сломали, которая у кого-то оказалась случайно даже отрублена – ведь люди никогда не встречаются друг с другом для того, чтобы поделиться своими переживаниями, они встречаются, чтобы посостязаться в жутких россказнях, – и вот речь идет уже не о руке, а о ноге, нет, о двух ногах сразу, они видели все это собственными глазами и никогда не забудут. Они не поняли того, что именно моя жена имела в виду: она плакала тогда возле Веселого Колеса, конечно, от бессилия, потому что была так запросто свергнута со своего детского трона, – тогда-то она впервые и осознала (но сразу забыла опять, а может быть, даже не понимала никогда), что существует ось, с которой любой болван может тебя спихнуть, что самый сильный, самый грубый – именно благодаря своей животной природе – имеет право занять ближайшее к оси место. Иначе говоря: другие, даже пройдя через тот же самый опыт, обычно забывают его суть, меня же буквально сокрушил в прах вытекающий из него вывод: абсолютной оси на самом деле нигде нет – ось образуется там, куда взгромождаются самые грубые, самые невежественные. А позже, в тот же вечер, когда гости уже ушли, девочка сказала, что она тоже что-то такое припомнила: в одно послеполуденное воскресенье, тихо сидя в своем маленьком саду на качелях, она тихонько покачивалась и тихонько плакала. Почти не смея взглянуть на нее, я

СКОВАННОГО СОДЕРЖАНИЯ, КОТОРАЯ, КРОМЕ ТОГО, БЫЛА ПЕРЕПЛЕТЕНА В ЖЕНСКУЮ КОЖУ – ПО-ВИДИМОМУ, У ФОЛИАНТА НАШЛОСЬ НЕМАЛО ПОКЛОННИКОВ, ТАК КАК ОН БЫЛ ПРОДАН С МОЛОТКА ЗА 20 000 ФРАНКОВ / 19-ЛЕТНЮЮ ДЕВУШКУ ИЗБИВАЛИ – ПЛЕТЬЮ, КАБЕЛЕМ ИЛИ РАСКАЛЕННОЙ КОЧЕРГОЙ, В ТО ВРЕМЯ КАК ЕЕ ТЕТЯ, СПОКОЙНО НАСЛАЖДАЯСЬ ЧАШКОЙ ЧАЯ, ДАВАЛА УКАЗАНИЯ СВОЕМУ СУПРУГУ / 20 МОНАХОВ, ВНЕЗАПНО ЗАСТИГНУТЫХ В СВОЕЙ ОБИТЕЛИ ПОЖАРОМ, ОТКАЗАЛИСЬ ОТ КАКОЙ-ЛИБО ПОМОЩИ И СГОРЕЛИ ЗАЖИВО ПОД ПЕНИЕ ДУХОВНЫХ ГИМНОВ / В НОЧЬ НА

шепотом спросил: почему? И она ответила: не знаю, просто потому что я там сидела и тихонько качалась – и потому что было послеполуденное воскресенье. Значит... Все равно я оставался одинокой шлюпкой – нет, я был утопленником, хотя иногда до меня и доносился какой-то отзвук, какое-то слово, которое было, по сути, лишь эхом моего собственного. Жена что-то делала в садике за домом. Садик был небольшим, в виде полосы четырех метров шириной и скольких-то метров длиной, я никогда не вымерял. Сознаю себя законченным горожанином: в районе, где я рос, сада не было ни у кого. Что касается природы, я знаю разве что высокую дикую траву, крапиву и желтую горчичную траву, которая растет на пустырях, куда фабрики вывозят свой мусор. Я могу без труда узнавать лишь воробьев, канареек (в клетке где-нибудь на облупленной стене) да голубей. Имена цветов мне неизвестны, из овощей я в состоянии назвать лишь красную капусту, так как ее сажают на заброшенных строительных участках, среди золы и всякой застарелой ржавчины – фабричный рабочий, крестьянский сын, изредка орудует там лопатой. Что же до улицы, где я жил с родителями, то на ней водилась только герань. Она цвела или на подоконниках, привязанная к стене, или прямо на стенах в прибитых к ним деревянных ящиках.

У моего отца была живая коллекция гераней – от светло-розового до темно-багряного оттенка, соседки частенько заходили в наш дворик, будто в парк, чтобы поглазеть на прибитые к стенке горшки с цветами. Двориком считалось тесное пространство между высокими стенами, один квадратный метр солнца, и самыми главными достопримечательностями там были поленница дров, кучка угля да разъеденный селитрой сортир. Еще там висели щетки и швабры, и вот посреди всего этого цвели герани. Однажды мой отец принес три выброшенных кем-то куста – это была уже не герань, а, как сказал он, крыжовник. Ради этих кустов ему пришлось выкопать и выбросить со двора несколько камней, а также выдержать тихую ссору с моей матерью, которой не понравилось, что ее дворик будет испорчен этими, как она выразилась, сорняками. Дворик предназначался для рубки дров и еженедельной стирки белья. Кусты, кстати сказать, там сразу засохли и остались торчать тремя букетами мертвых древесных волокон. Позже они были выброшены в мусорный бак, а там, где они когда-то были посажены, так и не зажили три раны – как будто земля дворика все еще продолжала ждать побывавшие здесь однажды кусты, как женщина продолжает ждать мужчину,

СУББОТУ БЫЛ НАЙДЕН ТРУП НЕИЗВЕСТНОЙ ДЕВУШКИ, НА КОТОРОМ НЕ ОБНАРУЖИЛОСЬ СЛЕДОВ КАКОГО-ЛИБО НАСИЛИЯ, ДВОЕ МУЖЧИН ПРИЗНАЛИСЬ, ЧТО ИХ СОСЕДКА ПОПРОСИЛА ИЗБАВИТЬ ЕЕ ОТ ЛЕЖАЩЕГО В ДОМЕ ТРУПА, ОНИ ЗАВЕРНУЛИ ЕГО В ОДЕЯЛО И ВЫНЕСЛИ НА УЛИЦУ, ГДЕ ОН И БЫЛ ЗАТЕМ ОБНАРУЖЕН, ПОСЛЕ ЭТОГО СОСЕДКА ПРИЗНАЛАСЬ, ЧТО 10 ДНЕЙ НАЗАД РОДИТЕЛИ ДЕВУШКИ ПОПРОСИЛИ ЕЕ СДЕЛАТЬ ИХ ДОЧЕРИ АБОРТ / МАЛЬЧИК 13 ЛЕТ БЫЛ ОБНАРУЖЕН ПОВЕСИВШИМСЯ В ДОМЕ СВОИХ РОДИТЕЛЕЙ – МАТЬ В ПАНИКЕ БРОСИЛАСЬ ЗА МУЖЕМ; КОГДА РАЗРЕЗАЛИ ВЕРЕВКУ,

однажды в нее входившего. Вот и все, что мне было ведомо о природе. После свадьбы мы переехали в район, где жила жена, ближе к окраине города, там можно было завладеть чудом маленького сада. Моя жена разводила в нем горох, бобы и разные сорта капусты. Однажды она возилась с цветами... Выглянув из окна, я увидел ее руки, выпачканные в земле, и подумал: как странно все в природе, и эти ростки будут расти – именно расти – так же, как дети... Как раз в этот момент жена глубоко всадила лопату и надвое рассекла червя. Заметил я это с ужасом, но она продолжала копать. Мне вспомнилось, что я читал в газете о молодой девушке, убившей лопатой своего ребенка и закопавшей его трупик в саду. С дрожью (и одновременно с любопытством) я продолжал смотреть... Позже, уже вечером, выйдя в сад за капустой для завтрашнего обеда, жена не заметила в сумерках туго натянутой бельевой веревки и напоролась на нее горлом. (Она говорила потом: мне вдруг резко захлестнуло горло, и все вмиг почернело.) Я сидел тогда в своей каморке, тихо глядя, как мое лицо медленно проявляется в постепенно темнеющем оконном стекле. И поскольку наступила ночь, а моя жена все не возвращалась – была ли она еще в нашем саду или хлопотала уже где-то в другом месте? – я спустился и вышел. Она так и лежала там: маленькая темная фигурка, продолжающая обнимать капустный кочан. Девочка жила в одном из тех домиков для бедняков, которые сплошной однорядной застройкой строго стоят по единой линии. Ее отец был верующим; долгие годы он обходил дома, собирая деньги в пользу одного религиозного заведения, а в один прекрасный день исчез вместе с пожертвованиями. Его нашли три дня спустя, погрязшим в пучине публичных домов, без единого цента в кармане. Он оставался все еще неукоснительно верующим, когда нашел работу, где у него каждую неделю удерживали определенную часть зарплаты – маленькую еженедельную сумму для возмещения убытков заведению, которое он обокрал. Ее мать была деревенской девушкой, приехавшей в город, чтобы служить у богатых, но однажды ее стал домогаться священник, поэтому она, в отличие от своего мужа, не осталась такой уж непреклонно верующей. Ее дочь посещала уже менее религиозную школу, и по этому поводу между супругами вспыхивали постоянные ссоры. Девочка довольно регулярно ходила в церковь, но кто знает, может быть, она вообще не была верующей. Я тоже ежевоскресно посещал церковь (вдвоем с женой) и молча наблюдал за мужчиной, который там, впереди, надсаживался как ненормальный ради одного лишь Бога, в которого

РЕБЕНОК БЫЛ УЖЕ МЕРТВ / НЕКАЯ МАТЬ ПРИЗНАЛАСЬ В ТОМ, ЧТО 3 ГОДА НАЗАД ПРОДАЛА ДВУХ СВОИХ ДЕТЕЙ ЗА 1 ЛИТР ВИНА / ЖЕНА, СЛЫША НОЧЬЮ, КАК ЕЕ МУЖ ВСТАЛ И ПОВЕСИЛСЯ НА КРЮКЕ В СПАЛЬНЕ, НЕ ПРОИЗНЕСЛА НИ ЕДИНОГО СЛОВА И НЕ ПРЕДПРИНЯЛА НИ МАЛЕЙШЕЙ ПОПЫТКИ ВОСПРЕПЯТСТВОВАТЬ СВОЕМУ СУПРУГУ ИСПОЛНИТЬ ЭТО КРАЙНЕЕ РЕШЕНИЕ / 3 ГОДА НАЗАД 17-ЛЕТНЯЯ ДЕВУШКА БЫЛА ПОМЕЩЕНА В САНАТОРИЙ, ГДЕ ПОЗНАКОМИЛАСЬ С ДРУГОЙ ПАЦИЕНТКОЙ; ВСКОРЕ ЭТИ ДЕВУШКИ ВСТУПИЛИ В ПРОТИВОЕСТЕСТВЕННУЮ СВЯЗЬ, А ПОТОМ СЕМНАДЦАТИЛЕТНЯЯ

уже почти никто не мог верить по-настоящему. Девочка часто сидела неподалеку от нас и молча смотрела вдаль. Глядя на нее, я все время думал о газетной статистике: большинство женщин по-прежнему регулярно посещает церковь, но двадцать процентов из них при этом считает, что в богослужении нет больше смысла. Девочка очень любила в странновато холодной манере говорить на религиозные темы. Моя жена, думая, что она делает это только шутки ради, обычно весело смеялась. Жена была натурой набожной — или, скорее, расчетливой, так как думала: а кто его знает? — но при этом легко относилась к любой шутке, даже когда та касалась ее веры и ее Бога. Единственное, чего она не понимала, — почему девочка выражает свои мысли так холодно и безразлично. А мне это иногда даже причиняло боль. Хотя богослужение действительно не имело для меня никакого смысла, я пугался, когда видел, что и ребенок мыслит таким же образом. Я пристально вглядывался тогда в эту девочку — стеклянная стена вставала между нами, занавес из холодных струящихся вод из легчайшего хрупкого льда. Никогда я не осмелился бы спросить, случаются ли у нее при виде священника такие же, как у меня, боли в желудке — то чувство, которое возникает, когда видишь отклонение природы, порождающее не женщину и не мужчину, а нечто двуполое, надевающее, в силу извращения, юбку. Я жил в первую очередь глазами, и юбка относилась в моем понимании к женщине. Но речь тут шла не о священнике, не о малозначащем слуге, но о самой службе. Этот Христос оставался для меня существом, которого я не понимал, — каким-то евреем, который две тысячи лет назад странствовал по Палестине, обещал неосведомленным "небо" (и о каком таком небе шла речь?) и проповеди которого записали много лет спустя, когда все было давно забыто. И какая глупость, что он называл себя Сыном Человеческим, — он, который даже не удосужился оставить потомков. Но все-таки меня тревожило, когда девочка говорила в своей холодной, отстраненной манере о внешней, предметной стороне веры. В нашей гостиной на каминной полке стоит фигурка святого: Христос, распахнув объятия, открывает свое сердце — будучи багряного цвета, оно испускает золотые лучи. Название фигурки: Святое Сердце. Однажды девочка, стирая пыль с мебели, перешла к каминной полке и, переставляя фигурку Христа, сказала: а сейчас протрем Пустое Сердце. Это новое определение она выделила — хотя и не очень сильно. Скорее, она произнесла его в своей обычной манере — холодно и безразлично. Она даже не хмыкнула: когда ее руки стирали пыль, глаза смотрели на фигурку вполне спокойно. Толь-

ПАЦИЕНТКА ПОКИНУЛА САНАТОРИЙ, ЧТОБЫ ЖИТЬ СО СВОЕЙ ПОДРУГОЙ, НО ЕЕ ЗДОРОВЬЕ С КАЖДЫМ ДНЕМ УХУДШАЛОСЬ, И НАКОНЕЦ ОНА СТАЛА СОВСЕМ НЕМОЩНОЙ, ЦЕЛЫЙ ГОД ДЕВУШКА ОСТАВАЛАСЬ ПРИКОВАННОЙ К ПОСТЕЛИ В БЕССИЛЬНОМ, СЛОВНО ПАРАЛИЗОВАННОМ СОСТОЯНИИ, ЧТОБЫ ПОТОМ, ЧУДОМ СОБРАВ ВСЮ СВОЮ ВОЛЮ, ПРОЕХАТЬ НА ТАКСИ 50 КИЛОМЕТРОВ И ЗАКОЛОТЬ БЫВШУЮ ПОДРУГУ КИНЖАЛОМ / ПОЖИЛОЙ ЖЕНЩИНЕ ПОКАЗАЛОСЬ, ЧТО ОНА НАШЛА НА ПОМОЙКЕ КУКЛУ, ПОДНЯВ ЕЕ, ОНА С УЖАСОМ ОБНАРУЖИЛА, ЧТО ЭТО ДЕТСКИЙ ТРУПИК / ВЕРНУВШИСЬ ДО-

ко в уголках ее рта поигрывало что-то подозрительное. Моя жена принялась хохотать — хотя и не посмела повторить слова девочки. Затем, смахнув слезы, она сказала слегка испуганно: надо же! так глумиться над святыми вещами! Девочка задумчиво посмотрела мимо нее. Я вовсе не глумлюсь над Пустым Сердцем, сказала она. Но она становилась особенно недовольной, моя жена, когда кто-нибудь заболевал, выставляя свою болезнь напоказ и этим впрямую демонстрируя бренность плоти как таковой. "Ишь ты, заболел!" — произносила она с такой досадой, будто люди сами виноваты, что в них происходит поломка. Но больше всего ее возмущало, что о болезни вообще говорят вслух. Может быть, она смутно чувствовала, что жизнь — как ее самой, так и ее окружения — это не более чем глупейший спектакль, разыгранная на сцене комедия. Она втайне догадывалась на сей счет, хотя ей вовсе не хотелось догадываться. Каждый, с ее точки зрения, обязан был двигаться по сцене так, как если б на ней не громоздилось никаких декораций и не висело никаких занавесов. Каждый обязан был делать вид, что он бессмертен. А если кто признавался, что болен, тот проваливал идущую постановку. Она действительно ничего не понимала в этом загадочном и хрупком механизме, скрытом под кожей. Она ничего в нем не понимала, но и не желала, чтобы этот вопрос обсуждался. По правде говоря, она считала безответственным и даже развратным, когда при ней заводили разговор о каком-нибудь (спрятанном в слизистотканом мешке) телесном органе. После таких разговоров она только пожимала плечами. Его почки? — переспрашивала она. — Почем ты знаешь, что у него действительно есть почки и что они болят? Хуже всего было, когда дело касалось органов размножения. Даже об органах обмена веществ, с ее точки зрения, рассуждать было неприлично, а уж если разговор касался органов репродукции, она и вовсе поджимала губы. Ей действительно не хотелось верить, что скелет является просто каркасом, внутри которого подвешены органы, а слизистые оболочки и кожа — лишь мешками, которые соответственно эти органы и каркас оборачивая, функционируют как защита. Для жены существовала только наружность: только глаза и рот были "настоящими органами", все остальное возникало лишь в затхлой фантазии больного. Она считала само собой разумеющимся, что человек и должен заболеть, если он все время рассуждает о подобных вещах. Живя рядом с ней, я даже чувствовал, как жидкость из желчного пузыря капает слишком медленно или, например, как мой (слишком малочисленный) состав красных кровяных те-

МОЙ, РАБОЧИЙ НАШЕЛ СВОЮ ЖЕНУ И ДВУХ ДЕТЕЙ, НАСМЕРТЬ ОТРАВЛЕННЫХ ГАЗОМ, ОДНАКО ЕГО СКОРБЬ ПЕРЕШЛА В ЗАМЕШАТЕЛЬСТВО, КОГДА ОН УВИДЕЛ ЧЕТВЕРТУЮ ЖЕРТВУ: ЛЕЖАВШЕГО В ПОСТЕЛИ РЯДОМ С ЕГО СУПРУГОЙ НЕЗНАКОМОГО МУЖЧИНУ / ФЕРМЕР ПОПРОСИЛ У СВОЕЙ ДОЧЕРИ ЛУКОВИЦУ, КОТОРУЮ ОНА КАК РАЗ ЧИСТИЛА, КОГДА ДОЧЬ ЕМУ ОТКАЗАЛА, ОНИ ПОДРАЛИСЬ – ДОЧЬ НАНЕСЛА ОТЦУ НЕСКОЛЬКО НОЖЕВЫХ РАНЕНИЙ В ОБЛАСТЬ ЖЕЛУДКА, ОТЕЦ ВСЕ ЖЕ ЗАВЛАДЕЛ ЛУКОВИЦЕЙ И, ШАТАЯСЬ, ВЫШЕЛ НА УЛИЦУ; СДЕЛАВ НЕСКОЛЬКО ШАГОВ, ОН РУХНУЛ ЗАМЕРТВО,

лец отчаянно защищается от превосходящего корпуса белых. Каждой весной и осенью я заболевал ото всех этих жидкостей, которые буквально вскипали в моих железах, чтобы дать мне новую жизнь, то есть подтолкнуть ближе к смерти. Каждую весну у меня была лихорадка, и каждую осень мне приходилось еле живым доползать до постели. В такие периоды, невероятно раздражаясь, моя жена хлопала дверями гораздо громче обычного. Но однажды и с ней что-то произошло: она стала как-то испуганно озираться... хотя это продолжалось недолго. А вскоре она опять сделалась раздражена, даже разъярена. Ее ярость касалась, по сути, меня, но как-то бессловесно распространилась на всех окружающих и наконец, набрав обороты, обрушилась на ее мать. То есть, когда жена занемогла, она бессознательно возвратилась к тому источнику, из которого возникла, словно упрекая свою мать в том, что та породила нечто очень даже смертное. За три года моего с ней брака ни один врач не переступил порог нашего дома. Я ненавидел врачей, этих белых макак науки, этих воняющих эфиром и гноем пастырей новой веры. Я их ненавидел за то, что они, борясь с недугами исключительно технически, то есть вводя сыворотки, переливая кровь, иссекая телесные части, не позволяют человеку умереть, как любому больному зверю. Я их ненавидел за то, что они были, в сущности, ядром, божествами, миссионерами — и одновременно рабами — всей этой чудовищной цивилизации. Они были мне ненавистны еще и тем, что я, наверное, хотел бы прожить свою жизнь маленьким боязливым дикарем, робко бродя по лесным полянам, — о, дикие анемоны! — и я чувствовал отвращение к тем, кто все ближе подступал к моей поляне, чтобы понастроить на ней своих жилищ, монастырей, госпиталей и казарм, а что может быть мерзопакостней, чем их лазареты, казармы, узилища и святые обители!.. Моя жена не столько ненавидела этих ученых макак, как просто боялась их. Для нее они всегда оставались факирами (чудодейства которых, с моей точки зрения, зиждутся исключительно на шарлатанстве и магии самого подозрительного свойства). Время от времени она слышала об этих ученых мужах, вырезающих яичники или достающих камни из почек, и отождествляла их с ярмарочными фокусниками, которые извлекают из цилиндра кроликов и демонстрируют разного рода смертельные номера. А поскольку для нее яичники, например, являлись всего лишь разновидностью сомнительных, ловко спрятанных в цилиндре кроликов, то, естественно, она избегала ученых мужей. Она не крестилась, когда слышала имя дьявола, но старалась по возможности не встречаться с дьяво-

ПРОДОЛЖАЯ СЖИМАТЬ В РУКЕ ЛУКОВИЦУ, КОТОРАЯ СТОИЛА ЕМУ ЖИЗНИ / ОДНА ЖЕНЩИНА СОЗНАЛАСЬ, ЧТО УБИЛА СВОЕГО МУЖА, ТАК КАК БЫЛА С НИМ НЕСЧАСТЛИВА – ОНА РАЗРЕЗАЛА ТРУП НА МЕЛКИЕ КУСОЧКИ, СЛОЖИЛА ИХ В СВОЮ ХОЗЯЙСТВЕННУЮ СУМКУ И СБРОСИЛА ЕЕ С ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО МОСТА НА ПРОЕЗЖАВШИЙ ТОВАРНЫЙ СОСТАВ / 23-ЛЕТНЯЯ ЖЕНЩИНА ОСТАВЛЯЛА СВОЮ МАЛЕНЬКУЮ ДОЧЬ НА КУХНЕ ОДНУ, МЕЖДУ ЧЕТЫРЬМЯ СТУЛЬЯМИ, СВЯЗАННЫМИ ВЕРЕВКОЙ. ИНОГДА ОНА ПО ДВОЕ СУТОК НЕ ДАВАЛА ДЕВОЧКЕ ЕСТЬ И НИКОГДА ЕЕ НЕ МЫЛА – ДЕВОЧКА НЕ УМЕЛА

лами-теоретиками от науки и дьяволами-практиками из госпиталей. Такой же позиции она придерживалась и сейчас, хотя ей не становилось лучше – более того, ее недомогание нарастало с каждым днем и разрослось до того, что стало чем-то принадлежащим ей постоянно. Иногда она, отвлекаясь от своих занятий, ощупывала нечто в области желудка... Нет, это не было тем самоощупыванием, какое зачастую проделывал и я, не попыткой обнаружить причину. Это более походило на жест, каким она во время работы бессознательно смахивала спадавшие на лицо волосы. Точно так же она словно пыталась сгладить некое неудобство у себя внутри – там, где, как я объяснил, находится желудок. Она уверяла, что ее недомогание – это лишь проявление голода. (Голод, по ее мнению, являлся чем-то "естественным и здоровым", чего можно было не стыдиться.) Поэтому она шла перекусить и вновь приступала к своим занятиям, но после приема пищи ее недомогание, как ни странно, даже усиливалось. И поэтому в ней, моей жене, вскипала злоба, направленная в первую очередь на меня. В такие дни девочке тоже приходилось несладко, потому что бесполезность ее занятий – в виде выуживания пуговиц из-под мебели и распарывания сшитых до того кусков ткани, вся эта явная тщета была вполне подходящим поводом, позволявшим моей жене давать выход своей постоянно подавляемой истерике. Девочка двигалась по нашему дому, как всегда, беззвучно, отстраненно, с чем-то неопределенным на бледном личике, что никогда не дорастало до улыбки, но было готово вот-вот родиться: то был зародыш улыбки. Под ливнем упреков, который обрушивала на нее моя жена, этот зародыш оставался спокойным. Девочка, с этой своей полурожденной улыбкой, оставалась спокойной именно потому, что не понимала причин для такой злобы. Иногда она говорила: к нам приходил доктор, моя мать сказала... (Тем временем внимательно наблюдая, как мою жену рвет.) Казалось, эта рвота ее интересовала постольку, поскольку была тем женским отправлением, к которому рано или поздно ей предстоит приобщиться. А потом наконец в наш дом пришел доктор – как раз в то время, когда я проживал мою собственную, мою чужую жизнь в морозильных камерах, – к нам в дом явился бестрепетный робот науки и, раздев мою жену донага, ощупав ее и прослушав своей трубкой, принялся задавать вопросы о нашей совместной жизни. И моя жена полностью во всем покаялась. Попав во власть его чародейских сил, она вверилась ему со всеми потрохами – точно так же, как на исповеди целиком вверялась священнику, осквер-

НИ ХОДИТЬ, НИ ГОВОРИТЬ, БЫЛО ВИДНО, ЧТО ЕЕ НИ РАЗУ НЕ ВЫНОСИЛИ НАРУЖУ, ТАК КАК, ЗАСЛЫШАВ УЛИЧНЫЙ ШУМ, ОНА СТРАШНО ПУГАЛАСЬ / ГЛАВНЕЙШИМ ВЕЩЕСТВЕННЫМ ДОКАЗАТЕЛЬСТВОМ НА СУДЕБНОМ ПРОЦЕССЕ ПРОТИВ ОДНОГО ПАСТОРА ОКАЗАЛАСЬ ЕГО ЗАПИСНАЯ КНИЖКА, В КОТОРУЮ ИМ БЫЛО ВНЕСЕНО 666 ИМЕН И АДРЕСОВ МАЛЬЧИКОВ – ТАЙНЫЕ ПОМЕТКИ НАПРОТИВ ИМЕН ИЗОБЛИЧАЛИ ПАСТОРА В ТОМ, ЧТО ОН СОВЕРШИЛ С 382 ДЕТЬМИ ДЕЙСТВИЯ, КОТОРЫЕ НЕ ПОВОРАЧИВАЕТСЯ НАЗВАТЬ ЯЗЫК, В ЕГО КВАРТИРЕ БЫЛА НАЙДЕНА БОЛЬШАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ПОРНОГРАФИЧЕС-

няя тем самым наши интимные тайны. Значит, все-таки, как и я, она в глубине души ощущала себя выходцем из древнего племени, которое в дикости и неведении бродило когда-то по здешним лесам. Но, в отличие от меня, она была стадной. Я избегал друидов, священнодействующих с омелами и святой водой, а она, находясь под их прямым влиянием, трепетала и падала пред ними ниц. Голая, в мертвой хватке этого тупого животного, она вдруг со всей очевидностью стала именно той, какой всегда, по сути, была, но какой ей ни в коем случае быть не хотелось. Она жила, неизменно закованная в броню страха, но сейчас эта защита исчезла, и она стала беспомощнее ребенка. Когда я вернулся, ее глаза еще оставались темными от ужаса, но она ничего мне не сказала, с нетерпением поджидая моего возвращения только для того, чтобы немедленно ринуться ко всем своим родственникам и поочередно оповестить их о том, что именно открылось кудеснику-эскулапу внутри ее тела (во время сеанса с гадальными картами и кофейной гущей). И по-видимому, она излагала эти сведения там и сям столь подробно (постоянно дополняя отчет все новыми деталями), что, вернувшись домой, только и смогла, что тихо сесть, будучи уже не в силах вымолвить ни слова. Или, возможно, все слова, произнесенные ею у родственников, еще продолжали жужжать вокруг ее головы, так что ей казалось, что они хорошо слышны – в том числе и мне. В итоге она вообще ничего не произнесла, будто мне и так было все известно. Да уж, хорошенькое дельце! – только и бросила она с досадой и вернулась к своим неотложным делам, а мне вовсе и не было сказано, что она беременна. Однако я уж давно догадался. Я видел, как она делается все бледней, как у нее проступают бурые пятна, как ее рвет от еды. Хмурый, я вновь и вновь проживал все наши супружеские ночи, когда я владел ею, причем всегда успевая выйти из ее лона вовремя. Все три года я проделывал это аккуратнейшим образом – и вот она все-таки забеременела. Эти воспоминания были лишь призраками, они сумрачно проносились в моем сознании – и ночь, когда я, возможно, вышел из лона моей жены слишком поздно, мне так и не удавалось припомнить. Она смирилась с новообретенной ситуацией быстрее, чем я. Она была существом коллективным и действующим, существом, которое умеет из всего извлекать пользу и приспосабливаться, а я, зверь-одиночка, пожизненно обречен дни и ночи напролет вынашивать единственную мысль, рождаемую притом с огромным трудом. Для жены новое состояние стало чем-то естественным: женщины испокон веков беременели и рожали – это было малоприятно, но "естественно". Беременность ме-

КИХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ И СОТНИ ФОТОГРАФИЙ ТЕХ САМЫХ МАЛЬЧИКОВ, ИМЕНА КОТОРЫХ БЫЛИ ОБНАРУЖЕНЫ В ЗАПИСНОЙ КНИЖКЕ, ЧТОБЫ ПРОЦЕСС НЕ ДЛИЛСЯ БЕСКОНЕЧНО, ПАСТОРА ОСУДИЛИ ЗА БЕЗНРАВСТВЕННОЕ ПОВЕДЕНИЕ ПО ОТНОШЕНИЮ К ОДНОЙ ДЕВОЧКЕ И ШЕСТИ МАЛЬЧИКАМ В ВОЗРАСТЕ ОТ 11 ДО 14 ЛЕТ / В ЛЕСУ ПОЛИЦИЕЙ НАЙДЕНА ЖЕНЩИНА СО ВСКЛОКОЧЕННЫМИ ВОЛОСАМИ И ЗАКУТАННАЯ В ОДНИ ЛОХМОТЬЯ: ПОЛУПОМЕШАННАЯ, ОНА ЮТИЛАСЬ СО СВОИМИ ЧЕТЫРЬМЯ ДЕТЬМИ В КАКОЙ-ТО НОРЕ, ГОЛОДНЫЕ ДЕТИ СПАЛИ НА МОКРОМ ПОЛУ СОВЕРШЕННО ГОЛЫ-

шала ее занятиям, но в обозримом будущем, когда родится ребенок, она станет матерью и начнет возить колясочку по улицам города. И никто не расценит это как нечто противоприродное или нездоровое. Правда, я знал, что она никогда не любила детей, обычно, когда у нас появлялись гости с детьми, она со скукой глядела куда-нибудь в сторону. Для нее дети, видимо, походили на пальто и шляпы, которые неизбежно сопровождают людей, но которые те, входя в дом, оставляют на вешалке. Дети являлись плодами людей, но им не разрешалось иметь собственную жизнь — они должны были жить маленькими старичками, существования которых надобно было стыдиться и которых следовало прятать где-нибудь в темноте, пока они не вырастут. Но я говорю здесь только о ней. Часами размышляя о своей жизни, делать однозначные выводы о себе самом я как-то не смел. Моя сознательная жизнь проходила там, в морозильных камерах, и там я пытался мысленно разобраться в моей жене, хотя и понимал, что только мое личное чувство к ней имеет для меня смысл. Значит, она оказалась беременной. Когда она довольно неохотно проронила свое признание, мне это было как обухом по голове. Я, конечно, ожидал, что она сначала сообщит это именно мне, зачавшему ребенка. Но на самом-то деле я и не нуждался в большем, чем это запинающееся (с отвернутым лицом) признание. И то, что она рассказом об этой беременности буквально извела всех своих родственников, а мне сообщила о ней лишь вскользь (будучи погруженной, видимо, в более важные дела), оказалось даже бальзамом для моих ран и слегка пригасило страх. Да, страх. Иногда мне удавалось скрыть от себя настоящую причину этого страха, то есть я внушал себе, что, может, в детстве мне пришлось слишком долго пребывать в неведении насчет вопросов половой жизни, и все же я знал, что страх лежит еще глубже, что исходит он именно от меня. Это был страх перед самим собой, а потому, разумеется, страх и за ту жизнь, которую я зародил. Какое несчастное существо должно будет появиться на свет и открыть то, что до сих пор я пытался ото всех скрыть? Иногда, затаив дыхание, судорожно баюкая нечто незримое, я видел против своей воли, как перед моими глазами раскручивается фильм будущих событий... Мысленно я кричал, что это неправда, не может быть правдой; мысленно я успокаивал себя, что мне вовсе не надо кричать, что я, несмотря на все, являлся таким же существом, как все. Это было бесполезно, фильм крутился дальше... Он демонстрировал мне ребенка, который рос болезненным, слабеньким, несчастным и вдобавок урод-

МИ – ИХ ОТЦА, ПОДЕННОГО РАБОЧЕГО, УДАЛОСЬ ОБНАРУЖИТЬ В ОДНОМ ИЗ КАФЕ / НИКТО НЕ ВОЗРАЖАЛ ПРОТИВ ТОГО, ЧТО ЖЕНЩИНЫ, МОЛЯСЬ В ЦЕРКВИ, ЗАЧАСТУЮ ЗАНИМАЮТСЯ РУКОДЕЛИЕМ, ТО ЕСТЬ НЕ ТЕРЯЮТ ВРЕМЕНИ С БОГОМ ВПУСТУЮ, ОДНАКО БЫЛО ОБНАРУЖЕНО, ЧТО ЭТИ ЖЕНЩИНЫ ИСПОЛЬЗОВАЛИ СВОИ ВЯЗАЛЬНЫЕ СПИЦЫ ТАКЖЕ И ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ НАКАЛЫВАТЬ НА НИХ ДЕНЕЖНЫЕ КУПЮРЫ, ХРАНИМЫЕ В КОРОБКЕ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ, А ЗАТЕМ ЛОВКО ВЫТЯГИВАТЬ ИХ ЧЕРЕЗ ЩЕЛЬ / В ПАРКЕ БЫЛ ВСТРЕЧЕН НЕКИЙ МУЖЧИНА С НАГОЛО ВЫБРИТОЙ ГОЛОВОЙ, ОДЕТЫЙ

ливым, а главное, который окаменело смотрел на меня с выражением ледяного ужаса. Я был зверем-одиночкой – теперь мне это стало ясно как никогда. Я не должен был соединяться – ни с кем из них, никогда. Тот голый мужчина, который висел прибитым к кресту над нашей постелью, он был свидетелем, что я, ни на миг не теряя контроля, трусливо – и всегда вовремя! – убирался из лона жены, чтобы не натворить там бед. Но беда все же стряслась, то есть в какую-то из ночей я оказался недостаточно быстр. Если уж всем другим было назначено плодиться и размножаться, то им следовало бы рьяно встать на защиту себя и себе подобных, чтобы раз и навсегда оградиться от греховных смешений с существами других пород. Или это мне, именно мне следовало быть осмотрительней? Кому-кому, а мне уже давно следовало бы осознать, что не все люди являются людьми, что между одним человеческим существом и другим лежит пропасть, как между бурой полевкой и серой канализационной крысой – или как между детьми людей и детьми богов. Даже в Библии сказано, что Бог возлюбил человеков и Его сыновья входили к дочерям человеческим, и безумные Блаватские утверждали, что люди совершили ошибку, скрестившись в начале своей эволюции с низкоразвитыми животными, то есть с обезьянами, да и очкастые ученые мужи в белых халатах, бесчувственные, как иглы их регистрационных приборов, утверждают, что высокоразвитые расы еще на стадии своего примитивного существования скрещивались с расами тупыми и беспомощными, как домашний скот... Весь этот пустопорожний бред не имел для меня значения. Одно лишь мне было известно наверняка: я был среди них червем. Да, я был червем, прозябающим в их городах, запросто уязвимым червем, которого они определили на работу в свои морозильные камеры и которому пришлось жить в атмосфере так называемых твердых убеждений. Но на это по возможности я пытался закрывать глаза. Я вел с собой разговоры главным образом о моей жене, так как втайне надеялся, что ребенок будет не столь моим, сколь, наоборот, ее. Ведь может ребенок, в самом деле, походить на мать? Вероятно, он станет так же, как она, активно действовать, а вовсе не копаться в себе самом. Может быть, он так же, как она, уже с вечера будет делать часть домашних дел на завтра, и с сигаретой во рту чинить электропроводку, и уверенно сновать из угла в угол, и воспринимать все это чудовищное вырождение цивилизации как нечто само собой разумеющееся... Но чем дальше моя жена шла по пути беременности, тем беспомощнее она станови-

ТОЛЬКО В МАЙКУ, КАКИЕ-ТО ЖЕНЩИНЫ, ПОПРОСИВ ЕГО СЕСТЬ К НИМ В АВТОМОБИЛЬ, ПРИВЕЗЛИ В ЭТОТ ПАРК, РАЗДЕЛИ, А ЗАТЕМ, СБРИВ ЕМУ ВСЮ ШЕВЕЛЮРУ, НАРИСОВАЛИ ПОМАДОЙ БЕЗНРАВСТВЕННЫЕ РИСУНКИ НА ЕГО СВЕРКАЮЩЕМ ТЕМЕЧКЕ И НА ВСЕМ ТЕЛЕ / ЧУДОВИЩЕ, КОТОРОЕ, ИЗНАСИЛОВАВ МАЛЕНЬКУЮ АННИ, ЗАДУШИЛО ЕЕ В ТУАЛЕТЕ КИНОТЕАТРА, НАКОНЕЦ БЫЛО УСПЕШНО ЗАДЕРЖАНО: ИМ ОКАЗАЛСЯ ПОРТЬЕ ЭТОГО ЗАВЕДЕНИЯ / НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ НАЗАД БЫЛ АРЕСТОВАН МУЖЧИНА, ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ В СОВЕРШЕНИИ ДВУХ УБИЙСТВ – ОН РАССКАЗАЛ О НЕКОТОРЫХ ДЕТА-

лась и тем все заметней делалась (правда, только внешне) живой карикатурой на меня.

Потому что и я снаружи, в свою очередь, трансформировался именно в ту породу, к которой она всегда относилась. И теперь это именно она была вялой и могла, апатично сидя, просить меня что-нибудь для нее починить или роняла: “Да ладно, брось”, – или: “Оставь, это не горит”. Сие было грустной пародией, но я вел себя так, будто обладал уверенностью, что все имеет свой смысл и все ведет к цели, которую нам непременно надо достичь. Это было нелепо, но укрепляло жену в ее любви ко мне. И она просила прощения за то, что делалась мне все больше в тягость. Я вел себя довольно уверенно – но лишь оттого, что у меня была глупая убежденность, будто эта беременность никогда не кончится, то есть плод внутри моей жены не есть обычный зреющий на дереве плод, а плод как раз необычный, который словно составляет постоянную этого дерева часть. Ладно, говорил я себе, это же еще не завтра случится. Но день родов приближался. И чем ближе он подступал, то есть чем сильней я съеживался, тем неистовей мне хотелось что-нибудь делать. Ежевечерне я должен был втирать жене в ее молочные железы некую вонючую дрянь, какую прописал кудесник-эскулап; проделывая эту процедуру, я говорил жене, что миллионы людей жили себе и живут, и что все они рожали детей, рожают и будут рожать, и что дело это естественное и простое, как восход солнца, раскрытие цветка или, скажем, яйцекладка у кур. Вот курочка кудахчет, а потом из нее выскакивает яичко, которое она будет высиживать. Я повествовал ей также о родильницах, благополучно разрешившихся от своего бремени в самых, казалось бы, невероятных обстоятельствах – в поездах, на грядках репы, на ночных горшках. Вот, стало быть, и не бойся, говорил я ей, а в это время мои собственные страхи, как тропические лианы, безудержно разрастались. И когда я втирал в ее груди ту вонючую дрянь, руки мои буквально тряслись. Я только сейчас начинал сознавать, что тем же самым горем и тем же страхом – пред самой неизбежностью рождения, жизни и смерти – придавлено все живое в природе. И снова к нам пришли гости, и некий муж с подлейшим лукавством изрек: да, заходит-то оно с песней – выходит с плачем. У меня пропал дар речи. Они болтали еще о разной чепухе, но вот эта оброненная вскользь реплика меня будто обухом оглушила. Главное, мне показалось поразительным, что в таких кратких, в общем-то простых и даже ничтожных словах оказалась точно схвачена голая и словно бы исчерпывающая

ЛЯХ ДАЖЕ ПОДРОБНЕЙ, ЧЕМ ЕГО СПРАШИВАЛИ, В ТОМ ЧИСЛЕ, НАПРИМЕР, КАК ИМЕННО ОН ОСКВЕРНИЛ ТРУП ОДНОЙ ИЗ УБИТЫХ ИМ ЖЕНЩИН; КОГДА ЕГО СПРОСИЛИ, ПОЧЕМУ ОН ПОШЕЛ НА ЭТИ ПРЕСТУПЛЕНИЯ, ОН ОТВЕТИЛ, ЧТО СОВЕРШИЛ ИХ ЕДИНСТВЕННО ДЛЯ РАЗВЛЕЧЕНИЯ, ДОБАВИВ, ЧТО СОВЕРШИЛ И ДРУГИЕ УБИЙСТВА, НО НЕКОТОРЫЕ ИЗ НИХ ЗАБЫЛ – ТАК БЫЛО РАСКРЫТО, ЧТО ОН ПОВИНЕН НЕ МЕНЕЕ ЧЕМ В 14 УБИЙСТВАХ / БАНДЫ ГОЛЫХ ВСАДНИКОВ, СРЕДИ КОТОРЫХ ОДНА, ВЕРОЯТНО, НАХОДИТСЯ ПОД РУКОВОДСТВОМ ЖЕНЩИНЫ, УЖЕ ДЛИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ ТЕРРОРИ-

философия жизни. И что в этих словах обнажал себя источник всех верований, всех религий, жизни как таковой. А ведь когда мне доводилось видеть – где-нибудь под забором или на лужайках – любовные парочки, которые миловались, тискали друг друга, совокуплялись, я никогда не задумывался над тем, что заходит-то оно с песней – выходит с плачем. Мысленно сверля взглядом жену, я думал о ее Боге, о религиозных ритуалах, которые она для Него блюла – для Бога, замыслившего мир в радости, но рождавшего его в слезах. И однажды вечером, когда я с вырезками из газет уже направился в свою каморку (чтобы, возведя стену из пестрых происшествий, привычно понежить себя под ее защитой), она, стоя посередине комнаты, вдруг взглянула на меня как-то испуганно, словно животное в смертельном несчастье, и слегка развела ноги. Я увидал льющуюся воду и, как парализованный, не зная, что делать, продолжал смотреть на дрожащую мою жену. Так вот оно, значит, как это бывает, когда отходят воды – то есть с дверей, державших плод взаперти, упадают засовы... Мир сотворялся заново, но я, как паралитик, был в состоянии лишь смотреть. Сделай же что-нибудь, взмолилась жена... не предоставляй меня, как животное, самой себе... В этот миг ей и в голову не пришло что-нибудь сделать самой – не важно что, она, словно сама став Богом, которому поклонялась, даже не зажгла свечу перед фигуркой святого. Бог в родовых муках... Как тут помочь? Я смог всего лишь, ведя ее наверх, в спальню, поддерживать под руку – она, с этим миром внутри, была очень тяжелой. А потом я помчался звать какую-нибудь соседку, и одна из них вскоре пришла, чтобы, прервав наше молчание, сначала запустить на полный ход громыхающую тупыми проповедями словодробилку, затем заварить кофе, приготовить полотенца и вскипятить воду, а уж после того, обнюхав все углы и перекопав все наше сокровенное, выволочь наши тайны на улицу. Я предоставил ее этим занятиям, а сам понесся в ночной тьме, конечно, к ученому мужу, которого ненавидел всем своим атавистическим существом. В это время все мои мысли были не о жене и даже не о ребенке – мой дичайший, мой панический страх заключался в том, что я мог бы остаться с ней в родах наедине и тогда мне пришлось бы делать что-то самому, что-то жизненно важное, с чем, скорее всего, я бы не справился. Ведь надо же было резать там что-то ножницами? То есть перерезать шнур, связывающий новорожденный мир с произведшим его Богом? И надо же было, кроме того, все это перевязывать, как я уже много раз улавливал из разговоров, которые, сильно меня смущая, вынуждали крепко сжи-

ЗИРУЮТ ПО НОЧАМ ЖИТЕЛЕЙ БЛИЗЛЕЖАЩИХ ДЕРЕВЕНЬ: ОНИ СЖИГАЮТ ДОМА, ШКОЛЫ, ЦЕЛЫЕ ХУТОРА, УТВЕРЖДАЯ, ЧТО ЯВЛЯЮТСЯ РЕШИТЕЛЬНЫМИ ПРОТИВНИКАМИ ЧАСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ВСЕОБЩЕГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ И ВОИНСКОЙ ПОВИННОСТИ / ПОЛИЦИЯ ОТКРЫЛА ОГОНЬ ПО ВОСПИТАННИКАМ ПРИЮТА, КОТОРЫЕ БАСТОВАЛИ ПРОТИВ УВОЛЬНЕНИЯ СВОЕГО ДИРЕКТОРА, 14-ЛЕТНИЙ СИРОТА БЫЛ, ПО-ВИДИМОМУ, УБИТ, А 5 ДРУГИХ, ПО-ВИДИМОМУ, РАНЕНЫ / ВЫГЛЯНУВ ИЗ ОКНА, ПОСТОЯЛЕЦ ОТЕЛЯ УВИДЕЛ В ДРУГОМ НОМЕРЕ МУЖЧИНУ, КОТОРЫЙ, НАКИНУВ РЕ-

мать бедра, чтоб хоть как-то уменьшить неуютное чувство, вползавшее даже в мой половой орган. А вдруг я бы убил ребенка всеми этими манипуляциями?.. И наконец я позвонил в дверь того, кто вскоре к нам и явился — в белом халате, с эфиром и шприцами, с хромированным железом и резиновыми перчатками. Я ненавидел его — и я не мог без него обойтись. Они ввергли меня в свой проклятый водоворот, в свой научный хромированный мир. Я остался для того, чтобы как мог защитить ее — а прежде всего чтобы защитить от возможных научных фокусов изгоняемый ею плод. Я держал жену за руку и осторожно стирал ей со лба пот. Каждый ее вскрик — ножом в сердце — убивал меня. И каждый раз, когда бесстрастный жрец воскресающего Бога, впрыскивая какое-то содержимое, глубоко вонзал шприц в ее плоть, он впивался иглой в каждый мой нерв, в мое сердце, в мои органы размножения. И как только волосатая головка показалась в отверстии, я, растерзанный и униженный, стал звать этот плод — я умолял, я заклинал этого ребенка появиться. Я помогал доктору, и я делал все неправильно — я взял что-то, чего нельзя было трогать, и оно вмиг заразилось моими бесчисленными микробами — мириадами микробов, населяющих мой мир. То, к чему я так неосторожно прикоснулся, пришлось снова кипятить, причем то ли целых двадцать минут, то ли все сорок. А тем временем моя жена с плачем упрекала меня в том, что он никогда не выйдет, и она умрет с этой жизнью внутри своего тела. И вдруг, закричав, она словно порвалась — и вот из раны и крови, как выделение, появилось оно. Бывало, я целыми днями маялся и, сидя на унитазе, тужился до кровавого пота; мое отверстие, опорожняясь, буквально разрывалось. Вот и эти роды оказались точно такими же. В результате вдруг появилось некое существо, маленький бьющийся лягушонок, коего кудесник-эскулап приподнял, как кролика, за задние лапки. Все мое напряжение последних месяцев внезапно спало, я засмеялся — но что-то во мне разбилось вдребезги. Только сейчас я действительно стал мужчиной. До сих пор я пребывал мальчиком, а сейчас мы вдруг стали мужем и женой. Но у меня не было времени долго размышлять, чтобы попытаться осознать эту новую форму жизни. Опять я должен был заняться другими делами: мне вручили нечто, замотанное кое-как в полотенце. В нашем маленьком дворе было темно, стояли утренние сумерки, в которых еще чувствовался привкус ночи. Сначала я выполоскал этот привкус, выпив приготовленный соседкой горячий кофе, затем, уже светающим утром, как вор, я вырыл ямку в дальнем углу нашего садика и закопал этот сверток. Несколько недель

МЕНЬ НА ШЕЮ ЖЕНЩИНЫ, ПРИНЯЛСЯ ТАСКАТЬ ЕЕ ПО ВСЕЙ КОМНАТЕ, ПОСТОЯЛЕЦ ПОЗВОНИЛ В АДМИНИСТРАЦИЮ ОТЕЛЯ, НАВЕРХ БЫЛ ПОСЛАН PICCOLO, УЗНАТЬ, ВСЕ ЛИ В ПОРЯДКЕ; ДА, ОТВЕТИЛ МУЖЧИНА С РЕМНЕМ, МОЯ ЖЕНА ПРОСТО ВАЛЯЕТ ДУРАКА, НЕСКОЛЬКО МИНУТ СПУСТЯ ТОТ ЖЕ ПОСТОЯЛЕЦ, СНОВА ПОЗВОНИВ, СООБЩИЛ, ЧТО СЕЙЧАС ЖЕНЩИНУ ДУШАТ УЖЕ НАВЕРНЯКА – И ДЕЙСТВИТЕЛЬНО, КОГДА ПРЕДСТАВИТЕЛИ АДМИНИСТРАЦИИ ВОРВАЛИСЬ В КОМНАТУ, МУЖ ВСЕ ЕЩЕ СТОЯЛ, НАГНУВШИСЬ НАД СВОЕЙ СУПРУГОЙ, КОТОРОЙ УЖЕ НЕ БЫЛО В ЖИВЫХ / ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР ОД-

спустя к нам зашел сосед: наступила весна — обычно жена начинала заботиться весной о своем маленьком огороде, но сейчас она заботилась о ребенке и предоставила грядки соседу. (Как и раньше — а сейчас, может, даже сильней — мне стало бы дурно, рассеки кто-нибудь невзначай червяка.) И вот этот сосед в одну прекрасную минуту вошел к нам в дом, на его губах блуждала похабная (вообще свойственная человеку) улыбочка, и сказал моей жене: а твой благоверный мог бы зарыть эту штукенцию и поглубже. Я почувствовал, будто он своей лопатой задел самое сокровенное в моей с ней жизни, глубинную тайну наших отношений, задел даже саму плоть моей жены. Более того: он как будто прослышал где-то на улице гнуснейший о нас анекдот. И вновь я ощутил, как меня резко оттолкнуло от этих сородичей, обезьян, которых я по ошибке (во время тех родов) принял за имевших ко мне отношение. Со мной и с моей женой случилось, по сути, то же самое, что уже случилось однажды с Богом и что постоянно происходит с животными: вошло-то оно с песней, да вышло с плачем. На краткий миг мне дано было почувствовать себя причастным к людям, но вот пришел человек и рассек лопатой и уничтожил похабством своей ухмылки тонкую нить, последнее сохлое волоконце, связывавшее меня с семейством людей. Из-за суматохи вокруг ребенка девочка некоторое время отсутствовала. Только когда роды уже были позади, она наконец опять появилась: войдя нерешительно и робко, она попыталась уловить тот особый запах, что приносят в дом новорожденные... Ее взгляд скользнул мимо меня и остановился на лестнице. Девочка хотела видеть ребенка — не зачавшего его мужчину, не родившую его женщину, но сам продукт. Скорее всего, ей хотелось поумиляться тем трогательным, что исходит от крошечных, еще не обсохших цыплят — вообще от любых новорожденных... А я как-то не осмеливался отвести ее к ребенку, я стыдился — почему-то в присутствии девочки я стыдился того, что стал мужчиной, точней говоря, стыдился, что являюсь теперь источником для известного рода шуточек. Моя жена спала, и девочка просто хотела подержать ребеночка на руках, а больше по ее лицу ничего нельзя было прочесть. Осторожно положил я его в эти нежные руки-лианы. Но хоть она взяла ребенка надежно, я тоже не выпускал его — наши руки переплелись; произведенный мной и женой ребенок оказался в их сердцевине... Я любил эту девочку, но я никогда не посмел бы произнести это даже в моих бесконечных разговорах с собой. А сейчас через тельце ребенка я уже гладил ее, моя ладонь уже взяла в плен невзрослые ее яблочки и ласкала их, тщетно пытаясь разыскать маленькие сосцы...

НОГО ЕЖЕНЕДЕЛЬНИКА ЗАЯВИЛ, ЧТО 4 ОБЕЗЬЯНЫ, ПОМЕЩЕННЫЕ ВНУТРЬ ФАУ-2, ПРОЛЕТЕЛИ ВМЕСТЕ С БОМБОЙ НА ВЫСОТЕ 40 000 МЕТРОВ И ЗАТЕМ БЛАГОПОЛУЧНО ПРИЗЕМЛИЛИСЬ – ОБЕЗЬЯНЫ НАХОДИЛИСЬ В СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ЭТОЙ ЦЕЛИ СКОНСТРУИРОВАННОЙ КЛЕТКЕ, И В НАСТОЯЩИЙ МОМЕНТ ОНИ ЯВЛЯЮТСЯ ПЕРВЫМИ СУЩЕСТВАМИ, ДОСТИГШИМИ ТАКИХ ВЫСОТ В СТРАТОСФЕРЕ / МОЛОДАЯ ЖЕНЩИНА РЕШИЛА ИЗБАВИТЬСЯ ОТ МЛАДЕНЦА СРАЗУ ПОСЛЕ РОДОВ – РЕБЕНОК ПОЯВИЛСЯ НА СВЕТ ВЕЧЕРОМ, КОГДА ЛЮБОВНИК РОДИЛЬНИЦЫ БЫЛ НА РАБОТЕ, ОНА ПЕРЕРЕЗАЛА НОВОРОЖ-

Она не смотрела на меня, ее глаза замерли на ребенке... Я лишь заметил, что губы ее дрогнули, словно она собралась заплакать. Затем она вернула мне ребенка, и тут наши глаза, зрачки двух вселенных, неизбежно должны были встретиться... они встретились... нескрываемый голод плоти – вот что увидел я в ее глазах. А потом долго после этого... да, что я делал потом? Я уж не помню. Мне кажется, я просидел несколько часов, уставясь на свои руки, которые в считанные мгновения – робея, колеблясь, дрожа – успели все же погладить ее юную грудь. И одновременно во мне росла тревога, что она, почувствовав страх перед мужчиной, прикосновением осквернившим девственную прелесть ее тела, больше никогда не придет. Но несколько минут (часов?) спустя она уже была на кухне и чистила картошку. Картофелины плюхались в ведро со всплеском... одна капля попала мне на лицо... Не смея в этот момент стереть эту каплю, я оставил ее, пока она не высохла сама, хотя кожа там зачесалась и даже слегка заныла. И я не решился произнести ни одного слова. Девочка тоже не сказала мне ничего, она теперь переговаривалась лишь с моей женой, для которой время от времени взбегала по лестнице, чтобы выслушать ее указания – шепотом проговоренные указания, которые уже больше смахивали на просьбы. Я плакал сухими слезами, я чувствовал себя убитым... Убитым еще до нанесения удара.

А потом я упал с площадки железной лестницы. Это было глупо, как, по сути, глупы все несчастные случаи. Я знал морозильные камеры вдоль и поперек, я столько раз проходил через эту площадку, чтобы, подкрепившись бутербродами, заняться растрепанными своими мыслями, – и вот на какую-то долю секунды я, видно, забыл, что площадка эта находится в четырех метрах над полом.

Мое колено выглядело странно смещенным; когда я поднялся, оно опять как-то необычно подогнулось, и я рухнул. Поэтому я вначале обратил внимание именно на колено, несмотря на то что поясница могла пострадать гораздо серьезней. Только уже немного успокоившись насчет колена, я почувствовал что-то неладное в глубине спины. Я испугался: поврежденной могла оказаться почка. Мне как-то довелось слышать, что при травме почек с мочой выделяется кровь. Я помочился в угол; все выглядело нормально. Мое состояние было еще таково, что я смог самостоятельно выйти из морозильных камер, и, вероятно, затем, считая свои шаги, я мог бы пешком доплестись и до дому. Но меня запихнули в машину и доставили в больницу – в ненавистное мне здание, насквозь провонявшее эфиром и богадельней. Однако я не захотел ос-

ДЕННОМУ ПУПОВИНУ И ПОЛОЖИЛА ЕГО НА ПОЛОВУЮ ТРЯПКУ, А НАУТРО, ЗАВЕРНУВ В ЗАНАВЕСКУ, БРОСИЛА В ВОДУ / ДОВОЛЬНО ПОЛНАЯ ЖЕНЩИНА, БУДУЧИ ПЬЯНОЙ И ЖЕЛАЯ ПРОСПАТЬСЯ, РУХНУЛА В КРОВАТЬ, НО, К НЕСЧАСТЬЮ, УПАЛА ПРИ ЭТОМ КАК РАЗ НА СВОЕГО МЛАДШЕГО РЕБЕНКА, КОТОРЫЙ ВСЛЕДСТВИЕ ЭТОГО ЗАДОХНУЛСЯ, ДРУГОЙ ЕЕ СЫН, 3 ЛЕТ, ГОВОРИЛ ПОТОМ НА УЛИЦЕ, ЧТО ЕГО БРАТИК "УЖЕ НЕ ШЕВЕЛИТСЯ" / 17-ЛЕТНЯЯ ДЕВУШКА ПОЗНАКОМИЛАСЬ С СОЛДАТОМ, КОТОРЫЙ НАЗНАЧИЛ ЕЙ СВИДАНИЕ НА СЛЕДУЮЩИЙ ВЕЧЕР, НО НАЗАВТРА ВМЕСТО ОДНОГО СОЛДАТА ЕЕ

таваться на больничной койке. Какой смысл был в том, чтобы принимать участие в их игре, то есть давать им возможность, регулярно разглядывая мои раны, играть в докторов, — я и сам, как кошка, мог успешно зализывать свои болячки... Дома я долго пролежал в постели — думая о всяком-разном, читая газеты, то есть целыми часами словно отсутствуя. А потом я заново учился ходить и заново учился видеть — порой, когда я, прихрамывая, прохаживался на солнышке, соседи смотрели на меня со страхом и восхищением, как на сукина сына и храбреца. Свалиться с лестницы и погибнуть — в этом не было для меня ничего пугающего, но покалечиться так, чтобы стать беспомощным и чтоб меня вдобавок таскали от одного эскулапа к другому — это бы сломило мой дух. Частенько, когда моей жены и ребенка не было дома, я, полулежа в кресле, наблюдал за бесполезно энергичными занятиями девочки. Она вновь подбирала пуговицы, или начищала медь, или протирала стаканы... Однажды, стоя перед зеркалом, девочка мыла его губкой — это было так, словно я видел ее в пруду, сквозь толщу воды: ее лицо, ее руки, ее удивительно нежное детское тело то и дело расплывались, то и дело преломлялись дрожа... А когда ее тонкая рука решительно осушала влажную гладь, девочка возникала в зеркале снова — снова мелькала она своими частями... Садясь на корточки, девочка не сознавала, в каком именно виде она находится перед зеркалом, прилежно отражающим картину ее слегка раздвинутых бедер. Она также не сознавала, что на ней было слишком тонкое платье, в котором она сияла, как стройное пламя. Но прекрасней всего была ее рука, бесцельная и слепая, воздетая с невыразимым изяществом. Она походила на руку утопленницы, которая, то и дело вздымаясь над гладью вод, еще продолжает жить, когда тело уже ушло под воду, на одинокую руку, взывающую о помощи, когда уже все погибло. Так она и мыла это зеркало, то и дело ныряя в водное отражение, при этом слепо и бесцельно вздымая руку. Я полулежал в кресле; мне было по силам лишь слегка передвигаться по дому, кое-как скручивать сигареты да более-менее самостоятельно одеться. В тот день на мне оказался надетым легкий комбинезон — наиболее удобное облачение. Но в этой довольно тонкой одежде, легко, словно кожа из выношенного хлопка, облегающей тело, мне было крайне неловко перед девочкой. Под этой одеждой становилось почти зримым мое сердце, которое сильно билось, которое задыхалось, и в особенности было заметно, как все более набухал, отвердевая, мой член. Я ничего не мог поделать с этим процессом, который развивался так вызывающе демонстративно.

ПОДЖИДАЛИ ЧЕТВЕРО – ОТТАЩИВ ДЕВУШКУ ПО ПЕРЕУЛКУ В САД, ОНИ ЗАТКНУЛИ ЕЙ КЛЯПОМ РОТ И ИЗНАСИЛОВАЛИ, ЗАТЕМ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ УБЕЖАТЬ, ОНИ ИЗБИЛИ ЕЕ ДО ПОТЕРИ СОЗНАНИЯ, ЭТИХ ЧЕТВЕРЫХ ДОПРОСИЛИ В КАЗАРМЕ И ЗАДЕРЖАЛИ ЕЩЕ НЕКОЕГО ПЯТОГО, КОТОРЫЙ, БУДУЧИ СВИДЕТЕЛЕМ НАСИЛИЯ, НЕ ВМЕШАЛСЯ / ВО ВРЕМЯ ОБЛАВЫ БЫЛА РАСКРЫТА БАНДА, ЗАНИМАВШАЯСЯ РАСПРОСТРАНЕНИЕМ ПОРНОГРАФИЧЕСКИХ ФИЛЬМОВ И КНИГ, А ТАКЖЕ ОРГАНИЗОВЫВАВШАЯ ВАКХАНАЛИИ С ГОЛЫМИ ТАНЦОРАМИ И ТАНЦОРКАМИ – ОБЫСКИ ПРОВОДИЛИСЬ В ЧАСТНЫХ ОСОБО-

Девочка еще раз протерла зеркальную поверхность, удаляя с нее последнюю пушинку. Она задумчиво взирала — видимо, на последнюю пушинку, и я вдруг заметил, что девочка смотрит мимо нее, что на самом-то деле она глядит в мою сторону. На ее лице нежной пушистою птичкой поигрывала улыбка. Бросив губку и кусок замши в ведро, она села рядом со мной. Это произошло так просто, что я даже не испугался. Итак, она села, точней, растянулась полулежа рядом, и руки ее — еще холодные и мокрые — скользнули вниз по моему видавшему виды комбинезону. Положив голову мне на плечо, она спрятала там лицо, а в это время ее руки осторожно расстегнули комбинезон и отправились в исследовательскую экспедицию по одинокой земле моего тела. Нет, наверное, продвижение ее рук все же нельзя было назвать исследовательской экспедицией — для этого ему недоставало неуверенности... Это походило более на прогулку — по вполне знакомому и уютному городку. Городок мужского тела был ей хорошо известен — как будто она давно уже пребывала там, а сейчас, со мной, только изучала, сравнивая. И вот она выкладывает мне все — без страсти, без страха, без стыда. Я могу лишь молчать — еще никогда я не был так переполнен слезами ярости, разочарования и беды. Ее пальчики, словно бы в утешение, наконец завладевают искомым, но слова ее — слово за словом продолжают капать гибельным ледяным дождем:

Часть вторая. Моя планета

Скорей бы звонок! Мне все так ужасно надоело, так хочется на улицу — на все поглазеть, все послушать, может быть, все потрогать — мне кажется, именно прикасаясь ко всяким штуковинам, их узнаешь куда лучше. Поэтому училка и выглядит так глупо, что стоя на своей высокой кафедре и рассказывая всякие небылицы, находится от нас далеко — как будто со мной разговаривает кто-то с Луны. Так глупо учить все эти дела — про то, что люди в Китае желтые, про орды Чингисхана и что мы — белая раса. Как глупо, какая разница, что некий предмет выглядит так, а не иначе на другом конце мира, что, оказывается, не кто иной как турки завоевали Константинополь в 1453 году, что именно в 1829-м англичане проложили первую железную дорогу между Ливерпулем и Манчесте-

ГО РОДА НОЧНЫХ КЛУБАХ, ФОТОСТУДИЯХ И МЕСТАХ ХРАНЕНИЯ ЭТИХ ПОХАБНЫХ ФИЛЬМОВ, ВСЕГО БЫЛО НАЙДЕНО БОЛЕЕ ДВУХ ТОНН ПОРНОГРАФИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА И, КРОМЕ ТОГО, ЗАПИСАНО БОЛЬШЕ СОТНИ ИМЕН ТЕХ ЗРИТЕЛЕЙ, КОТОРЫЕ ПРИСУТСТВОВАЛИ НА ПОКАЗЕ ОЗНАЧЕННЫХ ФИЛЬМОВ, ЗАДЕРЖАНЫ БЫЛИ ТАКЖЕ СЕМЕРО ПОСРЕДНИКОВ, ПРОДАВАВШИХ БЕЗНРАВСТВЕННЫЕ ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ КАРТИНКИ, НАПАЛИ НА СЛЕД ЭТОЙ БАНДЫ БЛАГОДАРЯ ПОДСЛУШИВАНИЮ ТЕЛЕФОННОГО РАЗГОВОРА, ВО ВРЕМЯ КОТОРОГО ОДИН ИЗ ТОРГОВЦЕВ СКАЗАЛ, ЧТО НЕПРИЛИЧ-

ром... Я ведь даже не знаю, как выглядит наша улица (вечером она другая, не такая, как днем), что за человек мой отец или, например, женщина, которой я помогаю по хозяйству. Я там у них домработница — за кормежку и карманные деньги, а еда не такая уж и вкусная, и женщина вдобавок просто швыряет ее на стол, как все равно строитель — камни и цементный раствор. Я ведь даже не знаю, кто эти люди и зачем они живут. И зачем живу я, которая утром встает и тащится в школу, а после школы помогает им по дому и потом ложится спать и видит сны о жизни, обо всем. Что такое моя жизнь, и будет ли она так продолжаться, и буду ли я так же задумываться над тем, что меня что-то ждет впереди? Может быть, и эта женщина все еще задумывается над тем, что ее ждет, — может быть, это смерть, но я-то о ней не думаю, о смерти. Я лучше поломаю голову о своей жизни, все-таки она, как я погляжу, очень забавная. Этому нас не учат в школе, но зато у нас каждую неделю целый час занимает урок домоводства, там нас учат готовить, а еще подавать на стол на манер той женщины: то есть швырять еду, будто цемент и камни. Мы будем опять целый час долбить, как целый час надо варить картошку, — так я сказанула на прошлой неделе, но никому это не показалось смешным. Иногда я думаю, что всему этому, что мы делали до сих пор, вдруг придет конец, и тогда кто-то взорвется хохотом — громким, даже грохочущим, словно наконец-то восходит солнце и наступает утро. Может быть, сам Бог вдруг расхохочется нам в лицо, поскольку мы до сих пор ничего толком-то и не выучили, кроме как о белой расе да о древнеримской цивилизации, а ведь она все равно погибла. Но это вряд ли случится, я имею в виду, что Бог в один прекрасный день вдруг расхохочется, слишком уж Он серьезен. Странно, но Он так походит на людей... какими они хотели бы видеть себя сами. К примеру, я сижу в церкви и наблюдаю за неким господином там, впереди, который носит такие потешные юбки, на улице он ходит в черном, а здесь, перед нами, в белом — как будто, молниеносно содрав с себя черную юбку, он сейчас расхаживает в одной нижней рубашке — туда-сюда туда-сюда, разыскивая своего Бога. Каждое воскресенье он ищет своего Бога да ищет, и при этом бормочет то да се на латыни. Он в конце службы тоже никогда не расхохочется. Иногда я сижу прямо напротив него в исповедальне: через решетку до меня доносится запах его табачного и ладанного дыхания, и потом он шепчет, что мне нельзя делать всего этого. Я рассказала ему, как мне обидно, что у меня все еще нет месячных, моих перемен, как это называется, и что груди мои пока не набухли — ох, потому-то каж-

НЫЕ КНИГИ МОГУТ ПОПАСТЬ В РУКИ МАЛОЛЕТНИХ, ЧЕРТ ВОЗЬМИ, ОТВЕТИЛИ ЕМУ НА ДРУГОМ КОНЦЕ ПРОВОДА, ЧТО У ТЕБЯ С ГОЛОВОЙ, ТЫ ЧТО ВДРУГ ЗАДЕЛАЛСЯ МОРАЛИСТОМ / ОДНА КРАСИВАЯ 14-ЛЕТНЯЯ ДЕВОЧКА ОБЫЧНО ВОЗВРАЩАЛАСЬ ДОМОЙ ПОСЛЕ ШКОЛЫ С БОЛЬШОЙ НЕОХОТОЙ, И ПОСКОЛЬКУ ОНА ПРИНЯЛА РЕШЕНИЕ ОТ ЭТОЙ ЖИЗНИ СБЕЖАТЬ, ТО ИЗ ШКОЛЫ ОДНАЖДЫ ТАК И НЕ ВЕРНУЛАСЬ, НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ СПУСТЯ ЕЕ НАШЛИ ПОДВЫПИВШЕЙ В ОБЩЕСТВЕ ВЕСЬМА СОМНИТЕЛЬНЫХ ТИПОВ И ПРОСТИТУТОК, КОГДА МАТЬ ПОПЫТАЛАСЬ ВЕРНУТЬ ДОЧЬ ДОМОЙ, ТА НАОТ-

дый день я и вынуждена их щупать, проверяя, насколько они выросли, я должна их поглаживать, как незрелые фрукты, а сейчас они еще маленькие, как мушмула. Я не могу удержать свои руки ни от чего, я должна все потрогать, чтобы узнать. Я должна проверить сама, каким именно является предмет — мягким или твердым, а еще — грубым и прочным или, наоборот, очень хрупким и нежным, я словно щупаю ткань, из которой будет шиться одежда. Станет ли и моя грудь твердой? Я это спросила в исповедальне, хотя считаю такой вопрос довольно диким. Но меня раззадоривает задавать именно такие вопросы и этим напрочь сбивать человека с толку. Я с удовольствием делаю что-нибудь "неправильное". Мне кажется совершенно глупым все, что делают взрослые — таскают камни, строят дома, плодят детей... Мужчина, жене которого я помогаю, собирает газетные заметки — он их вырезает и наверняка скоро начнет куда-то вклеивать. Мне непонятно, зачем он это делает, ведь каждый день приходит новая газета и каждый день в ней полно точно таких же вещей, которые он вырезает. Иногда я их читаю, если я в доме одна, то есть когда он еще на работе в своих морозильных камерах и занимается делами, как это называет его жена. Мне давно уже хочется тоже вырезать парочку своих заметок и потихоньку перемешать их с его заметками — интересно, обнаружит ли он что-то постороннее? Он не похож на меня — и в то же время он очень похож: большинство людей почти все пропускает мимо ушей, в том числе его жена, но он сразу все подмечает, совсем как я... но мне кажется, что ему от этого грустно. И почему он считает все эти заметки грустными, а не глупыми? Может быть, это оттого, что он каждый день ходит в свои морозильные камеры и, может быть, там у него внутри что-то отмерзает — возможно, во всех нас существует некое... ну... растение, которое помогает нам смеяться, а у него это растение постепенно отмораживается. Очень жалко, потому что он единственный, кто видит так же, как я. О моем отце не стоит говорить — таких, как он, сто на каждую сотню: он убежден, что Христос, дабы обеспечить себе существование, выращивал индеек, и когда я его спрашиваю: а Иисус Христос случайно не был коммунистом? — он бросает на меня уничтожающий взгляд. Женщина, к которой я хожу, тоже очень верующая, хотя и по-другому, — все люди как люди, но каждый особенный. Она вполне умеет смеяться над этими делами: сначала писается со смеху, а потом боится, что на нее падет Наказание-с-Неба. Эта женщина охотно смеется и говорит, но мало думает. Она быстро все забывает и никогда не задает себе вопросов, которые могли бы по-

РЕЗ ОТКАЗАЛАСЬ И ДАЖЕ УТОЧНИЛА, ЧТО УЖЕ СОБРАЛАСЬ ПРИНЯТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ ОДНОГО СУТЕНЕРА, ВЕРНУВШИСЬ ДОМОЙ, МАТЬ ВЫПИЛА СИЛЬНОЕ СНОТВОРНОЕ И ОТКРЫЛА ГАЗ, УЗНАВ О ЕЕ СМЕРТИ, ДЕВОЧКА НЕ ПРОЛИЛА НИ ЕДИНОЙ СЛЕЗЫ И ТОЛЬКО СКАЗАЛА, ЧТО НА ПОХОРОНЫ ИДТИ НЕ ЖЕЛАЕТ / ГРАЖДАНСКИЙ СУД РАСТОРГ БРАК, ЗАКЛЮЧЕННЫЙ 12 ЛЕТ НАЗАД ПРИ ДОВОЛЬНО СТРАННЫХ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ: ВЫЯСНИЛОСЬ, ЧТО ОБА, МУЖ И ЖЕНА, ЯВЛЯЮТСЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНИЦАМИ ЖЕНСКОГО ПОЛА / МОЛОДЕЖНАЯ БАНДА СПЕЦИАЛИЗИРОВАЛАСЬ НА КРАЖЕ МА-

ставить ее в тупик. Сначала я спрашивала ее о всяком-разном — не для того, чтобы получить ответы, а чтоб немножко ее завести. Все это было без толку. Я спрашивала ее, например, чем она объясняет в исповедальне, что за три года замужества у нее все еще нет детей? Но это до нее как-то не доходит. Ну, отвечает она уклончиво, сквернословить, например, тоже нельзя, но ведь все же люди так или иначе сквернословят. При этом надо считать, что исчерпывающее объяснение мне уже дано. Ведь еще вам нельзя между ног смотреть, так? — продолжаю я свою подначку. Тут она опять словно распахивается в хохоте. Ну а вы это делаете? — спрашивает она. Какое там! — говорю я. — Священник же так распекать станет... — И снова она хохочет. Но ведь вы это делаете? — повторяет она. Как глупо задавать такой вопрос. Разве мне нельзя знать, меняется ли у меня что-то или нет? Представьте себе, что в какой-то день у меня начнутся эти дела, а я совсем к ним не готова! По сути, эта женщина прозрачна как стекло, то есть сразу видно, когда она о чем-то думает, и даже точно знаешь, о чем. Если у нее что-нибудь не выходит, она сразу тут как тут перед гипсовым святым со своими жалобами, слезами и с горящей свечечкой, а если все более или менее получается, она хохочет и поет песни. Точней, песни она обычно насвистывает — прямо как мужик. И в доме все она устраивает так, будто мужчина в нем именно она. Мне кажется, ей часто обидно, что она женщина. Думаю, я ее понимаю: ей хочется быть очень значительной — и поменьше "женщиной". Но что такое значительность? Я рассказала ей анекдот про мужчину, который заявил, что переселяется на Кубу, а другой его и спрашивает: зачем так далеко? На что первый отвечает: далеко... от чего? Она смотрела на меня так, будто должно было последовать продолжение. Я рассказала то же самое ее мужу, он тоже не засмеялся и, кроме того, тут же ушел наверх, в свою тюрьму. Но я видела, как и он думает, и знала о чем: далеко от чего, черт побери? Он смотрит на меня с оттенком грусти — наверное, ему грустно оттого, что я такая невоспитанная. Нет, видимо, ему даже страшно от этого, наверно, он себя спрашивает, куда же катится мир, если такие абстрактные анекдоты рассказывают даже девочки. И вот он смотрит на меня, будто я совершила с ним какое-то прегрешение — ведь мне кажется смешным все, от чего ему грустно. Иногда я чувствую себя преступницей только потому, что я нахожусь в их доме. Правду сказать, он сбивает меня с толку точно так же, как я сбиваю других. Люди в большинстве своем слишком тупы и уродливы, потешаться над ними довольно просто, в

ШИН, ВСЕ МАЛЬЧИКИ ЯВЛЯЛИСЬ ВЫХОДЦАМИ ИЗ ХОРОШИХ СЕМЕЙ, У НИХ БЫЛА 14-ЛЕТНЯЯ СПУТНИЦА, КРАСОТКА С ОБЛОЖКИ ЖУРНАЛА, В СТИЛЕ ГАНГСТЕРСКОЙ ЖУРНАЛЬНОЙ КРАСОТКИ; АВТОМОБИЛИ ПОЗВОЛЯЮТ НАМ КОМФОРТНО ПЕРЕМЕЩАТЬСЯ, ЗАЯВИЛИ ОНИ, А НАКОПЛЕННЫЕ ДЕНЬГИ МЫ ТРАТИЛИ НА ГУРМАНСКИЕ САБАНТУИ, ПОСЛЕ ОТБЫВАНИЯ СРОКА, ДОБАВИЛИ ОНИ, БАНДА ЗАЙМЕТСЯ ПРЕЖНИМ ДЕЛОМ, НО С БОЛЬШЕЙ ОСТОРОЖНОСТЬЮ / СЫНА НЕКОЕГО ЮВЕЛИРА ПОСТАВИЛИ ПО ТЕЛЕФОНУ В ИЗВЕСТНОСТЬ, ЧТО ЕГО МАТЬ ПРИ СМЕРТИ И НАХОДИТСЯ В ГОРОДСКОЙ БОЛЬ-

половине случаев это просто до них не доходит. Он тоже знает это, но никогда об этом не говорит. Иногда я роняю коробочку с иглами — только чтобы услышать, что он на это скажет, но он только молча на меня смотрит. А вчера вечером она выпала у меня из рук сама, когда я услышала, что он открыл дверь, — так что я, сидя на корточках, собирала иглы, рассыпанные под шкафом, пока он жевал свои бутерброды, которые были как из булыжников сделанные. Жалко, что только мы с ним, видимо, и понимаем друг друга, и жаль, что он воображает себя, судя по его насмешливой улыбочке, кем-то лучше других. Как хорошо мы могли бы вместе гулять и вообще развлекаться! Сидя на корточках и собирая из-под шкафа иглы, я думала о том, как я могла бы рассказать ему, что я сегодня натворила в школе. Я должна была писать на доске диктант и шутки ради "забыла" одну букву в одном слове — и тогда вышло другое слово, которое уставилось на класс как-то оторопело, словно ему было стыдно, что оно, вот те на, оказалось написанным. Это было словечко, произносить которое нельзя, потому что оно означает то, что у женщин между ногами. А оно все-таки есть в словаре, я проверяла. Первый раз я услыхала его от двух мужчин на углу, которые с похабными рожами обсуждали какую-то женщину, вот они его и сказанули. В это время я как раз проходила мимо и видела, как они ржали — оттого, что вогнали меня в краску. Сейчас это слово было написано мной на доске, и я снова покраснела — видеть слово куда хуже, чем его слышать, — но при этом, кстати, продолжила свою писанину как ни в чем не бывало. Правда, меня била дрожь от страха и какого-то удовольствия... Об этом мне и захотелось рассказать ему сейчас, когда я шарила под шкафом. Я бы ему сказала, что меня занимало не само слово, но это странное возбуждение, которое охватывает, когда откалываешь что-нибудь запретное. Я это делаю только затем, чтобы их как следует подначить, и еще, может быть, чтобы потом понаблюдать, как они будут себя вести — и решатся ли они вообще как-то отреагировать.

Что касается училки, то она молча исправила ошибку, и я опять села за парту. Потом, в обеденный перерыв, я долго рассматривала хромированную картинку, которая нашлась в моей шоколадке: горный водосбор. Мне кажется, этот цветок у меня уже есть — чем больше ешь шоколада, тем меньше везет с картинками; к счастью, тот мужчина тоже собирает такие штуки, так что я могла бы с ним обмениваться. Так глупо, когда женатый мужчина, как школьница, собирает эти картинки, но все мы собираем что-нибудь, все мы что-нибудь делаем, а зачем? Мне

НИЦЕ, НЕ СКАЗАВ НИЧЕГО ОТЦУ, ЮНОША НЕМЕДЛЕННО ПОЕХАЛ ТУДА, А ЧУТЬ ПОЗЖЕ ОТЦУ СООБЩИЛИ, ЧТО ЕГО СЫН ПОХИЩЕН, И ПОТРЕБОВАЛИ, ЧТОБЫ ОН ПРИНЕС СУМКУ С ВЫКУПОМ В НЕКИЙ ГАРАЖ; ТЕМ ВРЕМЕНЕМ ОШЕЛОМЛЕННЫЙ СЫН, НАДЕЯСЬ УСПЕТЬ ПОВИДАТЬСЯ В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ С МАТЕРЬЮ, ПРИБЫЛ В БОЛЬНИЦУ, НО МЕДСЕСТРЫ, С УДИВЛЕНИЕМ НА НЕГО ВЗГЛЯНУВ, СКАЗАЛИ, ЧТО ВПЕРВЫЕ О НЕЙ СЛЫШАТ / КРАЙНЕ ПЕРЕГРУЖЕННЫЙ ГРУЗОВИК, ВОДИТЕЛЬ КОТОРОГО, БУДУЧИ, ПО-ВИДИМОМУ, ПЬЯН, СОБИРАЛСЯ ОБОГНАТЬ ДРУГУЮ МАШИНУ, В ЭТО ВРЕМЯ НАВСТРЕЧУ ЕХАЛ МО-

доставляет удовольствие, идя вдоль сплошного ряда маленьких домов, перечислять то, что их обитатели там, внутри, лишь бы чем-то себя занять, сейчас делают: поддают, тискают баб, возятся с голубями... Мой отец все это проделывает одновременно: поддает, тискает баб, возится с голубями — и я спрашиваю себя: что в этом можно находить? Не могу представить, что когда-нибудь мужчины будут ухлестывать и за мной, — нет, представить-то могу, но я не понимаю, что же они будут во мне видеть. Я ведь такая же, как они, у меня такой же каркас и такие же внутренности, только между ног устроено слегка по-другому. Но разве стоит лишь из любопытства делаться такими чокнутыми и без конца туда лазить? А все-таки это факт, и они ради этого готовы на всякие глупости, убийства и все такое. Мне кажется, они никогда не задумываются над тем, что у женщины, собственно, такой же каркас, как у них. Разве не так? Хорошенький фортелек бы вышел, если б, например, нарядить скелет! Вот обалдели бы они, занырнув под юбку! И чего ради мужчины пьют, тоже не могу понять. Я это дело, как только подвернется, обязательно попробую — уж я насосусь! — уж я так надерусь, что в башку шарахнет. Я стану трепаться без удержу — короче, уж выдам им всем такую белиберду! Боже мой, да я ведь и так несу пьяный бред!.. Я ведь и без того регулярно, что ни день, натаскиваю себя в словоблудии — другие-то выдают это лишь сквозь алкогольный туман!.. Странно, но никто этого не замечает.

Нет ничего страшнее, чем иметь родителей. Почему у людей не так, как, например, у воробьев: те как обучат своих деток летать и — гоп-ля-ля! — с глаз долой. У людей период детства длится слишком долго. А еще слишком долго длится период отчетов и подчинения. Отчет надо давать о каждом часе, о каждой минутке своей жизни — как будто свое собственное время надо класть на весы, и от него нельзя потерять ни секундочки, потому что в конце жизни может не хватить веса... С чего это ты так поздно? — обычно спрашивает моя мать, причем с явным недоверием, будто подозревает меня в убийстве или в том, что я барахталась в постели с мужчиной. Мой отец со своими вопросами еще хуже — он смотрит на меня не только с подозрением, но еще с ревностью, прямо как жених. Мужчины ревнуют, когда прикасаются к их дочерям, и они требуют отчета. Жизнь идет строго по прямой, и со всех сторон зорко следят, не отклонилась ли ты хотя бы на сантиметр. Бесполезно спрашивать, кто именно прочертил эту прямую, — она просто есть, и все наблюдают за ней с превеликим тщанием. Поэтому когда кто-то себя ве-

ТОЦИКЛИСТ, КОТОРЫЙ, НАХОДЯСЬ НА ЛЕВОЙ ПОЛОСЕ, СДЕЛАЛ ОТЧАЯННУЮ ПОПЫТКУ РАЗМИНУТЬСЯ С ТЯЖЕЛОЙ МАШИНОЙ, НО БЫЛ ТАКОВОЙ СБИТ, У НЕГО ОТОРВАЛО ЛЕВУЮ НОГУ ДО САМОГО БЕДРА, ОТОРВАННАЯ ЧАСТЬ ТЕЛА БЫЛА ОБНАРУЖЕНА В ПОЛЕ НА РАССТОЯНИИ 8 МЕТРОВ, БОТИНОК – НА РАССТОЯНИИ 28 МЕТРОВ, В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО ВРЕМЕНИ ПОСТРАДАВШИЙ, НАХОДЯСЬ В СОЗНАНИИ ДО САМОЙ СМЕРТИ, ПРОЩАЛСЯ С ЖЕНОЙ И ДЕТЬМИ, ВИНОВНЫЙ В АВАРИИ, МАШИНА КОТОРОГО НИЧУТЬ НЕ ПОСТРАДАЛА, НЕ ОКАЗАЛ НИКАКОЙ ПОМОЩИ ПОТЕРПЕВШЕМУ И БЕЗ ЗАЗРЕНИЯ СОВЕСТИ

дет не так, как он, по их мнению, должен себя вести, это называется "выйти за рамки". В школе прямая линия еще именуется "приличием" и "нравственностью", и мне забивают там голову чем угодно, лишь бы в ней не осталось места для мыслей собственных. К чему я клоню? Так уж мир устроен – надо беспрерывно давать отчет соседям и вообще всем ("Что люди подумают?" – сурово говорит моя мать), да, всем – и училке, и священнику, и его Богу. Мир, созданный ими, состоит из меры и веса – то есть из весов и из чего там еще? – из законов, заповедей, пограничных столбов и загородок. До Солнца от нас – миллион световых лет, до Брюсселя – 32,4 километра, хлеб стоит 7 франков 50 центов, у моей сорочки 23-й размер. Меня затолкали в эти узкие пределы, загнали, так что единственное оставшееся мне развлечение – это потешаться над ними. Довольно жалкое веселье для существа, произведенного на свет в миллионе световых лет от Солнца и в 332-х километрах от Парижа, но так уж прочерчена линия, и каждый свой проделанный шаг я должна запомнить, поскольку в любой момент о нем меня может спросить кто угодно – полицейский, священник, мой отец, Бог. Они мне надоели, это уж точно. И бесполезно над этим думать, ведь они мне надоели раз и навсегда. Но чего, собственно говоря, ты от меня хочешь? – спросила недавно с досадой моя мать, после того как у меня сорвался с языка вопрос, когда же настанет конец этому штопаному-перештопанному нижнему белью, от которого уже плакать хочется? Да, чего же я на самом деле требую? И я с удивлением очнулась – до сих пор я еще никогда не спрашивала себя так прямо в лоб, не только касательно этого нижнего белья, а касательно всего сразу. Чем больше об этом задумываешься, тем хуже становится, так что же на самом деле можно еще требовать? Я только могу перечислить, чего мне не хочется: находиться среди них, давая им постоянный отчет, носить нижнее белье, от которого, как в мясной лавке, несет какой-то тухлятиной, иметь сорочку 23-го размера и видеть, что солнце всегда заходит на западе. Но чего же тебе тогда хочется? – спрашивает и женщина в том доме, где я помогаю. Как будто в каком-то общественном месте наклеен список, где перечислены всевозможные желания – вычеркните, что не требуется. Никогда никто не спрашивает: а что ты хочешь еще узнать? Вот в чем дело. Некоторые вещи мне хочется еще узнать – попробовать, потрогать, увидеть, услышать, испытать на себе. Мне хочется напиться, да, я хочу этого – быть пьяной вдрабадан и выдать им бредятину на всю катушку, надраться аж вдребезги, еще всякое откалывать и болтать. И мне хочется, чтобы темной но-

ОСТАВИЛ МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ, ПОЗЖЕ, КОГДА ЕГО ЗАДЕРЖАЛИ, ОН ОТРИЦАЛ ВСЕ ФАКТЫ, НЕСМОТРЯ НА ТО ЧТО СЛЕДЫ НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ НА ЕГО ЗАЛИТОЙ КРОВЬЮ МАШИНЕ БЫЛИ БОЛЕЕ ЧЕМ ОЧЕВИДНЫ / НЕКИЙ ВДОВЕЦ, ПРИМЕРНО 30 ЛЕТ ОТ РОДУ, ОДНАЖДЫ УТРОМ ВСТАЛ В ПОЛНОЙ УВЕРЕННОСТИ, ЧТО БОГ ПРИКАЗАЛ ЕМУ ПРИНЕСТИ 9-ЛЕТНЕГО СЫНА В ЖЕРТВУ, ПОЭТОМУ РОДИТЕЛЬ СПРОСИЛ СВОЕГО СЫНА, ХОЧЕТ ЛИ ТОТ ПОПАСТЬ НА НЕБО, ПОСЛЕ УТВЕРДИТЕЛЬНОГО ОТВЕТА ОН ВЕЛЕЛ МАЛЬЧИКУ ПРИНЯТЬ ВАННУ И НАДЕТЬ ПРАЗДНИЧНУЮ ОДЕЖДУ, ПОТОМ, ДАБЫ СО-

чью на улице ко мне приставали мужчины. Правда-правда: я хочу, чтобы со мной это происходило — смахивающие на канализационные трубы ночные улицы, где тебя с таким нетерпением и так возбуждающе подстерегают. Но нет человека, нет Бога, который разрешил бы мне это — они все хотят, чтобы я была другой, нежели я есть, и чтобы я положила себя в конце жизни на чашу их весов. Я должна попасть на их небо, не побывав ни разу хорошо поддатой и не узнав, что это такое — быть подстерегаемой мужчинами в темном переулке. Мой "вес"... иногда, сидя воскресным утром в церкви, я спрашиваю себя: сколько "веса" я уже потеряла и насколько я, незаметно для них, отклонилась от прямой линии? Там, несколькими рядами правее, сидит женщина, которой я помогаю, — она перебирает свои четки бездумно, но я вижу, как ее губы действительно шевелятся и пальцы считают шарики — странный способ общения с Тем, Кто находится от нас в миллионе световых лет. О чем она сейчас думает — и думает ли вообще? Мыслями своими она же должна где-то находиться, серая каша у нее в голове должна же иметь какое-то назначение? Она же не просто так, неподвижно, заполняет ее голову? А муж сидит рядом с ней и смотрит вперед — туда, где крестится священник. Он сам никогда не крестится вместе с другими, он также не крестится перед едой — по этому жесту, кстати, можно определить, верит ли кто-то действительно или нет. Она, по привычке, крестится кривовато — так, как делала это ее мать, и она натачивает нож о камень, чтобы резать хлеб, — так, как это делал ее отец. Естественно, это просто обезьянничанье, но она-то не обезьяна, а вполне разумная женщина — особенно там, где это касается дел практических. Но ни одна обезьяна не является полностью обезьяной и ни один человек — полностью человеком. Хотя граница, правду сказать, достаточно очевидная, так что ее нетрудно заметить. Эта женщина довольно прямодушна и больше всего думает о продвижении. Она верит в такие дела, ну, например, что "Петр" означает "камень" и что мир был возведен на этом камне. Она устраивает много дел и думает о завтрашнем дне, умудряясь держать в голове еще какое-то яблочко ("Помогает от жажды!") и минутку, которую можно сэкономить, чтобы употребить ее потом на что-то другое. Не успела я войти в дом, как она тут же составила план: сначала мы делаем то, потом это, и после у нас еще останется время, чтобы... И для выполнения этого плана она вкалывает так, что пот хлещет градом, ей некогда сходить в туалет, и она хватает на ходу всякую дрянь, лишь бы набить желудок; если же и на это нет времени, она затягивается сигаретой. "Курить — это одновременно есть

ВЕРШИТЬ ТО ЖЕ САМОЕ ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ, КАКОВОЕ БОГ ПОВЕЛЕЛ СОВЕРШИТЬ АВРААМУ, ПРИКАЗАЛ ЕМУ ЛЕЧЬ; НОЖОМ ДЛЯ РАЗДЕЛКИ МЯСА ОТЕЦ ОТРУБИЛ СВОЕМУ СЫНУ ГОЛОВУ, ПОЗЖЕ, ОСОЗНАВ ЧУДОВИЩНОСТЬ СОДЕЯННОГО, ОН РЕШИЛ ПОКОНЧИТЬ С СОБОЙ, НО ПОД КОНЕЦ НЕ СОБРАЛСЯ С ДУХОМ / ЧЕРЕЗ ДЕНЬ ПОСЛЕ ТОГО, КАК ОДНОГО МУЖЧИНУ ОБНАРУЖИЛИ В ЕГО МАШИНЕ МЕРТВЫМ, ЖЕНА ЭТОГО ЧЕЛОВЕКА ПОЛУЧИЛА ОТ НЕГО ПИСЬМО, В КОТОРОМ ОН СООБЩАЛ ЕЙ, ЧТО У НЕГО ЕСТЬ СТРАШНОЕ ПРЕДЧУВСТВИЕ, БУДТО ОН УМРЕТ – В ПИСЬМЕ БЫЛО СКАЗАНО: В ПО-

и пить" — вот ее фирменное выраженьице. Я думаю, на самом деле она этим хочет сказать: сигарета помогает забыть о таких отнимающих время делах, как еда и питье. Ее раздражает, когда надо заниматься множеством дел, и ее раздражает, когда надо много думать. Она считает, что глубоко задумываться нельзя никогда. Она часто говорит: в это тебе лучше так глубоко не вникать. На что я откликаюсь: да, а то совсем запутаюсь. Она смеется. Так уж она устроена: смеется над многим, но никогда ни над чем не задумывается. Да, вот оно, то самое выражение, которое люди знай себе талдычат с утра до вечера: "в это лучше глубоко не вникать". Однажды я слыхала, как один мужчина добавил: потому что тогда дело станет темно-бурым. Я засмеялась — поняла, что он имеет в виду. Но он, ее муж... он словно не думает, только смотрит. Он смотрит на все так, словно сроду ничего не видел, словно, будучи всю жизнь слепым, вдруг открыл, что может видеть, и теперь должен наверстывать, чтобы утолить жажду своих глаз. Так он смотрит и на меня, и на свою жену, на все и на всех. Иногда мне стыдно — он так явно проявляет свой на меня аппетит. А иной раз, наоборот, смотрит на меня так, будто вообще впервые видит, с таким удивлением. Как будто он не вполне понимает меня. Он наблюдает за мной, когда я натираю лестницу, как будто напрочь не понимает, почему я там нахожусь, и почему я сотворена девочкой, и почему у меня между ног трусики. Это тоже такая несуразность, наши юбки, — половину жизни ты, сидя на корточках, только и думаешь, что на тебе надета юбка, под которую может кто ни попадя, когда только ни заблагорассудится, заглядывать. Но юбкой надо скрывать, что у тебя есть ноги. Все просчитано, все промеряно, удельный вес воды составляет точно один грамм, а число π (3,14) — это отношение длины окружности к диаметру... но никто не должен знать, что у тебя есть ноги, а между ними — трусики. А потом обычно приходит его жена и с легкостью приводит в беспорядок все то, что сама же помогала привести в порядок. Она зажигает свечки перед фигуркой святого, а когда я говорю ей, только чтобы подначить, только чтобы поглядеть, проглотит ли она это: сначала я должна пописать... то она чуть не падает в обморок. Но свои гигиенические прокладки она швыряет куда попало — за двери, на ступеньки... Поднимаясь по лестнице, он смотрит на них, но сразу переводит взгляд на то, что надлежит прятать уже мне. Он, по-моему, совсем мало ценит, что я даю ему подсматривать под юбку, — видимо, злится, что я еще несовершеннолетняя. Любит ли она его? Может быть, да, но не так, как это делают в кустах вечерами любовные парочки, буквально норовя-

СЛЕДНЮЮ НОЧЬ МНЕ ТРИЖДЫ СНИЛОСЬ, ЧТО Я УМИРАЮ, НО ТЫ НЕ БЕСПОКОЙСЯ, ПОПЫТАЙСЯ ЖИТЬ БЕЗ МЕНЯ СЧАСТЛИВО... Я ДОПУСКАЮ, ЧТО ЭТО ПРОСТО МОИ НЕЛЕПЫЕ ФАНТАЗИИ И НИЧЕГО СО МНОЙ НЕ СЛУЧИТСЯ, НО СТРАШНОЕ ПРЕДЧУВСТВИЕ СЛИШКОМ УЖ МЕНЯ ТЯГОТИТ, НЕСКОЛЬКО ЧАСОВ СПУСТЯ С МОМЕНТА НАПИСАНИЯ ПИСЬМА МУЖА НАШЛИ МЕРТВЫМ В ЕГО МАШИНЕ, С ПУЛЕЙ В СЕРДЦЕ, ЖЕНА ЗАЯВИЛА, ЧТО ВСЕГДА БЫЛА ОЧЕНЬ СЧАСТЛИВА С НИМ И ПОНЯТИЯ НЕ ИМЕЕТ, ЧТО ИМЕННО ПРИВЕЛО ЕГО К ЭТОМУ ШАГУ / НЕКИЙ ИНЖЕНЕР-МЕТАЛЛУРГ ВСТРЕТИЛ В ЛЕСУ 13-

щие друг в друга пролезть. Она злится на него, что он иногда болеет, иногда грустит, часто просто сидит молча и, главное, ничего не делает. А ее я еще никогда не видывала без дела. Она вкалывает и вкалывает, потому что, по ее словам, человек должен стать богатым и вот тогда-то он будет освобожден от работы. Но эти слова совершенно пустые, потому что, когда я потом спрашиваю ее: а что бы вы делали, будучи богатой, она дает такие уж идиотские ответы, что диву даешься. Она даже не знает, что значит быть богатой, и если ей один день пришлось бы "сидеть без дела", она рухнула бы замертво. Она окочурилась бы от ужаса, поскольку вдруг обнаружила бы, что внутри нее находится эта серая масса, все время лежавшая до того без движения. Но почему же она не взяла себе в мужья человека, который носился бы по ее примеру как угорелый, а кроме того вкалывал бы, зарабатывал кучу денег и "занимался делами"? Я не могу представить, чтобы они в свое время, в кустах вечерами, норовили пролезть друг в друга. Нет, не могу себе представить, каким чудом случилось, что они поженились. Я спрашиваю ее об этом, но она сама не знает. Ей хочется, чтобы у нее было много денег и значимых дел, но в действительности она замужем именно за этим мужчиной — именно она все для него устраивает, ни словом не намекая ему, что на его доходы невозможно жить. С одной стороны, она терпит его, как мой отец терпит меня или как это делает моя мать, которая беспокоится обо мне и которая в глубине души сокрушается, что я такая... не могу подобрать правильное слово, ну, в общем, какая я есть. А с другой стороны — я опять о той женщине, — это не совсем так, потому что она не требует от него отчета о каждом сказанном им слове — вернее, слове умолчанном, — нет, по сути, это она отчитывается перед мужем обо всем, что делает или планирует сделать, в то время как ему это совершенно не интересно. А когда его нет, она хлопочет, и шьет детскую одежду, и поставляет ее одному коммивояжеру. То она в поисках полотняной или хлопчатобумажной ткани в цветочек, то она едет смотреть новые модели или покупать выкройки — и все это время она только и говорит о детской одежде да о детской одежде, но самих-то детей она на дух не переносит. Коммивояжер — это муж ее сестры; иногда он с женой и ребенком приходит в гости, и тогда она весь вечер говорит снова о детской одежде — при негласном условии, что сам ребенок должен где-нибудь лежать аккуратно сложенным, как и его нагрудничек. И даже если б ребенок лежал аккуратно сложенным и выглаженным, она все равно не замечала б его, как то, что в приличном обществе и надлежит не замечать — то есть как не-

ЛЕТНЮЮ БЕСПРИЗОРНУЮ ДЕВОЧКУ, НЕСШУЮ НА РУКАХ 13-МЕСЯЧНОГО МАЛЬЧИКА И ВЕДШУЮ ЗА РУКУ 3-ЛЕТНЕГО БРАТИКА – ДЕТИ-БРОДЯГИ ПОЧТИ НИЧЕГО НЕ МОГЛИ СКАЗАТЬ О СВОИХ РОДИТЕЛЯХ И БЫЛИ ОТПРАВЛЕНЫ В ДЕТСКИЙ ПРИЮТ / ОДНОЙ ЖИТЕЛЬНИЦЕ ГОРОДА, ОТЕЦ И ДВОЕ БРАТЬЕВ КОТОРОЙ ЯВЛЯЮТСЯ ЧЛЕНАМИ СЕКТЫ "СВИДЕТЕЛИ ИЕГОВЫ", БЫЛО, ВСЛЕДСТВИЕ АВТОМОБИЛЬНОЙ КАТАСТРОФЫ, НАЗНАЧЕНО ПЕРЕЛИВАНИЕ КРОВИ – ОТЕЦ И ОБА БРАТА, ВЗЯВ ПОД ОХРАНУ ДВЕРЬ ЕЕ ПАЛАТЫ, ЗАПРЕТИЛИ ВРАЧАМ ОСУЩЕСТВИТЬ ЭТУ ПРОЦЕДУРУ, ГОВОРЯ, ЧТО ТАКОЕ ДЕЙСТВИЕ ПРО-

что неподобающее. Другое дело — детская одежда: благодаря ей можно быть при деле, то есть крутиться белкой в колесе. А у этого мужчины, с которым у нее общий бизнес, в глазах такое наглое выражение — довольно опасное, но малопривлекательное. Он давно бы уже облапал меня, если б на его пути не стояли эти угрожающие законы и заповеди, нарушение которых может его осрамить. Вот это и есть самая главная человечья характеристика: в своих "нарушениях" они все доходят до крайнего предела, а перед крайним пределом останавливаются, как коровы перед проволочной загородкой. Да, он как бык, которому некуда деться. Она говорит ему о производстве детской одежды, а он ей в ответ — о детопроизводстве. Они не особенно понимают друг друга, потому что общаются через проволочную загородку, а тут он вдруг берется рассказывать такие анекдотики, которых она всерьез пугается и оттого даже не смеет смеяться. А на улице, на углу, постоянно ошиваются мужчины, готовые понарассказывать сколько угодно таких анекдотиков, когда я иду мимо. Они рассказывают их как бы друг другу, но так, чтобы слышала я. То есть они нашептывают их мне через проволочную загородку закона. Им нельзя трогать меня, поскольку я еще не взрослая, но им не возбраняется рассказывать — как бы друг другу — некоторые штучки, которые на самом-то деле предназначены исключительно мне. И через несколько дней после того, как я услыхала такого рода похабную байку, этот коммивояжер (тоже, видно, подцепил на углу) пересказал ее ей. Этим он как бы пытался прорвать проволочную загородку. А однажды я вошла, как раз когда он ее спрашивал: когда же я могу вас увидеть? Войдя в комнату, я, конечно, их спугнула, но он продолжал говорить как ни в чем не бывало — о детской одежде и о том, как трудно угодить некоторым клиентам... Я смотрела на него, прямо в его похабные зенки, и говорила себе: держись, не прысни прямо сейчас. А глядя на нее, я отлично видела, как она, побледнев, все обматывает веревкой какой-то пакет, затягивая тут и там какие-то узелки — она, как всегда, конечно, не в состоянии думать, а я догадываюсь, что сейчас ей представляется, как на самом-то деле она связывает, перевязывает и привязывает его. Она не знает, что надо сказать, то есть что можно и чего нельзя. Она бы, наверное, не возражала, если б он просто набросился на нее — то есть овладел бы ею словно совсем неожиданно, тогда она, после всего этого, просто всплакнула бы и зажгла б свою свечечку, а при возвращении мужа отвела бы глазки. Но ей никак не решиться на этот грех, то есть самой назвать день и час, когда она позволит ему на нее набросить-

ТИВОРЕЧИТ ИХ ВЕРЕ, В КОНЦЕ КОНЦОВ ПОЛИЦИЯ, ПРЕОДОЛЕВ СИЛОВОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ, СМОГЛА УДЕРЖАТЬ ИХ В ПАЛАТЕ, ПОСЛЕ ЧЕГО ВРАЧУ УДАЛОСЬ НАКОНЕЦ ПРИСТУПИТЬ К ВЫПОЛНЕНИЮ СВОЕГО ДОЛГА / НЕКИЙ ВЕРУЮЩИЙ, КОТОРЫЙ ДАЛ ОБЕТ СОВЕРШИТЬ ПАЛОМНИЧЕСТВО В ЛУРД, НО У КОТОРОГО, ОДНАКО, НЕ БЫЛО ДОСТАТОЧНО СРЕДСТВ ДЛЯ ЭТОГО ПУТЕШЕСТВИЯ, НИЧЕГО НЕ ПРИДУМАЛ ЛУЧШЕ, ЧЕМ ОПУСТОШАТЬ ПО ДОРОГЕ ЦЕРКОВНЫЕ КРУЖКИ С ПОЖЕРТВОВАНИЯМИ, ПОСЛЕ ОТБЫВАНИЯ ТЮРЕМНОГО СРОКА ОН

ся. Она хочет чего-то добиться в этом мире, она хочет много и трудно работать, чтобы чего-нибудь достичь, и она злится на препятствия, встающие на ее дороге. А потом он уходит, но не через главный выход, а через тот клочок садика, деревянный забор которого примыкает с другого конца к переулку. Я понимаю его и знаю, кроме того, что она-то как раз ничего не понимает и что все дойдет до нее много позже, только после того, как мы уже достаточно долго посидим с шитьем, то есть после того, как она уже много сошьет, а я порядочно пораспарываю. Тут до нее и впрямь что-то доходит, потому что она сразу же ляпает: ох, а калитка-то открыта! Ваша лазейка, говорю я. И снова чуть не прыскаю, но вовремя подавляю смех.

Как это все по-дурацки, что как раз сегодня не могу у них быть — в субботу вечером я всегда должна мыться. Это как у того осла, который топтался между сеном и соломой. Я хотела бы мыть свое тело каждый вечер, разгуливать пальчиками по его интересным бескрайностям, брызгать на него — и затем тщательно, миллиметр за миллиметром, вытирать, как наш сосед тщательно, миллиметр за миллиметром, натирает до блеска свой мотоцикл. Сам процесс мытья меня не так интересует — главное, что перед ним я наконец могу сбросить на стул мою сорочку 23-го размера. Только смешно, что мытье должно происходить именно в субботу вечером, а не в любое другое время. Я предложила матери перенести помывку на воскресное утро, отец ведь тоже часто это делает в воскресенье утром — то есть бреется, затем чуть брызгает водой в лицо и производит омовение рук, не выше запястья.

Мне не хочется настаивать и объяснять всю бессмыслицу "вечерней субботы" — я, пожалуй, становлюсь в этом все больше похожей на своих предков, стараюсь тоже не особо расщедриваться на слова, кстати, нытьем я как раз ничего не добилась бы от своей матери. Да и хрен с ними, думаю я, поднимаясь с теплой водой и мылом по лестнице. Потом я стою у себя в комнате, но в мыслях, как я уже предчувствовала, нахожусь совсем в другом месте. Выйдет ли она в садик или нет? Насколько я ее знаю, то есть раскусила и просекла, она, разумеется, выйдет — уже хотя бы из любопытства, уже хотя бы лишь потому, что она слишком неспокойна и уже довольно запуталась, чтобы просто сидеть дома и делать вид, будто ничего не происходит. При этом ничего и не происходит. Просто он в последний визит, пройдя через садик и открыв калитку, так и оставил ее незакрытой. Но она этого даже не замечает. Так что... А представим, он имел в виду бы меня, то есть это он меня бы спросил: но когда же можно вас увидеть? Ну, это условно говоря. Ведь мне совсем не хотелось бы, чтобы такой тип, как он, выслеживал меня вечером!

ПРОДОЛЖИЛ СВОЕ ПАЛОМНИЧЕСТВО, В РЕЗУЛЬТАТЕ ЧЕГО УКРАЛ ВЕЛОСИПЕД И СНОВА ОПУСТОШИЛ НЕСКОЛЬКО ЦЕРКОВНЫХ КРУЖЕК ПО ДОРОГЕ В ЛУРД / У 24-ЛЕТНЕЙ ЖЕНЩИНЫ И ЕЕ 57-ЛЕТНЕГО ЛЮБОВНИКА НАШЛИ НА ЧЕРДАКЕ ЕЕ 5-ЛЕТНЮЮ ДОЧКУ, КОТОРАЯ ЛЕЖАЛА НА СОЛОМЕННОМ МЕШКЕ РЯДОМ С ГОЛУБЯТНЕЙ – МАТЬ ВЫНУЖДЕНА БЫЛА ПРИЗНАТЬСЯ, ЧТО РЕБЕНОК ПРОЛЕЖАЛ ТАМ ВСЮ ЗИМУ, В ХОЛОДЕ, ПОЛУЧАЯ ЛИШЬ ВОДУ, ХЛЕБ И ОТБРОСЫ, СОСЕДИ ЗАЯВИЛИ, ЧТО РЕБЕНКА ИНОГДА ИЗБИВАЛИ ДО КРОВИ, НО БЕС-

Страшно обидно было бы. Я не была бы даже в состоянии ответить ему "да", я только смотрела бы на него — такими же глазами, как смотрела, когда застала их врасплох. Это выглядело бы так, как будто в действительности он именно меня спросил, а я улыбнулась, как будто отказывая: да пошел ты! отвали подальше вместе со своей кобелячьей долбилкой! Но для этой женщины он является кем-то значительным, он из той же породы людей, которая ходит по этой земле, даже не ведая, что земля вращается сама по себе, а вовсе не вокруг ими установленной оси. Короче, мое сравнение на тему "что было бы, если б он спросил не ее, а меня", неуместно. Для того чтобы оно стало уместным, я должна представить мужчину, с которым было бы... ну... с которым в дрожь бы бросало. К примеру, кого-то из мужчин, которые ошиваются на углу улицы. Или, например, ее мужа. Боже мой... Эту мысль надо скорей выбросить из головы, перешагнуть ее и похоронить вместе с другими — побольше бы навалить сверху каких-нибудь новых мыслей, чтобы эта идейка под ними задохлась. А все-таки она возникла — значит, уже останется... Как это я сказала? Или, например, ее мужа, сказала я. Могла бы, кстати, спокойно пропустить это "например", ведь как раз только с ним меня бы и бросало в дрожь... Хотелось бы увидеть его в том виде, в каком я стою здесь... У него от постоянного нахождения в морозильных камерах, наверное, все отморожено — как у меня набито всякими цифрами, датами, разными благоглупостями, которые каждый день горами мне приходится заглатывать в школе. Все мы изуродованы — прутиком нас подпихивают к "правильной дороге", как дети проделывают это с муравьями, нам уродуют перво-наперво то место, где спрятан хвост сатаны... Сейчас осталось вымыть ноги — это уже финал общей помывки, потом надеть на мотоцикл чехол — и только через неделю я смогу мой мотоцикл опять как следует рассмотреть... Действительно, уже слишко поздно, чтобы к ним пойти, да и в субботу я еще никогда к ним не ходила, потому что они тоже сегодня моются, так какой же предлог мне придумать? А как именно они там моются? Ей наверняка быстро это надоедает. Она прикасается к разным предметам с отвращением и при этом, да, думает ли она о садике?

В воскресенье я просто пришла к ним, безо всякого повода. Я сказала, что воскресным утром дома и на улице скучно, не могу ли я ей чем-нибудь помочь — почистить картошку или что другое? У нее на горле красная полоса. Откуда это? — спрашиваю я. Вчера поздно вечером, говорит она, я вышла в садик (значит, я права!), чтобы принести цветной капусты для обеда, была тьма кромешная, и я не увидела бельевой веревки, только почувствовала что-то на горле, у меня потемнело в глазах, и я

СЕРДЕЧНАЯ МАТЬ И ЕЕ ЛЮБОВНИК ПЫТАЛИСЬ ОПРАВДАТЬ СЕБЯ ТЕМ, ЧТО ДЕВОЧКА ПО НОЧАМ МОЧИЛАСЬ В ПОСТЕЛЬКУ / НЕКАЯ ЖЕНЩИНА, ЗАШЕДШАЯ ОКОЛО ПОЛУДНЯ С МАЛЕНЬКИМ МАЛЬЧИКОМ В МАГАЗИН БЕЛЬЯ, КУПИЛА ТАМ БЛУЗКУ, НОЧНУЮ РУБАШКУ, ТРИ БЕЛЬЕВЫХ ГАРНИТУРА, ТРИ ПАРЫ ТРУСИКОВ, ДВА УТРЕННИХ ХАЛАТА, ПРИ ЭТОМ ОКАЗАЛОСЬ, ЧТО КОШЕЛЕК ОНА ЗАБЫЛА ДОМА, ЖЕНЩИНА ОСТАВИЛА РЕБЕНКА В ЗАЛОГ И, ВЗЯВ ПОКУПКИ, ОТЛУЧИЛАСЬ ЗА ДЕНЬГАМИ, КОГДА ОНА В ТОТ ДЕНЬ ТАК И НЕ ВЕРНУЛАСЬ, ЗА-

рухнула... Тогда вы, наверное, напоролись на веревку, говорю я... вам не было страшно в темноте? И тут я могу смотреть прямо на дно ее души. Я всегда могу видеть ее мысли, как будто лоб этой женщины сделан из стекла, но сейчас там ничегошеньки не видно, кроме того, что она действительно хотела принести цветную капусту и напоролась на веревку. Ее муж сидит наверху в своей каморке, и я говорю ей: сейчас пойду обменяю пару хромированных картинок. И вот он сидит передо мной и вклеивает газетные заметки в альбом — обычным своим способом убивая воскресное утро. А я стою прямо рядом с ним и, перегнувшись через стол, читаю эти заметки — только чтобы вывести его из себя, чтобы увидеть, как он смотрит на меня укоризненно, как будто ему грустно от самого факта моего существования и от того, что я читаю такие штукенции. Я перегибаюсь как бы через стол, но на самом-то деле я перегибаюсь, разумеется, через него. Неплохая шуточка, говорю я. Какая именно? — спрашивает он печально, испуганно и раздраженно. Подбородком я указываю на последнюю заметку: мужчина, основавший новую религию, требовал от мужчин деньги за то, чтобы он с их женами совершал половые прегрешения. Я с трудом сдерживаю смех, думая о вчерашнем вечере, о красной полосе у нее на горле... Я тихонечко его трогаю, то есть довольно отчетливо чувствую его колено своим бедром — а хотелось бы везде его потрогать, везде обнять, узнать целиком, и потешаться над ним, и мучить, и причинять ему боль... Каждый что-нибудь да делает, говорю я, мой отец, например, тешится голубями, а вы — газетными заметками. Я знаю, что, сравнивая его с другими, очень сильно его задеваю, и я вынуждена сделать усилие, чтобы скрыть усмешку. Тогда он отвечает, немножко неожиданно, и этим словно бьет меня по лицу: а с чем играешь ты? И я вижу его мысли: ты приходишь сюда, чтоб поиграть со мной... ты приходишь сюда, чтобы почти незаметно сделать надрез на моем сердце и поглазеть на ту малость моей разжиженной крови, которая будет оттуда по капелькам вытекать. А я отвечаю: я коллекционирую этикетки с цветами, потому что я одинока. И вдруг до меня доходит, что его заметки вовсе не смешные, а довольно-таки жестокие. Вот что он видит в них: что это слишком жестоко. Я стала бы вырезать такие заметки, чтобы просто позлорадствовать, а он вырезает жестокие вещи, которые причиняют ему боль. Каким-то образом он любит вещи, которые ему причиняют боль, может быть, поэтому он и женат на ней. Я стою рядом с ним, очень близко, и я причиняю ему боль, именно эту боль он и вкушает, как лакомство.

Его жена становится все заковыристей. С каждым днем делается труднее с ней ладить, но не в этом дело — мне безразлично, как она себя

ВЕДУЮЩИЙ ПОНЯЛ, ЧТО ЕГО ОБМАНУЛИ, ЖЕНЩИНА ОБЪЯВЛЕНА В РОЗЫСК, А МАЛЬЧИК ПОМЕЩЕН В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДЕТСКИЙ ПРИЮТ / ЗА НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ ДО СВОЕЙ СВАДЬБЫ ЖЕНИХ И НЕВЕСТА СОВЕРШИЛИ ДВОЙНОЕ САМОУБИЙСТВО, БРОСИВШИСЬ В КАНАЛ, – ЭТО ОБНАРУЖИЛ В 4 ЧАСА УТРА ОДИН РАБОЧИЙ, НАШЕДШИЙ НА ДАМБЕ ДВА ВЕЛОСИПЕДА И МУЖСКУЮ ЖИЛЕТКУ, КОГДА РОДСТВЕННИКИ ЭТОЙ ПАРЫ БЫЛИ ОПОВЕЩЕНЫ, ОНИ СНАЧАЛА ОТКАЗЫВАЛИСЬ ПОВЕРИТЬ, ЧТО СЛУЧИЛОСЬ ИМЕННО САМОУБИЙСТ-

ведет, я только хочу сказать, что она противна мне, как и другие. С некоторых пор я начертила вокруг себя некую окружность, внутри которой живу почти в безопасности и сквозь которую я ничего, что мне мешало бы по-настоящему, не пропускаю. Можно сказать – я построила себе стеклянный домик, изнутри которого наблюдаю, как она с каждым днем становится все заковыристей. Мне просто хочется наблюдать, как она себя ведет, – так же, как я наблюдаю поведение собственных родителей или соседей, – но мне вовсе не хочется, чтобы они втягивали меня в свою орбиту. Забавно на них смотреть, однако, когда они просят "принять участие", мне делается очень неуютно. Раньше она была как-то проще, и потому мне было легче наблюдать, как она бегала туда-сюда и составляла разные планы, – да, просто наблюдать для того, чтобы иногда, вваливаясь, как слон в посудную лавку, то есть делая что-то совершенно немыслимое, эти планы ломать, но самое главное, чтобы я могла досаждать ей вопросами – бить и бить в одну точку, пока это не становилось для нее действительно небезопасным, и тогда она инстинктивно отшатывалась... Но сейчас я должна быть более внимательной, чтобы не делать никаких ошибок, а то она чуть что – сразу начинает беситься. Сейчас она больше всего походит на скаковую лошадь, которая выкладывается на все сто, чтобы прийти к финишу первой. Я стараюсь пореже ронять иголки и поменьше портачить в шитье. Зато я задаю столько вопросов, что ей делается не по себе. Именно этого я и хочу достичь. Почему она походит в данный момент на скаковую лошадь, считая, что должна выкладываться на все сто? Может, ей кажется, что она не достигнет финиша? Может, она боится, что стрясется что-то роковое, что помешает ей этого финиша достичь? Она хочет улизнуть от этих вопросов – вертится и так и эдак, как дождевой червь в поисках лазейки. Иногда ее прошибает пот. Тогда она вынуждена даже сесть, но в ту же секунду вскакивает, словно села на иглы или раскаленные угли. Она вскакивает злобно и яростно, потому что вынуждена была прервать свою работу и потому что осознала, что уступила нездоровой склонности время от времени отдыхать. Тут она обычно начинает целенаправленно потирать свою поясницу и живот. Я рассказываю ей, что наши предки, кочуя больше трех тысяч лет назад по лесам, яростно барабанили себя по животу, когда он болел. И надавливаю на свой живот. Она спрашивает, почему они так делали. Она спрашивает это с подозрением, правильно полагая, что я снова настроена по-боевому и своими вопросиками-рассуждениями, как острыми стрелами, беспощадно в нее целюсь. Почему? – переспрашиваю я. – Да потому, что они думали, будто внутри их живота ворочаются животные, то есть считали, что звери,

ВО: ВЕДЬ НЕ БЫЛО НИКАКИХ ПРИЗНАКОВ ТОГО, ЧТО ЖЕНИХ И НЕВЕСТА, ПО ГОРЛО ЗАНЯТЫЕ ПРИГОТОВЛЕНИЯМИ К СВАДЕБНОМУ ТОРЖЕСТВУ, УЖЕ ТАК УСТАЛИ ОТ ЖИЗНИ, ЭТУ МОЛОДУЮ ПАРУ СОСЕДИ ЧАСТО ВИДЕЛИ ГУЛЯВШЕЙ ВДОЛЬ КАНАЛА ПОД РУЧКУ И ОЧЕНЬ УВАЖАЛИ; НИКТО НЕ МОЖЕТ ОБЪЯСНИТЬ, ЧТО ИМЕННО ПРИВЕЛО ИХ К ТАКОМУ ОТЧАЯННОМУ ПОСТУПКУ / 51-ЛЕТНЕМУ ТОРГОВЦУ РАДИОПРИЕМНИКАМИ, 3 ГОДА НАЗАД ПЕРЕНЕСШЕМУ ОПЕРАЦИЮ, ПОКАЗАЛОСЬ, БУДТО ИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ МЕДИЦИНСКОГО ОБ-

которые были в свое время съедены, остаются в их утробе живыми, толкаются там и причиняют боль брюху. Вы верите, что внутри нас могут жить звери? — спрашиваю я. (Эту стрелу я отправила издалека, было бы чистой случайностью, если б она в нее попала...) А она, слегка массируя свой живот, предлагает натереть мастикой весь дом, с подвала до чердака, — работать, вкалывать и, главное, не думать, чтобы, может быть, таким образом спастись от зверей, обретающихся внутри нас. То есть она надеется, что после дня работы без перерыва она избавится "от этой тяжести в животе". Тем временем я рассказываю ей о соседке, у которой случился выкидыш, я рассказываю ей о больнице и докторах — обо всем, что в связи с этим мне приходит на ум. В исповедальне, говорю я, всегда таинственно шепчут о Его теле... В исповедальне все это является чем-то, что должно остаться глубоко в тени, о чем нельзя говорить, чего нельзя трогать и вытаскивать на свет Божий, а из сумрака исповедальни входишь в кабинет врача, и он говорит тебе: раздевайтесь. Там очень светло и голо, там страшно много света и везде сверкающие инструменты, а врач вас ощупывает, выстукивает и прослушивает. Я рассказываю ей, что все мы на самом деле живем в двух разных мирах, сосуществующих рядом, пересекающихся друг с другом и проникающих друг в друга странным образом, словно вслепую, так что один мир никогда не видит другого. Иногда я говорю доктору, что мне нельзя раздеваться, а если разденусь, мне после надо будет покаяться об этом в исповедальне, но он закрывает глаза на свою веру и говорит, что я должна помочиться в баночку. А в исповедальне я, конечно, рассказываю все, что велел проделывать мне доктор, но не потому, что это меня как-то волнует, а чтобы понаблюдать, замечают ли они, что их сцепленные друг с другом миры в какой-то момент теряют всякий смысл. Она стоит, поглаживая свой живот, и я рассказываю ей все это. Я ее таскаю за собой по всей этой путанице — Божий мир, целиком созданный в темноте, и мир науки, которая выставляет свои результаты под яркий искусственный свет. Но она по-прежнему отворачивает голову, как червяк, который ищет себе лазейку. Тут входит муж, и она вымещает на нем весь свой страх и злобу. Он страдает от этого, он стоит и смотрит на нее беспомощно и хочет знать, "где тяжесть". Он стоит, прямо как будто он доктор и есть, — ощупывая, он водит руками по ее животу. Она вроде что-то пытается отодвинуть, а он ощупывает, будто хочет что-то достать — будто он хочет нащупать внутри нее зверей и найти наконец выход, через который их можно было бы удалить. У меня такое чувство, словно мне все время есть хочется, говорит она почти в ярости. Прямо как будто он виноват, что она чувствует нечто, в

СЛЕДОВАНИЯ ВЫТЕКАЕТ, ЧТО У НЕГО РАК МОЗГА И ЧТО ОН СКОРО УМРЕТ; ПОСКОЛЬКУ У НЕГО БЫЛ СЫН, КОТОРОМУ ОН ХОТЕЛ ДАТЬ ХОРОШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ, А ДЛЯ ТОГО НАКОПИТЬ НЕОБХОДИМЫЙ КАПИТАЛ, ОТЕЦ РЕШИЛ ОСТАВШЕЕСЯ ВРЕМЯ РАБОТАТЬ БУКВАЛЬНО НА ИЗНОС – НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ НАЗАД ЕГО ЖЕНУ РАЗБУДИЛ ЗАПАХ ГОРЕЛОГО, СПУСТИВШИСЬ, ОНА НАШЛА МУЖА В ЕГО МАСТЕРСКОЙ: КАК ВСЕГДА ВСТАВ РАНО, ОН ПО ОШИБКЕ ПОДКЛЮЧИЛ РАДИОПРИЕМНИК К КАБЕЛЮ, ИМЕВШЕМУ 1100 ВОЛЬТ: ЭЛЕКТРОТОКОМ

чем не хочет признаться, и "нечто" – это тяжесть, а не голод. Но я вижу то, чего не видит он. Гигиенические прокладки – когда они были разбросаны по дому в последний раз? Итак, она беспрерывно ощупывает свой живот – и вдруг ее рвет. Бесполезно ей ощупывать свой живот, в нем действительно сидит зверь, и спустя определенное время он вылезет из своего укрытия. По сути, мне даже смешно: я, не будучи совершеннолетней, вижу, что она беременна, что она стоит посреди комнаты с ребенком внутри себя, а они – ей двадцать пять, ему двадцать девять – они пялятся друг на друга так же недоуменно, как это делали их пращуры три тысячи лет назад. Он помогает ей: кладет свою руку на ее лоб и советует, чтобы облегчить рвоту, соединить пятки... Но вдруг он вскидывает глаза – проверить, я все еще тут и смотрю ли я на них. Это поражает меня, потому что мое внимание было приковано к ней (я наблюдала, как ее рвет) и к нему (я наблюдала, как он пытается облегчить ее рвоту) и я напрочь забыла, что вокруг меня воздвигнут стеклянный домик. Я вылезла из этого домика, чтобы застукать их на месте преступления, а тут он вдруг вскидывает на меня глаза. Я чувствую себя беззащитной улиткой, которая неосторожно выползла из своего завитка. Да, я стою перед ним открытая, голая и беззащитная. Он смотрит мне прямо в глаза, прямо мне в губы. Естественно, я тут же принимаю безразличное выражение – тут же, но... слишком поздно. Он замечает, что я улыбнулась, наблюдая, как его жену рвет. И по этому признаку он сразу понимает, что она беременна. "Так улыбаются только по поводу беременных", – читаю я его мысли. Для меня его прозрение очевидно: он уже по-другому смотрит на нее, он уже замечает пятна на ее лице и даже (наконец-то!) видит увеличенный живот – а руку свою, которую клал ей туда ("чтобы облегчить рвоту"), он резко сейчас отвел – из страха чем-то навредить ребенку. Но то, что он это наконец усек, не имеет значения: через пару недель уже никто не будет особенно напрягать зрение – и за километры всем будет видно, что на этом дереве растет плод. Но так глупо, что меня застали врасплох! Потому что, едва отвлекшись от нее, он глазеет на меня снова. Теперь он опять будет целый вечер пялиться на меня как на существо, которое он видит словно впервые – моллюска или, скажем, садовую улитку, которая слишком далеко выползла из своего домика. А вчера вечером у нас был до-о-октор, говорю я. Этим я как бы квитаюсь с ним – досаждая за то, что он застал меня врасплох. Они не реагируют. Да, они молчат – в то время как у меня все напрягается, затвердевает каждая частица моего тела, души, мозга – да, и там, между ногами, тоже мобилизуется все, чтобы защитить меня от любого его ответа. Так каждый человек, падая, мгновенно весь соби-

МУЖ БЫЛ И УБИТ – КСТАТИ, РАК МОЗГА ПРИ ВСКРЫТИИ НЕ ОБНАРУЖИЛСЯ/ НЕКИЙ НЕИЗВЕСТНЫЙ СДЕЛАЛ ЗАЯВЛЕНИЕ, ЧТО ОН УПОЛНОМОЧЕН ПЕРЕДАТЬ СЕКРЕТНОЕ ПОСЛАНИЕ ГИТЛЕРА, ИЗЪЯСНЯЯСЬ ТАИНСТВЕННЫМ ОБРАЗОМ, ОН ЗАЯВИЛ, ЧТО СКОРО БУДЕТ СДЕЛАН СИГНАЛЬНЫЙ ВЗРЫВ И НАСТУПИТ РЕВОЛЮЦИЯ – ЭТОГО ЧЕЛОВЕКА ОПРЕДЕЛИЛИ В ПСИХИАТРИЧЕСКИЙ СТАЦИОНАР / "МАСТЕРОМ ЧЕРНЫХ ХОЛМОВ" ИМЕНОВАЛ СЕБЯ НЕКИЙ ПЕРСОНАЖ, ОБЪЯВИВШИЙСЯ ТАКЖЕ ПРОРОКОМ НОВОЙ РЕЛИГИИ – ЗА ГОДОВОЙ

рается, так я, услыхав грохот, напрягаю мышцы, подбираю живот, втягиваю голову, сразу все вместе, еще до осознания, что именно произошло — взрыв или, например, машина, выйдя из-под контроля, влетела на тротуар... Вот так же я готовлюсь к его ответу. Но он молчит. Отзовись! — кричу я из самой глубины своего существа — в ярости и унижении я беззвучно молю его об ответе... Вечер проходит обычно: он, как всегда, вырезает жуткие случаи из газеты — убийства, безумства. Но в целом вечер этот проходит как всегда — ничем не выдающийся и пустой. Его вечер — и мой. Последнее время между мной и ними возник некий шлагбаум. Это ребенок, который уже в пути, он должен прийти, проломив ворота плоти. А ведь я постоянно бывала у них в доме, пока они мне это не запретили — иначе я находилась бы даже возле ее постели при родах. В конце концов они сказали мне, что к ним нельзя, они схватили меня и завязали глаза — будто там должно произойти такое, что, по негласному соглашению, не может быть явлено мне воочию — как, например, посещение отхожего места. Шлагбаум, опущенный их усилиями, невидим. Я перехожу улицу и с размаху налетаю на него — даже у себя дома, вспоминая их слова, я чувствую его всей кожей. Как глупо — не сегодня-завтра ко мне тоже придут перемены, и я стану как все, и появится мужчина, чтобы осеменить меня, но пока в моем присутствии о таких делах помалкивают. Я должна ждать — ровно до той минуты, когда кто-то войдет и объявит, что вот-де родился ребенок, все прошло нормально: она, правда, немножко измучена и еще слаба, но в целом... И потом кто-нибудь скажет то, что всегда говорят в таких случаях, потому что у них в запасе совсем мало слов: да-а-а, без труда не вытянешь и рыбку из пруда... А другой на это ответит: входит-то оно с песней — выходит с плачем. И при этом они напустят на свои физиономии такое выражение, будто придумали это изречение сами — хотя то была шутка с бородой еще во времена царя Гороха. И тогда я наконец прихожу к ним в дом, уже зная, что это совершенно другой дом, что он больше не принадлежит этому мужчине и этой женщине, а целиком принадлежит ребенку, который возник между ним и ею. Они говорят, что ребенок их связывает, но он опустился между ними, как шлагбаум, и будет теперь только разделять. На мужчину я не смотрю, поскольку он пока не имеет значения, сначала я хочу увидеть самого ребенка. Она спит, когда мы вместе разглядываем ребенка возле его постельки, он дает ребеночка мне на руки, не выпуская его в то же время из своих. Я не знаю, нравится ли мне ребенок, ничего особенного в нем нет — маленький старый человечек в морщинах, пахнущий чем-то, что мне скорей неприятно, даже слишком неприятно, чтоб обнаружить в этом что-нибудь умилительное. Он лежит между на-

ВЗНОС В 100 ФРАНКОВ ОН ОБЕЩАЛ ПОСВЯЩАТЬ НЕОФИТОВ В РЕЛИГИОЗНЫЕ МИСТЕРИИ; ЧТО КАСАЛОСЬ НЕОФИТОК, С НИМИ ПРОРОК ОГРАНИЧИВАЛСЯ ПОЛОВЫМИ ЗЛОДЕЯНИЯМИ / У ПАРИЖСКОЙ ТАНЦОВЩИЦЫ ПО ИМЕНИ ЛЯ ГУЛЮ, КОТОРАЯ РАСПРОСТРАНИЛА КАНКАН – ЕЕ ТАНЕЦ БЫСТРО СТАЛ ПОПУЛЯРЕН И ВОСПРИНИМАЛСЯ ВО ВСЕМ МИРЕ КАК ПРЕСЛОВУТОЕ ПОРОЖДЕНИЕ ПАРИЖСКОЙ НОЧНОЙ ЖИЗНИ, – ТАК ВОТ, У САМОЙ ЛЯ ГУЛЮ ЖИЗНЬ ПОШЛА ПОД УКЛОН: ХОТЯ ТАНЕЦ ЕЕ И ПРОИЗВОДИЛ ФУРОР, ТАНЦОВЩИЦА СОВСЕМ ОПУС-

ми, и мне жаль, что он разделяет нас, да, именно так – снова шлагбаум. Может быть, это случайно, но с тех пор, как появился этот ребенок, я повсюду вижу шлагбаумы. Я уже сожалею, что попросила показать мне ребенка – я должна была прийти, как будто ничего не произошло: как будто ребенок является чем-то, что следует скрывать до времени в ящике, пока оно не подросло. (Именно так она всегда относилась к детям других.) Но что же мне сейчас следует сказать мужчине – ведь, во всяком случае, не то, что я уже сожалею о своем желании увидеть ребенка? И вдруг я чувствую его руку. Она меня трогает. Сколько их уже было, всяких разных мужчин, которые бессловесно и как бы случайно лапали мою грудь? На улице, и в трамвае, и в церкви, и в магазинах – везде непременно найдутся какие-то слепые мужские руки, которые вдруг "случайно" тебя огладят... но сейчас это его рука – наконец-то! "Наконец-то", говорю я, но в глубине души произношу это с сожалением. Лучше, если бы это не случилось никогда, но оставалось так, будто может случиться в любой момент. Меня возбуждала сама мысль, что это его робкое блуждание рук может вот-вот начаться. Но сейчас уже слишком поздно, это уже произошло – как раз в то время, когда между нами лежит ребенок, хоть плачь. Раньше мне это показалось бы смешным, даже глупым, что он ищет руками что-то, что даже не стоит называть словом, настолько оно маленькое и незначительное. Но сейчас мне это невыносимо, все это настолько глупо, даже бредово. Под бредом я имею в виду, что мне сейчас и смешно, и грустно... все перемешалось. Смешно, что я тут стою с маленьким старым человечком на руках, и грустно, что его отец стоит напротив и стыдится, что он, не без помощи этого лежащего ребенка, меня тискает. Через шлагбаум. Внезапно я подымаю на мужчину глаза. Я долго терпела, но теперь больше не могу, и я смотрю на него, стараясь глазами сказать, чтобы он прекратил свои попытки обнять меня через проволочную загородку – ребенка. Хватит, говорю я глазами... потому что все это слишком и смешно и грустно. Но тут проснулась она, и я вынуждена была проглотить все, что намеревалась сказать ее мужу. Ладно, скажу позже, а может быть, никогда. Она изменилась больше всех. Сейчас мне вдруг становится ясно, почему некоторым животным дают другое название после того, как они принесут приплод: они получают его за то, что становятся другими. Она теперь тоже совсем другое существо. Она лежит – и лежит как будто нездорова, я еще никогда не видела ее такой. Она стала не только прозрачнее (открывая чужому взгляду органы, существование которых всегда отрицала), но главное – ее глаза смотрят на меня уже не так, как раньше. Она меня о чем-то просит. Раньше она только давала указания, а сейчас она просит. Не могла бы я почистить

ТИЛАСЬ И НЕСКОЛЬКО ЛЕТ НАЗАД УМЕРЛА СОВЕРШЕННО ЗАБЫТОЙ; НЕЗАДОЛГО ДО СМЕРТИ ЕЕ ВИДЕЛИ ТОРГУЮЩЕЙ ВРАЗНОС ЧЕСНОКОМ ВО ДВОРАХ МОНМАРТРА / В БАГАЖЕ ОДНОГО МУЖЧИНЫ, ВНЕЗАПНО УМЕРШЕГО НА БОРТУ САМОЛЕТА, НАШЛИ ГЕРОИН НА СУММУ 20 000000 ФРАНКОВ / МАЛЕНЬКИЕ КУПАЛЬЩИЦЫ, ОТПРАВИВШИЕСЯ В ГОРОДСКОЙ БАССЕЙН, ВСТРЕТИЛИ НА БЕРЕГУ РЕКИ НЕКОЕГО МУЖЧИНУ, РАЗГУЛИВАВШЕГО В НЕПРИСТОЙНОЙ ОДЕЖДЕ / ВОТ УЖЕ НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ ПОЛИЦИЯ РАЗЫСКИВАЕТ ДЕВУШКУ, КОТО-

картошку? Иначе это должен будет сделать он... Она всегда рассматривала чистку картошки как нечто скучное и отнимающее кучу времени, а на самом-то деле просто ненавидела это занятие, потому что каждая картофелина лежала в ее руках тепленькая и живая, и, чтобы снять кожуру, надо было до нее дотрагиваться... Я бросаю голенькую картофелину в ведро — оттуда летят брызги... как от брошенного в воду ребенка.

А в один прекрасный день мужчину приносят домой, и он остается лежать. Ничего серьезного, но болеть таким образом ему нестерпимо. Грипп, или боль в желудке, или головная боль считаются как бы естественными недугами, а вот рухнуть с железной лестницы, или быть сбитым машиной, или порезаться стеклом — это неестественно, потому что такие травмы моложе, чем мир и сам человек, — это новые несчастья, которым отчаянно сопротивляются все ткани нашего животного тела. Он лежит спокойно, но впадает в ярость, когда она ему говорит, чтобы он готовился к очередному визиту врача. Сначала это была она, лежавшая в недомогании из-за ребенка, и он крутился вокруг нее, как последний болван, становясь абсолютно беспомощным при виде чужого страдания. А сейчас он слег сам, и она понукает его, чтобы он быстрей поправлялся, потому что чужое страдание она на дух не переносит. Вот это и есть главная разница между ними. Они любят друг друга — именно потому, что ничего общего у них нет. Я ненавижу его за то, что он слишком похож на меня. Он сидит там в кресле, а через пару недель поправится и вернется в свои морозильные камеры и будет по-прежнему собирать газетные заметки, а ребенок будет себе расти у него на глазах. А дальше? В зеркале я вижу, как он лежит, следя за мной, и как этот самый, униженный, молящий и беспощадный, нацелился у него под комбинезоном прямо на меня. Если бы губка в моих руках могла превратиться в камень! Я бы швырнула этот камень в зеркало — прямо в отражение этого возбужденного самца! Я б засадила ему камнем как раз между ног, чтобы это наконец закончилось — это и вообще все. Почему ж я не могу запустить в него булыжником, почему я должна постоянно скрывать все, что знаю я и что отлично знает она? Черт с ним, пропадай все пропадом — сяду к нему в кресло!.. И вот он лежит под моими руками — таким же открытым и беззащитым, какой всегда чувствовала себя перед ним я. Сейчас, в первый раз, я могу потрогать его везде, я полностью, под завязку, наслаждаюсь его болью, равно как и полнейшей бредовостью происходящего. И я рассказываю ему все это, потому что он не имеет права не знать то, что он знать обязан — ни один человек не имеет права уклоняться и не знать. И в это самое время дверь наверху открывается, и она, с младенцем в руках, смотрит на нас вниз.

РАЯ САМЫМ ЛЮБЕЗНЫМ ОБРАЗОМ ПОМОГАЕТ ПОЖИЛЫМ ЛЮДЯМ, ЧТОБЫ, УЛУЧИВ МОМЕНТ, СМЫТЬСЯ С ИХ СУМКАМИ / ГРУППА КРАСОТОК, ЖИВШИХ ДО ТОГО В СОСЕДНЕМ ЛЕСУ И ВЕДШИХ В ОБЩЕСТВЕ ДЕЗЕРТИРОВ ЖИЗНЬ ПРИМИТИВНУЮ И БЕЗНРАВСТВЕННУЮ, ПОЯВИЛАСЬ В ГОРОДЕ, ЧТО ВЫЗВАЛО У ЖИТЕЛЕЙ НАМЕРЕНИЕ УЧИНИТЬ СКОРУЮ РАСПРАВУ НАД ЭТИМИ ДЕВИЦАМИ, КОТОРЫЕ БЕССТЫДНО ЗАПОЛОНИЛИ УЛИЦЫ, ПРИТОМ СВОИМИ ВЫЗЫВАЮЩИМИ МАНЕРАМИ МЕШАЛИ ПРОХОДИТЬ БЛАГОПРИСТОЙНЫМ ГРАЖДАНАМ – РАЗ-

Часть третья. Остров

Нет, не могу я тут оставаться — не хочу до конца жизни торчать одна как перст. Человек рождается не для того, чтобы сидеть в одиночной камере. Одиночество — это, конечно, наказание. Ведь только тех наказывают заключением, кто совершил убийство или сошел с ума, — тех, кто каким-то образом, из-за своих речей или сумасшествия, оказался вне общества. Все остальные, нормальные, связаны друг с другом — мы должны, видимо, идти куда-то, мы делаем что-то все вместе... Мне хочется быть вместе с этими другими, а не торчать тут, будто я совершила преступление. И мне не хочется думать о том, куда именно мы идем, нехорошо так сидеть и думать об этом — или задавать себе вопросы. Мы должны стремиться вперед — спотыкаясь, продираясь сквозь ночь, сквозь тьму. Но она со своими вопросами! Они вдвоем еще, чего доброго, меня несчастной сделают, особенно она, ребенок, — она и сама плохо кончит, я это знаю. Постоянно я твержу ей, что совершенно ни к чему так много спрашивать, так обо всем допытываться, обо всем потом размышлять... и какие странные вопросы, какие дурацкие мысли! Тебе нельзя так глубоко вникать в это, говорю я ей, и это правда: кто вникает слишком глубоко, тот пропадает, такова жизнь. Как и он сейчас: он просто сидит и задает себе всевозможные вопросы. Он вырезает черт знает что из газет и откладывает, а какая с этого польза? Я должна сохранять для него все эти газеты, будто мне больше делать нечего! Зачастую я просто сжигаю их в печке или что-нибудь в них заворачиваю. Почему он не хочет чем-нибудь заняться, почему бы ему, скажем, не поразвлечься иногда с голубями, как это делает мой отец, или не пропустить кружечку пива воскресным вечером, как это делают другие мужчины? Они-то идут верным путем, но он... если почитать эти заметки, можно подумать, будто что-то не в порядке, будто что-то явно не в порядке, вот он так и думает: сидит там у себя, словно уже наступил конец света.

Хотя что может быть хуже, чем сидеть вот так без дела и задавать себе вопросы, на которые нет ответа? Раньше я никогда так не жила — имею в виду, в постоянном страхе за него и за мир — такой, каким он, наверное, является ему в мыслях. Эти двое вселяют в меня страх, забивая мне голову своими мыслями, как сорняками, всяческим чертополохом, что разрастается по садику тут и там, особенно после дождя. Все, что могут делать люди, — это выпалывать и выпалывать, то есть бороться против мыслей-сорняков. Он отчасти прав: в определенном смысле мы дей-

ДРАЖЕНИЕ ЖИТЕЛЕЙ ВСКОРЕ НАШЛО ВЫХОД, И ЦЕНТР ГОРОДА МИГОМ ПРЕВРАТИЛСЯ В СВОЕГО РОДА ОХОТНИЧЬЕ УГОДЬЕ: ТОЛПА ХВАТАЛА СЛУЖАНОК ВЕНЕРЫ, РАЗДЕВАЛА ИХ ДОГОЛА И ВЕЛА ПО ГОРОДУ, ПОДВЕРГАЯ ОСКОРБЛЕНИЯМ И ОСЫПАЯ ПИНКАМИ / ТРИ МАЛЬЧИКА СОВЕРШИЛИ БЕЗНРАВСТВЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПО ОТНОШЕНИЮ К 10-ЛЕТНЕЙ ДЕВОЧКЕ, КОГДА ТАКОВАЯ НАХОДИЛАСЬ НА МЕДИЦИНСКОМ ОСМОТРЕ / МУЖЧИНА, ПРИГОВОРЕННЫЙ ЗА УБИЙСТВО К СМЕРТНОЙ КАЗНИ, БЫЛ ПОМЕЩЕН НА ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

ствительно взрастили другой по отношению к первозданному мир — мы истребили диких зверей и вырастили им взамен более красивых животных, мы уничтожили сорняки и посадили вместо них овощи и фрукты, это новый мир, который мы должны содержать как сад, как дом — он ветшает, гниет, его крыша протекает, если не поддерживать в нем порядок. Сквозь последние джунгли люди прокладывают автострады, роют каналы и на расчищенных местах возводят небоскребы; если мы не будем постоянно бороться, все снова превратится в джунгли — с диким зверьем, с сорняками... Я об этом чуточку призадумалась — после того как она меня спросила, зачем это нужно, почему мы живем не в лесах и не собираем диких ягод. А я собираю только дикие цветы, говорит она, белые лесные цветы. Тут я бессильна!.. В доме моих родителей об этом никогда не говорили. У моего отца не было времени забивать себе голову такими делами, он садился за стол, довольный работой, которую до этого сделал, и приходил в ярость, если обед не подавался ровно в полдень. Ох, что бы было, если б обед не подали вовремя! А мы бы еще ему объясняли: знаешь, мы тут размышляли — о том, о сем... Так уж было заведено, что он всем нам давал конкретное задание на день, но его собственное было самым тяжелым — и он, выкладываясь на всю катушку, всегда доводил дело до конца. И у нас считалось зазорным копаться в своих мыслях, как это они тут себе позволяют, но зато нам, детям, можно было выйти из дома и где-нибудь поразвлечься. В воскресенье, например, полагалось выезжать на прогулку: я, в развевающейся юбке, на своем до блеска вымытом велосипеде, ездила купаться или грести на каноэ, и, когда наступали сумерки, мне можно было где-нибудь потанцевать и пропустить кружечку прохладного, с пышной пеной, пивка, и погорланить песни с парнями по дороге домой. Но уж в понедельник утром мы в любом случае должны были быть в рабочей форме. Он крестился, мой отец, когда подавали обед, ну а потом курил трубку и читал ежедневную газету. Мать перемывала с ним во всех подробностях жизнь предместья: там все друг друга знали, и родители возмущались, когда что-то случалось между замужней женщиной и тем или иным мужчиной или когда незамужняя оказывалась беременной. В мастерской моего отца царила оживленная жизнь — такая же, как и на нашем огороде, где у нас росла картошка и всякие овощи, а сейчас мой садик день ото дня чахнет, потому что у меня не хватает на него времени; мне горько и досадно, когда я вижу, как все забивают сорняки, а эти если и выходят в садик, то только пошляться там, причем даже пальцем не пошевелят, чтобы что-нибудь сделать — да, только пошляться себе да повосхищаться: ой, какой одува-а-анчик! Они живут в мире морального разложения и даже не понимают

СТУЛ И УЖЕ БЫЛ ПРИВЯЗАН К НЕМУ, КОГДА ВДРУГ ПОДАЧА ЭЛЕКТРИЧЕСТВА ПРЕРВАЛАСЬ, ОСУЖДЕННЫЙ СПОКОЙНО ЖДАЛ ЧЕТВЕРТЬ ЧАСА, ПОКА НЕ ОБНАРУЖИЛАСЬ ПРИЧИНА ДЕФЕКТА, ПОСЛЕ ЭТОЙ НЕОЖИДАННОЙ ЗАДЕРЖКИ ПОДАЧА ЭЛЕКТРИЧЕСТВА ВОЗОБНОВИЛАСЬ, И ПРАВОСУДИЕ ВОСТОРЖЕСТВОВАЛО / ОКОЛО 19.30 НЕКИЙ МУЖЧИНА С ОКРОВАВЛЕННОЙ ПОВЯЗКОЙ НА ГОЛОВЕ ПЫТАЛСЯ ВЫПРЫГНУТЬ НА ХОДУ ИЗ ЛЕГКОВОГО АВТОМОБИЛЯ, НО ДВОЕ МУЖЧИН, ПРИМЕНИВ СИЛУ, УДЕРЖАЛИ ЕГО, И АВТОМОБИЛЬ НА ПОЛНОЙ

этого. Между ними и мной давно уже воцарился какой-то хаос, они перестали меня понимать. В юности выпала мне как-то одна полоса, когда я считала, что у меня все сложится неудачно, поэтому я замкнулась и спрятала слезы. Тогда мне было пятнадцать, и я познакомилась с одним мужчиной — в воскресный день, когда я сначала покаталась на велосипеде и потом, как всегда, поплавала. Мне было немножко страшно, потому что он тогда сразу пошел в атаку, то есть разделся. Это было впервые, что я увидела мужчину таким, каков он есть, и он тоже захотел видеть меня такой, какова я от природы. Для меня это было потрясение, мне казалось, будто я сделала нечто такое, что совершенно не соответствует миру, которому я принадлежу, что является даже этому миру изменой, — "этот мир", говорю я, имея в виду мир моего отца, родовой клан, который составляли мы, домочадцы. Своим поступком я словно порвала с родовым кланом, предприняв что-то по собственному почину — неосмотрительное и, главное, преступное. Это длилось несколько месяцев, несколько летних месяцев, — все воскресенья мы были вместе и общались так, как на самом деле, считала я, возбраняется общаться пятнадцатилетней девочке со взрослым мужчиной. Он не был женат, он говорил мне, как сильно меня любит и как этот у него все время на меня встает. Этого я пугалась, мне не нравилось, что он так говорил — существовало много всякого разного, о чем можно было бы потолковать, так почему всегда только о нем? Я тяготилась виной — я словно смешалась с чужими и жила среди них, я мнила себя предательницей... Дома я чувствовала себя плохо, зная, что отдалилась от своих, а с ним я чувствовала себя плохо, потому что он говорил об этих делах. Единственной моей защитой был смех. Я издевалась над его этим самым как только могла. И вдруг наши отношения выплыли наружу — кто-то застукал нас вместе, когда мы уже катили домой на велосипедах, хорошо, что не там, у воды. Я думала, что дома будет большой скандал, я буду проклята и отвергнута родовым кланом, но этого не случилось. Оказалось, что моя ситуация считалась чем-то в порядке вещей, что она была обычной частью человеческой жизни и вообще нашего мира. Мать только сказала, что девочке негоже связываться с многоопытным мужчиной. Девочке дозволено гулять, развлекаться, после работы ей можно покататься на велосипеде, потанцевать, а еще пропустить кружечку пива и поразвлекаться с парнями. Но не с многоопытными мужчинами.

Я, кстати, забыла этого типа, хотя он еще некоторое время старался со мной встретиться и даже письма писал, в которых говорил о всяких таких делах, от которых я раньше бы в ужас пришла. Но с того момента, когда мне мать все объяснила, страшно мне уже не было. Я

СКОРОСТИ УМЧАЛСЯ, ОДНАКО ИХ УДАЛОСЬ ДОГНАТЬ И ОТПРАВИТЬ В ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК – МУЖЧИНА, ПЫТАВШИЙСЯ ВЫБРОСИТЬСЯ ИЗ АВТОМОБИЛЯ, ОКАЗАЛСЯ В ТЯЖЕЛОМ СОСТОЯНИИ, ЕГО РУКИ БЫЛИ СВЯЗАНЫ, НО ОН ОТКАЗАЛСЯ СООБЩИТЬ СВОИ ДАННЫЕ И С БОЛЬШОЙ НАСТОЙЧИВОСТЬЮ ПРОСИЛ РАЗРЕШЕНИЯ БЕСПРЕПЯТСТВЕННО УДАЛИТЬСЯ / 17-ЛЕТНЮЮ ДЕВУШКУ НА ПЕРЕКРЕСТКЕ НЕОЖИДАННО СХВАТИЛ И ЗАТОЛКАЛ В КАБИНУ ГРУЗОВИКА НЕИЗВЕСТНЫЙ ЕЙ ПАРЕНЬ, ЗА РУЛЕМ СИДЕЛ НЕКИЙ ДЕТИНА,

поняла, что это в порядке вещей, но он просто слишком для меня старый и вряд ли ему следовало говорить мне, пятнадцатилетней, вещи, предназначенные скорей зрелой женщине. И вдруг появился он — я только что рассталась с тем, другим, и появился он — тот, который сейчас является моим мужем. Не помню точно, как это случилось: мы были у друзей, он сидел, будто чувствовал себя не в своей тарелке, — он не танцевал, не пил, но я хорошо с ним тогда поладила — рассказывала ему всякое-разное, кажется, о том, как мне всегда грустно, когда я одна, или когда что-то делаю зря, или когда мы работаем по дому не все вместе. А тем временем я думала и о вечерах, когда надо было сажать картошку, и о том, как мы, выкопав ее, разводили костер, чтобы жечь ботву, — о работе, в которую каждый из нас вносил свою лепту и которая была полезной, а потому делала меня счастливой. Я не смогла это хорошо выразить, потому что было еще много всего, о чем я думала и хотела бы рассказать... Все-таки мне удалось как-то его заинтересовать, и он появился снова, в следующее воскресенье. Мы гуляли вдоль канала, и он тоже рассказывал что-то, но робко и нерешительно. Да, в начале наших отношений он говорил очень нерешительно, как будто у него в голове теснилось слишком много мыслей и он должен сначала упорядочить их, чтобы они смогли одна за другой, организованно выйти через ворота его губ — как школьники, когда в конце уроков гремит звонок. Но иногда ему это не удавалось — слова неслись кубарем, и я ничего не понимала. Тогда я смеялась. Я думала, что это пройдет, он же еще мальчик и он еще может измениться, пока станет мужчиной. В то время я иногда принималась вспоминать того мужчину, который был до него... потому что... как и слова, ласки моего нового друга были очень нерешительны. Его руки блуждали по мне, будто чего-то искали, я ждала, чтобы он нашел это наконец, но ничего не выходило. Тогда я отстраняла его руки, так как эти безрезультатные поиски были слишком уж глупы. Но лучше не стало, я имею в виду эту его манеру искать нечто и ничего не находить. Мне кажется, что на самом-то деле найти что-то конкретное он просто боялся. Хотя, правду сказать, вот нашел же он себе работу в морозильных камерах, а ведь мне мог бы достаться гораздо худший мужчина — такой, например, который заявлялся бы домой под градусом и зверски долбил бы меня, пока бы я не забрюхатела, или такой, который смертным боем лупил бы меня, только чтобы отыграться за то, что судьба ему, видимо, недодала. Большинство мужчин забывают, что именно хотели бы они заполучить от жизни, а вспоминают только по пьянке. Но мой муж, возвращаясь из морозильных камер прямо домой, всегда сразу же брал газету, из которой начинал

КОТОРЫЙ ТУТ ЖЕ ВКЛЮЧИЛ БОЛЬШУЮ СКОРОСТЬ; ПОСЛЕ ДОВОЛЬНО ДОЛГОЙ ЕЗДЫ ПОХИТИТЕЛИ ПРИВЕЛИ ДЕВУШКУ В КАКОЕ-ТО ТЕМНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ, ГДЕ УДАРИЛИ ПО ШЕЕ, ОТ ЧЕГО ОНА ПОТЕРЯЛА СОЗНАНИЕ, ПРИДЯ В СЕБЯ, ДЕВУШКА УВИДЕЛА, ЧТО ОНА ОДНА ЛЕЖИТ РАЗДЕТАЯ НА КРОВАТИ, ЕЕ НОГИ БЫЛИ СВЯЗАНЫ ПРОСТЫНЯМИ, ПОРВАННАЯ ОДЕЖДА ВАЛЯЛАСЬ ПОД КРОВАТЬЮ, ДЕВУШКА БЫСТРО ОДЕЛАСЬ И ВЫШЛА ИЗ ЗДАНИЯ, НО ОТ РАСТЕРЯННОСТИ ЗАБЫЛА ПРОЧЕСТЬ НАЗВАНИЕ УЛИЦЫ, ГДЕ ПРОИЗОШЛА ДРАМА, ТЕПЕРЬ

что-то вырезать, если газета еще не была выброшена. Иногда я принималась расспрашивать его, как там было на работе, да как он проводил день, да каких людей повстречал на улице, да что они ему говорили... И всегда ему было абсолютно нечего мне сообщить. А я ведь расспрашивала его лишь для того, чтоб растормошить, чтобы, может быть, хоть на миг увидеть, как он становится похожим на тех, кто интересуется окружающими, чтобы он смог в конечном итоге стать похожим на приспособленных к жизни. А иногда я, немного посудачив возле дверей с соседкой, потом, дома, пересказывала все эти новости ему. Я еще помню, с какой жадностью всегда ждали новостей в родительском доме — мать и сестры обсуждали их в мельчайших подробностях. А если взять эти сплетни в моем теперешнем квартале...

Боже, ведь даже одной такой малюсенькой новостишки было бы более чем достаточно, чтоб в родительском доме вечер напролет только об этом бы и говорили. А он мои рассказы вовсе не слышал — ему нужны были только эти жуткие происшествия, о которых пишут в газетах, — происшествия, которые вызывают лишь переполох среди наших соседей и про которые хочется как можно скорее забыть. Да, он заживо похоронил себя под вещами, про которые нормальным людям хочется как можно быстрее забыть. Иногда я впадала из-за этого в бешенство — не потому, что он так сидел, не интересуясь жизнью людей и не принимая никакого в ней участия, а потому, что он вел себя так, будто все люди ниже его. И это несмотря на то, что он даже не зарабатывал столько, чтобы в семье возникло хоть какое-то благополучие. Мой брат тоже женился — он купил землю и сейчас начинает строить дом; моя сестра замужем за владельцем процветающего магазина, который уже успел купить машину. Конечно, дело не в этом, не обязательно иметь собственный дом, или машину, или процветающий магазин. Но ведь все равно это часть той цели, к какой все мы стремимся. Если преуспеяние пока не достигнуто, это само по себе, конечно, не преступление, но тот, кто преуспеяния уже достиг, все-таки имеет больше прав судить, каково должно быть истинное положение вещей. А он, мой муж, позволял себе смотреть снисходительно именно на тех, кто чего-то добился. За это я на него иногда и обижалась. И особенно я злилась на то, что он возвращался с работы словно только для того, чтобы вот так, безо всякой цели, запираться, как отшельник, в своей каморке. Я знала, что он неумеха, и я щадила его, когда в доме надо было что-то сделать, — я сама делала все, что нужно. Я относилась к нему с терпением, но терпение у меня не было бесконечным. Когда я в конце месяца подводила баланс, то всегда выходило: мы тратили, что получали. Так мы могли бы тянуть до конца жизни, не де-

ОНА ВЫНУЖДЕНА ОБЪЕЗЖАТЬ ВСЕ УЛИЦЫ ВМЕСТЕ СО СВОИМ ОТЦОМ В ПОИСКАХ ТОГО ДОМА / 22-ЛЕТНИЙ ПАПАША НАНЕС СВОЕМУ 5-ЛЕТНЕМУ СЫНУ СМЕРТЕЛЬНЫЙ УДАР НОЖОМ, ТАК КАК РЕБЕНОК НЕ ХОТЕЛ ЛОЖИТЬСЯ СПАТЬ, МАТЬ, ОФИЦИАНТКА, ПО ВОЗВРАЩЕНИИ ДОМОЙ ЗАСТАЛА СУПРУГА СИДЯЩИМ В КРЕСЛЕ; ГЛЯДЯ ТЕЛЕПЕРЕДАЧУ, ОН СКАЗАЛ: ПОЙДЕМ В СПАЛЬНЮ, Я ДОЛЖЕН ТЕБЕ КОЕ-ЧТО ПОКАЗАТЬ, УВИДЕВ ТРУПИК СВОЕГО РЕБЕНКА, НЕСЧАСТНАЯ МАТЬ ЛИШИЛАСЬ ЧУВСТВ / В НАЧАЛЕ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА НЕКАЯ 13-

лая ни шага вперед, всю свою жизнь мы топтались бы на месте, а нет ничего глупее, чем топтаться на месте, воображая, что ты сделал шаг вперед. Стоять на месте — это шаг назад, всегда говорил мой отец. И это правда. Мы должны куда-то идти, мы должны двигаться вперед, ведь даже Земля куда-то движется, ведь даже растения совершенствуются день ото дня, чтобы в конечном итоге расцвести, — все жаждет двигаться вперед, так или иначе реализовывать себя, совершенствоваться, украшаться. Я знаю, что это чуточку несуразно — поставить себе целью жизни купить машину или особняк. Но не столь важно, какова цель, главное — чтобы мы трудились и совершенствовались. А его я всегда сама должна была подталкивать к делам, которые он делал кое-как, так что я в конце концов должна была брать все в свои руки. Бог, в Которого они уже не верят и в существовании Которого я начала уже под их влиянием сомневаться, является Моим Свидетелем: я всю жизнь вкалывала, и ничто, связанное с работой, не может быть поставлено мне в упрек. Все, что у нас было, я возвела самостоятельно, почти на пустом месте. Я не хвастаюсь, а только привожу это в качестве смягчающего обстоятельства. С раннего утра до позднего вечера я вкалывала. Как часто случалось: еще только рассветало и он еще спал, а полы в доме были мной уже вымыты и был приготовлен кофе, и я еще немножко, бывало, прикорну на постели, чтобы он думал, что мы проснулись вместе, но он даже не замечал ни что полы уже вымыты, ни что завтрак уже на столе, в то время как ему все-таки могло бы иногда прийти в голову, что это все не из воздуха возникает. Нет, он не замечал таких вещей. Зато тут же видел, когда я, бывало, недолго посудачу с соседкой. Он не говорил, что это его раздражает, но я понимала это по его брезгливо оттопыренной губе, а ведь нет ничего противоестественного в поддержании отношений с окружающими нас людьми. Куда же все мы идем, если каждый превращается в остров, на который не перекинуты никакие мосты. Если каждый будет островом, тогда все станут похожими на моего мужа. Каждый будет сидеть один и тихо ненавидеть других. Я отчетливо чувствую, что он все больше удаляется от людей — он не интересуется тем, какие у нас дела и заботы, хотя у всех переживания одинаковые, поэтому любой может из них извлечь для себя и пример, и пользу. И тогда я начала потихоньку приторговывать детской одеждой, а до того еще я немножко выучилась шить; одна из моих сестер вышла замуж за коммивояжера, который торговал такими вещами, а я находила адреса, где можно было бы дешево закупать оптом набивную хлопчатобумажную ткань, чтобы из нее шить нагрудники. Но сначала мне пришлось взять домработницу, чтобы перепоручить ей чистку картошки и все другие дела, на которые человек

ЛЕТНЯЯ ДЕВОЧКА СДЕЛАЛАСЬ МАТЕРЬЮ, ПОДОЗРЕНИЯ ПАЛИ НА ЕЕ ЖЕ СОБСТВЕННОГО ОТЦА, КОТОРЫЙ, ОДНАКО, УПОРНО ЭТО ОТРИЦАЛ, САМА ДЕВОЧКА УТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОШЛОЙ ЗИМОЙ НА НЕЕ НАПАЛ НЕКТО, КОГО ОНА МОГЛА БЫ ОПИСАТЬ ВЕСЬМА СМУТНО / БУДУЧИ КРАЙНЕ УГНЕТЕНА ДУШЕВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ СВОЕГО СЫНА, МАТЬ ЗАБОЛЕЛА ОТ ГОРЯ И УМЕРЛА, ОТЕЦ ПОШЕЛ С ДУШЕВНОБОЛЬНЫМ РЕБЕНКОМ НА КЛАДБИЩЕ И ЗАСТРЕЛИЛ ЕГО ИЗ РЕВОЛЬВЕРА ПРЯМО НА МАТЕРИНСКОЙ МОГИЛЕ / УЖЕ ВТОРОЙ РАЗ В ЭТОМ РАЙО-

тратит свое драгоценное время. Я знаю, женщина должна поддерживать в доме порядок, но у нас это превратилось в топтание на месте. И еще — да, я должна признаться — в этом пустом закрытом доме, который всегда содержался мной в какой-то сверхъестественной чистоте, я чувствовала себя неуютно — он застыл, как нечто достигшее своего естественного конца. Я знаю, не надо беспокоиться о мертвом, он завершил свое дело — теперь пусть другие продолжат. Но я не хотела ежедневно пребывать в обществе трупа, я не могла жить в мертвом доме — вокруг меня должна всегда кипеть жизнь, как у нас в родительском гнезде, где из мастерской доносились удары молотка, а в доме, стараниями трудолюбивых сестер, стрекотала швейная машинка.

Поэтому и пришла в дом эта девочка, которая взялась помогать мне с шитьем, пришиванием пуговиц и частенько что-нибудь разбивала. Было в порядке вещей, что, например, натирая пол или вытирая пыль, она что-нибудь ломала, или пришивала пуговицы вкривь и вкось, или рассыпала коробку с иглами. Я обычно отчитывала ее, зная, впрочем, что ей это безразлично, да и мне было все равно. Потому что я чувствовала себя опять словно в родительском доме, где всегда было оживленно и суматошно, мне снова было пятнадцать — время, когда я вкалывала так, что пот с меня лил градом, и когда мне после работы позволялось погулять и поразвлекаться. С появлением этой девочки ко мне словно вернулось то уютное хлопотливое время. Только вот девочка не была той, как я в те годы, — она во все вносила беспорядок, она разбивала вещи, делала то одно, то другое не так, но я это терпела — да, она была другой, похожей на него. За время совместной с ним жизни я надеялась, что он постепенно как-то преодолеет свою неприспособленность. Но когда к нам пришла эта девочка, я поняла, что в принципе существуют люди, похожие на него, — точнее, что они оба просто принадлежат к другой породе людей, которые не то что беспомощны и неуклюжи (а потому и не могут встроиться в наш мир), нет, они как раз крайне своенравны и смотрят на мир с осуждением. Меня раздражало, когда эта девчонка буквально демонстрировала свою заносчивость, и это при том, что она, по сути, была даже не в состоянии пришить один кусок ткани к другому — у нее просто все из рук валилось, а на физиономии при этом было написано: все, что есть в этом мире, какое-то неполноценное и третьесортное. Особенно меня выводил из себя ее странный зуд — беспрерывно донимать меня всякими "неразрешимыми вопросами". Причем таким образом, словно она священник или судья. Именно это меня и раздражало — я как-то вдруг осознала, что она находится на ложном пути, а еще что он и она являют собой особую породу людей, их уже и без того с избыт-

НЕ ПРОИСХОДИТ ПОХИЩЕНИЕ РЕБЕНКА: КОГДА ОТЕЦ ГУЛЯЛ СО СВОЕЙ 4-ЛЕТНЕЙ ДОЧКОЙ, ПОДЪЕХАЛА МАШИНА, И НЕИЗВЕСТНЫЙ МГНОВЕННО ВТАЩИЛ В НЕЕ ДЕВОЧКУ, ПОКА ОТЕЦ ОСОЗНАВАЛ СИТУАЦИЮ, МАШИНА ИСЧЕЗЛА / ПРОВОДИМОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ ПРИВЕЛО В ПОНЕДЕЛЬНИК К ДВУМ ШУМНЫМ ЗАДЕРЖАНИЯМ – НА ДОПРОСЕ ОТЕЦ ЗАЯВИЛ, ЧТО ОН ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ИЗБИВАЛ КОЖАНЫМ РЕМНЕМ СВОЮ 13-ЛЕТНЮЮ ДОЧКУ, ПОТОМУ ЧТО ОНА ЗАНИМАЛАСЬ БЕЗНРАВ-

ком развелось в нашем мире — они разрастаются густо, как сорняки, люди этой породы обычно не идут, а высокомерно шествуют, хотя нет, они скорее сидят и смотрят на нас с недоумением... И, что еще хуже, эти люди имеют наглость задавать нам такие вопросы, словно они судьи или священники. У меня всегда было много дел, и я этому радовалась. Но время от времени и на этом пути возникали всякие сложности, которые, как груды камней, мешали моему движению. Например, то, что мой зять, муж сестры, продававший сшитую мной детскую одежду, по сути, был очень похож на мужчину, которого я узнала в свои пятнадцать. Приходя к нам, зять своим взглядом словно раздевал меня, — и вот мне снова было пятнадцать, и меня обнимал мужчина, который знал о женщине такое, чего я еще не должна была знать, мужчина, который, лаская меня, нашептывал мне всякую непотребщину, мужчина, о существовании которого я давно забыла. Я боролась против этого наваждения. Я имею в виду — боролась против навязчивости моего зятя, что же касается моего первого мужчины, то, узнав, что я вышла замуж, он окончательно исчез из моей жизни, а я никогда не вспоминала о его ласках, я вообще могу легко без этого обойтись. Телесные ласки ведут прямо в тупик, они сталкивают людей в канаву к недочеловекам, и дремлющий в их глубинах животный инстинкт вырывается наружу... Лучше, чтоб он никогда не пробуждался, но я знала людей, у которых он никогда и не засыпал, их жизнь целиком была сосредоточена на том, что находится между ног, и поэтому они тоже попадали на ложный путь. Такие типы не являются полноценными членами родового клана, они болтаются среди людей и, видимо, хотят участвовать во всем вместе с другими, но на самом-то деле думают именно о том, что у них между ног, то есть ловят любой момент, чтобы вас повалить и усладить наконец свое скотство. Мне всякий раз становится не по себе, когда я слышу о таких делах. Он, в смысле мой муж, был в этой области далеко не ас. Вначале он проявил себя даже настолько неумелым, что я молча вынуждена была ему помочь, да и произошло это как бы случайно — только потому, что я сама старалась его возбудить. Но даже сейчас, когда он, например, войдя в комнату, застает меня врасплох, то есть когда переодеваюсь или когда удовлетворяю естественную нужду, он не загорается животным желанием, как другие. Иногда он даже не замечает, что я стою перед ним обнаженная, просто проскальзывает по мне взглядом, будто я неодушевленный предмет. Настойчивость зятя, его молчаливая, пробивающая насквозь настойчивость приводила меня в полное замешательство. То, ради чего мы родились, что является чем-то простым и естественным, когда оно происходит между мужчиной и женщиной законно, превращается в болезнь, когда ты думаешь об этом

СТВЕННЫМИ ДЕЛАМИ – ДЕВОЧКА, БУДУЧИ ЗАГНАНА СЛЕДСТВИЕМ В ТУПИК, ПРИЗНАЛАСЬ, ЧТО УЖЕ БОЛЬШЕ ГОДА ИМЕЕТ ГРЕХОВНЫЕ ОТНОШЕНИЯ С ДВУМЯ ЖЕНАТЫМИ МУЖЧИНАМИ / ОТЦА И ЕГО СЫНА ОСУДИЛИ ЗА УБИЙСТВО ЖЕНЫ И, СООТВЕТСТВЕННО, МАТЕРИ, ГОЛОВУ КОТОРОЙ ОНИ ОТРУБИЛИ МЯСНИЦКИМ ТОПОРОМ И СОЖГЛИ В ПЕЧКЕ – ЧТОБЫ, ПО ИХ СЛОВАМ, "ОКОНЧАТЕЛЬНО ПОКОНЧИТЬ СО ВСЕМИ РАСПРЯМИ НА РЕЛИГИОЗНОЙ ПОЧВЕ" / ТРОЕ МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ ПО-

каждую минуту без перерыва и готова уже вступить в связь со своим зятем. Да, у всех этих пропащих вожделение является болезнью, противоестественным разрастанием, язвой, которая половым путем вылезает наружу, а ведь на свете существует еще множество других вещей, ради которых надлежит жить. Но каждый день, вкалывая до потери сознания, создавая свою фирму буквально на голом месте, я снова и снова сталкивалась именно с этой болезнью. И еще вдобавок эта девчонка приходит со своими россказнями о соседях – некий мужчина ежедневно в полдень блудодействовал с маленькой девочкой: его жена как раз работала днем на фабрике, а он поднимался с этой девочкой в спальню, запирал дверь и залезал с ней голым в постель. Меня смущали такие рассказы – неужели люди не могут обойтись без этого? Плюс к тому мой муж со своими заметками. Каждый день в газете публиковалась какая-нибудь очередная гадость, которую он мог, если хотел, присовокупить к своей серии. Она со своими рассказами – и он со своими заметками, и никогда им в голову даже не приходило спросить меня: а какие неурядицы сегодня улаживала я и как собираюсь преодолевать те, которые ждут меня завтра? А ко всему этому еще мой зять, действительно бывший отличным коммивояжером: он умудрялся сбывать все, что попадало ему в руки, – так вот, он тоже оказался заражен болезнью, которая, как язва, знай цветет себе у некоторых между ног. Ни минуты он не мог находиться со мной наедине без того, чтобы не погладить мне легонько то грудь, то бедра. Эта игра была молчаливой и скучной – его руки немо блуждали по моему телу, а потом ползли вверх под прикрытием юбки. Я не всегда обращала достаточно внимания на это. Я клала перед ним стопку детской одежды и показывала то, что было усовершенствовано, то есть чем он мог лучше завлечь покупателей. Казалось, он смотрит на это с вниманием, а тем временем его руки искали. Только когда он изо всей силы стиснул мне грудь, я поняла, что лишь это его и занимало... Я совсем не была настроена на такие дела. Почувствовав его руку на бедрах, я подумала, что это, возможно, случайность, и стряхнула его ладонь, но вдруг до меня дошло, что он-то стремился потрогать меня именно там. Я поняла это, когда было уже поздно. Я вынуждена была молча отодвинуться и шлепнуть его по руке. Но это были пока только единичные случаи, они еще не соприкасались с магистральным путем моей жизни. Только когда эта девчонка – маленькая ведьма, маленький бес – однажды вошла в самый неподходящий момент, у меня словно открылись глаза. Я имею в виду – на все, что из этого вытекает. Для меня жизнь прежде являлась чем-то, что по природе своей надежно защищено, что идет по прямому пути – тому самому, по которому прошел мой отец и заставил затем идти нас, домашних. Нет,

СЛЕ ИЗНАСИЛОВАНИЯ 8-ЛЕТНЕГО РЕБЕНКА ЗАБИЛИ ЕГО КАМНЯМИ, ПОСЛЕ ЧЕГО ПЫТАЛИСЬ ЗАДУШИТЬ И 4-ЛЕТНЕГО, СОВЕРШИВ НАД НИМ ТЕ ЖЕ САМЫЕ ДЕЙСТВИЯ, ПРИБЛИЖЕНИЕ ПРОХОЖИХ ЗАСТАВИЛО ИХ БРОСИТЬСЯ НАУТЕК / В РЕЙСОВОМ САМОЛЕТЕ ОДИН ИЗ ПАССАЖИРОВ, ВНЕЗАПНО ВСТАВ, ПОДОШЕЛ К ПИЛОТУ И СПРОСИЛ ЕГО: ВЕРИТЕ ЛИ ВЫ В БОГА? КОГДА ЛЕТЧИК ОТВЕТИЛ УТВЕРДИТЕЛЬНО, ЧУДАК ПРОДОЛЖАЛ: НУ ТАК УЙДИТЕ, И ПУСТЬ ВЕДЕТ САМОЛЕТ ОН, ЭТОГО

слово “заставил” здесь не подходит. Мы все, мои братья и сестры, считали это чем-то само собой разумеющимся, мы не могли не идти этим путем, потому что в нас жило глубочайшее убеждение, что только он, единственный, и существует... С моим мужем и потом с этой приходящей девочкой я поняла, что путей бывает гораздо больше, чем один, что существуют всякие ложные пути. Как часто я давала себе волю выплакаться после ее ухода! После того как она опять целый вечер задавала мне всякие вопросы — может, почувствовав, что я начала сомневаться и догадываюсь, что тот путь, который для меня был единственным, такой же ложный, как все остальные. Я плакала, обнаружив, что основа жизни моей пошатнулась и мне негде найти другую. Она говорила об оси мира как о чем-то придуманном, так же говорила она и о Боге. И вся эта ее болтовня была нацелена исключительно на то, чтобы мое существование в человеческом клане стало менее прочным. Я подозреваю ее в том, что все это она проделывала преднамеренно — у нее была одна цель: она хотела выбить почву из-под моих ног, то есть уверенность в жизни. Я понимала, что она несчастна, потому что у нее-то ни в чем уверенности нет и видеть мою уверенность ей противно. Против этого не помогало ничто, даже то, что я давала советы (как всегда, кстати, делал мой отец), — в частности, я рекомендовала ей не вникать во все слишком глубоко. В конце концов, говорила я, от этого мы становимся не умнее, а только несчастнее. Но она опять заводила свою шарманку, безжалостно раня меня и принуждая думать. Мне кажется, иногда я ее даже ненавидела, а она, замечая это, сразу выкладывала что-нибудь веселенькое — что-нибудь такое ужасно смешное, от чего я моментально начинала хохотать. А ведь единственное мое требование заключалось в том, чтобы мы работали усердно, а всякие шутки-прибаутки... делу время, потехе час. Такая обстановка всегда царила в доме моих родителей, и там я была счастливой. Счастливой и глупой, — немедленно отзывалась девчонка. В такие моменты во мне против нее вскипала слепая ярость, потому что девчонка не только сбивала меня этим с толку, но тут же принималась холодно за мной наблюдать. Ярость, потому что она тоже сразу просекла — по крайней мере раньше, чем я, — чего именно мой зятек от меня хочет. Его рука лежала на том месте, которое французы называют la croupe, но я, клянусь, ничего плохого в том не усмотрела — напротив, мне показалось это скорее чем-то успокаивающим, простым человеческим сочувствием... ну, вот как детей гладят по шейке или шлепают по попке. Я не схожу с ума по детям — на самом деле даже побаиваюсь их. Не знаю, в чем тут дело, — возможно, это возникло оттого, что в родительском доме я никогда не видела детей, ведь именно я-то и была младшей. Кроме того, дети меня очень беспокоят, потому что они

МУЖЧИНУ УДАЛОСЬ ВЫТОЛКАТЬ ИЗ КАБИНЫ ОБРАТНО, НО НЕ УДАЛОСЬ ВОСПРЕПЯТСТВОВАТЬ ТОМУ, ЧТО ОН РАЗБИЛ ТРИ ОКНА И ВЫБРОСИЛ БАГАЖ / КОГДА НА УЛИЦЕ ЗАИГРАЛ ОРКЕСТР, 2-ЛЕТНЯЯ ДЕВОЧКА РУХНУЛА В СВОЮ ПОСТЕЛЬ И УМЕРЛА / ПОСЛЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ТОВАРНОГО ПОЕЗДА, ОКОЛО 21.30, НА РЕЛЬСАХ БЫЛИ ОБНАРУЖЕНЫ ИСКАЛЕЧЕННЫЕ ТРУПЫ ДВУХ МОЛОДЫХ ЖЕНЩИН, О ПРИЧИНАХ НАХОЖДЕНИЯ ЭТИХ ДВУХ МОЛОДЫХ ЖЕНЩИН В СТОЛЬ ПОЗДНИЙ ЧАС

устраивают беспорядок, даже хаос, разбивают все, что попадает к ним в руки, и, кроме того, жутко же смотреть, как они лезут куда-нибудь вверх и падают оттуда, а то еще возятся со всякими острыми предметами или со спичками. Каждую секунду, когда дети где-то неподалеку, мне слышится пронзительный крик искалечившего себя ребенка, а когда приходят с ребенком к нам домой, я дружелюбно поглаживаю его по щечке или пару разиков ласково шлепаю по попке, приговаривая, что он должен сидеть тихо. А в это самое время зять, стоя рядом со мной, кладет руку мне на la croupe, хотя я сначала даже не понимаю, что его рука находится именно там, — просто чувствую, что его рука нажимает на la croupe немножко сильнее, но я обычно принимаю это за дружеский или одобрительный жест — пока до меня наконец не доходит, что именно его руки ищут в ложбинках моего тела. У меня не хватает сил противостоять, мое сердце бешено колотится, и я опять вспоминаю того, первого своего мужчину... Я молча отодвигаюсь, но вдруг он буквально огорошивает меня вопросом, который я, впрочем, должна была предвидеть. И я предвидела бы его, будучи такой женщиной, как, скажем, та, на которой женат мой брат, — уж она-то предвидит эти штучки. А я вот слишком простодушна в таких делах и сроду не представила бы, что мой зятек когда-нибудь сморозит такую фразу. Он хочет меня, вот в чем дело. Ему хочется тех самых делишек, как если бы я была его женой. Частенько я слыхала рассказы о мужьях, которые путались с другими женщинами, но я никогда не понимала, что именно их толкало на это. А тут вдруг как раз именно ко мне самой с таким вопросиком подбираются, и от растерянности я не в силах слова сказать. Кстати, я не в силах слова сказать, потому что мне кажется, будто меня по башке шарахнули — мне буквально хочется плакать от того, что случилось. И в этот самый момент девчонка открыла дверь и увидела нас. Я успокоила себя тем, что она не услышала этих слов, но я знаю, что это слабое утешение, так как даже если она не услышала бы тех самых слов, то все равно она увидела, как мы с ним стояли, а так люди стоят только когда такие слова уже произнесены. Она, кроме того, видит, как он отводит свою руку, кстати, вовсе не спеша, поскольку он — ну и пройдоха! — просто собаку съел в этих делах, и тут меня как током пробивает: а ведь он в случае чего толкнет на ложный путь еще и девчонку!.. Конечно, такую мысль можно было бы счесть пустой предосторожностью, оставайся эта девчонка ребенком, который ничего не смыслит в делах между мужчиной и женщиной, но нет, она-то уж точно не ребенок — и гораздо, гораздо опытней меня! Я в свои двадцать пять знаю о жизни совсем мало — гораздо меньше, чем эта несовершеннолетняя девчонка. Я знаю совсем мало о жизни, потому что я никогда особенно не задумывалась. А она знает. Она только и делает что посто-

НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ПОЛОТНЕ НИЧЕГО НЕ ИЗВЕСТНО / ПОСЛЕ УБИЙСТВА МОЛОДОЙ ДЕВУШКИ НЕКИЙ ЧЕЛОВЕК ПРИШЕЛ К МАТЕРИ ЖЕРТВЫ И ОБВИНИЛ В ЭТОМ УБИЙСТВЕ СЕБЯ, СКОРО ВЫЯСНИЛОСЬ, ОДНАКО, ЧТО ПОКАЗАНИЯ ЭТОГО МУЖЧИНЫ БЫЛИ ЛОЖНЫМИ, ТАК ЧТО ПОЛИЦИЯ ВЫПУСТИЛА ЕГО НА СВОБОДУ / АРЕСТОВАНА СУПРУЖЕСКАЯ ПАРА, КОТОРАЯ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ШЕСТЬ ЛЕТ УБИЛА 5 МАЛЕНЬКИХ

янно копается в таких вещах, просто стыдоба и срамотища. Каждый день она заявляется с новым рассказом, каждый день она опять слышала, или видела, или даже сама прошла через что-нибудь новенькое. Я чувствую, как он медленно отводит свою руку, и слышу, что он повторяет свой вопрос, но уже иначе, как будто он имеет в виду что-то совсем другое, ничего общего с этим не имеющее. Потом он уходит (наконец-то!), а мы с девчонкой молча садимся за стол, чтобы шить, и она принимается смотреть на меня довольно-таки вопросительно. И в тот миг, когда она вперяет в меня свой вопросительный взгляд, до меня доходит, что случилось что-то непоправимое, но что же мне ей сказать — и, главное, что сделать? Лучше всего, если я все расскажу ему, когда он вернется домой из своих морозильных камер, но я ведь знаю, что он тихий, а, как говорится, в тихом омуте черти водятся. Все эти годы в моем теле леденеет страх, потому что мой муж тихий и потому что в тихом омуте всенепременно водятся черти. Он и сам вполне в состоянии отколоть что-нибудь такое, что описано в его газетных заметках, — убить моего зятя, или меня, или себя. А я напрочь не выношу трагедий: я — простой человек. Мне хочется вести простую жизнь, когда, работая, можно продвигаться вперед, ставить себе определенную цель, пытаться ее достичь, но мне вовсе не хочется конца света. А она смотрит на меня и требует именно этого. Да, она несомненно из породы тех, кто сбился на ложный путь и, порвав с родовым кланом, получает немалое удовольствие, когда и нас постигает неудача. Или она не получает удовольствия от этого? Но разве она не сделала все для того, чтобы стать свидетелем, чтобы лицезреть эту сцену своими проклятыми зенками? Нет, лучше всего помалкивать, и пусть все идет, как идет: вечером просто надо выйти туда — в садик, я имею в виду — и сказать ему, чтобы он это прекратил, сказать, что я боюсь всего этого. И вот наступает вечер, и я иду туда, я должна с этим покончить, но, как только я вижу его, мгновенно понимаю, что влипну еще больше, что я все больше сбиваюсь с единственного верного пути.

Я вижу: как зверь, он поджидает свою любовную добычу, и мне понятно, что разговоры бесполезны, что он не будет слушать никакие слова, а просто набросится на меня, как зверь. И вот, еле сдерживая плач, я оказываюсь в крепком кольце его рук. Единственное, что я знаю теперь: все должно было бы произойти по-другому. Там, в доме, ему следовало бы вести себя иначе, а девчонку не надо было и в дом брать, и все должно было быть иным, а сейчас мы все вступили на путь, который становится роковым. Я не умею выразить, но чувствую это — все идет по ложному пути, ничего общего не имеющему с тем, который простирался перед моим взором в мои пятнадцать, а рядом был отец... Даже не знаю, что произошло там, в садике, — не знаю, потому что и знать не хо-

ДЕТЕЙ, РАЗБИВАЯ ИМ ГОЛОВЫ ДЕРЕВЯННОЙ КАРТОФЕЛЕМЯЛКОЙ И ГАЕЧНЫМ КЛЮЧОМ / В ГОСПИТАЛЬ БЫЛ ПОМЕЩЕН МУЖЧИНА, ОСЛЕПШИЙ НА ПРАВЫЙ ГЛАЗ, ОКУЛИСТ ОБНАРУЖИЛ У НЕГО ПРЯМО ЗА ГЛАЗНЫМ ЯБЛОКОМ ЗЕРНО КАПУСТЫ, КОТОРОЕ, НАЙДЯ ТАМ ДОСТАТОЧНО ТЕПЛА, ДАЛО РОСТОК И ВЫРОСЛО В РЕЗУЛЬТАТЕ НА 2 САНТИМЕТРА / ВО ВРЕМЯ ВТОРОГО ДНЯ ТРОИЦЫ 32-ЛЕТНИЙ МУЖЧИНА С ЖЕНОЙ И ДЕТЬ-

чу. Помню только, что происходило это с плачем — слезы текли у меня по щекам, потому что я не в состоянии была их всех вернуть на путь, который является единственным и безопасным, и потому что они все безнадежно блуждают без цели, без объединяющей цели — только в поисках животного удовлетворения. Странно: ты плачешь из-за всего этого, а в то же самое время на тебе лежит мужчина, который как раз ищет животное удовлетворение. И что уж в этом такого, прямо не знаю, умопомрачительного — ну, лежать на траве, ну, быть на эту траву повваленной, ничего такого уж завлекательного во всем этом нет. Избавившись от мужчины, вся в слезах, я ринулась назад, и в этом моем слепом, немом и заплаканном рывке — домой, через темный садик, — напоролась горлом на бельевую веревку. Не знаю, как долго я пролежала на земле, пока наконец мой муж не вспомнил, что у него есть жена, и не вылез из своей каморки. После я занемогла, то есть, как выяснилось, забеременела, — и чем больше я надеялась и молилась, чтобы произошедшее оказалось случайностью, со временем целиком теряющей смысл, тем больше оно разрасталось в неотступный ужас. Более того, оно росло внутри меня самой — как все более веский укор. Долго я внушала себе, что это лишь временное недомогание, и было с чего: все-таки существовал целый ряд сильно обременявших меня обстоятельств — эта девочка со своими нездоровыми вопросами, потом само дело, которое все тяжелей повисало на одних только моих плечах, да вдобавок еще этот постоянно домогавшийся меня зять, и вот вам, пожалуйста, и нездоровье, не говоря уже о беспокойстве за мужа: меня тревожили мысли о тихом омуте и все чаще охватывало опасение, что он, чувствуя себя лишним в этой жизни, вдруг из нее исчезнет. Я не смею произнести это, даже сейчас я все еще не смею себе в этом признаться, но меня охватывал буквально необузданный страх всякий раз, когда я должна была войти в его каморку. И поэтому я предпочитала посылать туда девочку — когда ужин был готов, я обычно велела девочке, чтобы она позвала его. Я слышала, как она поднималась по лестнице... открывала дверь... тут я замирала, пытаясь сдержать ладонью дикий стук сердца... с ужасом ожидая ее нечеловеческий крик. Только когда она возвращалась, небрежно бросая, что он скоро придет, — только тогда бешеная колотьба моего сердца постепенно стихала. Иногда в его отсутствие я все же заставляла себя зайти к нему, чтобы посмотреть на стены, которые он видел ежевечерне, я заставляла себя даже поразмышлять о заметках, которые он собирал, — и плакала. Я проливала тихие, безучастные слезы обо всех собранных им трупах, обо всех этих болтающихся в петле мертвецах, обо всех этих... наложивших на себя руки. Так что мне вполне хватало с чего заболеть! Раздражения не было — куда там! — я чувствовала себя пойманной крысой. Мне хотелось сбежать от этого состояния куда угодно, и в

МИ ПОЕХАЛ НА ПРОГУЛКУ, ОНИ ОСТАНОВИЛИСЬ В ТУРИСТИЧЕСКОМ ЗАВЕДЕНИИ С РАЗНООБРАЗНЫМИ ДЕТСКИМИ ИГРАМИ, ТАМ ЭТОТ МУЖЧИНА, РАЗВЛЕКАЯСЬ СО СВОИМИ ДЕТЬМИ, УПАЛ С ТУРНИКА И БЫЛ ДОСТАВЛЕН В БОЛЬНИЦУ, ГДЕ УМЕР ВСЛЕДСТВИЕ ПЕРЕЛОМА ШЕЙНЫХ ПОЗВОНКОВ, ОСТАВИВ СИРОТАМИ ТРЕХ МАЛЕНЬКИХ ДЕТЕЙ И ЧЕТВЕРТОГО НА ПОДХОДЕ / МУЖЧИНА, НЕДАВНО АРЕСТОВАННЫЙ ЗА КРАЖУ,

то же время я отлично понимала, что это — беременность, так что бежать некуда. Я оказалась прикованной к раковине, мне было тоскливо и тошно, а добивало то, что девочка тут же прибегала и впивалась в меня взглядом, как в выставленного на ярмарке зверя. Я была для нее экзотической диковинкой, курьезом — чем-то новеньким, с чем она должна была ознакомиться — продегустировать и насладиться. Я ненавидела ее, потому что она слишком много знала и слишком много наслаждалась. Я помню, как в один вечер он вернулся домой, а я снова была прикована к раковине. Я стояла абсолютно беспомощная, первый раз в жизни чувствуя себя животным. Все, прежде возвышавшее меня над животными, было сломано. А сила воли, которая была мне присуща, сила, которой я поднимала себя над собственной животной природой, та сила, которую люди вкладывают, чтобы прорубить джунгли и построить на расчищенных местах города ("каменные джунгли", — обычно вворачивала она), — эта сила воли была во мне сломлена. Я знала — да, это я знала, — что всегда стояла ступенью выше, чем вереница всех этих безвольных и подавленных, тоскующих, как животные, по первобытному состоянию жизни, от которого люди освободились. Теперь, опустившись (хотя и на одну ступеньку), то есть сломавшись, я чувствовала себя отвратительно. Он подошел ко мне, и его рука отправилась, с оттенком обследования, блуждать по моему животу; это было не сострадание, нет, для жалости или простого сострадания его пальцы, отправленные в экспедицию по моему телу, блуждали там слишком механистически. Я понимаю, что плохо знаю свою плоть, я никогда не беспокоилась насчет нее, твердо полагая, что не имеет значения, как именно она выглядит внутри, — мой отец, тот вообще ненавидел озабоченных страдальцев, так что я тоже всегда избегала людей, которые постоянно копались в себе и в своих болезнях, словно в каменноугольной шахте, как будто их тщедушное тело чуть ли не целая планета, которую необходимо исследовать. Но зато я разбиралась в механике: например, мы с братом как-то смастерили радиоприемник, и у нас были всякие электрические приспособления, а еще фотоаппарат и темный чулан, в котором мы сами проявляли и печатали — мой брат мечтал стать летчиком, а я... Но что толку вспоминать: я стою, как животное у раковины, знание механики уже нисколько не помогает мне, я чувствую одну только муку — наверное, мне пришел конец. И в этот момент я поняла, что им владеет лишь страх: причем за себя самого, а вовсе не за меня. И вот именно в этот жесточайший момент, когда его страх, по идее, должен был бы распространиться немного и на меня, когда он должен был бы искать мои глаза, чтобы передать в мое сердце искру сострадания... в этот катастрофический, как я утверждаю, момент он посмотрел на нее. Она стояла и улыбалась. Она наблюдала мое отчаяние и мою беспомощ-

ПОВЕРГ СУД В СТРАШНОЕ СМЯТЕНИЕ, ОБЪЯВИВ, ЧТО У НЕГО ЧУМА, ВСЛЕДСТВИЕ ЭТОГО НЕОЖИДАННОГО ОТКРЫТИЯ СУДЬЯ, АДВОКАТ И ОХРАНА, ДАБЫ УБЕРЕЧЬСЯ ОТ ЭТОЙ ОПАСНОЙ БОЛЕЗНИ, ОБРАТИЛИСЬ В БЕГСТВО, ЧТО КАСАЕТСЯ ЗАКЛЮЧЕННОГО, ТО ОН БЕЗОТЛАГАТЕЛЬНО ПОЛУЧИЛ НЕОБХОДИМУЮ МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ / ОКОЛО 9 ЧАСОВ ВЕЧЕРА КРЕСТЬЯНИН ПОСЛАЛ СВОЮ 8-ЛЕТНЮЮ ДОЧКУ ЗА ТА-

ность с улыбкой — с улыбкой она наблюдала и его страх. В этот момент она полностью торжествовала, маленькая ведьма!.. Упоение буквально ударило ей в голову — ведь она застукала, она накрыла с поличным не человеческую пару, но пару зверей. И он сразу понял, что я беременна. Я почувствовала, как закостенели его ощупывающие руки, как закостенел он сам. И тогда она выдала такое, что сразило меня мощней, чем удар в челюсть. А дети рождаются в цветной капу-у-усте — вот что сказанула она. Выходит, она знала, что именно произошло в глубине садика! Смертельно раненная, я взглянула на мужа, но его интересовала только она... через какое-то время он направился к лестнице... Я выплакалась в уголке, разговаривая с живущим внутри меня ребенком. С кем же еще я могла поговорить? Я была одна, я превратилась в остров среди прочих других. Тем или иным способом я пыталась выгнать девчонку из нашего дома, но она присосалась буквально как клещ — клянусь Богом, в конце концов она даже оказалась полезной. Такой полезной она еще не бывала: даже не разбивала ни единой чашки. Итак, из ее рук ничего не вываливалось, работала она почти за двоих... но все это время она внимательно следила за мной, она следила неотступно и хищно — как я себя веду, как реагирую... Я была для нее подопытным кроликом — будто она работала над докторской диссертацией для Университета Этой Жизни и ей требовалось постоянно отбирать и приводить в систему каждую мелочь, притом каждого факта. Это стало очередным потрясением моей жизни, потому что если раньше я думала, что у нее просто такая болезнь, то теперь поняла, что ее болезненное любопытство есть одновременно начало некой науки — ведь все, что люди завоевали и чем они так гордятся, является, по сути, результатом того же самого болезненного любопытства. Я могла бы, пожалуй, снова обрести почву, если б укрепилась в мысли, что это любопытство доставляет ей не что иное, как только удовольствие... но я не хотела вникать в эту мысль глубоко. Как всегда, я предпочитала не думать, а действовать. Любые действия были лучше, чем одинокое пребывание в постели и ведение разговоров с еще не рожденным ребенком. Но как именно я могла бы действовать, что я могла бы сделать? Я была цветущим деревом в ожидании зрелости, когда я должна буду сбросить свой плод, от меня не требовалось большего, чем просто позволить плоду созреть. Я стала пленницей этого дома, пленницей самой себя — вся жизнь моя замерла под знаком будущего ребенка. И она, которая теперь делала все возможное, чтобы мне во всем угодить, перешла в своих рассказиках и новостях к "теме детей". Она стала употреблять все выражения, причем дословно, которые раньше употребляла в отношении к детям я. О детях я говорила всегда с презрением, даже со скукой. Я уже тогда знала, что дети существуют, чтобы в какой-то момент заменить тех, которые со вре-

БАКОМ И СПИЧКАМИ – НА ОБРАТНОМ ПУТИ ДЕВОЧКА ПОДОЖГЛА НЕМНОЖКО СОЛОМЫ, КОТОРАЯ ТОРЧАЛА ИЗ АМБАРА, ПОЖАР НАСТОЛЬКО СТРЕМИТЕЛЬНО РАСПРОСТРАНИЛСЯ, ЧТО ЧЕРЕЗ НЕСКОЛЬКО МИНУТ ЗАХВАТИЛ ВТОРОЙ ХУТОР, КОГДА ПРИБЫЛА ПОЖАРНАЯ КОМАНДА, ПЛАМЯ УЖЕ БУШЕВАЛО НА ДВУХ ТЫСЯЧАХ КВАДРАТНЫХ МЕТРАХ ЗАСТРОЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ / ОДИН МУЖЧИНА ПОКОНЧИЛ С СОБОЙ НЕО-

менем – от болезней, от старости – в конце концов сойдут на нет, а мы надеемся сделать еще один шажок вперед благодаря детям. Но своей беспомощностью они нам постоянно мешают! Конечно, иметь в доме ребенка, за которым все время надо было бы следить, который играл бы с ножами или со спичками, который мог бы заползти вверх по лестнице только затем, чтобы оттуда свалиться, который переходил бы улицу только затем, чтобы его сбила машина, – большое беспокойство, и я буду уже не женщиной, а только матерью. А сейчас она постоянно смотрит на мой живот, повторяя все то, что раньше говорила о детях я, – она повторяет это с легкой издевочкой, но лезвие ее издевочки обильно смазано особого рода сладостью... чаще всего когда она намекает на тот самый садик, где был зачат ребенок. Иногда мне хочется просто вышвырнуть ее вон, иногда – бухнуться перед ней на колени, умоляя, чтобы она не проговорилась. Я стала перед ней беззащитна – ее глаза, нацеленные на мой живот, превращены в орудия убийства... Я всегда стояла как бы над такими людьми, как она и мой муж, потому что они были слишком много думавшими, сомневавшимися существами, я же, наоборот, существом действовавшим. Они торчали на обочине главного пути, лишь с презрением наблюдая, я же, которая изо всех сил стремилась идти по этому пути вперед, вкалывая и борясь, сделала по рассеянности в некий момент что-то ошибочное, за что они теперь смотрели на меня с осуждением. Они... нет, пока только она. Сколько времени осталось до тех пор, когда в какой-то мучительный момент она откроет ему мою тайну – только затем, чтобы завершить наконец свою докторскую диссертацию, чтобы поглазеть, как именно он это воспримет, точнее, устоит ли он вообще на ногах от такого удара? Да ведь она и в самом деле ребенок – погружает детскую лодочку в ведро с водой и устраивает там бурю только для того, чтобы понаблюдать: а как эта лодочка будет тонуть? Я утешалась лишь тем, что была парализована временно, тем, что, как только ребенок наконец появится на свет, я восстановлю мои жизненные силы и снова начну действовать. Я верила в это... Почти ничего не помню из той ночи, когда ребенок наконец родился. Мое сознание постепенно погружалось в темную яму, я вся раскрывалась, разрываясь до самого дна, из меня вытекали воды, а я жаждала лишь погружаться глубже, глубже, остаться одной, умереть. Когда я проснулась, скудное солнце уже играло на моих вялых прозрачных руках, лежавших поверх одеяла... до меня долетал шепот двух голосов... Я вспомнила, что родился ребенок, что он сейчас лежит рядом со мной в своей детской кроватке. Муж склонился над ним и смотрел на него – но не один. Они склонились вместе, разглядывая ребенка – от некой другой пары... то есть от меня и моего зятя... И вот... благодаря ребенку, которого они затем положили на свои соединившиеся руки, он открыл

БЫЧНЫМ ОБРАЗОМ: ОН ВОТКНУЛ СЕБЕ В УШИ ПРОВОДА ДЕТОНАТОРА И НАЖАЛ КНОПКУ, ВСЛЕДСТВИЕ ЧЕГО ЕГО ЧЕРЕП ВЗОРВАЛСЯ / БЕЗО ВСЯКОГО ОБЪЯСНЕНИЯ 14-ЛЕТНЯЯ ДЕВОЧКА, ПОКИНУВ В СУМЕРКАХ РОДИТЕЛЬСКИЙ ДОМ, ПОДОЖГЛА ВНАЧАЛЕ ДРУГОЙ ДОМ, А ЗАТЕМ И ГАРАЖ, ПОСЛЕ ЧЕГО ОНА ПРОНИКЛА В ЦЕРКОВЬ, ГДЕ НА АЛТАРЕ ЗАПАЛИЛА БИБЛИЮ И НАЦИОНАЛЬНЫЙ ФЛАГ, ВООРУЖЕННАЯ ЭТИМИ ФАКЕЛАМИ,

для себя то, что я знала давно: что он любит ее. Нет, мои испытания еще не закончились. Я наконец прозрела: вся эта история была, по сути, безумной. Мы втроем исполняли танец, да, именно танец, конца которого не ведает даже Господь Бог, но я все это время надеялась, даже молилась, чтобы она по крайней мере не осознала происходящего и чтобы он продолжал любить ее молча, чувствуя, что неразумно тратить свою любовь на сущего ребенка. Правда, его нельзя в чем-либо упрекнуть, так же как нельзя в чем-либо упрекнуть и меня, — стряслась беда, и она необратима. Это все равно как если бы разразилось землетрясение, или война, или голод — но мы должны выжить. "Мы", говорю я... имея в виду тех, кто такие же, как я, а не как эти двое, которые, склонясь над постелькой ребенка, сгорают от жажды взаимных объятий. Но теперь было уже поздно для моих молитв — теперь она поняла, что он жаждал узнать ее маленькое тело, жаждал ее губ, жаждал их дыхания на своих, его глаза жаждали проникнуть как можно глубже, на самое дно ее глаз, чтобы начать наконец погружение в кратер ее плоти. Подавленный, он спустился по лестнице, а она осталась, легко перепархивая оттуда — сюда, от ребенка — ко мне, от меня — к ребенку. Она еще не приняла участия в игре, еще не вступила в танец по-настоящему, но уже кружилась вокруг нас двоих, по капелькам дегустируя нашу интимную жизнь, как неведомое ей до того хмельное питье. В моей голове постоянно стучал страх, выложит ли она ему все вот-вот или нет, да или нет, иногда мне хотелось, отчаянно вопя, заорать, что все было предопределено, что ни я, ни он не были в состоянии что-либо изменить. И вот в один вечер его принесли домой — час, которого я, ужасаясь, беспрерывно ждала годами, наступил. Правда, я представляла это не так... я всегда боялась, что это случится в каморке, но это произошло на работе — он, видимо, бросился с железной лестницы. Он, видимо, все узнал, и у него не хватило духу вернуться домой, чтобы швырнуть мне в лицо мой позор. "Не хватило духу", говорю я... это мое выражение и мои слова, потому что я не знаю его выражений и его слов. Я отдаю себе отчет в том, что никогда не понимала, почему он держится в стороне, почему он всегда безразличен — морозильные камеры своим холодом, наверное, подавили его... его постепенно убивали и морозильные камеры, и наша цивилизация, над которой мы трудились, в которую вложили все силы, и вся эта очеловеченная природа, которой мы постепенно заменили прежнюю, — новая природа, в которой он так и не прижился. Все эти годы я жила в постоянном страхе, ожидая от него этого шага. Я была уверена, что он его совершит, рано или поздно, а нынче — бабах! — он это и сделал — из-за ребенка, который был зачат не от него. Мужа внесли в дом, и в этот момент мне наконец было дано постичь, что все эти годы, несмотря ни на что,

ОНА БРОСИЛАСЬ РАСПРОСТРАНЯТЬ ПОЖАР ДАЛЬШЕ И ДАЛЬШЕ, НАПИСАВ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО МЕЛОМ НА ЧЕРНОМ КАМНЕ: ПОШЛИ ВЫ ВСЕ К ЧЕРТУ / 55-ЛЕТНИЙ МУЖЧИНА НЕСКОЛЬКО НОЧЕЙ ПОДРЯД СЛЫШАЛ ЖАЛОБНОЕ МЯУКАНЬЕ КОШКИ, ДОНОСЯЩЕЕСЯ С ЧЕРДАКА; ПОЖАЛЕВ ЕЕ И РЕШИВ КАК-ТО ЕЙ ПОМОЧЬ, ОН ТУДА ЗАЛЕЗ, ОДНАКО, БЕЗУСПЕШНО ПЫТАЯСЬ ПОЙМАТЬ УЛИЗНУВШЕЕ В ИТОГЕ ЖИВОТНОЕ, ПОТЕРЯЛ РАВНОВЕСИЕ И РУХНУЛ С БОЛЬШОЙ ВЫСОТЫ: СМЕРТЬ НАСТУПИЛА МГНОВЕННО

я ужасно любила его — любила, словно он был дитя, которое не похоже на других и которого поэтому прижимают к себе с особой нежностью и любовью. А может быть... я любила его еще и по-другому, да, по-другому, просто как женщина любит мужчину, потому что, когда он довольно долго лежал вот так — сначала не поддаваясь смерти, а потом даже пошел на поправку, мне открылось, что это произошло не из-за ребенка. Девчонка. Он любил ее, он хотел ее до безумия, тело в тело. Морозильные камеры не смогли уничтожить его мощный инстинкт, который все же проломил его собственную ледяную коросту... но тут же наткнулся на искусственный лед общественных загородок. Я все время о муже, о муже, не о себе — это доказывает, что я ему сочувствовала, что в первую очередь я думала о нем и желала его выздоровления. И я искренне надеялась, что после этого мы сможем оставить все позади и продолжим потихоньку наш путь — как воды ручья, которые, наткнувшись на препятствие, бурля и пенясь, какое-то время раздваиваются, но затем вновь соединяются, чтобы единым руслом течь дальше. Однажды я вернулась после прогулки с ребенком — она, сидя в кресле, склонилась над ним... Она тоже вступила в танец. Из зрителя она тоже превратилась в участника. И самое ужасное: я окончательно поняла, что они были существами одной расы, одной породы. Получается, я ошибалась, считая, что у нас есть единая цель. Каждый из нас троих — окруженный коварными водами остров, и все, к чему пришли вместе именно мы, не имеет отпечатка наших личностей — то же самое могло произойти совсем с другими людьми. Но что же теперь делать мне? Жить, как эти двое, — и ждать, когда над нами сомкнутся первобытные джунгли?

Ежи Пильх

Песни пьющих

Главы из романа

Перевод с польского К. Старосельской

От редакции

Ежи Пильха можно считать постоянным автором "Иностранной литературы" — он уже дважды (в 1999 и 2000 годах) был представлен нашим читателям. Сейчас мы публикуем главы из его книги "Песни пьющих", удостоенной высшей польской литературной премии "Ника" и уже переведенной на несколько европейских языков. Полностью "Песни пьющих" будут опубликованы в конце этого года в издательстве "Иностранка".

Темнокожий боксер

МНЕ снилось, будто я ищу что-то на дне океана, мне снилось, будто темнокожий боксер зевакам на потеху забирает у меня из-под носа полную кружку пива, во сне я не знал, что он боксер, я пытался его унизить, но тщетно, тщетно, это он меня унизил — я был унижен и в не кончающемся сне, и в не начавшейся яви. Сны алкоголика отделяет от яви картонная стена, ночью ему снится пережитое днем — точнее сказать, ночью алкоголику представляются его дневные

© Copyright by Jerzy Pilch
© Copyright by Wydawnictwo Literackie, Kraków, 2000
© К. Старосельская. Перевод, 2003

бредовые видения. Я бродил, плавал, тонул в океане сорокаградусного спирта, просыпался весь в буром поту, смотрел на часы, было четыре утра, от циферблата несло горькой желудочной настойкой.

Восемнадцать раз я лежал в отделении для делирантов, и в конце концов доктор Гранада с высоты своего всевластия и своего атлетического телосложения распорядился, чтобы меня больше не принимали. Я был неизлечим — это, конечно, чепуха, никто не излечим (и уж тем паче неизлечимы здоровые), но я не подавал никаких надежд, не проявлял воли к излечению, не хотел не пить. Сложные, как квантовая механика, тесты, которыми запуганных пациентов терзали тишайшие и несгибаемые телом и духом ординаторши, выявили у меня суицидальные наклонности.

— Хотите допиться до смерти? — спросил доктор Гранада.

— Не скажу "да", но и отрицать не стану, — ответил я, ибо ни при каких обстоятельствах не утрачивал способности изъясняться высоким слогом. Слишком поздно я понял, что это не дар, а проклятие. Любой телефонный разговор превращался в диалог, будто сошедший со страниц романа, любое приветствие — в поэтический афоризм, любой вопрос типа "который час?" — в театральную реплику. Мой жаждущий возведения на пьедестал, а то и бессмертия язык мною управлял. Я был во власти языка, я был во власти женщин, я был во власти спиртного.

— Если хотите допиться до смерти, зачем обременяете нас своей якобы отчаявшейся особой? Зачем утруждаете моих помощников? Зачем посещаете лекции и сеансы групповой психотерапии? Зачем пишете делирические исповеди и ведете дневник чувств? Какого черта сестра Виола колет ваши спавшиеся вены? Чего ради мы прокачиваем через ваше истощенное тело гектолитры животворных растворов, если вы сознательно отгораживаетесь от всего животворного?

— Да я же не хочу умирать.

— Знаете, пан Е., это тоже звучит чересчур напыщенно.

— Я не хочу допиться до смерти — пока, во всяком случае, не хочу. Честно говоря, охотнее всего я бы упился насмерть, прожив долгую и счастливую жизнь.

— Вы рассуждаете, как ребенок, как недоразвитый ребенок.

— Ах, доктор, я знаю, я прекрасно знаю, что нельзя, тем более в моем случае, жить долго и счастливо, продолжая пить. Но как можно жить долго и счастливо, если не пьешь?

Мне вообще-то нравилось разговаривать с доктором Гранадой, хотя порой наши беседы превращались в кошмарную пустую говорильню. Пренеприятная это штука — ложь без внешних признаков лжи. Доктор Гранада произносил разумные, гладкие и на первый взгляд убедительные речи, достойные заведующего отделением для делирантов. Я усердно выдавал вульгарные парадоксы, словно желая наглядно доказать, что часть клеток моего мозга отмерла и их место занимает бездействующая соединительная ткань, именуемая глией. Мы оба не касались сути вещей, оба отлично понимали, что не касаемся сути вещей, обоих нас удручала непостижимость сути вещей. Но как алкоголик, так и его врач, желающий проникнуть в суть вещей, попадают в очень трудную ситуацию. Шекспир коснулся сути вещей, Ньютон коснулся сути вещей, Тол-

стой коснулся сути вещей, Эйнштейн коснулся сути вещей. А алкоголик? Алкоголику заведомо труднее.

— Как можно жить долго и счастливо, если не пить?

Я произносил эту идиотскую фразу, глумливо улыбаясь, и у меня немедленно возникало желание плюнуть прямо в свою растленную спиртным душу. Разумеется, мне было хорошо известно, что можно, да-да, можно не пить и жить долго и счастливо. Я лично знал людей, которые не пили и жили долго и счастливо. И даже если не знал их лично (потому что фактически никого счастливого я лично не знал и даже не желал знать; услыхав, что про кого-то говорят: вот этот счастлив, этому везет, этому удалась жизнь, я от таких счастливчиков убегал, удирал, как от чумы), — даже если я не знал их лично, их знали другие, и даже если никто не знал, все равно эти счастливцы существовали. Были и есть. В конце концов, на алкоголиках свет клином не сошелся, алкоголики — маргиналы, преобладающая часть человечества не пьет. Хотя, в сущности, не очень понятно почему. Почему, в сущности, преобладающая часть человечества не пьет? По каким причинам? Приведу одну известную сентенцию. Сентенцию-каденцию. Пьянство — тема настолько креативная, что в любую минуту может породить подобную сентенцию. Куда бы ни обратил ты лик свой, какую из троп, ведущих сквозь топи, ни выбрал, везде повстречать можешь ангела с огненным мечом, и речет тебе ангел (а голос его будет подобен шуму вод многих), и спросит: почему же ты не пьешь, брат мой? И если ты, брат мой, ответишь, что не пьешь, ибо не имеешь таковой потребности, или что не пьешь, ибо водка тебе не по вкусу, или, не дай бог, ответишь, что не нуждаешься в искусственных стимуляторах, или еще какую-нибудь сморозишь глупость, например, скажешь, что не пьешь, поскольку отлично обходишься без спиртного, если ты, грешный, в наивности своей, но и в бесстыдстве своем что-нибудь подобное скажешь, знай: тебя постигнет суровое возмездие. А как сказано в Священном Писании: возмездие за грех — смерть.

Восемнадцать раз я лежал в отделении для делирантов, едва заметные шрамы после вшитых "торпед" украшают мое тело, как украшает хвойное дерево хвоя, моя печень источает неповторимый запах смеси духов, одеколонов и салицилового спирта, а ведь был в моей жизни не поддающийся объяснению период, когда и я говорил: я не пью, когда печень моя не пахла духами и кожа моя была гладкой. А почему же ты не пьешь, брат наш? — вопрошали сидящие у стойки братья мои, и злобны были они, и дух Венедикта Ерофеева витал над их головами, и их безвольные языки говорили его языком, и я набрасывал несколько строк под его влиянием и, воздав ему должное, освобождался от его влияния. Ибо даже самую классную литературу не сравнить с ошеломительной простотой собственных тревог. Почему же ты не пьешь, брат наш? — вопрошали сидящие у стойки. Не пью, — отвечал я, — потому что не испытываю желания, потому что вкуса не нахожу, не нуждаюсь в искусственных стимуляторах и отлично обхожусь без спиртного. Так отвечал я, и это было правдой, но только до поры до времени. Пока не пробивал час триумфального кира. Пока я не заглядывал в пасть бездонного пузыря. Я расскажу об этом, когда придет время рассказать о триумфальном кире, бездонном пузыре и еще не тронутом стакане тяжелого, как набрякшие

веки, напитка. По неподвижной его поверхности кружит воткнутый в ломтик лимона крохотный черный зонтик.

Доктор Гранада

— Знаете, пан Е., я абсолютно уверен, что ни один из полсотни лежащих сейчас в моем отделении орлов и ни одна из полдюжины орлиц уже не воспарят в небеса. Никто из вас не излечится, никто не бросит пить. Ни ваш сосед по палате Колумб Первооткрыватель, ни Шимон Сама Доброта, ни Дон Жуан Лопатка, ни Сахарный Король, ни Ударник Социалистического Труда, чей живой труп не далее, как вчера, вновь к нам пожаловал, ни Самый Неуловимый Террорист, ни Королева Красоты, ни Фанни Капельмейстер, ни Иоанна, ни Марианна — никто из вас, можно не сомневаться, пить не бросит. С вышеназванным почтенным ареопагом все понятно. Но и у дебютантов шансы практически нулевые; впрочем, даже тех, кто попал ко мне в первый раз, дебютантами не назовешь — большинство из них добились на своем творческом пути немалых успехов; настоящим же дебютантам, которые сейчас на скверике в своем микрорайоне откупоривают первую бутылку, в голову не приходит, что когда-нибудь они пополнят ряды заслуженных классиков.

Доктор Гранада поглядывал на мир одним глазом, второй глаз (а может быть, первый? Какой глаз первый, а какой — второй? Вот классический пример алкашеской сентенции; за рюмкой можно детально проработать самые разные ее варианты) — второй, то ли первый глаз доктора был затянут бельмом; поверхностный этот дефект мог быть легко устранен коллегой-хирургом, однако доктор не только его не устранял, но буквально культивировал свое одноглазие — и правильно делал. Эта особенность наделяла доктора Гранаду харизмой вождя, в наших дырявых мозгах оживали смутные воспоминания, связанные с прочитанными в детстве книжками про пиратов, ни одна медсестра не могла устоять перед циклопизмом заведующего отделением — я давно заметил, что явная асимметрия мужской анатомии усиливает томное влечение женщин; в природе такого извращения, впрочем, без рюмки не разберешься, так что пока оставим это в стороне.

Доктор Гранада напоминал мне доктора Свободзичку из Вислы: тот же запах архаичного одеколона, внешнее сходство, громкие фамилии, одинаково высокомерное отношение к миру, похоже, а может даже точно так же звучащий зычный голос (“глас, с небес глаголющий”), склонность к замысловатым и сочным парадоксальным высказываниям, наконец, одноглазие. У одного левый глаз затянут белой пленкой, у другого в правой глазнице стеклянный протез. Я брежу, хотя не знаю, что такое “бредить”. У меня страшный жар, я лежу в огромной, как трансатлантический лайнер, родительской кровати, ночник зажигается и гаснет, одноглазый доктор склоняется надо мной.

— Однако они еще цепляются за обманчивую надежду, многие охотно отдаются во власть собственных иллюзий, — голубизна в единственном

глазу доктора Гранады густеет, как замороженный "Абсолют". — Они хотя бы верят, что больше не будут пить, свято убеждены, что впредь не выпьют ни одной рюмки, искренне себе это обещают. Но, конечно, не выдержат, когти порока рано или поздно сомкнутся на пересохших глотках; это сейчас, когда их вытащили с того света, они заделались абстинентами или, скажем, псевдоабстинентами и твердо знают, что пить нехорошо, и если, снова надравшись, сразу же не помрут, то — по крайней мере, некоторое время — будут вспоминать свою больничную или даже недолгую послебольничную трезвость. Будут метаться, будут без толку метаться, выбирая: пить или не пить, но эти напрасные метания хотя бы засвидетельствуют о какой-никакой, пускай проигранной — ибо она проиграна — схватке, каком-никаком движении. Их ждет нокаут, но на ринг они выйдут. А вы, пан Е., на ринг уже не выходите. Вы неподвижны, вы застряли в бутылке, как мошка в янтаре. Внутри у вас все выгорело. Остались одни пепелища, притом остывшие. Пожар загасили проливные дожди. Вроде бы вы сидите у меня в кабинете, вроде бы что-то говорите, порой даже складывается обманчивое впечатление, что говорите по делу, на вас все еще больничная пижама, но фактически вас здесь уже нет, вы уже в элегантном выходном костюме сидите на высоком табурете, вы уже пьете. Так-то, пан Е. В конце недели вы отсюда выйдете в отличной форме, нашпигованный витаминами, более-менее восполнив недостаток магния в организме, окрепнув и успокоившись благодаря укрепляющим и успокоительным препаратам, выйдете на своих ногах, поскольку мы, не помню уж в который раз, поставили вас на ноги, — и куда же вы направите свои послушные стопы? Надо ли мне спрашивать? Надо ли утруждать свой голос вопросительной интонацией? Вы первым делом отправитесь в ближайший кабак или в ближайший магазин, где торгуют спиртным.

Доктор Гранада был совершенно прав. Выйдя из отделения для делирантов, я неизменно направлял свои стопы в ближайший кабак или в ближайший магазин, где торгуют спиртным. Точнее, сперва я отправлялся в кабак, причем — чтобы уж совсем быть точным — вовсе не в ближайший, то есть ближайший, но по отношению к моей, покинутой моими женами, квартире на площади ООН. Да, я выходил из отделения для делирантов, шел на ближайшую стоянку такси и ехал на такси к своей двенадцатиэтажной башне; в своих краях я чувствовал себя увереннее — везде, как известно, хорошо, а дома лучше. И я входил в бар "Чаша Ангела" и для порядка выпивал четыре по пятьдесят. Затем покупал в соседнем магазине бутылку водки и смело бросался в бой с безобразием, творящимся у меня дома. Ибо справиться с непрестанно усугубляющимся хаосом в покинутой моими женами квартире на трезвую голову я был не в состоянии, хотя и упорно пытался, будучи по природе своей педантом.

Пролегомены идеального порядка

Говорят, чрезмерная любовь к порядку свидетельствует об отвратительном состоянии нервной системы — в моем случае так оно и есть: и

любовь к порядку у меня чрезмерная, и нервы никуда. Предметы без устали меня атакуют, я вынужден сопротивляться, рано или поздно это превращается в бесплодную борьбу с ветряными мельницами, но на короткий срок на скромной площади в сорок восемь квадратных метров (две комнаты с кухней) их все же удается приструнить. Беда в другом: сплошь и рядом просто забываешь, куда чего кладешь. Не подумайте, будто я чванливо и лицемерно утверждаю, что погруженному в размышления о высоких материях уму не до мелочей, что постоянно думать о мелочах вредно; я так не говорю, хотя, возможно, это чистая правда, я так не говорю, хотя почти наверняка это чистая правда. Можно ли считать яблоко, упавшее на голову Исаака Ньютона, мелочью? Космическая мелочь, скажете? Да других и не существует. Сто тысяч бочек арестантов! Не нужно призывать законы мироздания на защиту вечно теряющихся зажигалок, кошельков, документов, вечных перьев и шариковых авторучек, рукописей, книжек, носков, пепельниц, шарфов, перчаток und so weiter[1]. Так же, как не нужно в этой связи — в связи с безобразным поведением вещей — ссылаться на "размышления о высоких материях". Постоянная сосредоточенность на мелочах не обязательно должна нарушать ход "размышлений о высоких материях", достаточно, что она нарушает повседневные размышления, и не просто нарушает, а разрушает — если мыслишь целыми фразами. Я, к примеру, мыслю целыми фразами. Скажу больше: я еще жив благодаря тому, что, проявляя отчаянное упорство, мыслю целыми фразами. И не сочтите это графоманским тренингом, хотя для литератора нет ничего важнее умения мыслить целыми фразами. С пронзительной печалью я думаю о той минуте, когда последние абзацы, фразы, фрагменты фраз выветрятся из моей головы и там останутся лишь неразборчивые каракули, призраки названий, миражи. Это конец. Иронический выбор между слабоумием и смертью ни в малейшей степени меня не привлекает.

Когда думаешь — пускай только короткими, простыми, нераспространенными, но все же целыми предложениями, — нельзя одновременно думать о мелочах, например о том, куда ты положил ключи. Ключи должны лежать на своем месте. Возможно, плодом неустанной работы над фразами о пропавших ключах могли бы стать захватывающие литературные произведения для избранных, но захватывающие литературные произведения для избранных следует выдавать дозированно. Ключи должны лежать на своем месте. Ключи должны лежать на своем месте? Боже мой, Боже правый, Ты, который все для меня делаешь, скажи: неужели ради этого я изливаю на бумагу свое отчаяние? Неужели ради этого часами просиживаю с пером в руке? Ради того, чтобы мой изощренный мозг открыл ньютонову истину, что ключи должны лежать на своем месте? Ради такой истины я загубил свою жизнь? Ради такой истины у меня дрожат руки и разрушается печень? Ради такой истины я опустился на дно бездны? Однако, с другой стороны, ключи должны лежать на месте. Если бы Ася Катастрофа клала ключи на место, я бы ее любил, она была бы любовью всей моей жизни, любовью до гроба, мы всегда были бы вместе.

1. И так далее (*нем.*).

Все стиральные машины на свете

Откладываемая на неопределенное время идея починки старой либо покупки новой стиральной машины, пожалуй, почила в бозе сама собой, независимо от моих слабостей. В жизни я пропил кучу денег, истратил на водку целое состояние, но ни разу не опустился до того, чтобы пропить сумму, предназначенную на починку машины. Признаюсь я в этом не с гордостью, а со стыдом. Ибо суммы, предназначенной на починку стиральной машины, я не пропивал исключительно потому, что никогда никакой суммы на починку стиральной машины не предназначал. Не успев предназначить некую сумму на починку стиральной машины, я ее пропивал вкупе с другими, еще ни на что не предназначенными суммами. Я пропивал деньги, еще не успев придумать для них иного предназначения, ergo[1], имею право сказать, на первый взгляд самому себе противореча (но лишь на первый взгляд, ибо по сути я просто перехожу от частного к общему), — следовательно, имею полное право сказать: да, я пропил деньги на починку стиральной машины, пропил деньги на несколько починок, пропил деньги на капитальный ремонт... эй, что я говорю? Какой там ремонт! Я пропил деньги на покупку новой машины, пропил несколько новых машин, пропил тысячу новых машин, пропил миллион новых стиральных машин-автоматов, пропил миллиард стиральных машин новейшего поколения, пропил все стиральные машины на свете.

Что на душе у человека, который знает, что пропил все стиральные машины на свете? Отвечаю: душа его рвется ввысь, а мысль вибрирует, как барабан на последней стадии отжима. Когда на сердце камнем лежит тяжесть миллиарда пропитых стиральных машин, это невыносимо. Но когда ты поднимаешь печальный взор и видишь, как стаи белокрылых стиральных машин парят в водянистом небесном просторе, точно эскадрильи папских вертолетов, ты понимаешь, что тебе дано больше, чем другим. Тебе дан особый дар, и если ты выживешь, если раньше времени не врежешь дуба, смело отправляйся на поиски всех утраченных стиральных машин и даже — да, да — на поиски всех утраченных вещей.

Врата в небеса могут распахнуться перед тобой, однако тут надо держать ухо востро, тут надо быть начеку, ибо небесные врата могут, распахнувшись, тут же захлопнуться. Если ты не совладаешь со слабостью, если шаг твой будет нетверд и тебя будет клонить в сон — ты не захочешь, не сумеешь вернуться. Иногда уже после сотой — а у кого кишка тонка, то, возможно, уже после десятой пропитой стиральной машины безвозвратно пропадает интерес к земным делам и воля к действию. А духовность, абсолютно свободная от уз бренности, — это же чистая графомания. Если твоя задача — пропить все стиральные машины на свете, ты неизбежно рано или поздно начисто забываешь о земном существовании, в писательском же деле пренебрежение таковым ведет к графомании, а стало быть, тот, кто пишет и пьет, попадает в сложное положение. Я пил и не забрасывал сочинительства, вот и сейчас с пьяной слезой в глазу пишу о заброшенной по причине пьянства стиральной машине. Ах, если бы я нашел в себе интерес к ее земному разладившемуся

1. Следовательно (*лат.*).

механизму... ладно уж, просто нашел бы свободную минуту, я бы, ясное дело, поручил кому следует починку. Но я не находил ни того ни другого. Не сподобился позаботиться о хлебе нашем насущном — аминь. Моя первая жена со временем привыкла к вечно неисправной стиральной машине, и перестала на меня давить, и ушла, и никогда больше не давила. Моя вторая жена ушла до того, как привыкла и перестала давить.

Доктор Свободзичка

Я лежу в огромной, как трансатлантический лайнер, родительской кровати, брежу, хотя не знаю, что такое "бредить", ощущаю запах спиртного, хотя не знаю, что это запах спиртного, надо мной склоняется доктор Свободзичка. Пары спирта, исходя из всех чакр, окружают его лучезарным ореолом. Страшен доктор Свободзичка, страшен, как шаман из приключенческого романа. Точно карающий ангел, идет он по главной улице с врачебным саквояжем в руке, бредет среди метровых сугробов, точно мифический снежный человек, кренится то на один бок, то на другой, точно Летучий Голландец. Пьет дико, до невменяемости. Самоубийцам с ним ой как несладко.

Еще год или даже месяц назад я бы написал, что доктор Свободзичка пил, как Консул[1], совсем еще недавно я бы привел такое сравнение, но сейчас, отчетливо осознав, что литературе пришел конец, сейчас истины ради я отказываюсь от этой эффектной конъюнкции. По сравнению с доктором Свободзичкой Консул — бледный литературный образ (что неудивительно: первый — существо из плоти и крови, второй — бесплотный продукт вымысла); если же говорить об уровне профессионализма, то Консул рядом со Свободзичкой все равно что хмелеющий от бокала вина гимназист рядом с Консулом. Доктор пил горькую, то есть убивал себя, убивал неутомимо и систематически и, видимо, поэтому самоубийц ненавидел и презирал. Его самоуничтожение было деловитым, методичным и гармоническим, они же кончали с собой внезапно, небрежно, неряшливо, пренебрегая поэтическими канонами. Да, при докторе Свободзичке вислинским самоубийцам приходилось несладко. Страшные проклятия обрушивались на их удавленные головы, доктор грубо вскрывал трупы, осыпая стынущие тела бранью и оскорблениями; проводя, например, пальцем по синей полосе на шее молодого Ойермаха, он приговаривал:

— Повезло тебе, малый, повезло, что помер, иначе бы я тебя придушил.

Возле головы покойника сидел черный волкодав и бил хвостом, разметая ноздреватый февральский снег; остатки пенистого пива капали у него из пасти.

Доктор Свободзичка неутомимо шагал по извилистой тропе к недосягаемой вершине, пребывая во хмелю двадцать четыре часа в сутки. Он

1. Герой романа канадского писателя Мальколма Лаури "У подножия вулкана". (*Здесь и далее – прим. перев.*)

поглощал гектолитры чистого спирта, был великим знатоком местного самогона — густого, темного и горючего, как керосин, мог побиться об заклад, что выживет, выпив за вечер шесть бутылок пасхальной сливовицы, и запросто выигрывал: не только оставался жив, но и самостоятельно, хотя с чрезмерной величавостью, поднимался со стула. Нахлебавшийся пива черный волкодав вылезал из-под дубового стола и нетвердым шагом следовал за хозяином.

Каковы были ночи и утра доктора, мне нетрудно представить: страшные, невыносимые кошмары, слишком громкие голоса, слишком осязаемые призраки. Ни принять, ни стерпеть, ни утопить в вине эту дикую орду, конечно же, было невозможно — и доктор Свободзичка, видя, что его мучениям поистине гомеровского масштаба нет конца, и осознавая свое бессилие, в отчаянии прибегал к крайней мере. А именно: обращался к морфию и поступал так ради усмирения боли (а не ради умножения опыта, ясное дело), хотя прекрасно знал, что если после первого укола все страдания (так, по крайней мере, покажется) как рукой снимет, то этот первый укол спустя короткое время, через минуту, а по правде говоря, моментально потребует второго укола, а после второй дозы, самое позднее после третьей начнутся кошмары еще более страшные, зазвучат голоса еще более оглушительные, осязаемые призраки подступят еще ближе. Доктору Свободзичке известно было, как действует простой, но беспощадный механизм отключения сознания, он был превосходным врачом и не сомневался, что справится — однажды он именно об этом (что справится) побился об заклад сам с собою и... проиграл.

Мама в ту пору была молодым вислинским провизором протестантского (аугсбургско-евангелического) вероисповедания, ей часто приходилось дежурить ночью, и в самые темные часы, в три или четыре утра, ее не раз будил протяжный звонок, панический стук в дверь и ритуальный возглас:

— Пани магистр! Пани магистр! Острый случай, требующий незамедлительного вмешательства! Случай, абсолютно не терпящий отлагательств!

За стеклянной дверью покачивалась грузная фигура, у ног которой стоял на страже пес. Доктор Свободзичка трясущейся рукой протягивал рецепт, где было начертано магическое, сулящее облегчение, а возможно даже эйфорию, заклятие: “Morph. Hydr. oo2”. Голос натурально дрожал: доктору даже не приходилось изображать, будто он у него судорожно срывается.

— Пани магистр... В Замке сейчас находится первый секретарь товарищ Владислав Гомулка, у него внезапно начались колики, боли ужасные, глава государства корчится в муках, меня вызвали... Сами понимаете, дело государственной важности...

В первый, а то и в третий раз (“Пани магистр, в Замке сейчас находится премьер Юзеф Циранкевич, у него внезапно начались колики...”) это сногсшибательное заявление могло даже показаться правдоподобным. Замок, до войны принадлежавший президенту Мосьцицкому, теперь действительно служил загородной резиденцией чиновникам высшего ранга: не однажды в сумерки нам случалось видеть кавалькады “волг” и “чаек”, медленно катящих по дороге на Кубалёнку; свет фар выхватывал из темноты бронированные кузова. Присутствие по соседству

государственных деятелей (фантастические кортежи, туманным утром ползущие по лесистым склонам, означали, что представители центральной власти вкупе с сопровождающими лицами отправляются по грибы), близкое соседство и даже внезапное недомогание премьера или первого секретаря (хотя, согласно доктрине, они относились к разряду сверхчеловеков и, следовательно, были бесплотны) еще могли показаться правдоподобными, однако, если верить Свободзичке, получалось, что Гомулка и Циранкевич (ниже доктор, как правило, не опускался) постоянно проживают в Замке и вдобавок их регулярно, с небольшими перерывами, прихватывают колики. Поэтому вскоре — и даже еще раньше — в этом вопросе наступила полная ясность. Да и сам Свободзичка со временем перестал заботиться о правдоподобии своей версии событий: автоматически отбарабанив тираду о Замке, государственном муже и коликах, он предъявлял рецепт, брал ампулы, садился на ближайшую скамейку посреди рыночной площади, открывал сумку, доставал шприц и, проколов иглой брючину, ловко вводил его содержимое в мышцу бедра. Великий доктор Свободзичка — доктор Морфий, доктор Кодеин, доктор Сивуха, доктор Никто.

Вислинцы по сей день прославляют в песнях его врачебное мастерство, в Висле и сегодня можно услышать рассказы об остановленных им эпидемиях, о неизлечимых болезнях, которые он излечивал, о безошибочных диагнозах, которые он без малейших колебаний ставил. Выгорала его душа, слабели конечности, все менее членораздельной делалась речь, но врачебное мастерство от этого не страдало. Пожар пагубного пристрастия уничтожал в нем все, кроме профессионального умения. Он с превеликим трудом вставлял в уши фонендоскоп, однако укрывшийся в лабиринте внутренностей крысиный писк недуга слышал превосходно; рука его, выписывая рецепт, дрожала, однако выписывал он именно то, что нужно. Если он кого-то направлял в больницу — это было необходимо, если прописывал антибиотик — антибиотик действовал, если велел полгода собирать и заваривать дубовую кору и ежедневно пить отвар — известно было, что полугодовой курс лечения поможет. А еще он с необычайной точностью предсказывал хронологию развития болезни. Через семь дней полегчает, через десять дней пройдет, через две недели встанешь на ноги, говорил доктор Свободзичка, и все было так, как он говорил: через семь дней легчало, через десять дней проходило, через две недели больной вставал на ноги. Когда доктор ушел на пенсию (а пенсионером он пожил недолго), когда свое предсмертное пребывание на свете свел к ежедневному пребыванию в пивной "Пяст" — даже там к его столику выстраивалась очередь. Свободзичка появлялся в "Пясте" ровно в семь утра в сопровождении черного волкодава, залпом выпивал целительные сто грамм, мелкими глотками запивал их пивом, псу, занявшему свой пост под столом, щедро наливал в жестяную миску пива и, подняв руку, царственным жестом позволял приблизиться первому пациенту.

Я болел всеми болезнями. Болел постоянно. Болел рьяно. Болел остервенело. Я обожал визиты доктора Свободзички, я вдыхал запах медикаментов и спиртного, я наслаждался смятением, в которое доктор неизменно повергал домочадцев. Он сбрасывал бараний тулуп, закуривал в заботливо проветренной мамой спальне, вставлял в уши фонендоскоп и принимался меня выслушивать. Дыши. Не дыши. Вдохни глубже. Он

затягивался, выпускал клубы дыма, заходился хриплым, будто со дна колодца, кашлем заядлого курильщика.

– Н-да, – говорил он, – кашель, опять кашель...

– Да ведь он не кашляет, доктор, – вмешивалась бледная как полотно и близкая к обмороку мама.

– Это не он, это я кашляю, – Свободзичка не прерывал обследования, – я кашляю и решительно не знаю, что делать, не проходит и все тут, – доктор резким движением выдергивал из ушей фонендоскоп, подходил к столу, доставал бланки рецептов. – Он начнет кашлять через два дня. Через два дня начнется кашель. А через семь дней, то есть в целом через девять, кашель прекратится. Сколько ему лет?

– Девять, – говорила мама, и в голосе ее явно ощущалось облегчение.

Доктор глядел на меня испытующе.

– Девять лет, девять лет, самое время присмотреться к миру, самое время определить свои симпатии. Скажи, Ежи, кто тебе больше нравится: католички или протестантки?

– Католички, – отвечал я не раздумывая, окрыленный появившейся наконец легальной возможностью поговорить о женщинах. – Католички, а больше всех Уршуля и Альдона.

– Ты совершенно прав, – произносил он со смертельной серьезностью и, немного помолчав, добавлял длинную загадочную фразу; прозвучавшее в этой фразе ключевое, по-видимому, выражение "экуменические устремления" я не только не понимал, но и почти не слышал, поскольку мама пантерой бросалась к столу, заслоняла меня своим телом, заглушала слова доктора истерически-настойчивым приглашением перейти на кухню; минуту спустя оттуда доносился неземной звук – звон извлекаемых из буфета рюмок.

Домыслов о том, что он сам себе укорачивал жизнь и по этой причине относился к самоубийцам с неприязнью и презрением, доктор Свободзичка – я уверен – никогда бы не подтвердил. Ни намеком, ни жестом не показал бы, что видит в их отчаянии искаженное по форме, но верное по сути отражение собственного состояния. Его якобы всего-навсего возмущало, что наши самоубийцы отправлялись в горы или в лесную чащу и там исчезали, подыскав себе в недоступных дебрях подходящий буковый (леса у нас смешанные) сук. А ведь им следовало бы позаботиться о том, чтобы не слишком обременять живых, им бы следовало – дабы упростить неизбежные посмертные процедуры – вешаться на опушке.

Взять, к примеру, молодого Ойермаха. Никому в голову не могло прийти, что такое случится. Неделей раньше мы с отцом у них побывали: светлый просторный дом на холме, свежеоштукатуренные хозяйственные постройки, куриная ферма и прочие богатства; благополучные и зажиточные Ойермахи первыми в наших краях приобрели телевизор, потому мы туда и пошли – по телевизору показывали матч "Гурник" – "Тоттенхем" (4:2 в пользу "Гурника"). Мы сидели на плюшевом диване, пили чай, старый Ойермах на втором этаже играл на пианино, молодой вместе с нами смотрел футбол, ангельски прекрасная жена молодого в тяжелом парчовом платье сновала по комнатам, сонный малыш тихонько играл на изумрудном, как Ориноко, ковре, во дворе кудахтали куры, "Гурник" поначалу даже вел 4:0, после матча мы пошли домой, темнело.

Через семь дней той жизни пришел конец. Через семь дней молодой Ойермах помешался, убил жену и ребенка и убежал в лес на Яжембатой и там повесился в недоступном месте.

Доктор Свободзичка ругался на чем свет стоит, сыпал проклятиями, утирал пот со лба, грозился, что это последний самоубийца, к которому он идет. Странное дело: самоубийц он ненавидел, но тем не менее откликался на первый зов, без промедления являлся куда надо даже посреди ночи. (Легок на подъем он был, конечно, благодаря бессоннице; пагубное пристрастие к зеленому змию — как сказал бы Шимон Сама Доброта — неумолимо ведет к бессоннице, а бессонница усугубляет это пристрастие.) Можно также предположить, что доктор очень любил зимой ездить в самые отдаленные долины, ведь поездка на санях в метель и мороз не могла обойтись без чего-нибудь горячительного: как иначе уберечь спасательную экспедицию от замерзания?

Всюду он ходил, всюду ездил. Любым бедолагой готов был заняться, а вот молодым Ойермахом и другими отчаявшимися, висящими на других деревьях, заниматься не хотел. Ругался и клял их последними словами. Я верю, мне хочется верить, что не только от страха, а специально, для профилактики, он проклинал тех, кто уже это сделал, дабы те, в чьих израненных душах еще только зрел подобный замысел, знали: если они так поступят, им не избежать недоброго слова, и презрения, и страшных проклятий доктора Свободзички.

Я знаю: он не хотел идти, потому что боялся. Боялся сладкого, упоительного соблазна лесистых склонов. Душа его была сожжена дотла, но искра сознания не гасла, он понимал, что, стоит ему обернуться, и его неумолимо потянет в глубь смешанных лесов на Чантории, на Стожке, на Бараньей и Яжембатой. Он отчетливо видел тропки, сперва взбирающиеся вверх, а по другой стороне склона сбегающие вниз. Обезумевший от горя черный волкодав носится взад-вперед, отыскивает в конце концов путь, безошибочно ведущий к пивной “Пяст”, залезает под стол, лакает теплое пиво из жестяной миски и тщетно ждет своего хозяина и спасителя — аминь.

Гнедой Фукс

Морозная довоенная зима. Середина января 1932-го или 1933 года. В этой части земного шара, где сейчас мой дед, Старый Кубица, выпивает очередную рюмку водки Бачевского, мороз и снег продержатся еще долго. Тяжелый бараний тулуп сполз с дедовых плеч, под тулупом белая рубашка со стоячим воротничком и черный жилет, Старому Кубице тепло, кровь бойко кружит по жилам, однако откуда-то просачивается боль, повыше сердца или пониже легких, то ли между мышц, то ли между костей у него дыра — незаживающая рана.

В пивной “У Дрозда” темно, только узкая полоска света тянется от керосиновой лампы на буфетной стойке, только раскаленная чугунная дверца кафельной печи алеет, словно знамя бога войны, только за окнами все белым-бело. Хозяин пивной расставляет стаканы на полках буфе-

та, поглядывает в темный угол. Старый Кубица сидит не шевелясь, то есть не шевелясь он сидит пятнадцать минут, по прошествии пятнадцати минут можно заметить легкое движение руки, услышать негромкий звон стекла, голова деда запрокидывается. Мой дед Старый Кубица пьет и не знает, как быть. Он гонит прочь мысли о долгах, о хозяйстве, о бабушке Зофье, гонит мысли о детях. О своем любимце гнедом по имени Фукс он вообще не думает. Думает он о том, что завтра на рассвете должен убить устроньского купца, которому сегодня продал гнедого по имени Фукс.

— Послушайте, это самая прекрасная лошадь, какую я только видел, это самый прекрасный конь на свете, — вот уже больше полугода твердил купец. — Послушайте, гнедой маршала Пилсудского с вашим гнедым рядом не стоял. Да я вам, сколько ни попросите, заплачу, вы на эти деньги поставите себе новый дом.

Старый Кубица смеялся, гладил гриву гнедого, слушал, как он топочет, фыркает, ржет, — слушал, запрокинув голову, будто дирижер, вслушивающийся в безукоризненное звучание инструментов, будто пьянчуга, поднесший к губам свою амброзию.

Сегодня на рассвете у него тряслись руки, прыгало сердце, пот градом катился со лба, в голове гудели неотвязные мысли: все потеряно, все пропало, все пошло к чертям. Явятся судебные исполнители, и придется им с бабой и ребятишками убираться из хаты.

В горнице, где он всегда спал, было, наверно, минус один, если не минус пять. Дед стоял у окна, его бросало то в жар, то в холод, упершись лбом в заиндевелое стекло, он смотрел на пустой двор перед домом, смотрел, как по старательно подметенной моим десятилетним отцом дорожке идет к дому купец.

— Раненько встал, — шепнул себе Старый Кубица и подумал о том, что люди, которые встают чуть свет, умываются ледяной водой, едят яичницу на сале, пьют горячий кофе, а потом запрягают в сани лошадей, укрываются шкурами и едут среди бесконечной тишины и белизны целых десять километров из Устрони в Вислу, наверно, счастливы и ничего у них, наверно, не болит. Может, запрячь лошадь и самому поехать куда глаза глядят? Мой гордый дед досадливо поморщился, обозлившись на себя, что допускает в голову бабские мысли. — Поехать куда глаза глядят? Да куда ж это я поеду? — кисло усмехнулся он. — Разве что в пивную.

— Да, — пробормотал он, — дальше пивной в Устрони я вряд ли доеду.

Купец стоял на пороге и неуверенно разводил руками, и улыбался со значением.

— Послушайте...

— Хорошо, — перебил его дед. — Столько, сколько вы сказали, плюс двадцать злотых.

Тот не раздумывая полез за пазуху.

— И еще одно, — ухоженная купеческая рука задержалась под полой теплого суконного пальто, — деньги сегодня, лошадь завтра. Завтра приходите в это же время.

Купец хотел что-то сказать, но, видно, взгляд у деда был такой, что не сказал ничего. Уже с меньшей охотою, как-то вяло рылся за пазухой, однако в конце концов вытащил пачку банкнот.

— Двадцать злотых добавлю завтра, — голос у него был нехороший, словно желанная и наконец-то осуществившаяся сделка вдруг перестала

его интересовать. — Я вам верю, ваше слово кремень, это вся округа знает.

— До завтра, — сказал Кубица и, будто забыв про купца, первый вышел наружу.

Перед домом он нагнулся, зачерпнул горсть снега и обтер лицо. Купец видел, как он неподвижно стоит посреди двора, видел его опушенные снегом брови и лоб, но подходить не стал, даже свернул с выметенной дорожки. Убедившись, что отошел на безопасное расстояние, сказал:

— До свидания, до завтрашнего утра.

Старый Кубица ничего не видит, ничего не слышит. Не слышит отдаляющихся бубенцов купеческой упряжки, не видит идущих в школу детей. Над крышами хат поднимается дым, издалека доносится стук топора — кто-то рубит дрова, из леса на Оходзите кто-то зовет: поди сюда, поди. Почти совсем черный кот крадучись наискосок пересекает двор.

— Надо что-то сделать, но что? — говорит сам себе дед. — Надо что-то сделать...

Осматривается вроде как бесцельно, однако конюшню его взгляд целенаправленно избегает. На глаза ему попадается прислоненная к стене елка, на которой еще две недели назад висели яблоки и конфеты. Был Сочельник — был и прошел, хотя лучше бы Сочельника не было.

Он ни молитву не мог заставить себя прочесть, ни спеть колядку. Никто за столом не решался заговорить, дети едва удерживались, чтоб не заплакать. Сердце, казалось, вот-вот взорвется, разлетится вдребезги. Бабушка Зофья подала недоваренную капусту. Крытый синей эмалью чугунок с чуть теплой едой перетянул чашу весов на сторону злых духов. Один из них вселился в деда, дед склонился над скатертью, обхватил обеими руками роковую посудину и швырнул в противоположную стену, на которой висело изображение Мартина Лютера, скопированное с картины Кранаха, и свеча на столе погасла, и портрет нашего реформатора упал наземь. Все кинулись наутек — отец часто рассказывал, как они сломя голову удирали от Старого Кубицы, — все, повскакав со своих мест, уже бежали через сени, через темный двор, приставляли к лазу на чердак над сараем лестницу, поднимались ловко, один за другим, как вымуштрованная рота пожарных. Дед переворачивал табуреты, опрокидывал стол, опрокидывал буфет. Снимал со стены двустволку и звал моего десятилетнего отца. Вдвоем они обходили усадьбу, дед нес на плече ружье, в кулаке сжимал бутылку и пел колядки:

Дай Бог вечер, ночь веселую.
Дай Бог вечер, ночь веселую.
Сперва хозяину.
Сперва хозяину.
Потом и хозяюшке.
Потом и хозяюшке.
И детушкам ненаглядным его.
И детушкам ненаглядным его.

Он пел, прихлебывая из бутылки, и его звучный голос летел над долинами. Отец тоже пытался петь, но страх, что посильнее тридцатиградусного мороза, пронизывал его насквозь — тень этого страха останется

в нем навсегда. Тогда, рождественской ночью 1932-го или 1933 года, мой девяти- или десятилетний отец боялся, что из-за угла вынырнет поспешающий в Вифлеем ангел. Боялся, что он где-то поблизости — ангел, который сбился с дороги либо, решив передохнуть, прервал ненадолго полет. В ту рождественскую ночь на небе полно было ангелов, юрких, как ласточки, и на полях той ночью стояли ангелы и пролетали над крышами: не раз и не два можно было услышать шум крыльев и хоровое пение. Отец боялся, что Старый Кубица выстрелит в ангела. Сейчас они свернут за угол дома, увидят под заснеженной яблоней белокрылую фигуру, и мой дед не раздумывая сорвет с плеча двустволку и, почти не целясь, выстрелит и не промахнется. И на крыле ангела появится одна, всего лишь одна капля крови, и единственная эта капля будет иметь такую силу, что, когда упадет на землю, все загорится и все сгорит. Все загорится, даже снег. Но они обошли двор и сад за домом, и ничего не случилось, страх понемногу отступал, движения Старого Кубицы стали вялыми, он уже не пел, уже не искал виновника зла, которого нужно убить. Возвращался в свою стылую горницу, ставил на пол возле железной кровати бутылку, засыпал.

— Надо что-то сделать, но что? — думает мой дед, глядя на прислоненную к стене елку, и вспоминается ему вексель, который он подписал сразу после Рождества, и вспоминается минута колебаний перед тем, как подписать вексель. Он! Он, который никогда не колебался, не знал сомнений, перед тем как поставить губительную подпись, пережил минуту неуверенности, но тем не менее не остановился, не сделал из своих сомнений никакого вывода. Ничего — только дьявол помутил ему разум; ничего — только Господь Бог покарал его за то, что он, вместо того чтобы молиться и петь за праздничным столом, швырнул в стену чугунок с чуть теплой капустой. Целое хозяйство за один горшок капусты, притом холодной? — Не пойму, Господи, что у Вас за арифметика? — вопрошал он неуверенно, Господь уверенно помалкивал, и Старый Кубица в глубине души с Ним соглашался, видать, холодная капуста была пресловутой каплей, что переполнила чару его гнева.

Он идет в дровяной сарай и берет топор, которым, возможно, завтра на рассвете убьет устроньского купца. Как именно убьет, он еще не знает, однако знает, что убьет. Подробности его никогда не интересовали, а тем более не интересуют сейчас. Он не раздумывает, что пустить в ход — охотничье ружье, топор или молоток; что попадется под руку, то и пустит, потому что он всегда пускал в ход первое, что́ оказывалось под рукой, а если ничего подходящего не подвернется, задушит купца голыми руками. Что он сделает с трупом? Куда его денет? Да ничего он не станет делать. Оставит покойника на месте и отправится в пивную. Будет сидеть в пивной, как каждое утро, хотя в тот — особый — день будет ждать, что за ним придут жандармы. Когда придут, он пойдет с ними. Старый Кубица держит в руке топор, и при мысли, что завтра около полудня его заберут жандармы, наконец-то с облегчением вздыхает.

— Да, жандармы, — шепчет он себе и, не догадываясь, что перефразирует неизвестное еще стихотворение, добавляет: — На жандармов — одна надежда[1].

1. Речь идет о строке из стихотворения К. Кавафиса "В ожидании варваров": "На варваров — одна была надежда!" (Перев. с новогреч. И. Жданова.)

А пока мой дед обрубает с елки ветки и уже знает, чем займется сегодня утром. Берет осколок стекла, наждачную бумагу, ножовку — сейчас он будет вырезать из елки разные вещи и первым делом вырежет по меньшей мере четыре веселки. Ветки у елки красиво расходятся лучами, и похожие на маленькие лыжные палки веселки, которыми бабушка Зофья будет помешивать варево в крытых синей эмалью горшках, получатся знатные. Целый час, а то и все два дед работает с удовольствием, запах смолистой древесины успокаивает издерганные нервы, руки у деда спокойны. Он аккуратно снимает с деревца кору и, поначалу нескладно, точно оркестр, настраивающий инструменты, а потом все складнее — музыканты, открывающие народное гулянье, уже разыгрались — начинает петь. После двухнедельного молчания мой дед снова запел; сейчас он будто вторит нашему хору, хору делирантов.

В коридорах отделения все голоса и все мелодии мира сливаются воедино, и время от времени я отчетливо слышу в печальном многоголосье старую гуральскую мелодию, которую полвека назад Старый Кубица выводил на заснеженном дворе. Мелодия известная, только слова другие; дед, склонившись над окоренным, голым и скользким стволом елки, должно быть в порыве вдохновения, распевает первое, что ему приходит в голову:

> Нет тебя, нет тебя — и никогда не будет.
> По воде, по воде — лебеди плывут.

По какому случаю мой дед поет песню? Поминает устроньского купца, которого завтра убьет? Прощается с гнедым Фуксом? Провожает песней себя, уводимого жандармами? А может, он поет обо мне? Или о тебе? Нет тебя, нет тебя — и никогда не будет. Неправда, ты есть. Как и я — потому что я сказал смерти "нет". Старый Кубица, предложи ему на выбор отсутствие бутылки у изголовья или смерть, выбрал бы смерть. Я выбираю жизнь, и Старый Кубица в небесной пивной (ангел ему наливает) пьет за мое здоровье. "Дедушка, — говорю я ему, — нетрезвый отче моего нетрезвого отца, ведь и я был на том заснеженном дворе, бутылка стояла и у меня в изголовье, я тоже истекал черным потом, сердце мое прыгало, и руки тряслись. Но я выбираю жизнь, рядом со мной моя любовь, сильная, как твое пение, она меня спасет. Наш порок, убивший тебя, я сбрасываю, как сбрасывает кожу змея; я победил и делюсь своей победой с тобой, я пишу о тебе и пишу о себе не только затем, чтобы показать, что истинная алкашеская проза не заканчивается смертью — она заканчивается жизнью, которая закончится неизвестно как".

Поработав час, а то и все два, Старый Кубица резко срывается с места. Наверно, он решил немедленно сделать то, что собирался сделать завтра; наверно, он сейчас запряжет в сани лошадей и, кинув в ноги топор, вскачь, галопом помчится в облаке снежной пыли в Устронь. Однако нет, Старый Кубица срывается с места, ибо с ним происходит то, что неизменно с нами происходит: настает минута, когда необходимо выпить. И мой дед, осознав и уверившись, что пришло время выпить, с огромным облегчением набрасывает на плечи тяжелый бараний тулуп и отправляется в пивную. Садится там в самом дальнем углу и заказывает самую дорогую водку — Бачевского. Прикончив бутылку, расплачивает-

ся, велит принести следующую, и всем, кто на протяжении дня и потом, уже в сумерках, хочет к нему подсесть, говорит:

— Сегодня ко мне не садись. Сядь подальше.

Единственный, кому будет дозволено в тот день поставить свою рюмку рядом с его рюмкой, — доктор Свободзичка. Доктор появляется в пивной поздним вечером, он возвращается от человека, которому облегчил страдания (к завтрашнему утру боли пройдут, через три дня пройдет жар, через четыре дня придет слабость, через пять дней я сам приду), — возвращается от человека, которому облегчил предсмертные, а может быть предродовые муки. Сперва он ни слова не говоря пожимает Старому Кубице руку, потом садится, глядит на него внимательно.

— Все потерял, — не то утверждает, не то спрашивает он.

Старый Кубица молчит.

— Деньги дело наживное, через год все вернешь, через два еще больше накопишь.

Старый Кубица молчит, плавным движением берет бутылку, но доктор прикрывает свою рюмку ладонью.

— Мне тут одна мысль пришла, — произносит он, стараясь скрыть извиняющиеся нотки в голосе. — Чтоб не пить.

Дед с превеликим трудом поворачивает к доктору опухшее, с расплывшимися чертами лицо.

— Сколько? — не своим голосом спрашивает он. — Сколько? Месяц? До Страстной пятницы? Год?

— Мне вот какая мысль пришла: чтобы вообще не пить, — теперь доктору говорить явно легче, в его голосе уже нет виноватой интонации. — Проснулся утром и решил не пить, только некому было об этом сказать, да и все равно никто б не поверил. Но поскольку, как тебе, Павел, хорошо известно, одного пропойцу досконально понять может только другой пропойца, я попытался известить об этом своих собратьев во грехе, однако все они уже были пьяны. Вот и выходит, что одного пропойцу, который постановил на веки вечные расстаться с зеленым змием, может понять только другой пропойца, который тоже постановил расстаться с зеленым змием. Увы — за целый день никого такого я в наших краях не нашел. И к тебе, Павел, вижу, пришел слишком поздно, — доктор чуть-чуть приподнял прикрывающую рюмку ладонь. — А жаль, а жаль. Не сомневаюсь, что это великая и единственно правильная идея. Потом нашелся бы третий пропойца, который пожелал бы распрощаться с бутылкой, потом четвертый, пятый, сотый, десятитысячный. Получилась бы целая интернациональная армия пьянчуг, поддерживающих друг друга в благом деле. Если бы ты сегодня не пил, Павел, мы б с тобой вошли в историю как зачинатели всемирного движения. А так жалко...

— Чего жалко? — спрашивает совсем уж не своим голосом дед Кубица. Не все, что говорит доктор, до него доходит, но то, что доходит, ударяет как обухом по голове.

— Польшу жалко, — с горечью говорит доктор. — Польшу больше всего жалко. Польша могла бы стать первой, а так наверняка Америка нас опять опередит.

— Америка, — машинально повторяет дед, и ему вспоминается Америка, откуда он вернулся десять лет назад, и вспоминается зеленоглазая Дженнифер, дочь пастора, с которой он два раза ходил на прогулку. Они шли по тропке среди бескрайних полей кукурузы, на горизонте видне-

лась огромная, как океан, река Миссисипи, мой дед не понимал, что ему говорит зеленоглазая дочка пастора, но очень хотел, чтобы это было признание в горячих чувствах, чтобы Дженнифер уговаривала его остаться навсегда, чтобы рассказывала об их деревянном доме, из окон которого будет видна огромная река Миссисипи.

— Польшу жалко, — повторяет доктор, — жизнь жалко, нас жалко.

— Так ли сяк ли, здесь, в Польше, или в Америке, все равно сгинем, — говорит мой дед и видит, что рука доктора не только капитулирует и перестает оборонять подступы к рюмке, но даже выразительно пододвигает пустой сосуд к почти полной бутылке Бачевского.

И дед наливает доктору, и оба выпивают, и оба говорят:

— Твое здоровье, твое здоровье!

Чаша весов снова склоняется, но сейчас не на сторону злых духов — сейчас перевесили силы ада. Последняя рюмка становится пресловутой последней каплей, Старый Кубица чувствует, что от выпитого у него вот-вот расколется череп.

— Америка, Америка, — хрипит он, и в уголках рта у него выступает пена. Встает он, однако, на удивление бодро и твердым шагом направляется к двери. Забыв про тулуп, который остается горою лежать на стуле, словно порушенный бурей пастуший шалаш. В белой рубашке со стоячим воротничком и в черном жилете мой дед идет по снегу к своему дому. Мороз довершил начатое, мороз добавил к последней еще одну каплю, и Старый Кубица начинает кричать, начинает выть; страшен его вой, страшен, он воет так, как я выл, когда в моей квартире появились мафиози в сопровождении смуглолицей поэтессы Альберты Байбай.

Когда это было? Да и было ли вообще? Литература, прошлое, старые истории? Нет, это настоящее: поздний январский вечер 1932-го или 1933 года. Мой дед шатается и воет, как подстреленный зверь. Домашние уже издалека слышат его вой. Они уже убегают, уже дали деру. Бегут через сени, через темный двор, приставляют к лазу на чердак лестницу, поднимаются ловко, один за другим, как вымуштрованная рота пожарных. Когда Старый Кубица вваливается во двор, не слышно даже их дыхания, и он сам утихает, приходит в себя. Стоит на том же месте, где стоял утром, стоит на том же самом месте, хотя нельзя дважды стать на одно и то же место. Старый Кубица, похоже, читает то, что я пишу, потому что говорит, словно бы повторяя за мной:

— Нельзя дважды зарыться лицом в один и тот же снег. Нельзя, а может быть, тысяча чертей, можно?!

Он стоит на том же самом месте, затем по той же самой чисто выметенной дорожке идет к дровяному сараю, тем же самым движением берет топор. Деревянные ворота конюшни открываются и закрываются, и настает пронзительная тишина. Минута, две, три, пять минут пронзительно тихо, потом — возможно, близко, а возможно, и далеко — раздается глухой удар: может быть, конь стукнул копытом о землю, может быть, треснула далекая сосна на склоне Оходзиты. И снова тихо, еще несколько секунд тишины и... сейчас загремит дьявольский оркестр, вот уже распахиваются ворота конюшни, бьют барабаны, кто-то пилит на расстроенной скрипке, кто-то колотит железом по железу, слышен безумный смех и вой, и крик слышен — это кричит мой дед, Старый Кубица. Он стоит на пороге конюшни, кровь течет по белой рубашке и чер-

ному жилету, в одной руке у него факел, другой рукой он поддерживает на плече ощеренную отрубленную голову гнедого Фукса. И вот он идет, ускоряет шаг, идет все быстрее, бежит пошатываясь; кровью и огнем отмечены его неверные шаги. Потом видно уже только поднимающееся вверх по крутизне мерцающее огненное знамя. Надо спалить лес, надо спалить снег, надо спалить мир. И через минуту пламя, яркое пламя вспыхивает на заснеженной горе, будто с ангельского крыла упала одна-единственная капля крови. Нет тебя, нет тебя — и никогда не будет. По воде, по воде — лебеди плывут.

Стихи поэтов Японии

Переводы с японского

Поэзия любой страны точнее и непосредственнее, чем что бы то ни было, выражает особенности национального характера. Японская поэзия не является исключением. Более того, поскольку одной из основных особенностей японской поэзии является ее изначальная связанность с повседневной жизнью, она всегда чутко реагировала и реагирует на все изменения, в этой жизни происходящие. В Японии издавна парадоксальным образом уживаются две тенденции — традиционность и обостренная чуткость ко всему новому. Можно даже сказать, что это один из основных факторов, обеспечивший (и обеспечивающий ныне) своеобразие японской культуры. Эти две тенденции определяют и развитие современной японской поэзии.

В наши дни японская поэзия делится на три мощных потока — это пятистишие танка, трехстишие хайку и современные стихи в свободной форме, возникшие в Японии в начале XX века под влиянием европейской поэзии. Эти три направления, несмотря на свою обособленность и организационную разобщенность (поэт, творящий одновременно в разных формах, большая редкость), находятся в тесном творческом взаимодействии, постоянно влияя друг на друга. Доминируют же в настоящее время все-таки национальные формы, то есть танка и хайку.

Эта удивительная жизнеспособность поэтических традиций является, пожалуй, самым поразительным свойством японской поэзии. И возникшее еще до VIII века пятистишие танка (состоящее из 31 слога с чередованием 5-7-5-7-7) и сложившееся к XVI веку трехстишие хайку (состоящее из 17 слогов с чередованием 5-7-5) продолжают существовать и сегодня. Причем они существуют не как некая свято хранимая национальная реликвия, нет, и танка, и хайку при всей древности своего происхождения являются вполне живыми, постоянно развивающимися формами. К тому же (и это тоже одна из основных особенностей японской традиционной поэзии, сформировавшаяся уже на самых ранних стадиях ее развития) национальные формы японской поэзии имеют ярко выраженный массовый характер (кстати, этим они отличаются от тяготеющего к элитарности "свободного стиха"). В Японии постоянно проводятся конкурсы танка и хайку, существует множество журналов, создаются поэтические общества: и профессиональные, и полупрофессиональные, и просто любительские.

Разумеется, и танка, и хайку претерпели за время своего существования значительные изменения, но они никогда не исчезали из поэтического обихода, каждый поэт ощущал себя очередным звеном непрерывающейся цепи. Даже нынешние поэты, пишущие танка, вроде бы не имеющие ничего общего с классическими образцами, постоянно говорят о преемственности и то и дело обращаются к творчеству своих далеких предшественников.

Русскому читателю достаточно хорошо известны классические пятистишия и трехстишия, современная же поэзия национальных форм известна еще очень мало.

Становление современной поэзии национальных форм относится к концу XIX — началу XX века. В то время процесс европеизации захватил все области японской культуры, в том числе и литературу. Японские поэты начали осваивать европейскую поэзию и, увлеченные новизной открывшихся им форм и приемов,

© Т. Соколова-Делюсина. Перевод, вступление, 2003
© Д. Рагозин. Перевод, 2003
Редакция благодарит поэтов и Японский фонд за право безвозмездной публикации.
Антология современной японской поэзии "Странный ветер", куда войдут публикуемые стихи, готовится к печати в издательстве "Иностранка".

принялись с энтузиазмом переносить их на японскую почву, стараясь вдохнуть новую жизнь в сложившуюся в классической поэзии систему образов. Они экспериментировали и с формой, произвольно удлиняя и укорачивая стихи. Эти искания открыли путь для многих современных поэтов-новаторов.

Современная поэзия национальных форм очень неоднородна, в ней много разных групп и течений, ставящих перед собой разные творческие задачи, поразному относящихся к проблеме традиции и новаторства. Надеемся, что произведения публикуемых здесь поэтов помогут читателям составить хотя бы примерную картину того, что происходит в наши дни в японской поэзии.

Татьяна Соколова-Делюсина

Танка

Мотоко Митиура

Запах газа
Еще в волосах остался.
Тщательно
Голову вымыв и причесавшись,
Иду к тебе на свиданье.

Веря –
Непременно настанет завтра, –
На крышу дома
Поднялась и буду стоять там,
Пока флагом не стану.

Пока живешь,
Все равно никуда не деться
От желаний –
Так решила, шагая
Зимой по мосту.

© Мотоко Michiura, 2003

На рассвете,
Когда вся моя жизнь целиком
В твоих объятьях,
Себе я кажусь цветком
Расцветшим в небесных кущах.

Однажды, когда
Чувства были в полном смятенье,
Вдруг с какой-то собакой
Встретилась взглядом и утонула
В глазах ее, словно в море.

Любовь,
Она вне обыденного.
Только на миг
Блеснет и тут же исчезнет
Зимняя бледная радуга.

Нечего ждать,
Что кто-то обнимет. Впустую
Промелькнет и февраль.
Скоро стану прозрачной,
Как желтые эти нарциссы.

Желание жить,
Чужим радостям радуясь —
Меня возвращает
К тем дням, когда белой пеной цветов
Покрывались кусты мубэ.

Ладонями
Твой подбородок — такой холодный —
Пыталась укутать.
Это было однажды зимой
Вечером на платформе.

К небу
Поднимаю глаза бездумно.
Где-то там
Мама живет — лучом света
В призрачном царстве теней.

Юкари Кодзима

Перед рассветом,
Когда еще так темно,
Вьюнки
Тихонечко размыкают
Темно-синие родники.

У кошки усы
Серебром отливают.
В полдень весенний
Невысказанная мысль
Очень похожа на тайну.

Из-за того,
Что боги людей обрели,
А люди богов,
Разве станете вы страдать,
Облака?

Джон Леннон,
Чей голос звучит над Америкой,
Он, словно море,
А нации — одинокие
Корабли.

© Yukari Kogima, 2003

“Пусть даже
И не умру в Японии,
Какая разница”.
К фонарю на открытке
Пририсую свой огонек.

По солнечному парку
Женщина с синим зонтиком
Долго гуляла,
Превратилась в ирис
И так и осталась в парке.

В те времена,
Когда еще жизнь была
Музыкой,
В мире подводном рожок
Любил ракушку-наутилус.

Одна ночь, вторая —
Прибывает луна.
А на кухне
Из луковицы, натужно кряхтя,
Лезет зеленый росток.

На верхнем этаже
Взрывы ночного хохота.
Вот бы разок
Увидеть хохочущего
Иисуса Христа.

Надежды, надежды...
Раньше смотрела на небо: вдруг
Радугой озарится?
Теперь — на небо, в котором
Той радуги след растаял.

Перевод Татьяны Соколовой-Делюсиной

Сюити Сакаи

Застя взор,
Гора дождя
Вот-вот обрушится...
Отец
Двинул вперед короля.

Посмеиваюсь
Над девятнадцатым веком,
Когда ни ученые,
Ни учения
Не истребляли людей.

Запестрели
Голубые трясогузки...
По лугу в высокой траве
Расхаживают
Десять тысяч профессоров.

В Бостоне
Рождественская елка...
А мне все слышатся
Голоса:
"Добейте Японию!"

Дрожа от страха,
Как опишу
Душу
В пучине
Материализма?

© Shuichi Sakai, 2003

Жучок из своей темноты
На жену
С недоуменьем воззрился,
Там, где упала
Пущенная ракета.

Хироси Хомура

Увидел
Чудо —
Дышащий цвет,
Ты объяснила:
“Пламя”.

Неужто и вправду
Мои?
В яичные ячейки
Холодильника
Катятся слезы...

В последнем автобусе
Уснувшая пара.
Лиловая лампочка
“Двери открываются”
Исходит яростью.

Проснулся —
Белый пар изо рта.
Это
Уже всерьез,
Уже всерьез.

© Hiroshi Homura, 2003

❧ ❧

"Замерзну, сгорю,
Замерзну, сгорю" –
Сощипывая лепестки,
Гадает
Астронавт.

❧ ❧

После вспышки
Мир,
В котором рождаются
Лишь полосатые,
Спиралеобразные...

Перевод Дмитрия Рагозина

Мати Тавара

❧ ❧

Еще одна память
Пусть о тебе останется –
Стану хранить
Эту вмятину на
Соломенной шляпе.

❧ ❧

Тепло на душе,
Когда есть человек, которому
Можно сказать:
"Ну и холод!" И тут же в ответ
Услышать: "И впрямь холодает".

❧ ❧

Морской ветерок
Вдруг твой запах закружит.
Стиснешь меня
В объятьях – стану моллюском
В сомкнутых створках ракушки.

© Machi Tawara, 2003

“Вкусно!”
Ты сказал, и с тех пор
Шестого июля
Я каждый год отмечаю
День салата.

Необязывающие
Разговоры, необязывающие
Улыбки,
Ничто ни к чему не обязывает —
За это люблю родной город.

Органчик реки
Струит мелодию светлую,
Отзываясь
На касания нежные
Осенних лучей.

Не просыпаясь,
Волосами моими играешь.
Как нежны твои пальцы!
Неужели во сне продолжаешь
Меня обнимать?

Ты мне отвечаешь
Не как мужчина, а как
Взрослый ребенку,
Возьму вот и совершу
Шоколадную революцию.

Хайку

Момоко Курода

в доме гость
за окном сквозь сосульки
сверкает дорога

на шум прибоя
иду постепенно вписываясь
в зимний пейзаж

день смерти Басё
чем короче послание
тем сильнее любовь

по горящей золе
ползут язычки пламени
декабрь

перелетные птицы
туча пронизана яркими
иглами света

летят журавли
в крематории горячей золы
неистощимый запас

© Момоко Kuroda, 2003

Амари Оки

а Мария
она Иисуса моложе
пух на траве

к картинкам ада
хорошо бы добавить
пион на ветру

запомни
башню весеннего грома
над морем

продают
мохнатого краба – рот
снегом забит

тяжелой
телегой полной печалей
подкатила весна

Перевод Татьяны Соколовой-Делюсиной

Митио Накахара

Сиганул в воду,
Но душа
Замешкалась...

© Amari Oki, 2003
© Michio Nakahara, 2003

Мираж,
Тотчас рухнувший,
Воссоздаю.

Водопад –
В хрустальной вазе
Хрустальный цветок...

Рак-отшельник
Заприметил ракушку вдали...
Ковыляет на новоселье.

Губы
Утесами слов
Говорят: зима...

На время привел
Кошку, но и любовь
За ней увязалась...

Сэй Имаи

Подсолнуха
Лоно, точно спаленная
Карта земли.

Утром
На цветах баклажана
Тень обсерватории.

© Sei Imai, 2003

Словно лагуны
При свете луны
Лунки твоих ключиц.

По свежему снегу
Будто тени рыб
Проплывают.

Семья уснула,
Мебель стоит навытяжку...
Млечный путь в зимнем небе.

Телефонная будка
В большом треугольнике
Зимних звезд.

Перевод Дмитрия Рагозина

Юмико Катаяма

шумят за окном
елки им никогда не стать
рождественскими

у святых
долгое послесмертие
цветет сирень

© Iumiko Katayama, 2003

век плесени
а наши слова плесневеют
быстрее всего

отвечая
кому-то далекому падают
листья гингко

снег
ложится пока еще принимая
форму вещей

почки
на зимних ветвях как будто
вынашивают слова

до горизонта
поле подсолнухов каждый
сам по себе

Перевод Татьяны Соколовой-Делюсиной

Документальная проза

Кингсли Эмис

Мемуары

Фрагменты книги

Перевод с английского и вступление А. Ливерганта

Счастливчик Эмис

Один из крупнейших английских послевоенных писателей Кингсли Эмис (1922—1995) проявил себя во всех мыслимых жанрах fiction и non-fiction, сочинил за свою долгую и чрезвычайно плодотворную литературную жизнь никак не меньше десятка романов, однако, как это не раз бывало, остался в истории английской литературы, да и в истории нашей переводной литературы, автором одной — самой первой и самой смешной — своей книги "Счастливчик Джим" (русский перевод — "ИЛ", 1958, № 10—12), которая, наряду с пьесой Джона Осборна "Оглянись во гневе" и романами "Спеши вниз" Джона Уэйна и "Путь наверх" Джона Брейна, стала яркой манифестацией литературного течения "сердитых молодых людей". В двух нижеприведенных автобиографических очерках из эссеистического сборника "Мемуары" (куда вошли также воспоминания о друзьях, некрологи, рецензии и прочее) Эмис — с излишней, быть может, для сатирика обстоятельностью и не мемуарной отстраненностью — иронически описывает "дела давно минувших дней": семью и школу, и тональность авторского повествования поразительно напоминает вышеупомянутый ранний шедевр, где комический эффект строился на "хроническом" несовпадении курьезного, а часто и откровенно эпатажного поведения героя и его серьезной просветительской миссии (герой — университетский преподаватель). Умение отыскать смешное, нелепое в серьезном, трогательном, значительном — отличительная черта сатирического дарования Эмиса — и прозаика, и мемуариста.

Семья

ГОВОРЯТ, отец моего отца был родом из Восточной Англии, которая в детстве виделась мне какой-то далекой, неведомой горой или пустыней. Звали его Джозеф Джеймс Эмис, в нашей же семье его в шутку величали Патером или Папашей. Мне он запомнился краснолицым толстячком с живыми, влажными глазками и густыми, пушистыми усами, которые ассоциировались у меня со стилем "кайзер Билли"[1] времен Первой мировой войны. Нос у него был в фиолетовых прожилках, и из него, что мне почему-то казалось особенно странным, то тут, то там торчали длинные, дюйма в два, волоски. Папаша то и дело разражался низким, идущим откуда-то изнутри и потому похожим на

© Kingsley Amis, 1991
© А. Ливергант. Перевод и вступление, 2003

1. Имеется в виду Вильгельм II Гогенцоллерн (1859—1941) — германский император и прусский король в 1888—1918 гг. (*Здесь и далее – прим. перев.*)

трубный глас смехом, однако что-то не припомню, чтобы он когда-нибудь улыбался. Только теперь, взявшись писать эту книгу, я вдруг сообразил, как я его не любил и боялся. Если не считать рождественских обедов и дней рождения, виделись мы довольно редко, однако мне хватало и этого. Как-то на Рождество он ухитрился подарить мне и моему двоюродному брату Джону одинаковые галстуки. Быть может, в шутку.

Он любил ходить в рестораны, где, подозреваю, немало пил, и, надо признать, я восхищался тем, как лихо он заправляет салфетку за воротничок рубашки, что в те времена считалось дурным тоном. Он был непревзойденным рассказчиком анекдотов, к которым, выпив и закусив, приступал обыкновенно без всякой преамбулы, чтобы анекдот воспринимался как история из жизни. Один такой анекдот потряс меня настолько, что я запомнил его на всю жизнь. Шотландец (по молодости лет мне было еще невдомек, что шотландцев принято считать скупердяями) повел жену в ресторан. Оба заказали стейк. Когда мясо подали, жена принялась есть с невероятной скоростью, муж же к своей тарелке даже не притронулся. "Вам не нравится мясо, сэр?" — "Нет-нет. Я жду, когда освободятся зубы жены". Не слышал я тогда и о вставных челюстях, а потому живо представил, как муж выдирает у жены прямо из десен зубы и вставляет их себе в рот. Со мной дед заговаривал, только когда здоровался или прощался.

Он был состоятельнее родителей; его дом и земля располагались в Перли, в Суррее, в привилегированном районе, тогда, году в тридцатом, еще полудеревенском, хотя уже, наверное, входившем в Лондон в результате ленточной застройки. Наш дом в Норбери, 16 находился от дедовского особняка в получасе езды на автобусе, на полпути к Лондону. Назывался особняк "Барчестер", однако по ассоциации с романом Троллопа[1] его назвал не дед, а предыдущий владелец. В доме, как и во всякой, даже не слишком состоятельной семье тех лет, держали слуг, что не мешало Матроне (Мамашей, по аналогии с Папашей, ее никто не называл) быть рачительной хозяйкой, о чьей бережливости ходили легенды.

Чего только про нее не говорили! Например, что по утрам она оставляла служанкам всего две спички. Одной — вероятно, рассуждала она, — чтобы разжечь газ, может и не хватить — спички ведь нередко ломаются, однако три были бы непозволительным пиротехническим пиршеством. Для экономии туалетной бумаги Матрона разрезала обертку и пакеты, оставшиеся от покупок в бакалейной лавке, на кусочки и вешала в уборной на крюк, и, если верить дяде Пресу, однажды утром он порезал себе задницу обрезками застрявшей в таком пакете наждачной бумаги, что я не преминул обыграть в одном своем романе — хранить фамильные секреты художник ведь не обязан. Поскольку не могу припомнить, чтобы нас хотя бы раз, за исключением одного-двух рождественских обедов, в "Барчестере" чем-нибудь угощали, допускаю, что Матрона старалась принимать гостей как можно реже.

Папаша был стекольщиком, то есть торговал оптом изделиями из стекла, в том числе и стеклянной посудой, в основном той, из которой пьют, а не едят, и, по словам отца, долгие годы, пока его не стало теснить массовое производство, дела его шли неплохо. Торговал Папаша и небьющейся посудой — разумеется, не в буквальном смысле слова, а необычайно прочной; мне кто-то объяснил, что прочность такой посуды до-

1. "Барчестерские башни" — роман английского писателя Энтони Троллопа (1815—1882).

стигается внутренним натяжением и что она не разобьется, если, скажем, смахнуть ее со стола на ковер. От сильного же удара она разбивается мгновенно, с оглушительным хлопком, превращаясь скорее в труху, чем в осколки. Подобно тому как Папаша начинал без всякого предисловия рассказывать анекдот, он мог вечером незаметно войти в гостиную с тарелкой из небьющегося стекла в руке и, притворившись, будто собирается бросить ее, к вящему изумлению собравшихся, об пол, запускал ее в камин, где она внезапно взрывалась, точно он метнул в огонь не тарелку, а ручную гранату. Сам же Папаша оставался при этом совершенно невозмутим. Взяв как-то со стола один из своих жутких темно-янтарных бокалов, якобы относящихся к эпохе Якова I, этот смешливый, непоседливый, нелепый человечек спросил у своего важного американского клиента, не хочет ли тот кое на что посмотреть. Американец, естественно, проявил интерес, тогда Папаша подошел к камину и воспроизвел свой фокус с ручной гранатой. Хочется думать, что этим он внес свой скромный вклад в крах фирмы "Дж. Дж. Эмис и компания" и, соответственно, — в процветание "Вулворта".

Немалую роль сыграл Папаша и тогда, когда семья пыталась не допустить или на худой конец испортить свадьбу Глэдис Эмис — его дочери и моей тетки — с гарвардским профессором Ральфом Фостером, ученым, как я впоследствии узнал, весьма крупным. С этой свадьбы прошло более шестидесяти лет, поэтому за точность сведений ручаться не могу, однако мне запомнилось, что последняя попытка предотвратить их брак была предпринята буквально накануне свадьбы и инициатором была скорее Матрона, чем Папаша. Хорошо помню тем не менее, как в тот роковой вечер мои родители, вняв увещеваниям дяди Преса, отправились в "Барчестер" с хмурыми лицами, чтобы уговорить Папашу (может быть, Матрону) отступиться. Поскольку Глэдис шел тогда уже двадцать второй год и в официальном согласии родителей она не нуждалась, да и Ральф был вправе жениться, на ком считает нужным, ничего, кроме занудства и брюзжания, старикам, понятное дело, не оставалось, однако в то время для мальчика моего возраста в их поведении не было ничего предосудительного. И все же я был на стороне родителей, а отнюдь не деда с бабкой. По какой-то причине, не имевшей никакого касательства ни к одному из моих родственников по отдельности, мне казалось гораздо более естественным, что дядя Прес с тетей Поппи тоже поддерживают Глэдис и Ральфа.

Как бы то ни было, добродетель и здравомыслие восторжествовали, свадьба состоялась, и Фостеры благополучно отбыли в Америку. Увы, очень скоро, всего-то тридцати шести лет от роду, Ральф внезапно умер от разрыва сердца прямо на бейсбольном матче ("Нервы!"), однако к тому времени успел произвести на свет двух детей, Бобби и Розмари. (Эта история пересказывается в девятой главе моего романа "Старые хрычи".) Бобби я, по-моему, вообще никогда не видел, а вот Розмари, когда ей было лет десять-двенадцать, пересекла со своей матерью океан; умненькая и прелестная, она все же была еще слишком юной и моим тогдашним сексуальным интересам соответствовать не могла.

Вообще, Америка в виде американских дядюшек, тетушек и двоюродных сестер и братьев фигурировала в моей жизни с раннего детства, и, интересуйся я историей семьи, мое впечатление, что большинство Эмисов эмигрировали в Виргинию еще в начале девятнадцатого века, получило бы весомое документальное подтверждение. Запомнились

мне типичный южанин дядя Том (sic!), вероятно двоюродный брат деда, и кузина Уретта, чье чудно́е имя, как говорили, навеяно было каким-то сном. Мою бабушку она называла "тетя Джу" (вместо Джулия), и это звучало весьма непривычно.

По отцовской линии у меня было два дяди — один холостяк, другой женатый, две тетки — одна из них та самая Глэдис, которой суждено было вскоре нас покинуть, и двое двоюродных братьев, на ком список родственников по отцу, собственно, и заканчивался (одних я знал, о существовании других лишь догадывался). Несмотря на то что жили Эмисы на незначительном расстоянии друг от друга, виделись мы нечасто, что во времена, когда автомобиль для большинства был еще редкостью, — факт, быть может, не столь и примечательный. Младший брат отца дядя Лесли был, пожалуй, единственным моим родственником, который представляет интерес для литератора. После того как Папаша провел свой последний значительный эксперимент, скончавшись от инфаркта (хотя тогда ему было уже за семьдесят, поговаривали, что путь на тот свет ему сократили по своей нерадивости врачи), Лесли взял на себя заботу о Матроне, а заодно и о том, что еще оставалось от фирмы "Дж. Дж. Эмис и компания".

Я не слишком расстроился, когда Дж. Дж. Эмис ушел из жизни, причем заодно и из моей, однако родители продолжали наносить визиты Матроне, поселившейся вместе с Лесли в Уорлингеме, к югу от Перли. Мне нравился Лесли, единственный родственник старшего поколения, который проявлял ко мне интерес, а возможно, и симпатию. Это был человек небольшого роста, с правильными чертами лица и густыми, прямыми, темными, всегда тщательно расчесанными волосами. В этом я брал с него пример, о чем он, впрочем, даже не подозревал: прическе и я и мои сверстники уделяли в то время повышенное внимание. Повзрослев, я понял, какой в сущности безотрадной жизнью он жил. Каждый день после работы Лесли направлялся, сойдя с поезда, в паб напротив дома, где, прежде чем предстать перед Матроной, с которой он проводил все вечера, изрядно накачивался пивом. Случалось, что после ужина, если день выдавался не слишком изнурительный, он возил мать в тот же или в какой-нибудь другой паб. Поскольку Матрона не желала или не могла дойти до пивной сама, Лесли приносил бокалы с портвейном прямо в автомобиль; не знаю, правда, пил он потом вместе с матерью в машине или же возвращался в поисках компании в паб. Матрона была огромным, устрашающего вида существом с волосатым лицом; дожила она почти до девяноста лет, вызывая у меня такие непреодолимые отвращение и страх, какие к Папаше я не испытывал никогда.

Однажды — это было, вероятно, уже во время войны — отец по большому секрету сообщил мне, что к нему в контору явился дядя Лесли. Отец был мрачен, как никогда.

— И знаешь, что он мне сказал? Что ему нравятся мужчины. И что он хочет (тут отец, сколько помню, сделал над собой усилие) с ними спать. Каково?

— А что сказал ему ты?

— Я сказал: "Я бы на твоем месте обратился к врачу".

Не знаю, что посоветовал или прописал дяде врач, но, как в дальнейшем выяснилось, Лесли в медицинском вмешательстве особой нужды не испытывал. Когда наконец, с большим опозданием, Матрона отправилась на тот свет, Лесли вдруг понял, что разбогател, и отбыл в кругосвет-

ное путешествие. Поскольку за эти годы я заметно повзрослел, отец доверительно сообщил мне со смехом, в котором слышались зависть и восхищение, что, по некоторым сведениям, Лесли переспал со всеми женщинами на борту. По всей видимости, этому занятию он предавался и на суше, причем до конца своих дней, который, увы, наступил довольно скоро — спустя пару лет.

Мне почему-то всегда казалось, что эта история просто создана для Сомерсета Моэма, хотя про выдуманный гомосексуализм Лесли он бы наверняка умолчал. Я же, напротив, пиши я роман, а не мемуары, эту деталь ни за что бы не упустил; своим присутствием Матрона устранила женщин из жизни Лесли, однако его любовный пыл от этого нисколько не пострадал: скончавшись, мать лишь высвободила его естественную гетеросексуальную сущность. И Моэм, и я, да и многие писатели, могли бы воспользоваться и некоторыми другими запомнившимися мне деталями. Придя однажды на вечеринку — это событие относится, должно быть, еще к двадцатым годам, — Лесли спросил, можно ли унести бутылку с собой. "Можно". — "Любую?" — "Любую." В результате он явился домой с бутылкой соуса. Когда Лесли жил с матерью в Уорлингеме, я както заметил, что он в огромных количествах поедает петрушку; на мой вопрос, "Почему?", дядя ответил, что в петрушке содержится органическая медь, но, какой от этой меди прок, объяснить не сумел. Не сказал Лесли и самого главного: петрушка бурно росла в его жалком огородике.

Бедняга Лесли. Мне почему-то запомнилось (или я себе это только вообразил?), как он несет бокал портвейна Матроне в машину и потом возвращается в паб, где я, уже взрослый, сижу с родителями и выпиваю на равных. Вид у него, несмотря на искусственную улыбку, затравленный.

Кого я действительно любил, так это своего деда по материнской линии. Он собирал книги, настоящие книги, поэзию; книги эти стояли по стенам в одной из комнат его маленького домика в Камберуэлле. Жаль, что дед рано умер и не успел рассказать, что он о поэзии думает, — мне бы его познания очень пригодились. Правда, со слов матери я знал, что думает о книгах его жена — Бабка. Дед по наивности имел обыкновение читать ей вслух свои любимые стихи, она же, стоило только ему опустить глаза к странице, кривлялась и строила рожи, отчего я ненавидел ее еще больше. После смерти деда я рассчитывал, что мне достанется существенная часть его библиотеки, однако Бабка разрешила взять всего пять томов, да и то при условии, что я напишу на форзаце: "Из коллекции моего деда". Я взял Колриджа, Байрона, Шелли, Китса и Вордсворта, и Колридж с Китсом хранятся у меня по сей день. К своему стыду, я исписал весь том Байрона пометками, когда двадцать лет спустя читал о нем лекции, и с полки эту книжку убрал.

Чтобы представить себе Бабку, достаточно вспомнить маленьких, ссохшихся страшных старух в черном, которые некогда сидели на парапетах или у входа в магазины на континенте. Под правым глазом у нее было нечто похожее на бездонную черную дыру величиной с булавочную головку, отчего поцелуй, которым она меня встречала, вселял в меня еще больший страх. Раз в неделю мы с матерью доезжали до Брикстона, после чего пересаживались на камберуэллский автобус и выходили на остановке Лоут-роуд, у поворота на Колдхарбор-лейн. Теперь, по прошествии стольких лет, Лоут-роуд видится мне одной из тех улиц, где десятилетний киногерой — из тех, что рождаются нищими, а умирают

принцами, — дает себе торжественную клятву никогда больше не возвращаться, хотя в действительности там, быть может, и не было ничего такого ужасного.

Бабка делилась с матерью семейными новостями, рассказывала, что у Лили кашель усилился и что Нелл пошла на поправку: "Доктор сказал, что она от природы крепкая. Лучевая терапия себя оказывает". Иногда Бабка спрашивала у меня про школу, и из ее вопросов следовало, что я почему-то казался ей года на два моложе, чем был на самом деле; пару раз она, помнится, поднимала меня на смех — ей не нравились игрушки, которые я с собой привез. Однако главной достопримечательностью Лоут-роуд была, конечно же, никакая не Бабка, а тетя Дора.

Смуглая, сероглазая, бледная, неизменно ласковая со мной, однако всегда недовольная жизнью тетя Дора была моложе матери лет на пять. Она не признавала ни косметики, ни драгоценностей, что в те времена было редкостью, и отличалась такой же старомодностью и неприбранностью, как улица, на которой жила. Я ни разу не видел, чтобы она надевала что-нибудь, кроме черного джемпера и черной юбки. От нее — так во всяком случае мне казалось — постоянно исходила какая-то тревога. Пока другие разговаривали, она то и дело наводила порядок: подберет упавший на пол лепесток, выбросит пустую коробочку из-под иголок, снимет с гардины или со скатерти приставшие волос или пух. Мать курила и, закуривая, всегда, перед тем как бросить спичку в затейливой формы пепельницу, несколько раз для пущей верности ею помахивала. Дора тут же вскакивала, выхватывала погасшую спичку из пепельницы, несла на кухню и, прежде чем выбросить в ведро с мусором, держала ее с полминуты под струей холодной воды. Никто не обращал на эту процедуру внимания — во всяком случае, никто ничего не говорил, — у меня же возникала масса вопросов, которые я задавал матери на обратном пути, но мать меня успокаивала:

— Да нет, она просто немножко странная. Тревожная.

— Но ведь спичка уже погасла, когда она извлекла ее из пепельницы. Это все видели.

— Так уж она устроена. Не обращай внимания.

Но не обращать внимания я не мог; выходило, что моя тетя не в себе, я же — без всяких, впрочем, на то оснований — всю жизнь, с самого детства, испытывал нешуточный страх перед сумасшедшими. Дору, разумеется, никак нельзя было назвать сумасшедшей или помешанной — она страдала неврозом навязчивых состояний. Полагать, что мать в 1932 году — а может, дело было и раньше — знала этот термин, понятно, нельзя, и все же она могла бы выразиться не столь уклончиво. Правда, в те времена на подобные темы особенно не распространялись.

Здесь следовало бы добавить, что сестра вызывала у матери зависть и раздражение, граничившие с ненавистью. Мать с ее золотистыми волосами и нежной кожей была женщиной привлекательной, на чем сходились все мои одноклассники — как известно, самые верные ценители женской красоты. Дора же, на мой столь же неискушенный взгляд, была собой нехороша, и, быть может, теперь лишь в силу литературной условности мне кажется, будто в этих устремленных на меня из прошлого серых глазах было что-то прекрасное и чистое, даже когда она смотрела перед собой не видящим от волнения взглядом. И тем не менее, о чем мать не раз напоминала мне и отцу, украшения и наряды доставались всегда почему-то Доре, а не ей. У матери было приятное меццо-сопрано,

которое, насколько мне известно, она ни разу не демонстрировала на публике, но которое мне нередко приходилось слышать на самодеятельных музыкальных вечерах – довольно распространенном явлении нашей культурной жизни до 1939 года. Как поет Дора, мне слышать не довелось, но Эмисы утверждали, что к учителю пения водили обеих сестер, и тот, их прослушав, счел, что у моей матери голос лучше. Тем не менее учиться петь отдали Дору.

В отличие от матери Дора много пела на публике. Перед Первой мировой войной было принято, чтобы профессиональный певец (в те годы, как правило, певица) исполнял вместе с аудиторией национальный гимн на собраниях, банкетах и обедах, которые давала Гильдия лондонского Сити. За это певица – в данном случае Дора – получала бесплатное вечернее платье, бесплатный обед и пять гиней в придачу. Для 1910 года совсем недурно – во всяком случае, было чему позавидовать.

Или не было – какая разница? Однажды, когда мы с матерью сидели в маленькой и на удивление мрачной кухоньке, выходящей на задний двор, тетя Дора, как всегда вежливо, мне сказала:

– Ты не переставишь свой стул чуть в сторону? А то я не вижу, есть кто-то в саду или нет. (Сколько помню, на задний двор с улицы прохода не было.)

Недоумевая, кто бы там мог оказаться, мать спросила, не боится ли Дора хулиганов (в те дни их не было даже у нас, на юго-востоке Лондона), грабителей и так далее.

– Нет-нет, я просто хочу убедиться, что там никого нет, – ответила Дора.

Спустя некоторое время Бабка поинтересовалась, не хочу ли я пойти в сад поиграть, что я тут же и сделал, хорошо понимая, что в саду мне будет вольготнее, а может, и безопаснее. Сад представлял собой короткую бетонную площадку с двумя цветочными клумбами футов шести каждая, между которыми проходила гаревая дорожка с бордюром из створчатых раковин, упиравшаяся не то в стену, не то в забор. Для того чтобы на этом пространстве придумать какую-нибудь игру, понадобилась бы изобретательность Эдварда де Боно[1]; о том же, чтобы просто побегать, не могло быть и речи из-за густо засаженных клумб, за которыми Дора усердно ухаживала и которые я до сих пор вижу с необычайной ясностью: ноготки, львиный зев, маргаритки, желтофиоль – правда, не все разом. И по сей день запах желтофиоли будит во мне, причем совершенно непроизвольно, воспоминания о садике на Лоут-роуд, 27.

Не менее усердно ухаживала Дора и за Бабкой, и каким бы неуютным их дом ни был, в нем неизменно поддерживались чистота и порядок. Без Доры Бабка не прожила бы и дня. У нее, правда, был сын, дядя Джордж, но он постоянно отсутствовал; за всю свою жизнь я видел его лишь дважды и запомнил только, что волосы у него курчавые и что он почтальон; возможно, из-за своей пролетарской профессии он с моими родителями и не встречался.

Полное имя Доры, в тех редких случаях, когда мне доводилось его слышать, было не Дора Лукас, а Дора Макнесс – миссис Макнесс. С мужем она разошлась. Артур Макнесс тоже был певцом, подвизавшимся в музыкальном шоу "Забияки", которое выезжало с фронтовыми концер-

1. Эдвард де Боно – английский психолог, автор методик по развитию творческих способностей.

тами в Первую мировую. Когда они поженились и когда развелись, мне неизвестно, но подозреваю, что между свадьбой и разводом лет прошло немного. Мой отец, у которого времени на тещу не оставалось, говорил, помнится, что старухе трудно было обходиться без Доры и она уговаривала ее вернуться, выдумывая красочные истории о том, что мог вытворять (или вытворял) Артур во Франции с мамзельками из Армантьера. Надо сказать, что сегодня истории эти представляются мне куда более правдоподобными, чем в юности.

У Доры, особенно в отношениях с матерью, и в самом деле было немало странного. Несколько лет назад мой друг, выдающийся психолог Джим Дарем, объяснил мне, что история с погашенной спичкой, которую Дора держала под струей воды, да и все прочее, было частью невротического ритуала, суть которого состояла в том, чтобы себя обезопасить, обеспечить благоприятное течение дел. Сходным образом ацтеки ежедневно проливали несколько галлонов крови лишь для гарантии — чтобы знать, что на следующее утро солнце встанет как обычно. Верно, до сих пор оно не обманывало их ожиданий и, очень может быть, пролитая кровь никакого отношения к восходу не имела, но какими бы идиотами они оказались, если бы в один прекрасный день перестали проливать кровь и солнце на следующее утро не поднялось бы. Смысл же Дориного ритуала, если я правильно понял Джима, заключался в том, чтобы продлить жизнь ее матери. Оставила бы спичку в пепельнице — и как знать...

Дора и в самом деле проявляла о своей матери искреннюю заботу и как-то ночью то ли в 1940-м, то ли в 1941 году, когда возле их дома взорвалась бомба, накрыла старуху своим телом, возможно даже пострадав сама. К тому времени я уже вырос и обрел право видеться с ними не чаще, чем мне хотелось (то есть не видеться вообще), а потому так и не узнал, о чем теперь жалею, за что именно Дору упекли в психбольницу. Там она расцвела: все восхищались ее кулинарными способностями, и на кухне она стала своим человеком. С того дня, как ей сообщили о смерти матери, все ее невротические симптомы как рукой сняло. Подобные явления объяснению не поддаются — остается им лишь удивляться.

Внезапно излечившаяся от безумия пятидесятилетняя Дора осталась без кола и двора — податься ей было решительно некуда. Между ней и больничным начальством состоялся разговор, при котором мне бы очень хотелось присутствовать. Доре было сказано, что с учетом ее стабильного психического состояния, а также пользы, которую она принесла, работая на кухне, можно подготовить соответствующие бумаги и занять ее, так сказать, по производственной части. Дора это предложение приняла, и ее статус в больничной системе довольно быстро повысился. Помню, я даже хвастался своим приятелям, что у меня есть безумная тетка, которая так хорошо проявила себя в психушке, что по выходе ей предложили, так сказать, именную стипендию.

Последний раз я видел Дору много лет спустя, когда она заехала повидать меня и родителей. Узнать ее было совершенно невозможно: маленькая, в платке и брюках, живая, доброжелательная — в новом обличье она почему-то вызвала у меня какое-то особое отвращение. Мать реагировала на нее сначала безучастно, а затем — с неприкрытой враждебностью. Можете сказать, что я крепок задним умом или мыслю шаблонно, но думаю, что именно тогда я стал свидетелем ненависти, о которой мне уже приходилось говорить, и чувства ущемленного досто-

инства, дававшего себя знать все эти годы; в тот день я впервые увидел это воочию, а не узнал из намеков и пересказов. Подобное поведение было моей матери совершенно несвойственно, равно как и необычно прозвучали упреки отца, который после поспешного ухода Доры выговаривал жене за то, как она держалась с сестрой.

Рост Доры в иерархии госпитального сервиса между тем продолжался до тех пор, пока она не заняла чуть ли не руководящую должность в одной из крупных лондонских клинических больниц — то ли в Гайз, то ли в Бартс, — когда вдруг, совершенно неожиданно, умерла, не успев, как в свое время и Лесли, в полной мере насладиться обретенной свободой. Об этих двух печальных судьбах остается сказать лишь одно: если есть на свете прогресс, он должен способствовать тому, чтобы в наши дни жизнь таких людей складывалась по-иному.

Когда дед по материнской линии не читал своей кривляющейся супруге "Прелюдию"[1] или не обслуживал покупателей в магазине готового платья в Брикстон-хилл, он, очень возможно, играл в местной часовне на органе, чему выучился сам, без посторонней помощи. Эта часовня принадлежала баптистской общине, располагавшейся по соседству, в Денмарк-хилл, районе, более известном сегодня благодаря находящейся здесь крупной психиатрической больнице Модсли. Согласно семейному преданию, которому у меня нет никаких оснований не верить, именно в этой часовенке еще детьми впервые встретились мои родители. Вне всяких сомнений, они часто встречались там и в дальнейшем, однако к тому времени, как я стал проявлять интерес к подобным вещам, община эта давным-давно распалась. Несколько десятилетий английские баптисты тысячами переходили в лоно англиканской церкви, причем по крайней мере двое из них пошли еще дальше, и к началу двадцатых годов мать с отцом почти полностью перестали соблюдать религиозные обряды, хотя мать еще несколько лет после этого ходила в церковь на Рождество и в День перемирия[2].

Каким бы смехотворным мне это ни казалось в те годы, родители твердо считали себя вероотступниками, а потому не дали мне никакого религиозного воспитания, хотя с азами школьной теологии никогда не спорили. Отец вообще был глубоко убежден, что мне не следует "забивать голову" всей этой церковной чепухой, а заодно и игрой на пианино, о чем я до сих пор, спустя полвека, очень жалею. Вместе с тем (поскольку об этом все равно надо будет сказать, лучше сделать это теперь, чтобы несколько оживить повествование) он никогда ни прямо, ни косвенно не занимался моим сексуальным воспитанием, если не считать прочитанного мне со страстью краткого курса о том, что может случиться с мальчиками, которые занимаются рукоблудием. Всякая эякуляция (отец, разумеется, выражался иначе) разжижает кровь, и жертва онанизма в конечном счете впадает в безумие.

Тем же читателям, которые едва сдерживают улыбку, должен сообщить, что, по словам одного моего приятеля, в их школе достигших полового созревания мальчиков в обязательном порядке возили на экскурсию в местную психбольницу, в отделение, где содержались страдающие онанизмом подростки. Возможности удостовериться в правдивости его рассказа у меня нет — было это примерно в 1945 году.

1. Стихотворный цикл У. Водсворта.
2. День перемирия — 11 ноября 1918 г., последний день Первой мировой войны.

Раз уж мы коснулись этой темы, думаю, имеет смысл немного ее развить. Маньяков-онанистов в природе не существует — в отличие, увы, от шизофреников или психопатов. Вот почему моему приятелю, который наверняка меня не разыгрывал, демонстрировали не онанистов, а шизофреников, которых выдавали за жертв дурной привычки. Не исключаю также, что подобные экскурсии были в то время в порядке вещей, и, если вам в это верится с трудом, напомните себе, что вашим воспитанием не занимались люди, родившиеся в викторианские либо в поствикторианские времена. В конце концов, дурную славу викторианцам принесли именно такие взгляды, не правда ли?

Библией, или, так сказать, "Черной книгой" борцов против подросткового онанизма, стали "Функции и расстройства половых органов" Уильяма Эктона (1813 — 1875), опубликованные незадолго до его смерти. "В случае рукоблудия, — пишет Эктон, — лицо больного становится бледным, одутловатым, покрывается угрями (знаем-знаем!), рост приостанавливается, кровь разжижается, онанист делается нечист, начинает избегать товарищей и, если и впредь будет предаваться пороку, рискует ослепнуть и превратиться в калеку. Склонные же к полноте..." — нет ничего удивительного, что от одного перечисления роковых последствий подросткового греха кровь стыла в жилах. Отец, впрочем, так далеко, как Эктон, не заходил никогда.

Я был достаточно разумным мальчиком, чтобы не поддаваться страху, который отец частенько на меня нагонял, и своим скепсисом с ним не делился. В дальнейшем я делал все по-своему, но под покровом молчания и притворства. Отца подобное положение устраивало: несмотря на желание предупредить меня о грозящем безумии, он в такого рода вопросах был довольно робок. Если не считать факта моего собственного рождения, его сексуальная жизнь всегда, вплоть до самого последнего времени, оставалась для меня тайной за семью печатями. Мне всегда почему-то казалось, что жизнь эта не отличалась особой активностью, однако опыт учит нас, что легче всего попасть впросак, высказывая подобные суждения, — даже когда речь идет о людях самых нам близких.

Если чтение назидательных лекций было со стороны отца по меньшей мере глупостью, то нежелание познакомить меня с тем, что на его языке называлось "правдой жизни", — непростительной ошибкой. В возрасте семи лет я, как и все мальчишки того времени и круга, уже располагал, хотя и с некоторыми существенными упущениями, которые привели бы в ярость современных феминисток, основными, пусть и непроверенными, сведениями из означенной области, и почерпнута эта низкопробная информация была, естественно, у моих одноклассников, в чем лично я не вижу ничего страшного. Гораздо хуже было то, что родители никогда не заводили со мной откровенный разговор на эту тему, из-за чего я не только не мог при них высказываться об этой стороне жизни, но даже не имел права подать вид, что я в курсе дела.

Мне было, должно быть, лет четырнадцать, когда соседка позволила себе отпустить в моем присутствии какое-то вполне невинное замечание о чьем-то медовом месяце или коснулась какой-то другой, столь же предосудительной темы. Пытаясь заставить ее замолчать, моя мать возмущенно замотала головой (смешнее всего, что я это прекрасно видел). Подобные предрассудки, понятное дело, не способствовали взаимопониманию между родителями и детьми. Мне было, наверное, уже лет шестнадцать, когда мать заметила: "Сейчас, надо думать, ты уже знаешь

все, что полагается, о браке и всем прочем", — на что я ответил: "Думаю, да, мама". Я слишком хорошо к ней относился, чтобы добавить: "Но ты бы очень облегчила мне жизнь, если б сказала что-то в этом роде лет шесть назад".

Как уже было замечено, домашнее сексуальное воспитание нередко — а может, и всегда? — не воспитание, а что-то вроде продажи индульгенции. Тем не менее без него не обойтись. Никогда не забуду одну сцену, разыгравшуюся много позже, когда в роли отца пришлось выступать уже мне. Началось все с того, что я услышал в гостиной голос жены: "Отец ждет вас обоих в кабинете". Кабинет, к слову, был достаточно велик, чтобы вместить носорога, но повернуться этому носорогу было бы уже негде.

Филипп и Мартин вошли с таким отсутствующим, невинным выражением на лицах, какого удается добиться лишь самым искушенным режиссерам. Одному тогда было, вероятно, шесть лет, другому — семь. Монолог, который я произнес, тотчас выветрился у меня из памяти; тем не менее, помнится, я совершенно сознательно апеллировал к сведениям из области анатомии, употреблял вполне однозначные существительные, то и дело, впрочем, сбиваясь на указательное местоимение "это" и повторяя фразу "Папа посеял семя". А что бы говорили на моем месте вы? Я никогда не испытывал к моим сыновьям большей любви и восхищения, чем в эти минуты, когда они слушали меня с необыкновенно сосредоточенным, серьезным видом. А ведь я знал, что они знают; и они знали, что я знаю, что они знают, — и так далее, до бесконечности, но что из того? Из кабинета оба вышли в глубоком молчании, каковое благоговейно хранили до тех пор, пока не отошли на почтительное расстояние. Только через пару лет Филипп признался, что по пути в кабинет шепнул брату: "Вот увидишь, он будет рассказывать нам про это". И все же разговор состоялся. Нет другой такой области, где обязательно нужно говорить о том, о чем говорить необязательно.

Однако вернемся к моему отцу и его попыткам воздействовать на мою половую жизнь. Дата его последнего запрета на занятия онанизмом не зафиксирована, но, вероятней всего, это было до 1939 года. В 1939-м мне исполнилось семнадцать, и я на всех парах приближался к еще более страшной угрозе — я вступал в область внебрачных связей, хотя (предположительно), как и 95 процентов моих сверстников, еще этой грани не переступил. Однако этот год ознаменовался не только моим семнадцатилетием, но и началом войны, вследствие чего я вместе со школой был эвакуирован в Уилтшир, а затем, и довольно скоро, оказался в Оксфорде и еще через некоторое, более продолжительное, время — в армии. Отцу наверняка меня не хватало, однако мысль о том, что теперь он наконец-то не несет ответственности за мою сексуальную жизнь, несколько смягчила горе расставания. Но тут нежданно-негаданно "грянул" адюльтер, и воцарившаяся было семейная идиллия рухнула.

Вследствие целой серии самых невероятных случайностей и стечения самых непредвиденных обстоятельств, совершенно неприемлемых ни в романе, ни в пьесе и при этом никоим образом не бросающих тень на моего отца, он обнаружил, что я завел роман с замужней женщиной. Отец не только был этим известием потрясен, но и оказался в тупике. Лишить меня карманных денег он не мог, поскольку теперь я получал их из рук полкового кассира; выгнать из дома, своего собственного дома,

где я в это время находился на побывке, не мог тоже — мать бы не допустила, да и "растлительница" находилась более чем в двухстах милях. В результате он написал мне письмо на двух страницах, без единой помарки, не пропустив ни единой запятой, — что-что, а читать и писать он умел. Как же хорошо, что сейчас у меня этого письма под рукой нет. Я его подвел, писал отец, и впоследствии он то и дело давал понять, что так оно и было. (Не забудьте, в 1943 году мне исполнился двадцать один.) Больше же всего он упрекал себя самого за то, что не уследил за моей нравственностью, а я не сумел справиться с искушением. "Я бы попросил тебя с ней расстаться, — писал отец, — если б надеялся, что ты обратишь на мои слова хоть каплю внимания". Эти слова, сколько помню, очень меня тогда напугали. Затем он отпустил в ее адрес какое-то чванливое замечание, и мне сразу же полегчало.

Может показаться, что религиозность отца до той поры выражалась лишь через отрицание: он не навязывал мне своих взглядов, но ограничивал мою сексуальную свободу. (Сходным образом, он неодобрительно относился к употреблению имени Христа в ругательствах — своего рода непоследовательный снобизм, если вдуматься.) Однако вся та христианская мораль, связанная с верой, от которой он вроде бы отказался или, по крайней мере, о которой помалкивал, никуда не делась — отсюда его добросовестность, терпение, бережливость. И он за собой это знал. При всем его теоретическом безверии или неверии, а возможно от скуки, он всякий раз, когда мои недостатки приводили его в отчаяние, списывал их на мой атеизм. И я не был бы его сыном, если б не чувствовал, что в этом что-то есть. А быть верующим значило для него быть благочестивым протестантом. Мэтью Арнольд[1] гораздо меньше бы беспокоился о будущем христианской этики в век безверия, имей он возможность пару раз перекинуться словом с моим стариком.

Во всем этом и во многом другом отец был типичным горожанином и представителем своего времени: место рождения — Лондон, дата рождения — 1889; место смерти — Кембридж, дата смерти -1963. Вместе с дядей Пресом и дядей Лесли он ходил в Школу лондонского Сити, которая всего год или два назад переехала из здания на набережной Виктории, где находилась больше ста лет. Никаких университетов — из-за Папашиной скупости, надо полагать, — он не кончал; его университетом была контора в Сити. Существует распространенная теория: чем хуже мы относимся к родителям, тем меньше нам нравится их стиль жизни и занятия. В данном случае, однако, теория эта не работает. Мне не нравились лишь отдельные, второстепенные черты отцовского характера, однако словосочетание "контора в Сити" по сей день вызывает у меня глубочайшее отвращение и тоску. Как бы то ни было, об этом мы больше говорить не будем. Всю войну отец провел в Шотландии, обслуживая военные самолеты — по тому времени работа, возможно, не самая пыльная, — после чего устроился в компанию "Горчица Колмэна", где и проработал до пенсии. Точка.

За свое воспитание я могу быть ему только благодарен. Благодарен от всей души. Претендовать на то, что я честнее, ответственнее, бережливее, прилежнее большинства людей, я не вправе, и все же не сомневаюсь: я никогда бы не проявил этих качеств, если б не воспитывался под сенью часовни. С другой стороны, стоило мне ощутить, каким хочет ви-

1. Мэтью Арнольд (1822—1888) — английский поэт, критик, публицист.

деть меня отец, какой характер пытается вылепить, как я начал оказывать ему отчаянное сопротивление, и не проходило и недели, чтобы между нами не возникали громкие скандалы. И так — годами. И дело тут, думаю, вовсе не в том, что по природе я был как-то особенно несговорчив и упрям или что он не выносил, чтобы подвластное ему существо насмехалось над его жизненными принципами или, по крайней мере, пыталось им противостоять. Правда, отцом он стал относительно поздно, поэтому когда я стал понимать, что он тоже может ошибаться, ему было уже под пятьдесят и к тому времени он, очень возможно, растерял всю свою гибкость. Других детей у него не было, что, как это часто случается, лишь обострило наш конфликт.

Единственному ребенку в семье не хватает не столько союзников, сколько способа отвлечь от себя внимание; ему попросту нужен кто-то еще, с кем можно было бы разделить родительскую опеку. Когда же находишься с родителями один на один, поневоле возникает желание любой ценой отстаивать свои интересы. Что же до меня, то, с одной стороны, у меня появилась невесть откуда взявшаяся изрядная подростковая самонадеянность и чувство умственного превосходства, а с другой — я в полной мере унаследовал отцовское упрямство. Второго обстоятельства было вполне достаточно, чтобы постоянно вступать с отцом в словесные перепалки, пустяшная суть которых была понятна не только нам обоим, но и всем членам семьи, однако отказываться от стычек мы ни под каким видом не желали. Есть, надо полагать, семьи, где этого не происходит.

Постоянным предметом наших разногласий было то, что можно — не без некоторой, правда, натяжки — назвать искусством. Для моего отца, человека по этой части достаточно простодушного, искусство состояло из опер Гилберта и Салливана[1], из эдвардианских баллад (по существу, ни одна из них не попалась мне на глаза в зрелом возрасте), которые он с матерью и друзьями нередко распевал под фортепьяно, из модных театральных постановок Уэст-Энда, где преобладали музыкальные комедии на манер тех, что сочиняли Лупино Лейн или Лесли Хенсон и Фред Эмни, а также из детективов таких авторов, как Р. Остин Фримен, Фрэнсис Грирсон и Джон Род. Этот, правда, далеко не полный перечень казался мне тогда и кажется до сих пор удручающе коротким, особенно для человека, отличавшегося живым и пытливым умом. Как бы то ни было, у меня на искусство были свои взгляды.

Из всех видов искусства предметом самых ожесточенных домашних споров была музыка. Отчасти потому, что именно музыка вызывала у моего отца неподдельный интерес, который я тогда за отсутствием времени не понимал и не разделял. Он навязывал мне Гилберта и Салливана и водил на "Пензанских пиратов" и на "Стражников", где я, маленький подлец, натужно зевал. Пытался отец увлечь меня и эдвардианскими балладами — я же издевался над их бесхитростными рифмами и порывался выяснить, отчего отсутствуют ноты Шуберта и Вольфа[1] (Вольфа?! Я что, спятил или просто шутил?) под откидной крышкой нашего фортепьянного табурета. Я не упускал случая обвинить отца в том, что на самом деле музыку он не любит, на что он с досадной меткостью отвечал, что моя критика имела бы смысл, научись я играть на пианино хотя бы

1. Гилберт и Салливан — авторы популярных комических опер.
2. Хуго Вольф (1860—1903) — австрийский композитор.

так, как он. Однако куда более существенным раздражителем была не конкретная музыка, а музыка вообще. Если погожим летним днем я тащился в картинную галерею или же портил глаза, валяясь на диване с книжкой, вместо того чтобы дышать свежим воздухом (и не подвергаться искушению заняться онанизмом), отец — во всяком случае, когда пребывал в хорошем настроении, — ко мне не приставал. Тогда как из-за музыки в доме то и дело назревал скандал. Да и чего было ждать, если за стеной день-деньской горланил, доводя мою бедную мать до исступления, проклятый радиоприемник либо одна пластинка сменяла другую. Да еще какие это были пластинки!

Впрочем, пластинки могли быть самые разные. Отцовская неприязнь к католикам распространялась на многих — от Гайдна до Труаза и его пьес для мандолы, от Бенни Гудмена до Бородина. Проявления неприязни в каждом отдельном случае ему было мало — обычно он выносил окончательный вердикт, нередко в форме аналогии. Например, одна вещица Дюка Эллингтона (по-моему, из сюиты "Черное, коричневое и бежевое" — в любом случае нечто от примитивизма очень далекое) вызывала у отца ассоциацию с толпой дикарей, танцующих вокруг котла, где варятся человеческие останки. "Туонельский лебедь" Сибелиуса, напротив, ассоциировался у него то с образом маленького мучающегося от боли зверька, то зверя большого и тоже страдающего от боли. В этих ассоциациях скрывалась какая-то ужасная правда — вот, наверное, почему я не мог оценить, хотя и должен был, насколько все это было смешно, и вот почему музыка — любая — вызывала у меня тогда такое отвращение.

В иной семье, в ином доме, в ином районе эту проблему, равно как и многие другие, решить бы ничего не стоило. Только не в доме номер 16 в юго-восточном Норбери. Когда в начале века между Лондоном и городками южного направления проводили железную дорогу, станции строили на расстоянии всего нескольких миль одна от другой; предприниматели уверяли, что станции эти со временем станут жилыми центрами, откуда люди будут ездить на работу в Лондон, и что вокруг вырастут дома и магазины. Так и случилось. Из всех этих городков Норбери был самым удаленным. Станцию надо было как-то назвать, и на ней повесили табличку "Норбери-Манор", позаимствовав название у какого-то мало кому известного загородного особняка. Дома здесь разрешалось строить двухэтажные и на расстоянии сотни ярдов друг от друга, а магазины открывать исключительно на Хай-стрит, в те годы именовавшейся "Главной улицей". Таким образом, никаких корней у Норбери не было и быть не могло. (На это, между прочим, сетует Стенли во второй части моего романа "Стенли и женщины", хотя и признает, что в отсутствии корней тоже есть свои преимущества. И я того же мнения.) Стены в доме номер 16 по Букингем-гарденз были не особенно толстыми, и все происходившее у соседей было отлично слышно. А по вечерам в их гостиной непременно работал радиоприемник и вокруг него собирались все домочадцы.

Тому, кто рос, слушая Третью программу Би-би-си и Радио-3, трудно себе представить, как мало было музыки в тридцатые годы. Музыку классическую, даже самую известную, не удавалось поймать месяцами. Поэтому, когда выдавался случай, мне всегда очень хотелось послушать Вторую симфонию Брамса; отец же после целого рабочего дня, да еще часа в поезде, легко без Брамса обходился. Так вот и жили.

Постоянное стремление отца держать меня при себе (и в прямом и в переносном смысле), а также скромные размеры нашего тогдашнего дома, как и всех последующих, способствовали развитию у меня клаустрофобии. Отец с матерью ограничивали и круг моих друзей, и мои с ними встречи с таким рвением, будто мы жили среди семей, где свирепствовали мужская проституция и подростковый алкоголизм, причем далеко не в первом поколении. Когда я сидел дома (а дома, если не надо было идти в школу, я сидел всегда), мне говорилось, что чтение при посторонних — дурной тон, чтение же за закрытой дверью — проявление необщительности. С детства меня приучали проводить время "в кругу семьи", отчего я до сих пор терпеть не могу, если за столом остаются сидеть после окончания трапезы. Обычай этот сохранялся и впоследствии, когда я стал жить отдельно. Всякий раз, когда, уже после женитьбы, я приезжал с семьей к родителям либо они гостили у нас, все следовало делать вместе, в присутствии домашних, отчего отношения в семье, понятное дело, лучше не становились.

Не сходились мы с отцом и в вопросах политики. Об этом скажу буквально два слова. Если отец поначалу был экс-либералом образца Ллойд Джорджа[1], а после Первой мировой войны стал консерватором и в течение многих лет активно работал в своем избирательном округе и в местной Ассоциации налогоплательщиков, то я, великовозрастный болван, примыкал к левым и не изменил своих взглядов не только после того, как на вопрос "Что было бы, если бы кто-то проголосовал против Сталина?" получил ответ: "Неужели это пришло бы кому-нибудь в голову?", но и после того, как решил, что ответ этот лишен всякого смысла. Я часто размышляю, что бы подумал про меня мой старик, если бы услышал, как я рассуждаю, предположим, о газете "Обсервер" в 1990 году.

Отец хотел, чтобы из меня получился Уильям Роберт Эмис, причем усовершенствованный — в том числе и по части спортивных достижений. Он сам отнюдь не чуждался спорта, да и на вид похож был на спортсмена: среднего роста, широкоплечий, коренастый. Если он что и любил по-настоящему, то в первую очередь не Гилберта и Салливана, а теннис и крикет. В теннис он играл, причем здорово, до преклонных лет; в крикет же с легкостью переигрывал молодых, гоняя их по всей площадке, и в шестьдесят с лишним лет был капитаном местной крикетной команды. До последнего дня он превосходно владел ударом, да и подрезать умел как никто, а ведь клубный крикет был в те годы в расцвете. Отец непременно хотел, чтобы я играл еще лучше, чем он, даже пригласил мне тренера, что было ему явно не по карману, и сделал все зависящее, чтобы меня взяли играть за графство Суррей. Однако к его глубокому разочарованию, которое он как настоящий мужчина скрывал, я его надежд не оправдал — то ли подвело зрение (правый глаз у меня никуда не годился), то ли я подкачал вообще.

В крикет я играл хуже отца, зато карьеру сделал не в пример лучше, ведь в своей жуткой горчичной фирме он дослужился всего-то до старшего клерка и считал себя поэтому неудачником. Впрочем, по этому поводу он никогда не унывал и полагал своим долгом сделать все, что в его силах, чтобы дать больше шансов мне. Обошелся я ему, надо сказать, недешево: несмотря на всевозможные стипендии, которые я получал, он

1. Дэвид Ллойд Джордж (1863–1945) — премьер-министр Великобритании (1916–1922), лидер либеральной партии.

не только не мог рассчитывать на финансовую поддержку с моей стороны, но и сам оказывал мне материальную помощь. И тут, пользуясь случаем, я должен признаться в мелкой, но отвратительной лжи: я всегда писал, что без стипендий мне ни за что не удалось бы подняться в жизни. В действительности же за первый год моего обучения в Школе лондонского Сити заплатил отец — в надежде, что на второй год мне дадут стипендию. Такая поддержка может показаться сущей мелочью, однако мне, по крайней мере, всегда хватало разумения видеть это совсем в другом свете. Отец не был бы самим собой, если бы, гордясь мной и радуясь за меня (хотя и не вполне понимая, чем вызван мой писательский успех), не предупредил, чтобы я не думал, будто смогу литературным трудом кормить себя и свою семью. Для тех лет совет этот был вполне дельный.

С сожалением должен признать, что в обществе отца мне большей частью было скучновато, хотя я и стыдился этой скуки и, надеюсь, старался ее скрыть. Как и большинство пожилых (и не только пожилых) людей, в своих рассказах и воспоминаниях он все валил в одну кучу: и крикет, и — прости Господи, — Сити, и друзей, появившихся у него за то время, что я стал жить своим домом, и собутыльника в пабе, и попутчика в поезде. Впрочем, уверен, ему тоже было не слишком интересно, когда я рассказывал о своих делах, таких же далеких для него, как бизнес для меня. Грустно сознавать, как глухи и невосприимчивы мы к тем, кто нам более всего дорог, и какими нетерпимыми и раздражительными мы становимся, когда нам отвечают той же монетой.

Завершать портрет отца на этой ноте было бы неправильно. Эпоха наших с ним ссор была, что вовсе неудивительно, и временем наибольшей близости. В те годы отец отличался несравненным даром комика и имитатора и был, пожалуй, одним из самых остроумных людей, каких мне приходилось знать. Все его истории превращались в потрясающие спектакли, где были задействованы одновременно и лицо, и голос, и пластика тела. Моя мать использовала такие же приемы, и одно время мне казалось, что в анекдотах без этого не обойтись. Я и сейчас думаю, что анекдот многое теряет, когда его рассказывают, а не показывают. Мне хорошо запомнились отцовские "показы": вот он проворно ковыляет по комнате в своем сером или светло-бежевом костюме (а ведь галстук он так завязывать и не научился), изображая престарелого директора фирмы; а вот, секундой позже, морщит брови и таращит глаза, вышучивая соседа по дому.

Я уже говорил, что моя мать, по единодушному признанию, была женщиной привлекательной. Она пользовалась огромным успехом в роли императрицы Абиссинской, которую исполняла то ли в 1936-м, то ли в 1937 году на банкете-капустнике "Ужин у лорда-мэра", что ежегодно устраивала местная Ассоциация консерваторов (участвовал в этом действе и я — в каком-то нелепом одеянии, с жезлом в руке). Отец в роли Хайле Селассие пользовался, впрочем, успехом еще большим — во всяком случае, более громким. В нем и в самом деле была актерская жилка: даже в совершенно трезвом состоянии ему ничего не стоило прикидываться в поездах и пабах иностранцем или глухим. Теперь-то я понимаю, что черту эту он позаимствовал у своего отца.

Хотя мать умела на своем настоять, человеком она была во всех отношениях более спокойным и выдержанным. Мягкая, даже робкая, с расстроенными — хотя иначе, чем у Доры, — нервами, она всю жизнь

страдала слабым сердцем, отчего и умерла шестидесяти шести лет. Мы с отцом смеялись над ее суевериями, причем из числа самых распространенных: скажем, она боялась числа "тринадцать" или разбитого зеркала, опрокинутой солонки, а также более редких: она, например, считала необходимым ненадолго присесть, если, выйдя из дома, зачем-то должна была вернуться. Я, надо признаться, сотрясался от внутреннего смеха, когда ловил себя на том, что унаследовал у нее эту черту, сказавшуюся и на моих литературных занятиях. Такие ужасающие фразы, как "Страшные симптомы неизлечимой болезни впервые дали о себе знать в то самое утро, когда до него дошли слухи о награждении", невесть откуда взявшись, вертелись у меня в голове в любое время дня и ночи. Уж лучше бояться дурных примет, чем писать о них!

Как и большинство матерей того времени, моя мать была преисполнена решимости содержать семью "в порядке", а это означало, что она берется управлять нашими пищеварительными процессами, с каковой целью мы постоянно что-то такое глотали, на собственном опыте подтверждая английскую идею, будто все полезное должно быть отвратительно на вкус: настой сенны, калифорнийский сироп из инжира и слабительное из ревеня, хуже которого на свете, кажется, нет ничего. Оттого что слабительное из ревеня заедали черносмородиновым джемом, который с тех пор я никогда в рот не беру, оно лучше не становилось. Сдается мне, что недавно возникшие у меня нелады с желудком восходят именно к тому периоду.

Мать принимала во мне и в моем здоровье участие самое деятельное. Как бы громко ни смеялись все те, кто хотя бы раз взглянул на меня за последние десять лет, поверьте, тогда я был худеньким мальчиком с плохим, что ничуть не удивительно, аппетитом. Мои торчащие лопатки вызывали у матери беспокойство, и кончилось тем, что она вызвала семейного доктора, симпатичного старичка, который тщательно обследовал, против моего желания, мои ногти — я их тогда безжалостно обкусывал и никому демонстрировать не хотел. Впоследствии я узнал, что белые пятна на ногтях или под ними должны были свидетельствовать о недоедании, чего доктор Прингл в моем случае, вероятно, не обнаружил и объявил меня "хорошо питающимся ребенком".

Но этим мама не удовлетворилась и попробовала подкормить меня общеукрепляющим средством "Пэрриш" — вонючей красноватой жидкостью, от которой, если не сосать ее через соломинку, чернели, как я слышал, зубы. Не слишком доверяя общеукрепляющему, мать садилась за обедом напротив меня и кормила собственноручно — не самый лучший способ возбудить аппетит! И тем самым, как я теперь понимаю, также закладывалась основа моего будущего развития. Когда же я вырос и кормить меня силой стало невозможно, мой аппетит подстегивался лишь словесно. Стоило материнским уговорам войти в привычку, как я, спустя несколько минут после начала трапезы, принимался ныть: "Мам, можно я не все съем?", после чего она делила оставшуюся в тарелке пищу на то, что разрешалось оставить, и на то, что я съесть был обязан. О Господи! Воспоминание об этих обедах повергает меня в трепет до сих пор, и официант, который обратит мое внимание на недоеденный бифштекс, пусть на мое расположение не рассчитывает. Мать же так заботилась о сыновнем благополучии, вела себя со мной так мягко, что я никогда на нее не злился, мне хотелось только одного — чтобы обед поскорей кончился.

Мои родители, как, впрочем, и многие другие замужние пары, никогда, сколько я помню, на лиц противоположного пола "не засматривались", да и жизнь их складывалась таким образом, что, если бы что и было, я бы наверняка обратил на это внимание. И тем не менее, хорошо помню, что, когда мне было лет десять, какой-то загадочный священник по имени Штеймиц, которого по столь же загадочной причине прозвали Перезвон, на мою мать "засматривался". Этот дородный мужчина в черной сутане, с глазами навыкате почему-то постоянно ошивался возле нашего дома, и, как мне тогда по молодости лет казалось, пахло от него гнилыми яблоками — только потом я сообразил, что это был запах не яблок, а спиртного. Подобная личность, да еще с такими колоритными именами, поневоле просится на страницы романа. Я, кстати, так и не узнал, что было общего у священника, да еще католического, с моими родителями.

Потом был дядя Томми (на самом деле никакой мне не дядя) — высокий, красивый, обаятельный нувориш, чью жену, на мой тогдашний взгляд, очень немолодую, симпатичную толстушку, так и называли, причем в лицо, — Пончиком. Приходил Томми всегда неожиданно и без Пончика. Однажды он объявился достаточно далеко от нашего дома в Ист-Рантоне, на Норфолкском побережье, где я с родителями в это время проводил каникулы. Как всегда, возник он словно бы невзначай и на весьма почтительном расстоянии: шел себе как ни в чем не бывало по главной улице, но не приближаясь к нам, а удаляясь. Наименее нелепым определением его отношения к матери было бы, думаю, "восторженное почитание", однако определение это плохо сочетается с миром общих домов на две семьи, ранним утренним кофе и поездом 8.30 в Блэкфрайарз[1], с танцами за обедом, с безавтомобильным и, по современным понятиям, почти безалкогольным миром, в котором (я в этом ни минуты не сомневаюсь) дядя Томми ни разу даже пальцем до нее не дотронулся. Словом, все мои попытки вызвать в памяти какие-то амурные истории родителей ни к чему не приводят. И слава Богу: дети ведь ничего не смыслят в жизни своих родителей и, по сути, жизнью их не интересуются, а потому в воспоминаниях такого рода всегда есть что-то натужное и фальшивое. Вернее, было бы, воспользуйся я этими воспоминаниями как прозаик.

Куда более важно, что дядя Томми всякий раз, когда он у нас объявлялся, приносил мне плитку шоколада "Марс". А заодно — литературный еженедельник "Джон о'Лондон", прославлявший Джека Сквайра и Джека Пристли и прекративший свое существование в шестидесятые годы. У Томми имелась немалая библиотека, причем некоторые книги выпущены были Таухницем, европейским издателем, специализировавшимся на литературе, которая по британским меркам считалась неприличной. Я сразу же и с большим огорчением отметил для себя, что, во-первых, среди этих книг нет "Любовника леди Чаттерлей" и что, во-вторых, "Контрапункт" Олдоса Хаксли, роман, пользовавшийся по тем временам почти такой же скандальной славой, состоит из двух томов. Предвкушая истинный пир непристойности, я полдня читал этот роман и испытал, быть может, самое большое литературное разочарование в жизни, ибо довольно скоро пришел к убеждению, что "Контрапункт" ничуть не более увлекателен, чем "Магнет"[2], номер которого я предус-

1. Блэкфрайарз — железнодорожный вокзал и станция метро в лондонском Сити.
2. "Магнет" — английский детский юмористический журнал.

мотрительно держал про запас. Свой роман Хаксли писал "не с того конца" и так до контрапункта и не дошел. С тех пор я эту книгу не раскрывал ни разу.

Но я отвлекся. Хотя мать отлично варила варенье и никогда не отказывалась напоить чаем игроков в крикет, главным ее увлечением, как и у меня в молодые годы, было чтение; с книгой она не расставалась точно так же, как с сумочкой или вязаньем. Классику она не любила, но и "муры" не читала тоже – среди ее любимых авторов (некоторых ей рекомендовал Филип Ларкин) были, сколько помню, Нора С. Джеймс и Энн Бридж. Хотя мое призвание с материнской страстью к чтению, возможно, никак и не связано, она, как, пожалуй, никто другой, помогла мне обрести себя. Помогла тем, что не родила мне брата или сестру, тем, что ограничивала круг моих знакомств, тем, что была дочерью литературно одаренного человека, тем, что пасмурным осенним днем, когда читать мне было решительно нечего, намекала (убежден, без всякой задней мысли), чтобы я что-нибудь "такое" написал. Несмотря на "расшатанные" нервы и слабое сердце, мать была женщиной живой, общительной. Она любила посмеяться, выкурить сигаретку, выпить джина с тоником (не больше двух рюмок) и, увы, не отказывала себе в бокале "Ки-Стоун" или "Биг-Три", полагая, что в вине содержится железо. Вместе с тем это общительное, нежное создание было способно на многое. Ведь это она, когда моя первая жена забеременела до женитьбы, сказала отцу, чтобы тот не валял дурака и перестал угрожать мне анафемой; это она убедила моих будущих тестя и тещу не бойкотировать нашу свадебную церемонию. Мать, одним словом, была первой в устрашающе длинном ряду людей, которых я сумел по достоинству оценить и которым по-настоящему отдал должное лишь теперь, когда их уже нет в живых.

Умерла она в 1957 году – от удара. Когда мы с Хилли вошли в маленький домик на Шрабленд-авеню в Беркампстеде, вид стоящего в одиночестве отца показался нам чем-то нелепым, диким. "Как же так?" – по многу раз подряд вопрошал он и не получал ответа. Впоследствии, выйдя на пенсию, он переехал к нам, в Суонси. А как иначе? И конечно же мы взяли его с собой, когда поехали в Америку, где пробыли два года, 1958-й и 1959-й. В Суонси отцу жилось неплохо, однако делать ему было совершенно нечего, и, хотя раньше он часто бывал у нас вместе с матерью, знакомых его возраста у него не оказалось. Я видел, как он мучительно пытается по утрам занять себя: ходит гулять или же садится в автобус и едет в центр, покупает "Дейли телеграф" и, зайдя в кафе, разгадывает в меру своих способностей кроссворд, затем идет в паб, где в полном одиночестве выпивает стакан светлого эля, к обеду возвращается домой и весь остаток дня мается от безделья. Некоторое время он так и существовал, однако затем, сославшись на необходимость искать работу, отбыл в Лондон.

Работать (от полной безысходности, лишь бы не бездельничать) он устроился в фирму, которая производила предметы ухода за домом – щетки, тряпки для уборки и вытирания пыли. Вдобавок он завел себе пару подруг, отношений с которыми – во всяком случае, с первой из них – нисколько не скрывал. Никогда не забуду той робкой гордости, с какой он сообщил мне:

– Знаешь, она хорошенькая, по мне – даже очень. Сильно моложе меня, сам понимаешь. Что тут сказать, в моем-то возрасте поневоле задумаешься. По-твоему, я не задумался? Ну, а потом... собственно... м-да... че-

го тут говорить...

Приятно и трогательно было услышать от него такое. А между тем жить ему оставалось недолго. У него открылась — так, по крайней мере, он думал или же делал вид, что думал, — язва кишечника, которая на поверку оказалась неизлечимым раком. Конец наступил очень быстро: 25 марта 1963 года отец написал мне своим четким, красивым почерком веселое письмо, в котором благодарил за то, что я положил его в больницу в Кембридже, где я тогда еще преподавал. А 18 апреля он скончался, оставив то немногое, что у него было, одной из своих подруг, не только отказавшейся разделить с нами его скромное имущество, но вдобавок потребовавшей, чтобы мы вернули ей отцовские часы и бумажник, которые Хилли передала Филиппу и Мартину. Вот почему от отца у меня осталось только это последнее письмо, а от матери — вообще ничего.

Школа

Многие дети (равно как и взрослые) напоминают маленьких безумцев оттого, что не ведают, что сделают в следующее мгновение. По виду они нисколько не отличаются от нас с вами, быть может даже посимпатичнее нас, ничем себя не выдают — но весь вопрос в том, о чем они думают. Мое первое впечатление от школы — это толпы детей, которые мечутся по небольшой лужайке и кричат во всю глотку. Под "лужайкой" я имею в виду спортивную площадку школы Святой Хильды (или, для придания ей буржуазной респектабельности, колледжа Святой Хильды), окруженную непроходимой живой изгородью.

"Они (мама и папа) не говорили мне, что так будет", — ныл я про себя, глядя, как мимо во всех направлениях и безо всякой видимой цели несутся, дико выпучив глаза или устремив взор в пустоту, мои соученики. Один из них показался мне не столь несговорчивым, как остальные, и я промямлил: "Давай дружить!", на что мой избранник (а может, угрюмый парень, стоявший рядом) молча вцепился зубами мне в плечо. В следующую минуту грузная пожилая дама позвонила в колокольчик, и нахохлившиеся школьники, точно заключенные в американском фильме из тюремной жизни, кое-как выстроились в шеренгу, бормоча ругательства и обмениваясь злобными взглядами.

Возможно, мои первые школьные впечатления были и не столь ужасны, однако они, безусловно, поставили меня в тупик. Меня окружали не только мальчики, но и девочки, причем девочки были в основном гораздо старше. Со временем я, конечно же, немного успокоился и поборол возникшее было отвращение. И тем не менее в жизни постоянно страдаешь от неподготовленности к тому, какие ужасные вещи тебя ожидают и как ужасна человеческая природа. В школе Святой Хильды я проучился недолго и друзей не завел. Из всех соучеников я запомнил только одну девочку, из тех, что постарше, да и то лишь потому, что она прославилась умением виртуозно портить воздух. Одна наша учительница, мисс Крэмптон, повторяла: "le chat — кошка" так часто, как будто делала это на спор, и я никак не мог взять в толк, отчего это некоторые мои одноклассники на ее уроках с трудом сдерживают смех. Я влюбился в мисс Барр, которая запомнилась мне своей "итонской" стрижкой под мальчика, высоким ростом и редкой элегантностью. Мисс Барр препо-

давала английский, и, вероятно, именно отсюда берет начало моя приверженность славным страницам нашей литературы.

Норбери-колледж, средняя школа, от которой теперь не осталось и следа, находилась прямо на нашей улице. Это было довольно большое здание с пристройками, причем весьма вместительными, где располагались классные комнаты. В школе за всю ее историю учились только две знаменитости — я и Дерек Бентли, которого, несмотря на сомнительность доказательств, повесили за участие в громком убийстве в пятидесятые годы. Впрочем, даже если Бентли и был насильником, то в Норбери-колледже этому искусству его обучить никак не могли — школа эта была самым мирным местом из всех мне известных. На школьной спортивной площадке драки, разумеется, случались, но для того ведь спортивные площадки на самом деле и существуют; сходным образом, стоит только, как мы теперь знаем, построить молодежный центр, и молодежь тут же начинает бунтовать, а нет центра — нет и бунта. К тому же безумствуют в основном совсем еще маленькие мальчишки. К семи или восьми годам они обычно становятся управляемыми (чтобы не сказать прирученными) — так, по крайней мере, было в те годы. Вдобавок в таких школах учитель в жизни ученика значит не в пример больше, чем одноклассники, с чьей необузданностью он сталкивается в течение нескольких минут до урока либо между уроками, особенно если обедаешь, как это делал я, дома. За эти несколько минут можно было, конечно, почерпнуть правдивые или фантастические сведения о сексе или подраться, однако общение проходило почти полностью за пределами школы.

Учителя в Норбери-колледже были в основном людьми незаурядными. В их число входили и два никак не связанных между собой Уоллера. "Маленький" мистер Уоллер с писклявым голосом — который стал таким оттого, что, по его словам, мальчишкой он чересчур много пел в хоре, — преподавал математику и привил мне интерес к этой науке, в особенности к алгебре. Какое-то время, пока я всерьез не увлекся литературой, я даже подумывал стать математиком. "Большой" же мистер Уоллер не слишком способствовал тому, чтобы мой интерес к математике сменился увлечением литературой. Он должен был учить нас английскому, однако морфологический анализ слова и разбор по членам предложения были ему явно не интересны. Вместо этого он предпочитал читать вслух, что мы только приветствовали. Книги были в основном о Первой мировой войне ("Пуля угодила мне в спину, сэр!") или о шпионских страстях в Восточной Европе ("Ради Бога, пристрелите меня, и покончим с этим!"). Впрочем, этого чтива хватало и у меня дома.

Но вскоре Большой мистер Уоллер уволился, и его заменил мистер Эшли, человек более молодой, проницательный, любитель поэзии, в том числе и поэзии новой — для того времени, разумеется. Мистер Эшли задавал нам сочинения — о том, например, что такое красота, — а также заставлял писать стихи на заданную тему. Однажды он задал нам написать поэму белым стихом о чуде святой Софии Константинопольской, я сочинил девяносто девять строк, и мистер Эшли признал мою поэму лучшей. В течение многих лет я относился к нему снисходительно и только совсем недавно понял, как я ему обязан за то, что он помог мне найти свое место в жизни. К моему первому опубликованному произведению, рассказу в триста слов, озаглавленному "Священный носорог из Уганды" и напечатанному в школьном журнале, он отнесся с нескрываемой — и вполне оправданной — иронией. В этом рассказе некий

капитан Хартли, который, по всей видимости, хуже разбирался в местном фольклоре, чем должен был "уважающий себя" опытный охотник, убивает носорога и тут же становится жертвой местных идолопоклонников. Его убивают, уже забыл каким способом, но при таком объеме литературного произведения наверняка каким-то нехитрым. Все эти события описывались бойкой, импрессионистической прозой, от которой мистер Эшли не оставил камня на камне. "Он вцепился ему в бок... устремился вперед... без малейших признаков жизни..." На этом первый, экспериментальный период моего творчества подошел к концу.

В 1934 году я поступил в Школу лондонского Сити, куда в свое время ходили отец и дядья. В те годы школа эта занимала большое, довольно угрюмое здание на набережной Виктории. По длинным коридорам и громадной неогороженной спортивной площадке безостановочно сновали мои соученики с непроницаемыми лицами, в темных пиджачках и полосатых брюках. Я же в то время был существом маленьким, законопослушным и очень робким. Первые дни меня тошнило от страха, однако я быстро понял, что бояться нечего. Никто меня не обижал, за исключением разве что Кинга из третьего физико-математического класса: каждое утро при встрече в буфете он приветствовал меня словами "Привет, Курчавый!" и ворошил мне волосы, которые я тогда носил на прямой пробор, смазывая брильянтином. Его поведение, развязный тон и рыжие волосы мгновенно отбивали у меня всякую охоту к сопротивлению. Вскоре, впрочем, я с таким обращением смирился и начал предаваться тем многочисленным и совершенно бесплатным развлечениям, которые обычно предоставляет школа, и пользоваться теми общественными связями, что возникают в таких заведениях, как Школа лондонского Сити. Я смутно чувствовал, что мои соученики представляют самые разные слои общества: речь одних вызывала у меня комплекс неполноценности; слушая, как говорят другие, я, наоборот, преисполнялся собственной значимости. Школьный опыт, однако, довольно быстро научил меня совсем другому: если хочешь, чтобы тебя приняли, совершенно достаточно быть приветливым и дружелюбным; если хочешь понравиться соученикам, надо прежде всего уметь их рассмешить — любой ценой. Как и в жизни, в школе даже самое тупое и пошлое кривлянье ценится порой ничуть не меньше остроумия.

Особенно высоко ценилось умение подражать учителям. Я научился "показывать" директора: "Все должно быть четко и ясно. Черным, так сказать, по белому. Если собака — то собака. Если кошка — то кошка", — благодаря чему добивался уважения у одноклассников и одновременно создавал противовес тому трепетному обожанию, какое испытывал к своему кумиру, непревзойденному Ф. Р. Дейлу, ученому-классику старой школы. Слушая, как он с чувством и знанием дела декламирует древнегреческие стихи, соблюдая тоническое ударение, ритмику и ни на мгновение не забывая о смысле читаемого, мы проникались сознанием какой-то идеальной красоты, какого-то вселенского чуда. Когда впоследствии на Би-би-си решили по Третьей программе читать Гомера, выбор, естественно, пал на него. Да он и человеком был превосходным. Такие больше на свет не родятся.

В нашей школе, как и в любой другой, почти все учителя были чудаками, достойными передразнивания. И это лишь отчасти объясняется тем, что такова обычная реакция учащихся на педагогов. Здесь следует также учитывать и природу школьника, наблюдающего за разыгрывае-

мым в классе спектаклем. Для младшеклассника поведение любого взрослого — загадка, тайна за семью печатями. Тогда как старшеклассник, которому осталось учиться год-два, уже готовится подать документы на проживание в мире взрослых. Десятилетний же мальчуган смотрит на мир с восторженным, слегка враждебным изумлением туриста, он сыт по горло причудливыми туземными обычаями, царящими в этом мире, его жутковатыми ритуальными танцами, дурачествами и угрозами его шаманов и знахарей. И если в дальнейшем он становится прозаиком, ему необходимо восстановить не только наивное, несфокусированное зрение младенческих лет, но и зоркий, пытливый взгляд подростка. Впрочем, одной подростковой зоркости пожалуй что маловато.

Как бы то ни было, я никогда не забуду мистера Марша, грызущего дужку очков (у него можно было позаимствовать Одена и Макниса[1], но в то время, в 1936—1937 годах, я ни о том, ни о другом понятия не имел), или мистера Пенна, обвинявшего нас в том, что мы съели его печенье. (Сколько было смеха, когда во время эвакуации школы его из-за внешности и манеры поведения приняли за немецкого шпиона.) Мне никогда не забыть, с какой неподражаемой невозмутимостью мистер Каррутерс отреагировал на то, как мы с Рамсеем во время урока швырнули через весь класс исполинских размеров чемодан, доверху набитый осколками стекла, призывая одноклассников к давно назревшему бунту. Все это сохранилось у меня в памяти не в виде историй, а словно бы небольших фильмов с полным набором звуковых эффектов. Теперь, по прошествии стольких лет, я понимаю, что самой колоритной фигурой был мистер Коппинг, который одновременно играл на флейте, на контрабасе, говорил по-гречески с аттическим акцентом пятого века и однажды поразил нас столь же неожиданным, сколь и искрометным ответом на вопрос хитреца и смутьяна Ригдена, что такое кастрация: “Не знаю, приходилось ли кому-нибудь из вас бывать на лошадиной ярмарке”. Этот ответ с его Перикловой логикой до сих пор звучит у меня в памяти. Вспоминая мистера Коппинга, я не устаю удивляться тому, что мистер Коппинг образца 1938 года до сих пор кажется мне старше, чем я образца, скажем, года 1990-го, — эта шутка, которую с нами играет время, определенно не устареет никогда.

Однако больше всех научил меня, в том числе и английской литературе, преподобный С. Дж. Эллингем. В то время на подготовку к получению давно теперь забытого “аттестата зрелости” давалось два года; мистер Эллингем же был убежден, что для этого вполне достаточно и года, и весь второй год занимался тем, что в свободное от остальных уроков время преподавал нам азы классической музыки, живописи и английской поэзии, в основном поэзии последних лет, где, впрочем, фаворитам мистера Марша места почему-то не было. К тому времени я уже открыл для себя Хаусмена[2], однако мистер Эллингем поразил меня до глубины души, заявив, что Хаусмен — его любимый поэт. Услышать такое от истинного христианина было по меньшей мере странно. С той минуты я навсегда понял, что стихи — это вовсе не выражение взглядов и что поэт “ничего не утверждает”. Мне понадобилось немного време-

1. Луис Фредерик Макнис (1907—1963) — английский поэт ирландского происхождения.
3. Альфред Эдуард Хаусмен (1859—1916) — английский поэт; для его стихов из сборника “Шропширский парень” характерен лирический пессимизм.

ни, чтобы разделить вкусы мистера Эллингема, и я до сих пор очень высоко ставлю Хаусмена — не ниже Ларкина.

Глядя вспять, я вижу тем не менее, что вкус Эллингема был вовсе не всегда безупречен. Однажды он прочел нам ужасно сентиментальное, хотя, бесспорно, и проникновенное, стихотворение 20-х годов (теперь, надо полагать, благополучно забытого поэта Ричарда Миддлтона) под названием "Мертвому младенцу" в надежде, что мы оценим его по достоинству.

Не нам судьбу решать — за нас решает Бог;
Ты мертв, к могиле подхожу твоей,
Чтобы узреть тебя: среди цветов — цветок,
Ведь ты ничуть роз алых не мертвей.

Как будто ты устал болтать ногами
И видеть красок жизни круговерть;
Молчишь и, мнится мне, играешь под цветами.
Играешь в смерть.

Уже тогда эти строки вызвали у меня некоторые сомнения — впрочем, наверняка сказать не берусь.

Чтобы понять, что собой представляет мистер Эллингем, следует обратить внимание на мотив бунта против божественной воли, который присутствует в первой строке этого стихотворения, как, пожалуй, и в творчестве Хаусмена. И не только на это. Будучи восторженным почитателем очень тогда популярных "Семи столпов мудрости" Т. Э. Лоуренса[1], он дал мне почитать эту книгу, которую предварительно, соблюдая повышенные меры предосторожности, тщательно обернул. После краткого изучения "Столпов" я счел со всем присущим мне тогда — да и теперь — смирением, что я недостаточно начитан или умен, дабы оценить этот шедевр по достоинству; теперь же я со всей ответственностью заявляю: "Семь столпов мудрости" — не что иное, как претенциозная куча дерьма. С другой стороны, мистер Эллингем, быть может, первый, кто выставил напоказ грубые ошибки и несуразности в латинских "адаптациях" Эзры Паунда. Он дал мне как-то прочесть отрывок из своей статьи на эту тему, который я высоко оценил, однако отыскать всю статью так и не сумел.

Иногда мне казалось, что мистеру Эллингему я не слишком нравлюсь. Он считал меня неискренним, ему было не по душе, что я мало занимаюсь спортом, и все мои отговорки по этому поводу он считал неубедительными. (Школьный стадион находился в Гроув-парке, куда идти из дома в те доавтомобильные времена было ужасно далеко.) Эллингем полагал — возможно, и справедливо, — что я слишком мало делал, когда мы, человек пять-шесть, ютились в маленьком коттедже в Уилтшире во время эвакуации туда школы в 1939 году. Вместе с тем он знал, что я неглуп, считал, что когда-нибудь от меня будет прок, и оказывал мне всевозможную помощь, о которой порой сам не подозревал. Я же его за это не поблагодарил ни разу. Что ж, благодарность нам ведь не свойственна, верно? Искренняя, во всяком случае.

1. Томас Эдвард Лоуренс (1888—1935) — археолог, ученый-мидиевист, писатель, очеркист, путешественник, военный разведчик; известен как "Лоуренс Аравийский".

Моим образованием занимались не только учителя, но и соученики, первые – целенаправленно, вторые – ненавязчиво, между делом. Через Мозеса, например, я узнал Толстяка Уоллера и Чарльза Моргана; от Бейтмена – про пневматические пистолеты и про то, как надо ухаживать за девушками; от Лайтфута – про Бородина и Римского-Корсакова; от Уильямса-Эшмана – про буржуазные ценности, в том числе и про настоящие картины (а не репродукции) ныне живущих художников, про то, как интересно читать, открыв наугад Оксфордскую антологию французской поэзии, или отправиться путешествовать за границу. По прошествии времени, однако, выясняется, что живее всего в моей памяти запечатлелись такие, как Уэйброу. Уэйброу, этот бунтарь и иконоборец, что проносился по монашеским кельям, выбросив одну руку для удара и стиснув другую для обороны, готов был, казалось, в любую минуту подвергнуть вас самой грубой и издевательской насмешке; в его искаженном гримасой лице, в резких, угловатых движениях сквозило безотчетное бунтарство. Ко мне он, правда, относился сносно и, стоило мне появиться, имел обыкновение надсадно кричать: "Салют, сержант Делиус!", чем одновременно намекал на мое звание в Корпусе подготовки офицерского состава и на то, как я подражал автору "Трех месяцев до конца" – модной песенки тех лет. Всякий раз, когда я вспоминаю Уэйброу, мне становится грустно при мысли, что этот необузданный темперамент наверняка затерялся где-то в коммерции или в торговле вместо того, чтобы вдохнуть жизнь в раздел культуры воскресных газет. Мне теперь кажется, что я завидовал тому, с каким независимым видом он держался.

Четырнадцати лет меня, как и всех школьников, призвали в войска, которые сегодня я бы определил как КПОС. (Презренное пацифистское меньшинство и прочие ничтожества получили разрешение идти в бойскауты.) Форму на нас надевали дважды в неделю; нас муштровали; учили обращаться с огнестрельным оружием; летом вывозили на день на учения и на пару недель в лагеря; нас возили в городской тир и даже соорудили собственный тир, где мы стреляли из "303-х" винтовок. Стрелял я неплохо и даже получил значок "Отличный стрелок". Однажды мы прошли строем на празднике лорда-мэра. Одно время мне казалось, что, если из меня не получится писатель, я пойду в армию. (Много позже, во всяком случае до 1980 года, когда вышел мой роман "Русские прятки", военная жизнь продолжала чем-то меня манить.)

Единственной ложкой дегтя в бочке меда под названием КПОС – "Корпус подготовки офицерского состава", а вернее, двумя ложками дегтя, был полковой старшина, человек лет сорока – вероятно, сверхсрочник. Он был умен, остроумен и на дух не переносил евреев. Последнее обстоятельство популярности ему не прибавило. Однажды я стоял в первом ряду, рядом со своим другом Рихенбергом. Проходивший перед строем полковой старшина заметил, что у Рихенберга – подумать только! – оторвалась пуговица на погоне, и остановился перед нами.

– Фамилия? – поинтересовался он, хотя прекрасно знал, к кому обращается.

– Рихенберг, сэр.

– Вероисповедание?

– Иудей, сэр.

Не берусь описать, что произошло в следующий момент. Мне показалось, что все неевреи, слышавшие этот диалог, перестали дышать и

побелели от ярости. Как бы то ни было, у полкового старшины хватило ума двинуться дальше. Никто в школе никогда не говорил мне, что вести себя так, как полковой старшина, негоже, — я, как и мои одноклассники, просто понимал, что так себя не ведут.

Вторая ложка дегтя заключалась в том, что полковой старшина был не только ярым антисемитом, но и отъявленным и совершенно неприкрытым гомосексуалистом. Понятия не имею, имел ли он успех, а если имел, то где, так сказать, им пользовался — на оружейном складе среди стоек с мелкокалиберными винтовками? Или в нашем крошечном тире? Гораздо интереснее другое: почему никто на этих людей не доносит? В то время, во всяком случае, не доносили. Почти никогда. У нас был учитель математики, который всецело разделял вкусы полкового старшины. Тактика, которой он придерживался, была проще некуда. В школе у каждого ученика имелся большой письменный стол, за которым, если потесниться, могли сидеть двое; если к ученику подсаживался учитель с целью помочь ему, например решить задачу, это вовсе не считалось зазорным. Так вот, этот учитель преследовал совершенно другие цели — и не только когда подсаживался к ученику за стол... Однажды школьный надзиратель застал его за этим занятием прямо во время урока, отвел к директору — и больше мы его не видели. У него была запоминающаяся фамилия, и пару лет назад я совершенно случайно прочел в газете его некролог, где говорилось, что это был выдающийся физик-теоретик. Разумеется, меня гораздо больше интересовала его преподавательская деятельность, однако в некрологе о ней была всего одна фраза, начинавшаяся словами: "Обнаружив, что школа — не его призвание..." Старая добрая Школа лондонского Сити.

Я перешел в шестой класс, это означало, что у меня есть право пользоваться главным входом — с набережной, ходить обедать в кафе "Лайонз" у моста Блэкфрайарз и изредка получать нагоняй от ставшего завучем мистера Коппинга за то, что редко бываю на школьном стадионе. Я объяснил, что до стадиона добираться весьма затруднительно, и мистер Коппинг, и сам не слишком заядлый спортсмен, меня простил. Кроме него, никого не волновало, играю я в футбол или только наблюдаю за происходящим: в таких школах, как наша, участие в игровых видах спорта ограничивалось составлением списков участников. Тут выяснилось, что освободившееся от занятий спортом время потратить не так-то просто: изобразительных талантов мне Бог не дал, театр (но не кино) был мне скучен, можно было сколько угодно увлекаться дадаизмом и прочими "измами", но об архитектуре следовало забыть раз и навсегда.

Не гнушался я и стихами: всучил редактору школьного журнала поэму собственного сочинения "Прелюдия" — довольно примитивное подражание "Бесплодной земле"[1], приправленной стихами Уайльда. За этой прелюдией вскоре последовали поэтические опыты покороче, отличавшиеся чудовищной претенциозностью и манерностью, в том числе и "стихотворение в прозе", вызвавшее у мистера Эллингема законное негодование. В этом же номере журнала секретарь школьного отделения Лиги Наций напечатал рассказ собственного сочинения о войне в Испании. Вступил в эту организацию и я. Собрания мы старались проводить в такое время, которое устраивало бы и учениц Школы лондонского Сити.

1. Поэма Т. С. Элиота.

Признаться, я был искренне удивлен, когда летом 1939 года кто-то сказал мне, что скоро может начаться война с Германией. Не успел я хорошенько обдумать это известие, как нас неожиданно эвакуировали в Мальборо. Розданные в поезде продовольственные пайки были просто превосходны — гораздо лучше тех, что нам в свое время выдавали на учениях в Офицерском корпусе. В окне поезда внезапно возник и потянулся загород, продолжавшийся до самого Мальборо, который, к моему изумлению, оказался в Уилтшире. По приезде началось поспешное расселение: большинство разместили в городских квартирах, избранное меньшинство, в том числе и меня, — в амбарах, куда поставили армейские койки. За последующие несколько дней я съел банок двадцать сгущенного молока с сахаром — сгущенка входила в наши пайки, однако ею пренебрегали мои спутники, которым мои вкусы показались довольно экзотическими.

Из-за свежего воздуха аппетит мой резко увеличился, и в столовой Мальборо-колледжа, учебного заведения, о котором мало кому из нас приходилось прежде слышать, я никак не мог наесться досыта. Однажды, когда после обеда, где нас, шестиклассников, использовали в качестве официантов, мы с Рихенбергом стояли у входа в колледж и разговаривали, к нам подошел пятиклассник, которого звали Хорвуд и которого мы оба знали довольно плохо.

— Слыхали? — спросил он. — Немцы взяли Данциг и бомбили Варшаву.

— Серьезно?!

— По радио передавали. Мне здешний повар рассказывал.

— И все-таки у нас, по-моему, неплохие шансы побить их, — с минуту подумав, отозвался Рихенберг.

— "Неплохие шансы"?! — Я не скрывал своего возмущения. — Да мы их в порошок сотрем.

Они оба посмотрели на меня.

— Говорят, у них отличная авиация, — сказал Хорвуд. — Да и танки тоже.

— Можно подумать, у нас нет самолетов и танков.

— Есть, но меньше — сам читал.

— А вот в польской армии танков и бронетранспортеров вообще нет, — сказал Рихенберг.

— Но ведь мы им технику уже несколько месяцев поставляем.

— Нам техники самим не хватает.

— Ерунда, — сказал я.

Кто-то из них заговорил, насколько я помню, о том, какой теперь будет наша школьная жизнь — вопрос, который из-за тоски по дому, а также тревоги за будущее интересовал меня куда больше, чем военные поставки Польше. В то время разговор, который я здесь воспроизвожу, не возымел на меня того действия, какое должен бы. Тогда я не задумывался над тем, что Хорвуд, вовсе не претендовавший на осведомленность, мог бы выставить меня наивным и самодовольным дураком. Сходным образом не вызывали у меня в то время улыбки и рассказы родительских друзей, чьи знакомые якобы разговорились в поезде с попутчиками, которым какой-то хорошо осведомленный джентльмен по большому секрету сообщил, что германская экономика не выдержит и полугода войны, а другие приятели вроде бы выпивали в гольф-клубе с человеком, чей шурин ехал на машине в Гамбург и столкнулся — угадайте с чем? — со

стоявшим на шоссе фанерным танком. Тогда, впрочем, не только французы, но и поляки еще оружия не сложили.

С похвальной скоростью Школа лондонского Сити решала двойную задачу: превратиться в интернат самой и, одновременно, освоить классы, спорт-площадки, школьную часовню, изолятор и все прочее, которые принадлежали интернату уже существующему. При этом никто из учителей не сетовал на чудовищную перегрузку, сопровождавшуюся тоской и тревогой, которые им приходилось испытывать. Что же до учащихся, то их радости не было предела: у них была масса новых впечатлений, они были окружены заботой квартирных хозяек, во всем им потакавших, перед ними открылся новый, неизведанный и недозволенный мир. Учащиеся же Мальборо-колледжа о нас не заботились и особо дружеских чувств к нам не питали; если не считать общения между нашими и их чемпионами по сквошу, нами они пренебрегали, смотрели на нас сверху вниз.

И то сказать, им на голову нежданно-негаданно свалились пятьсот-шестьсот лондонских школьников, нередко шумных и довольно распущенных. И все же спустя некоторое время от хозяев можно было бы ожидать проявления хотя бы минимального гостеприимства. Нас могли бы позвать поучаствовать в каком-нибудь диспуте или даже пригласить на чашку чая, однако за те пять семестров, что я провел в Мальборо, подобных приглашений, насколько мне известно, не поступало ни разу. За это время я проговорил со студентами Мальборо-колледжа в общей сложности не больше двух минут, да и то только потому, что они были знакомы с Рихенбергом, ставшим капитаном школьной команды. Сложившаяся в этом колледже ситуация представляется мне теперь, когда я вспоминаю эти годы, довольно странной, и, оглядываясь назад, я много бы дал, чтобы увидеть там Уэйброу; вот он со свирепым видом носится по лужайке перед входом в колледж, вот выбивает ногой из рук мальборовского старосты сложенный зонтик или же, стоя у входа, бесцеремонно отталкивает локтем какого-то сановного родителя. Увы, Уайброу ушел из школы еще до эвакуации.

Эти мысли — и не только эти — в то время мне, однако, в голову не приходили. Тогда я был занят другим, пытаясь совмещать спорт, который, как оказалось, может все-таки доставлять удовольствие, с иным досугом, в том числе с музыкой — от Моцарта до Армстронга. Тогда же я начал петь в церковном школьном хоре, и вскоре пение на четыре голоса стало доставлять мне необыкновенное удовольствие, с которым, с тех пор как я кончил школу, мало что, пожалуй, могло сравниться. Виды сельской Англии также доставляли мне немало радости, в частности тем, что навевали подростковую меланхолию, и многие годы потом всякая попытка вообразить живописный сельский пейзаж неизменно вызывала в памяти виды Мальборо. Из амбара — к тому времени я уже съел все имевшееся там в наличии сгущенное молоко — нас вскоре выдворили и под водительством мистера Эллингема поселили в небольшом коттедже на Бат-роуд. Поскольку отапливался коттедж только камином в гостиной, в таком холоде я больше не жил никогда; даже в армии и то было теплее, а ведь служить пришлось суровой зимой 1940—1941 года. Не знаю, как во всем доме, но в нашей с Рихенбергом комнатке однажды даже замерзла в ночном горшке моча.

Но вспоминается и другое. В этом промозглом коттедже велись интереснейшие беседы с Рихенбергом и Роузом, а также с великим Эллин-

гемом, беседы, в ходе которых вырисовывались очертания будущего университета. На Оксфорд и Кембридж мы все тогда и настраивались; мои друзья поступили в университет в октябре 1940 года, а я — в апреле следующего. Опоздание мое можно отчасти объяснить тем, что в самый последний момент я перешел из класса древних языков в литературный.

На этом можно было бы поставить точку, однако делать этого я не стану. Какой бы скучной ни показалась история моего поступления для непосвященных, я считаю своим долгом пояснить читателю, что при тогдашних требованиях я мог бы без особого труда получить стипендию и поступить на классическое отделение в Оксфорд или Кембридж. Если мне не изменяет память, в те годы по английской литературе имелось два места в Кембридже и еще два в Оксфорде, в Крайст-Черч и в Сент-Джонз. И вот, после бесконечных хлопот, тяжкого труда и уступок, на которые пошли ради меня в Школе лондонского Сити, мои безрассудные желания стали реальностью и я получил рекомендацию в университет по английской литературе. (Хочется верить, что мистер Эллингем тоже внес свою лепту.) В результате я поступил в Сент-Джонз-колледж. Здесь я не стану вдаваться в подробные объяснения, чем обязан школе, где на многое закрыли глаза и дали мне возможность поступить туда, куда мне хотелось, — скажу лишь, что обязан я ей очень многим, и, быть может, поэтому я всю свою жизнь спорю с теми, кто берется критиковать английскую систему образования за ее тогдашние, да и теперешние, "негибкость" и "догматизм".

"Жизнь в большой школе большого города, — писал я в свое время, — олицетворяет собой свободу, которую я считаю уникальной, свободу, основанную на несхожести. Там, где нет ортодоксальности, не может быть конформизма и нетерпимости. И это, вне всяких сомнений, справедливо в отношении Школы лондонского Сити. Ни разу в жизни не сталкивался я с общественным институтом, где было бы меньше какой бы то ни было фракционности, где классовые различия, несходство в воспитании, доходах и в вероисповедании значили бы так мало. Несмотря на то что не менее пятнадцати процентов учащихся были евреями, за семь лет моего обучения я ни разу (за исключением случая, описанного выше) не столкнулся ни с одним, даже самым неприметным проявлением антисемитизма. Уровень преподавания был настолько высок, что превзойти его нелегко, однако гораздо важнее был полученный нами урок того, как следует относиться друг к другу. И урок этот был преподан, и не только на словах. Огромное за это спасибо".

Эти строки я написал в 1958 году, и касаются они периода 1934—1941 годов. Интересно, в самом деле интересно, насколько написанное тогда применимо к Школе лондонского Сити сегодня. К школе, которая с набережной Виктории переехала на улицу королевы Виктории.

Портрет в зеркалах

Мануэль Пуиг

От составителя

"В жизни не встречал писателя, который бы меньше интересовался литературой", — написал Марио Варгас Льоса, откликаясь в "Нью-Йоркском книжном обозрении" на блестящую монографию блестящей переводчицы Сьюзен Джилл Ливайн о Мануэле Пуиге и, как можно почувствовать по тону рецензии, думая задним числом уязвить собрата. Что ж, Пуиг в любом своем кочевом пристанище и впрямь немедленно обрастал сотнями видеокассет, среди которых книжный томик, да и тот про какую-нибудь голливудскую диву тридцатых годов, выглядел одиноко и странно. И разве не Пуиг признавался: "Это не я выбрал литературу, это она меня выбрала"? Всё так, однако я бы уточнил ироническую формулировку перуанского писателя. Мануэль Пуиг действительно не очень интересовался *книгами*, но вот *литературой* он был буквально одержим. Только это была *другая*, как бы *еще* или *уже* не письменная литература. Ее он и создавал, пройдя на этом пути — смотри опубликованные ниже признания и свидетельства современников — намного дальше своих предтеч, соратников и потомков в Испании и испаноязычной Америке.

Форму, которую он терпеливо искал (исследовательская группа, работающая над пуиговскими архивами, публикует сейчас в приложениях к новым изданиям его прозы бесчисленные черновики), можно назвать словами его друга, замечательного кубинского писателя Гильермо Кабреры Инфанте: это "роман голосов". Сам Кабрера двигался в то же самое время в ту же неведомую сторону — так написан самый известный его романный джем-сешн шестидесятых годов "Три тоскливых тигра", — и его слова "литературе я учился в кинотеатре" Пуиг вполне мог сказать о себе. Для миллионов недавних пришельцев из тех или иных углов Европы в Аргентину (как и на Кубу, в Уругвай или, скажем, Бразилию) письменный

© Б. Дубин. Составление и вступление, 2003

язык, а значит, и язык "большой" литературы, был и навсегда остался чужим — авторитетным, но принудительным, часто не понятным и не очень надежным. В нем они чувствовали себя нетвердо, так что средством общения для них выступало устное слово, где испанский или португальский перемешивался с родным итальянским или польским, румынским или украинским, русским или идиш. Еще и поэтому своеобразным койне, общим наречием для них стало не высокое наследие писаного прошлого, а обращающийся к каждому и соединяющий все со всем язык современной массовой культуры — эстрады, радио, рекламы, иллюстрированной прессы, но прежде всего кино.

Подобный язык — и Пуиг это фундаментальное обстоятельство ясно сознавал, не раз пояснял в своих интервью и стремился как можно точнее передать в коллажной и насквозь цитатной прозе и драматургии — *пародичен*, хотя никогда не *пародиен* (богаче и заботливее всего подобная вавилонская полифония выстроена в последнем из дописанных романов Пуига "Падает тропическая ночь"). Иными словами, такой язык, то есть типичный человек, говорящий или пишущий на нем — а он, можно сказать, и есть настоящий герой Пуига, — не стремится принизить, передразнить или высмеять образ и речь другого. Да и зачем? Он ведь пытается этого другого как некое второе, лучшее "я" в точном смысле слова усвоить, сделать своим, вместе с тем отодвигая от себя и приподнимая над собой, чтобы сохранить высоту и красоту идеального образа, как он ее понимает. Всеобщее без подобной идеализации для него непредставимо, немыслимо, а он, чужак, неумеха, "медведь", стремится достигнуть именно всеобщего. И не может поэтому не впадать в чрезмерное. Отсюда тяга массового искусства — и изобретательно воссоздающей его менталитет пуиговской прозы — ко всему необычному и нездешнему, диковинному и прекрасному: предмет его желаний — другой — всегда несколько призрачен. И всегда чуть-чуть "слишком".

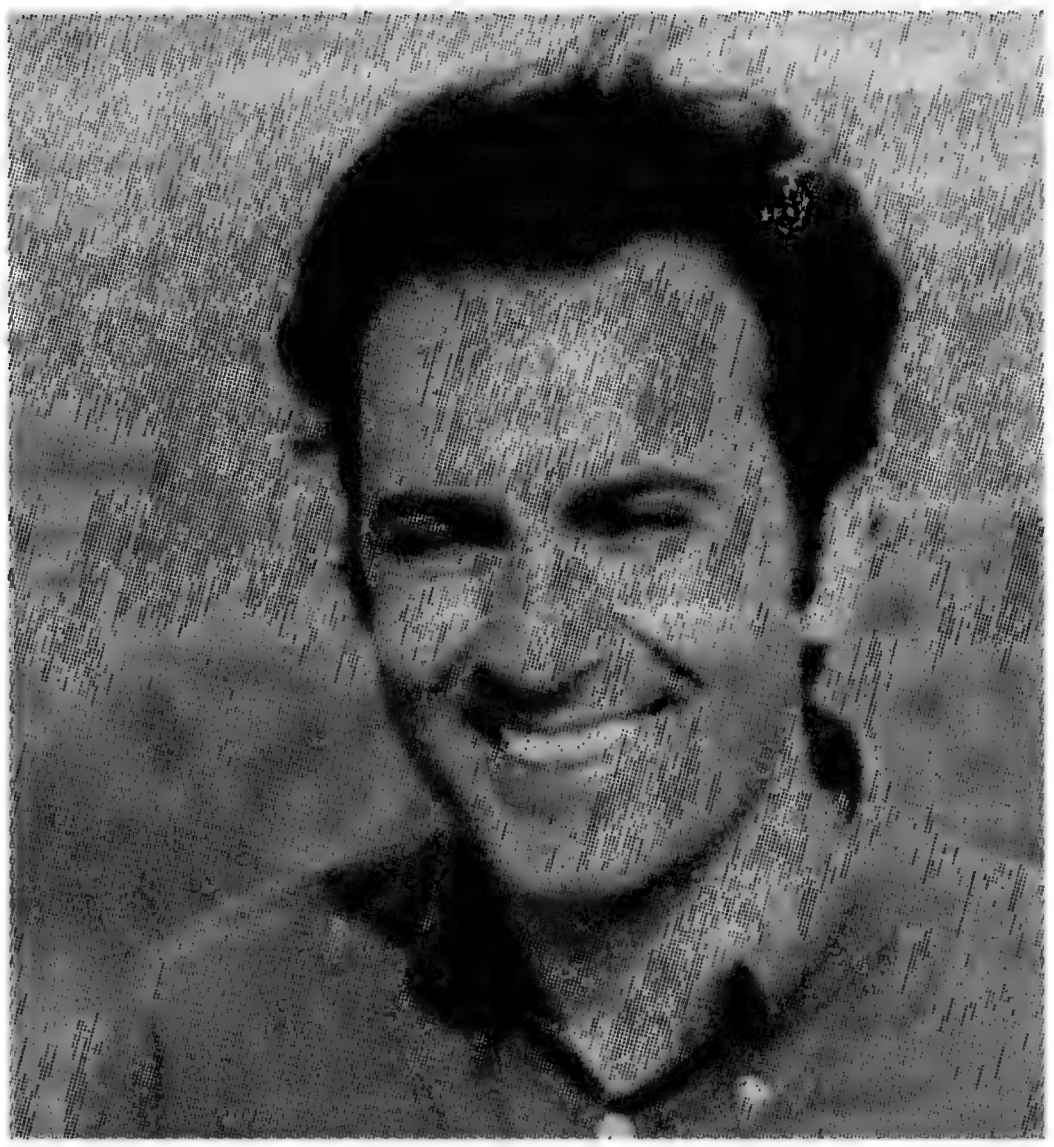
Поэтому — и здесь, мне кажется, одна из главных особенностей пуиговской прозы, которая, среди прочих, составляет редчайший и немедленно узнаваемый читателями "эффект Пуига", — его письмо избегает характерного и, напротив, нацелено на предельно общее. При всем многоголосии его романов автор здесь, в отличие от реалистов XIX века и их эпигонов века XX, не ищет в языке, внешности, поступках персонажей броских деталей, "живописных" отпечатков происхождения, профессии, этнической принадлежности. Напротив, Пуиг, как своего рода звуковую мозаику, собирает их голосовые партии из наиболее деиндивидуализированных стеклышек-элементов. Они как бы жертвуют своей обособленностью, чтобы раствориться в сиянии, направленном на другого.

Показательно, что язык пуиговского повествования пронизан именно визуальной и тактильной метафорикой. Он же устремлен вовне и к внешнему, иному, отражательно сосредоточен на поверхностях, рассчитан на зрение, на осязание. Носителями подобного ощущения реальности — можно назвать его актерским, подражательно-пассивным, но не будем забывать, что оно не мыслит себя без взаимности, почему и подразумевает, а нередко и порождает соприкосновение, диалог, — в романах Пуига выступают женщины или, реже, дети. Их взгляд на мир передается через зрение, беглое касание, не умолкающий голос ("...ведь актеры, — замечал шекспировский Гамлет, — не умеют хранить тайн и разбалтывают все на свете"). "Мужские" же партии в пуиговских романах чаще построены на метафорике насилия — углубления, разрыва, причинения боли — и вместе с тем молчания, умолчания. Власть молчит (да и что она, собственно, могла бы сказать?). Еще точнее: власть — это тот, кто молчит. Языком непререкаемого авторитета выступает здесь пауза, звуковая пустота, безответность. Пустоту власть и скрывает. Но тот, кто таит сам, всегда подозревает в скрытности других и норовит добраться до их глубин, доискаться до подноготной.

Не потому ли фигуры всезнающего и запредельного автора в пуиговской прозе нет, и она передается через это значимое отсутствие? И не потому ли от Пуига не дошло ни единого манифеста или даже развернутой статьи, но осталось столько интервью? И случайно ли то, что лучшая книга о нем принадлежит его переводчице С. Д. Ливайн — человеку, который опять-таки взял у него не одно интервью и годами был с ним в диалоге? Пользуясь названием книги Грасиелы Сперансы о Пуиге, можно сказать: его литература создается и существует "после конца литературы", которая говорила от лица вездесущего и недоступного "я", почему и пользовалась письменным языком закона, отчужденным до третьего лица. "Мне отмщение, и Аз воздам", — гласил эпиграф к "Анне Карениной" (отметим в нем заглавные буквы имени собственного, замуровавшие высказывание в царственном превосходстве и одиночестве, собеседника у которых нет и не может быть). Пуиг, раз за разом пытавшийся переиначить несчастную судьбу Анны Карениной (и Эммы Бовари, как точно заметил Рикардо Пиглья), тоже начинает роман "Крашеные губки" эпиграфом. Но в нем опять вручает себя другому: "Вся жизнь моя была полна тобою".

Борис Дубин

Грасиела Сперанса
Необъяснимая улыбка



Мануэль Пуиг

В фотогалерее аргентинских писателей улыбку встретишь не часто. Преобладают напряженные жесты, хмурые лица, взгляд искоса, а то и трагическая судорога. Среди стольких суровых или скованных поз перед камерой открытая улыбка Мануэля Пуига бросается в глаза полной неожиданностью. Подписи под снимком нет; судя по волосам, распушенным ветром, загорелому лицу и размытому пляжу на заднем плане, перед нами, скорей всего, летняя моментальная фотография. На фото Пуигу лет тридцать, но оно повторяется на задних обложках большинства его книг, словно после громового успеха "Крашеных губок" он так и решил остаться в памяти с этой улыбкой.

© Б. Дубин. Перевод, 2003

Поводы для беззаботности и веселья у автора были. Как ни одному другому аргентинскому писателю последних десятилетий, Пуигу удалось соединить успех у широкой публики, восхищение товарищей по цеху, интерес критики и признание во всем мире, уникальным и неподражаемым образом разрешив конфликт между экспериментальным и популярным. Причин для праздничной раскованности перед аппаратом более чем достаточно. И все-таки, если приглядеться, можно различить за улыбкой нечто большее — своего рода застенчивое превосходство, словно у чародея, гордящегося волшебством, которое не раскусить никому из публики. Я бы сказала, Пуиг улыбается, предвидя успех своих магических пассов, которые делают каждый следующий роман еще блистательнее предыдущего и подводят к триумфальному номеру программы — исчезновению фокусника. Достаточно пробежать рецензии на дебютный пуиговский роман "Предательство Риты Хейворт", чтобы убедиться: его хитрость с первого же раза удалась. "Роман, — замечали критики, — написан не Пуигом, а его персонажами". "Прочитав две книги Пуига, — замечал Хуан Карлос Онетти[1], — я узнал, как говорят его герои, но я по-прежнему не знаю, как пишет Пуиг, не чувствую его стиля". Толкователи прибегают к метафорам, но суть они затрагивают. В самом деле, что от Пуига в этих чужих голосах, которые его романы в лучшем случае "копируют"? В чем смысл и что остается от языковых клише, стереотипов романа-фельетона или болеро, сотен голливудских лент, собранных в его видеотеке, див, обожаемых им на белом полотне экрана? Кто говорит в романах Пуига? Пытаясь ответить на подобные вопросы, критика за все эти годы перепробовала нескончаемое множество зачастую исключающих друг друга эстетических подходов, так что невольно превратила его книги в перечень всех теорий, которые, начиная с шестидесятых годов, сменялись в литературно-критическом обиходе с быстротой модных новинок. Одновременно популистская и авангардная, неокостумбристская и полифоническая, модернистская и постмодернистская, близкая китчу и кэмпу, пародийная и наивная, пуиговская литература, казалось бы, послушно подчиняется любому критическому капризу. И все-таки мы всегда чувствуем некий остаток, не уместившийся в рамки, нечто противостоящее немому покою экспонатов, расставленных по полочкам. Как бы в отместку за героев, обвиненных в том, что они "отчуждены от себя языками социальных условностей", романы Пуига бумерангом возвращают навязанное им родство и навешенные на них однозначные этикетки.

В этом смысле о нем можно было бы сказать словами Жана Бодрийара об Энди Уорхоле. Обманчиво близкие тому, кто взялся бы их копировать, вещи Уорхола остаются недостижимыми; поражающие прозрачностью, они сохраняют непроницаемость. При всем, что мы знаем об "эффекте Уорхола" или "эффекте Пуига", в них обоих есть загадка, которую по-прежнему чувствуешь и которая отрывает их от искусства и от истории искусства.

Отсылка к Уорхолу не случайна. Как и художники поп-арта, Пуиг сделал из копии искусство. Он растворил свой голос в голосах персонажей и создал новую "популярную" словесность из отходов массовой

1. Хуан Карлос Онетти (1909–1994) — уругвайский писатель. (*Здесь и далее, кроме особо оговоренных случаев, – прим. переводчиков.*)

культуры, умелой правкой превратив их в искусство, но не изменив их собственной природы, связывавшей с повседневным обиходом, и не впав ни в пародию, ни в критику. Вместе с поп-художниками он не поддался модернистскому императиву изобретать для каждого произведения неповторимое личное клеймо — им двигало демократическое стремление к подрыву индивидуалистического мифа об авторском стиле. И точно так же, как поп-арт освободил художника от требований стиля как единственного содержательного критерия, по которому узнается искусство, Пуиг на свой лад — скромно и вместе с тем решительно — провозгласил конец литературы. Речь, разумеется, о вполне предсказуемом финале для литературы, подчинявшей себя идеалам абсолютной чистоты модернистского канона, нерушимой иерархии вкусов и тирании авторского стиля, и о переходе к иной словесности, открытой непочтительному смешению всего и вся, диалогу с другими искусствами, другим формам и другому образу чувств.

Явственнее всего освобождающее воздействие Пуига выражается в том, что его наследие неощутимо. Как ни противостоит написанное им внушительной монументальности образцов, он оставил невидимый, но бесспорный след в сегодняшней аргентинской словесности. Достаточно сравнить невесомость им завещанного с непререкаемостью оставленного Борхесом. Фигура Борхеса как покровителя аргентинской литературы — это воплощенное присутствие. Он сам сделал им написанное "книгой, которая может быть всем для всех", библией и вместе с тем ее лучшим толкованием. А оно остается догматичным, каковы бы ни были авторские вольности — библиотека, центр которой везде, а окружность нигде, ложные атрибуции, проза, безупречная даже в ее изъянах, лапидарность, скромность, узнаваемый борхесовский стиль. Печать Пуига, напротив, узнаёшь по ее полному отсутствию. Парадоксальным образом он становится собой, утаивая свой голос, а тот как будто набирает силу, отказываясь от развернутой программы. В данных Пуигом бесконечных интервью не найти ни малейшего комментария или сторонней отсылки к подлинной либо выдуманной биографии, к тайной сокровищнице подробностей из его романов или к неразделимому переплетению искусства и жизни — почему и все его рассуждения о литературе остаются знанием, от него не отделимым, а для исследователя бесполезным. Присутствие Пуига — в отрицании себя как образца. Его письмо невоспроизводимо, его знание непередаваемо — в этом разрыве он и открывается как чистый, лишенный всего личного порыв, освобождающий и многоликий. В подобном самоотрицании (уберегающем, кроме того, от борхесовского авторитета) — прочность оставленного нам Пуигом: неуловимое, пустяковое, неброское завещание, залог свободы и надежды.

Застенчивое превосходство, зримое отсутствие, непроницаемая прозрачность, бессодержательный завет. Я всего лишь перечислила сейчас те парадоксы, которые с первого прочтения заставляли меня снова и снова возвращаться к Пуигу в попытке ответить на неотвязный вопрос: как возможна такая литература? как объяснить привлекательность, оригинальность Пуига и вместе с тем его освобождающее отсутствие в сделанном? Чем наклеивать на него новую литературно-критическую этикетку, чем подгонять его под новую теоретическую модель или подыскивать какую-нибудь невероятную литературную родословную, скорее уж следовало бы, думала я, пойти по его пути, усво-

ить его урок незашоренности и свободы. Если Пуиг заменил библиотеку видеотекой, то именно в ней, в собранных им за многие годы двух с лишком тысячах кассет, казалось мне, стоит искать прообраз тех диалогов, которые вдохновляли его литературу. Если он намеренно самоустранился из аргентинской культуры и писал "Предательство Риты Хейворт" в Нью-Йорке, следует восстановить его реальное окружение времен дебюта, непредсказуемый рывок в искусстве 1960-х годов, ярче других выраженный поп-артом. Следуя его любимому смешению жанров, я обратилась к кино и живописи в надежде, что природный свет изобразительного искусства рассеет упорную непроницаемость литературы.

Как пуиговские персонажи пересказывают кинофильмы, чтобы высказать совсем другое, я вернулась к романам Пуига, чтобы поговорить об открытых искусством 1960-х годов новых отношениях между высокой и массовой культурой, между экспериментальным и популярным, между культурами центра и периферии. Я хотела заново посмотреть, как стало возможным то освобождающее и многоликое искусство, которое американский философ Артур Данто[1] провокационно окрестил "искусством после конца искусства".

На этом пути Пуиг дал мне еще один урок. С его помощью я, хочу надеяться, преодолела неудовлетворенность современной критикой, слишком отстраняющейся от литературы. Я стала читать, как читают роман-фельетон, — втягиваясь в разгадывание предложенных загадок и как бы идя по следам повествования. "Голосами романа-фельетона говорит бессознательное", — уронил как-то Пуиг с тем внезапным проникновением в смысл формы, которое сближает его и Фрейда. Развивая пуиговскую метафору, я бы перенесла эту формулу на литературную критику и на культуру в целом. Кажется, так я смогла прояснить для себя некоторые парадоксы написанного Пуигом, реконструировав несколько сюжетов: поняв "Предательство Риты Хейворт" как портрет поп-художника в юности, а цензуру в романе — как скрытую, пародийную версию цензурных преследований "Госпожи Бовари"; пересказываемые Молиной фильмы в "Поцелуе женщины-паука" — как свод кинематографических пристрастий самого Пуига; "The Buenos Aires Affair"[2] — как зашифрованную встречу Пуига с Фрейдом, Витгенштейном и Хичкоком, а "Ангельский пол" — как личную дань уважения мастеру стиля "кэмп" Джозефу фон Штернбергу и его любимой диве Марлен Дитрих.

Перечитывая Пуига, я вместе с тем убеждаюсь, что у романа-фельетона нет конца. На фото с книжных обложек Пуиг по-прежнему улыбается, и это правильно. Критика, раскрывшая в литературе все загадки, станет предательством и критики, и литературы.

Перевод с испанского Бориса Дубина

1. Артур Данто (р. 1924) — американский живописец и философ, автор трудов по теории изобразительного искусства.
2. "Буэнос-Айресское дело" (*англ.*).

Сьюзен Джилл Ливайн

Читая Мануэля Пуига: взгляд биографа

Большинство людей – будто пустые сосуды. Их заполняют чьи-то мысли, мнения и страсти; сама их жизнь словно взята у кого-то взаймы.

Оскар Уайльд. *De Profundis*[1]

"Этот сон краток, но это счастливый сон" – искупительные слова, произнесенные на последней странице самого известного романа Мануэля Пуига "Поцелуй женщины-паука". Этот сон, превратившийся в оскароносный фильм, а затем в восхитительную бродвейскую постановку, пришел к огромной аудитории, хотя сам автор так и не увидел мюзикла, запущенного в 1992 году и собравшего семь наград "Тони". Он умер 22 июля 1990 года, через несколько дней после срочной операции на воспаленном желчном пузыре, в возрасте 57 лет в мексиканском городе Куэрнавака.

Возможно, не всякий зритель запомнил его имя и то, что он был аргентинцем, но абсолютно все помнят его тюремный романс под звездами голливудской ностальгии, в котором Уильям Хёрт[2] надевает маску гомосексуалиста Молины, оформителя витрин, и влюбляется в Рауля Хулиа, исполняющего роль журналиста Валентина – марксиста а-ля Че Гевара. "Поцелуй женщины-паука" – самый конструктивный, смелый и самый сокровенный роман Пуига, единственный, где есть настоящие герои: марксист, ограниченный своими политическими воззрениями и не желающий видеть их противоречивость, постепенно осознает, что именно терпимость по отношению к Другому человеку необходима для настоящей политической деятельности, а его сокамерник-гей, благодаря своей самоотверженности, обретает внутреннюю свободу.

Пуиг был одним из самых крупных и самых загадочных латиноамериканских писателей второй половины XX века. Хотя его помнят, в основном, по фильму и мюзиклу, этот роман, четвертый по счету, подобно многим литературным шедеврам, был всего лишь вехой в его творчестве,

© А. Ильинский. Перевод, 2003

1. Из глубин (*лат.*).
2. Уильям Хёрт (р. 1950) – американский киноактер.

всего лишь одной из сторон его авторского видения и того влияния, которое он оказывал на испаноязычную культуру с конца 60-х, когда два его первых произведения вышли в свет на испанском языке. Виртуозно манипулируя наивностью старых голливудских фильмов, искусно обрабатывая сырье массовой культуры, бесстрашно обращаясь к запретной теме нетрадиционных сексуальных отношений, этот застенчивый человек, прослывший в Латинской Америке "поп-романистом" номер один, стал куда более известным, чем громкие писатели вроде Гарсиа Маркеса.

Однако Пуиг вовсе не собирался становиться писателем; с самого раннего детства он мечтал снимать фильмы. "Предательство Риты Хейворт" (1968), его первый роман, задумывался им как сценарий, но в результате превратился в нечто совсем другое — сам писатель это понял, едва начав работу; он рассказывал одному из друзей, что у него получается что-то вроде монологов Эдгара Ли Мастерса в "Спун-Ривер"[1], лишь персонажи взяты из его, пуиговского, детства. Поначалу он думал, что этот материал мог бы стать основой для киносценария:

> Чтобы не получилось совсем уж автобиографическое произведение, я собирался сделать описание (исключительно для личного пользования) всех главных персонажей. Учитывая опыт прежних ошибок, я писал на испанском, но не знал, как именно делать эти описания. Однажды в марте я набрасывал сцену, в которой закадровый голос моей тети рассказывает, что происходит в данный момент в ванной комнате одного из типичных аргентинских домов. Вдруг ее голос зазвучал в моих ушах совершенно отчетливо — она рассказывала о любовных похождениях моего кузена. Я продолжал записывать все, что слышу, так как в точности помнил, что именно она рассказывала мне двадцать лет назад... Хотя по замыслу ее голос должен был прозвучать в романе всего три раза с небольшими репликами, я не останавливаясь исписал тридцать страниц — просто не мог заставить его замолчать. Все, что говорила тетя, было довольно банальным, но мне показалось, что сумма этих банальностей придаст особое значение тому, о чем она рассказывает... Мне захотелось неограниченного пространства для повествования... Я понял, что могу играть с этим голосом, как хочу... А на второй день стало ясно, что получается роман. У меня были истории, которые не уместились бы в два часа экранного времени. Мне требовалось много чего рассказать о своем детстве, объяснить, как и почему я, тридцатилетний, очутился в Риме, без работы, без денег и с мыслью о том, что мой выбор — кино — оказался ошибкой[2].

Сначала он назвал эти страницы "птицами в голове" — самоирония, вызывающая ассоциации с "летучими мышами на чердаке". Дистанцируясь от необычайно эмоционального материала, он не смог вести повествование от первого лица, чувствуя, что здесь больше подойдет диалог или, говоря языком кино, — "голос за кадром". Совершенно случайно Пуиг обнаружил, что художественная проза для него почти игра или некая необходимость: семейные "голоса" помогали оживлять в памяти его собственные чувства по отношению к маленькому городку, это был сво-

1. Эдгар Ли Мастерс (1869—1950) — американский писатель, автор "Антологии Спун-Ривер" (1915) и автобиографии "По улицам Спун-Ривер" (1936). Спун-Ривер — вымышленный городок, прототипом которого явилась родина Мастерса — город Льюистон в штате Иллинойс.
2. Manuel Puig. Cinema and the Novel. Modern Latin American Fiction: A Survey, ed. John King (New York: Hill & Wang; London: Faber & Faber, 1989), p. 286—287. (*Прим. авт.*)

еобразный способ вырваться из аргентинских пампасов, где, как и его мать, он чувствовал себя изгоем. К счастью, его интуиция и первоначальные сомнения в том, стоит ли писать от третьего лица или от первого, оказались созвучны модернистской поэтике — потоку сознания Джойса и *новому роману* послевоенных экзистенциалистов (Сартру, Натали Саррот, Роб-Грийе): всё говорило за то, что всезнающий повествователь умер.

Позже, кинув тем самым кость аргентинской интеллигенции, Пуиг заметит, что примером для него был Фрейд. Фрейд — отец современного романа: если нами управляет подсознание, единственный способ понять человека — это слушать, что он говорит, и особенно — как он это говорит. "Лечение разговором" было изобретательным повествовательным приемом, где писатель играл сразу две роли, переходя от объекта психоанализа к записной книжке психоаналитика и обратно. Всезнание превратилось в миф, поэтому ничто прочитанное нельзя было принимать за чистую монету. Но это означало также, что Пуиг, со своими многочисленными голосами, запечатленными на бумаге, писал нежизнеспособный сценарий. Он понял, что сочиняет нетривиальную, неоднозначную историю, что этими голосами обяжет читателя самого разбираться в закоулках человеческого сердца.

Девяносто процентов романа — правда. Иногда для экономии два персонажа фильма превращаются в одного; но все это обо мне и о близких мне людях. Персонажи — это и моя семья, которой не хватало на меня времени, когда я был ребенком, и те, у кого нашлось это время: родственники, соседи, просто знакомые, которые удосуживались выслушать меня. Я хотел, чтобы они поведали мне свои секреты, открыли свою душу. Позволяя им говорить или писать письма, я открываю для себя очень многое[1].

Роман "Предательство Риты Хейворт" гораздо шире приоткрыл нам завесу над личной жизнью Пуига, чем это мог бы сделать он сам; это произведение является (особенно в простодушных монологах Тото, выдуманного альтер эго самого автора), пожалуй, самым лирическим его романом. Пуиг начал писать "Крашеные губки" (1969; второй роман, в английском переводе получивший название "Печальное танго") в середине шестидесятых, после возвращения в городок Хенераль-Вильегас, где он не был одиннадцать лет. Пожив в Буэнос-Айресе и проведя долгие годы в Европе в качестве начинающего сценариста, он

снова встретился с персонажами из своего детства. Я был неприятно поражен людьми, чей образ жизни четко соответствовал социальной схеме того времени, а самое главное — никто не пытался бунтовать против этой системы. Эти люди полностью принимали существующий мир сексуального подавления, принимали его правила, принимали лицемерный миф о сохранении девственности до замужества и, думаю, не стоит даже упоминать, — покорность перед властью, как само собой разумеющееся. Я был горько разочарован, увидев такими уже стареющих жителей городка... Не уверен, что они сами понимали, в каком униженном положении находятся, но от них исходил дух отчаяния и ра-

1. Katherine Bouman. Manuel Puig at the University of Missouri-Columbia // American Hispanist, 2. (1977), no. 7, p. 11–12. (*Прим. авт.*)

зочарования, <...> эти люди верили в разглагольствования о непреодолимой любви и страсти, но на их существовании это никак не отразилось[1].

"Эти люди" женились и рожали детей, вели обычный "буржуазный" образ жизни, которому Пуиг отчасти всегда завидовал: они продолжали биологический цикл жизни, но не подозревали, что оказались в своеобразной трясине. Причем в детстве каждый хотел чего-то добиться. Пуиг сам рос в подобном захолустном городке, но он сопротивлялся. Стимулируемый этими воспоминаниями, будто напоминавшими, как же ему повезло, что он давно оставил позади этот мирок, Пуиг снова погрузился в прошлое, но на этот раз — более отстраненно.

Он увидел этот задыхающийся городок как циклическую мелодраму, как мыльную оперу вроде тех, что жители Хенераль-Вильегаса постоянно слушали по радио в дневное время. Жизненные перипетии героев романа не отличались от перипетий мыльных опер и фильмов для женщин, которые они регулярно смотрели; их чувства смешивались с чувствами персонажей мелодрам, они говорили на языке старых песен, радиопостановок и фильмов, которые так любили. Изображение Вильегаса в духе мыльной оперы привело к тому, что друг Пуига предложил ему написать роман-фельетон в популярном стиле испанского автора бестселлеров Корин Тельядо[2]. "Это невозможно, — ответил ему Пуиг. — Я даже письмо с соболезнованиями написать не могу". "Крашеные губки" начинаются с конца, с некролога, за которым следует стандартное письмо с соболезнованиями — все в стиле романа-фельетона. Его персонажи, сонные потребители мыльных опер и танго, — социальные конформисты, они жаждут "действия", они сопротивляются самопознанию и честному самовыражению, а женщины видят себя несчастными романтическими героинями популярных песен. Книга выдержана в духе радиопостановки и даже имеет подзаголовок "сериал", и, как в "Предательстве Риты Хейворт", в ней шестнадцать глав или эпизодов — шестнадцать стало магическим числом глав почти во всех романах Пуига.

Не важно, был Пуиг в Вильегасе после выхода книги или нет, но он никогда не касался данной темы в разговоре, будто окончательно похоронил этот городок, а "Печальное танго" стало элегией тому времени, которое ушло безвозвратно.

Для того, чтобы у меня возникло желание написать книгу, должны совпасть два момента. Я должен почувствовать необходимость избавиться от какой-либо собственной мании. У меня много навязчивых мыслей, но я не чувствую потребности изгонять их. У каждого из нас есть свои маленькие мазохистские игры, которыми мы продолжаем мучить себя до самой смерти, но есть наваждения, которым я рано или поздно говорю: "Все, хватит". Но я не сяду писать книгу (так как для меня дело не только в процессе написания, но и в общении), если не почувствую, что эта проблема волнует еще кого-то. Мне интересно превратиться в очередную жертву коллективного бессознательного... Да, я хочу прояснить для себя кое-какие вещи и достичь определенных стилистических (эстетических) целей, но книгу должны читать другие; если

1. Suzanne Jill Levine. Author and Translator: a Discussion of Heartbreak Tango // Translation, 2:1–2 (1974), p. 33–34. (*Прим. авт.*)
2. Корин Тельядо (наст. имя Мария дель Сокорро Тельядо Лопес, р. 1926) — испанская писательница, автор 4000 любовных романов.

нет, то она будет фригидной. Писать для меня означает вести диалог с другим человеком. Хотя в кино я хожу один: там этим другим человеком для меня является сам фильм.

Ходить в кино было легким, ни к чему не обязывающим времяпрепровождением – просто садишься в кресло и наслаждаешься; писать – напротив, активный эмоциональный труд, непрерывный диалог, тяжелая работа, часто сопряженная со страданием.

Его следующий, еще более противоречивый роман "The Buenos Aires Affair" (1973) сослужил Пуигу плохую службу: в 70-х в Аргентине царил фашистский режим, и писатель был вынужден отправиться в долгую добровольную ссылку, в которой написал "Поцелуй женщины-паука" (1976), "Вечное проклятие тому, кто прочтет эти страницы" (1980), "Кровь взаимной любви" (1982) и наконец "Падает тропическая ночь" (1988).

Последний роман начинается с диалога двух стареющих сестер, рассуждающих о том, как печальны сумерки и как увядание дня напоминает им о потере любимых и о собственной неминуемой судьбе. Их голоса звучат эхом монолога, произнесенного хозяйкой дома в пьесе Пуига "Под покровом звезд", которую он закончил незадолго до того, как приступил к "Тропической ночи":

Это время суток, когда умирает день, неизменно пугает меня. Потому что никогда не знаешь, взойдет ли солнце завтра. Рано или поздно все умирает. Тем днем, что я ждала тебя... темнело... и для меня рассвет так и не наступил[1].

Когда меня попросили перевести этот роман (он был четвертым, и последним, романом Пуига из переведенных мной), я сначала сочла его невыносимо мрачным, но озорной юмор Пуига то здесь, то там мелькал в старческом разговоре двух больных и трогательных женщин. Пуиг рассказывал, что задумал "Тропическую ночь",

когда впервые близко столкнулся с людьми, достигшими возраста моих героинь. Мне пришлось перевезти родителей к себе, потому что они как-то неожиданно постарели и стали материально зависеть от меня. Я понял, что старость – очень интересное, эпическое время, так как в этом возрасте ты больше не хозяин завтрашнего дня. Все приходится делать с оглядкой на смерть. А эти женщины не только были застигнуты врасплох своим возрастом со всеми его проблемами, но к тому же жили во времена глобальных перемен.

Нелицеприятный разговор между Нидией и Люси, двумя престарелыми аргентинскими эмигрантками в Рио-де-Жанейро 80-х годов, напоминает о диалогах по крайней мере двух неразлучных пар – самого Мануэля и Мале, его матери, а также Мале и тети Мануэля, Кармен. Разговор Люси и Нидии пропитан надеждой на существование иного мира, но атмосфера романа поистине зловеща. Само название "Падает тропическая ночь" ассоциируется с театральным занавесом, который падает в последнем акте спектакля. Хорошо видно двойственное отношение Пуига к своим героиням: он посмеивается над их избитыми фразами, но в то же время сочувствует женщинам.

1. Manuel Puig. Under a Mantle of Stars. (New York: Lumen Books, 1987), p. 92. (*Прим. авт.*)

***

После смерти Пуига осталось более двадцати незавершенных пьес и сценариев; он приобрел поистине мировую известность. Сесар Айра[1], один из наиболее талантливых романистов современной Аргентины, считает Пуига наставником, который превратил роман в непрерывную реальность, "феноменальную литературную машину". В отличие от многих писателей своего времени Пуиг мог придумывать занимательные сюжеты и интересных персонажей: он ловко обошел внутреннюю пустоту постмодернизма, воскресив популярные жанры, и избежал многих клише латиноамериканских романов (а именно магический реализм), утверждая каждодневную реальность и не обращаясь за помощью к уловкам "магического".

Роман "Предательство Риты Хейворт", где кино показано вымыслом, преображающим жизни людей, предвосхитил "Последний киносеанс" Богдановича, "Пурпурную розу Каира" Вуди Аллена, "Бал" Этторе Сколы, в особенности "Новый кинотеатр 'Парадизо'" Торнаторе и конечно же "Джинджер и Фред" Феллини. А Валентин, заключенный-революционер, внутренне освободился благодаря голливудским рассказам Молины еще до того, как плакат с очаровательной красоткой открыл путь на свободу узнику в новелле Стивена Кинга "Рита Хейворт и побег из Шоушенка". Мануэль Пуиг намного опередил свое время, его произведения предсказали, что абсолютная машина выдумок – средства массовой информации – не только будет потреблять искусство, каким мы его знаем, но и впитает в себя все то, что мы называем реальностью. Художественное видение Пуига было неоднозначным или, скорее, *не поддающимся упрощению*, как то мнимое существование на экране, что он подмечал в скоротечном, призрачном мире кино: вы возвращаетесь к какой-либо сцене в романе Пуига, а ее там уже нет, подобно тому как вы хотите пересмотреть какой-то фрагмент фильма и выясняете, что память вас подвела. Весело подмигивая своему читателю, Пуиг всегда на шаг опережал своих критиков. И хотя укус женщины-паука смертелен, Молина выживает.

Перевод с английского Антона Ильинского

1. Сесар Айра (р. 1949) – аргентинский писатель и эссеист, автор романов "Китайская история" (1987), "Сон" (1998) и др.

Гильермо Кабрера Инфанте

Страсть и поэзия[1]

Роман "Крашеные губки" (1969) — одна из трех лучших книг Мануэля Пуига, еще две — "Предательство Риты Хейворт" (1968) и "Поцелуй женщины-паука" (1976). Поразительны и другие его романы — к примеру, "The Buenos Aires Affair" (1973), а особенно последний — "Падает тропическая ночь" (1988). Мануэль был и остается, в первую голову, автором романов. Конечно, он работал и профессиональным киносценаристом, писал пьесы для театра, в основном разные, сменявшие друг друга переделки своего же "Поцелуя". Всемирный успех поставленного по этому роману голливудского фильма (в главной роли там снялся звездный Уильям Хёрт, получивший за это Оскара), а потом и нашумевшего мюзикла в Лондоне и на Бродвее, где постановщиком выступил известнейший Гарольд Принс[2], сделал Мануэля, по его собственным словам, "дамой богатой и знаменитой".

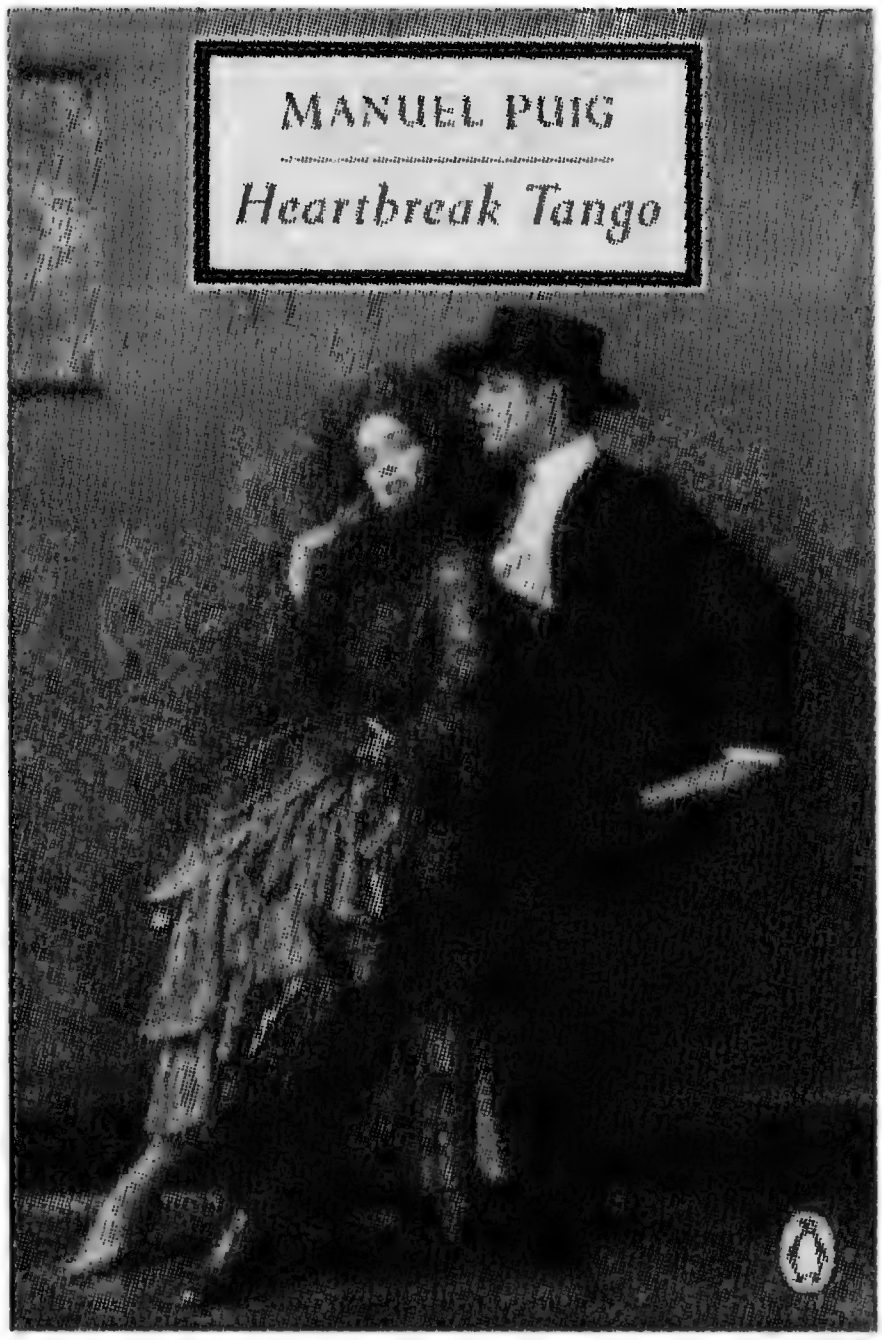
Мануэль Пуиг родился в аргентинском городке под названием Хенераль-Вильегас, но, как говорил он сам, "вырос в дурном сне, а лучше сказать — никудышном вестерне ла-платской пампы". Однако на самом деле он родился в кинозале или, точнее, в обители грёз. Как мальчишка из "Нового кинотеатра 'Парадизо'" (автор фильма наверняка прочел "Предательство Риты Хейворт"), Мануэль был детищем рая, а это уже почти что название одной из его любимых лент "Дети райка"[3], где рай означает еще и галерку. Как пишет его биограф Сьюзен Джилл Ливайн, Мануэль "всегда мечтал проснуться в реальности, напоминающей голливудский фильм, который он смотрел вчера на утреннем сеансе". Жить любовью и жить кино было для него одной и той же грезой, но при этом он видел себя не героем фильма, а дивой наподобие Нормы Ширер[4]. Он "погружался в киножурналы" с обожанием почти религиозным. "Доходило до того, — без малейших преувеличений сознавался Мануэль, — что я вырезал рекламные объявления о будущих фильмах". Журналы и газеты выписывались из Буэнос-Айреса, а надо учесть, что Мануэль и его семейство "жили в двенадцати часах езды от столицы". Из киногрез и ре-

© Б. Дубин. Перевод, 2003

1. В ознаменование конца XX века газета "Мундо" обнародовала свой список ста лучших книг столетия, со статьей о каждой из которых выступил на ее страницах крупный писатель или известный критик. Настоящее эссе, напечатанное 31 августа 2001 года, — 93-я публикация из данной серии.
2. Гарольд Принс (р. 1928) — американский театральный режиссер и продюсер, прославившийся постановками мюзиклов в Лондоне и на Бродвее ("Кабаре", "Призрак оперы", "Эвита" и др.).
3. "Дети райка" (1945) — историческая мелодрама французского кинорежиссера Марселя Карне по сценарию Жака Превера.
4. Норма Ширер (1900—1983) — американская киноактриса.

альных желаний Мануэля родился его первый роман "Предательство Риты Хейворт".

"Я не выбирал литературу, – писал Мануэль, – это литература выбрала меня". Хотя попадание – и ощутимое попадание, как сказано у Шекспира о раненом Гамлете, – было в точку, первый роман Пуига вначале существовал как сон, затем как киносценарий и только поздней превратился в книгу.



Следующей стали "Крашеные губки" с подзаголовком "сериал", напоминавшем о телевидении. Иными словами, это был телероман, роман с продолжением, мыльная опера. Вместо кино Мануэль зарылся теперь в мир многосерийных романов. В мир сентиментальных, любовных романов – жанровую словесность, которая существует во всем мире, хотя иные пуристы от литературной теории по-прежнему отводят ей статус низших жанров. Название "Крашеные губки" взято из танго-фокстрота Гарделя и Ле Перы[1] в фильме "Танго на Бродвее" (1934). Я имею в виду стихотворение "Блондинки из Нью-Йорка", которое Мануэль взял эпиграфом к третьему эпизоду своего романа (эпизод здесь, как в сериалах, означает главу): "Благоуханные, прелестные созданья, / Ваших губок крашеных жажду я лобзанья"[2].

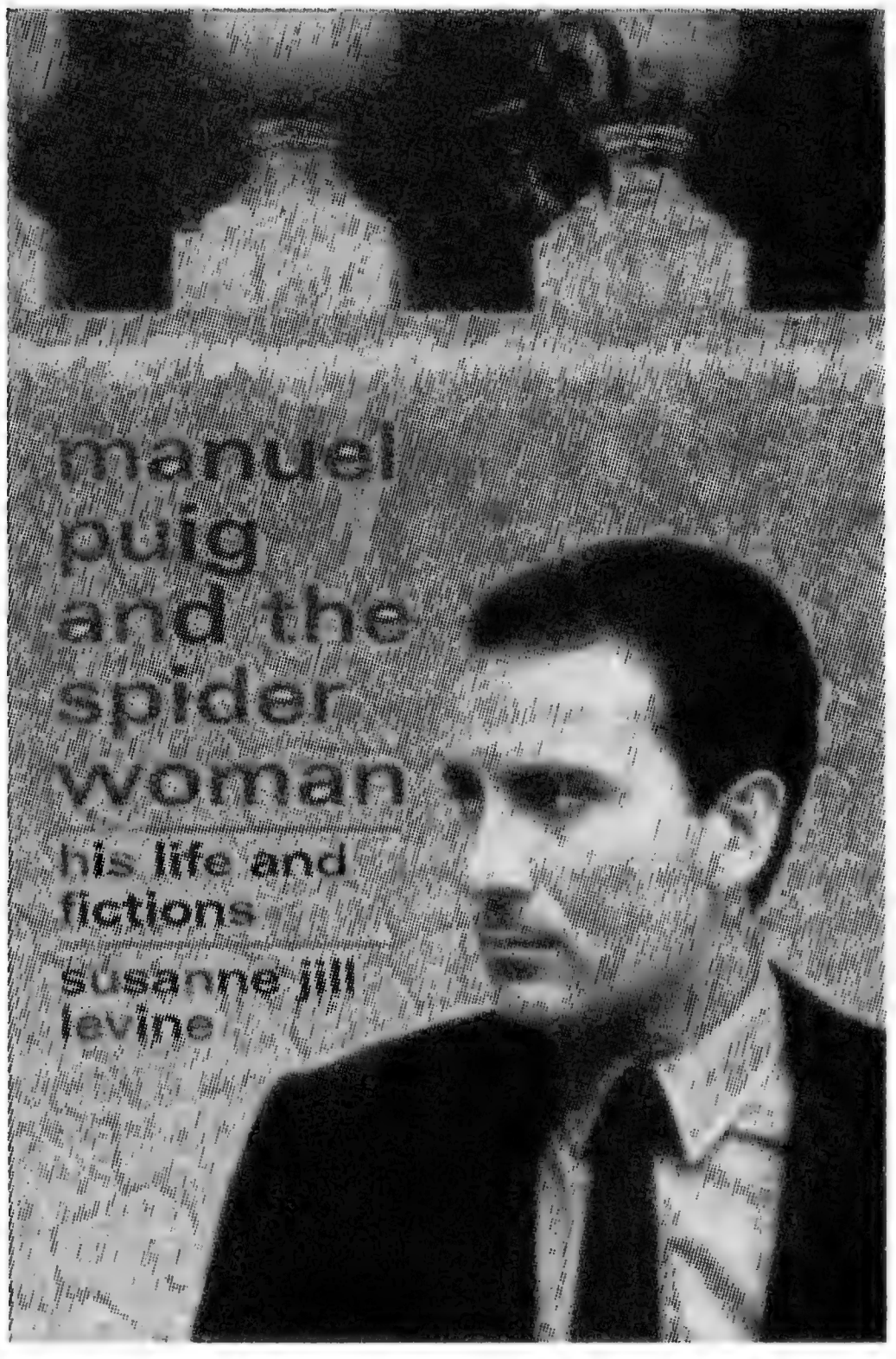
Мануэль приводит слова Альфредо Ле Перы как стихи из священного писания тангопоклонников, и он прав: для аргентинцев (и самого Ле Перы) танго – это нечто сакральное. Упомянутый эпизод носит подзаголовок "Альбом фотографий". Этим Мануэль и занимается: он описывает альбомные фото, где в разных пропорциях смешаны ностальгия и сентиментальность. Ле Пера (скорее, чем Гардель с его мелодиями и голосом "щеголька", как его зовут в Аргентине) – это светская Библия Танго, и Мануэль цитирует стихи из нее, как это делает кубинское радио, рекламируя передачу "Ежедневный роман в девять часов": "Страсть и поэзия в каждой главе". В "Крашеных губках" увековечено немало других цитат из Ле Перы (не Ла, а именно Ле Перы[3]). Но одна, я думаю, брала Мануэля за самое сердце, за его бесхитростное сердце: "Манит, манит звездный свет. / Мне без звезд и жизни нет". Звезды для Мануэля – это, понятно, кинозвезды.

Приведу слова автора о его книге: "Это роман-фельетон, в котором я, не отказываясь от стилистических экспериментов, начатых в моей первой книге "Предательство Риты Хейворт", попробовал создать но-

1. Карлос Гардель (1890–1935) – аргентинский композитор, певец и киноактер, "король танго"; Альфредо Ле Пера (1900–1935) – аргентинский поэт и киносценарист.
2. Перев. А. Казачкова.
3. Игра на французских артиклях женского (la) и мужского (le) рода.

вую форму популярной литературы". Если опустить слово "эксперимент" (скорее уместное в науке – биохимии, физике или астрономии, – которая есть прежде всего наблюдение), характеристика Мануэля более чем удачна. Сошлюсь, кроме того, на "Oxford Companion to Spanish Literature"[1] (на этот раз совершенно правильно обошедшийся без одиозного эпитета "латиноамериканская", не просто расхожего, но и абсолютно неверного, хотя кому-то оно позарез необходимо), где сказано следующее: "'Крашеные губки' не без юмора используют тот же рисунок разговорной речи, свободной от литературной стилизации. К 1978 году роман был распродан в количестве свыше 100 тысяч экземпляров только в Аргентине и вызвал многочисленные отзывы критики. Пуиг воссоздает смешные и вместе с тем трогательные культурные интересы средних классов аргентинской глубинки, делая это с изобретательностью и иронией, но нигде не впадая в мрачный тон".

К нынешнему дню разошлось уже 200 тысяч экземпляров романа. Его продолжают раскупать по всему свету, и только один, но мощный голос не влился в общий хор. На вопрос журнала "Ньюсуик", в чем он видит причину такого успеха "Крашеных губок", Борхес ответил: "Представьте себе роман, который написал Макс Фактор"[2]. Давно не читающий, по его признанию, современных авторов, Борхес на сей раз просто повторил то, что наверняка нашептывали ему в стариковское ухо аргентинские завистники: именно зависть, а не Перон, заставила Мануэля бежать из Аргентины, но, как поется в танго, "каждый путник, поздно или рано, / Непременно остановит шаг". Мануэль Пуиг останавливал свой шаг в Нью-Йорке, Бразилии и Мексике, где в 1990 году в городе Куэрнавака его навсегда остановила смерть, покрыв тайной внезапный уход писателя, не достигшего 58 лет.



Блестящая биография, вышедшая из-под пера Сьюзен Джилл Ливайн, – не только ее лучшая книга, но и посмертное торжество несчастного Мануэля Пуига. Перед нами человек и писатель с его жизнью, полной то забот, то печалей, жизнью всегдашнего гея, гея из геев, которая, как любая жизнь, в конце концов завершается

1. "Оксфордский справочник по испанской литературе" (*англ.*).
2. Макс Фактор (1904–1996) – американский косметолог русского происхождения, глава крупнейшей фирмы косметики и театрального грима.

трагедией. Это его торжество над собратьями, прежде всего аргентинскими писателями, современными и нет, которые поставили на нем одиозное клеймо не "вовлеченного", не ангажированного ("не ангажированной", поправил бы их Мануэль, говаривавший "я – женщина деловая"). Эти слова ему бросали в лицо... Но разве это преступление? Как бы там ни было, по-настоящему открывший Мануэля Хуан Гойтисоло[1] в надгробном слове (или, если угодно, некрологе) назвал его не только великим писателем, но и "неутомимым защитником прав женщин и гомосексуалистов в мире свирепых мачо". И совершенно правильно добавил: "С честью и достоинством он всматривался в реальность, не обращая внимания на туманы страхов и шоры идеологий".

Биографии, по Оскару Уайльду, не дают человеку спокойно умереть. Вопреки уайльдовским словам, биография, написанная Сьюзен Джилл Ливайн, стремится, как любая биография, стать историей. Благодаря ей Мануэль Пуиг вошел теперь в другую, лучшую историю – историю литературы.

Перевод с испанского Бориса Дубина

Рикардо Пиглья

Мануэль Пуиг и магия повествования[2]

Роза это роза. Апофеоз Мануэлю Пуигу – это фильм Вуди Аллена "Пурпурная роза Каира", в котором отчетливо видно преклонение перед миром, созданным аргентинским романистом. Эта простая и несчастная в замужестве девушка – вроде мадам Бовари, обожаемой кинематографом, – типичная героиня Пуига. А сама история будто взята из его романов (хотя произведения Пуига куда более тонки и богаты аллюзиями). Вот так воображаемый мир, созданный под влиянием кино, сам в конечном итоге становится объектом использования кинематографа.

Воспитание чувств. Главная тема Пуига – боваризм. Способ, которым массовая культура воспитывает чувства. Кино, радиотеатр, беллетристика и психоанализ: интриги, бьющие через край эмоции, загадки, драматические секреты и семейные распри служат примером и одновременно опытом, определяя жизненные приоритеты. Пуиг сумел найти неожиданные повествовательные формы для изложения вполне стереотипных и распространенных тем.

© А. Ильинский. Перевод, 2003

1. Хуан Гойтисоло (р. 1931) – испанский писатель; эссе памяти Пуига вошло в его сборник "Роща литературы" (1995).
2. Из кн.: Рикардо Пиглья. Аргентина по частям.

Способы рассказывать. Пуиг сумел обнаружить повествовательные приемы в областях, традиционно чуждых литературе: журналы мод, религиозные исповеди и некрологи превращаются в способы изложения материала, позволяющие обновить форму романа. В то же время Пуиг всегда манипулировал самыми выигрышными приемами рассказа (саспенс, путаница с персонажами, внезапные разоблачения, умолчания и противоречия, неожиданная и жестокая развязка) и доказал, что экспериментальный фактор не противоречит успеху книги. Коллаж, смешение стилей, голосов и тонов повествования ломают стереотипы традиционного романа и превращаются в основной прием литературного творчества.

После авангарда. Пуиг пошел куда дальше простого авангарда; он показал, что новшества в технике повествования и эксперимент не противоречат популярным литературным формам. Он сразу понял, что было для него самым важным в Джойсе. "Если я что-то и взял у Джойса сознательно, так это вот что: немного полистав "Улисса", я увидел, что в книге соседствуют совершенно различные художественные приемы. И все. Это мне понравилось". Несомненно это и есть весь урок, извлеченный из Джойса: множественность приемов и голосов, разрывы сюжетной линии, смешение авторского голоса с голосами персонажей. Он отказался от определенного стиля, он пишет во всех стилях, работает во всех регистрах и тональностях языка.

Семь книг. Весь Пуиг — это его первый роман. "Предательство Риты Хейворт" — вершина его творчества и одно из самых великих произведений аргентинской литературы. Здесь есть и богатый сюжетный план и отточенная писательская техника. Здесь есть то, что мы можем назвать "эффектом Пуига", — фирменный знак, делающий его неподражаемым (однако доступным для плагиата) и уникальным в современной литературе. "Крашеными губками" он достигает эффектного публичного успеха, завоевывает международного читателя и превращается фактически в первого профессионального романиста аргентинской литературы.

Жандармы-критики. Противоречивые последствия этого успеха показаны в романе "The Buenos Aires Affair", который является иносказательной версией борьбы и полемики, определяющих литературную среду. Роман должен читаться в контексте многочисленных существующих в нашей литературе сочинений, которые рассказывают о художниках и писателях (от "Метафизического зла" и "Буэнос-айресского оборванца" до "Алефа", "Преследователя", "Писателя-неудачника" и "Приключений писателя-авангардиста"[1]). Историю художника, преследуемого убийственной критикой, Пуиг превращает в полицейский роман. Героиня-

1. "Метафизическое зло" (1916) — роман аргентинского писателя Мануэля Гальвеса (1882–1962); "Буэнос-айресский оборванец" (1948) — роман аргентинского писателя, поэта, драматурга и эссеиста Леопольдо Маречаля (1900–1970); "Алеф" (1949) — новелла аргентинского писателя, поэта и публициста Хорхе Луиса Борхеса (1899–1986); "Преследователь" — повесть аргентинского писателя Хулио Кортасара (1914–1984); "Писатель-неудачник" — рассказ аргентинского писателя Роберто Арльта (1900–1942); "Приключения писателя-авангардиста" (1982) — роман аргентинского писателя Альберто Лайсеки (р. 1941).

скульптор работает с отходами, которые собирает на свалке, — очевидный намек на повествовательное искусство Пуига, создаваемое из "низких", "массовых" материалов. Это остроумное, параноидальное полотно, воспроизводящее литературный мир Аргентины (с намеками на "Примера плана"[1] и связанную с ним борьбу за престиж и признание), — месть Пуига и одновременно прощание: в тот самый год он покинул Аргентину.

Правда и вымысел. В четырех следующих романах Пуиг, сохраняя свою приверженность к достоверности и гиперреализму, вводит новый технический прием, превращающий его произведения в лучшие образцы экспериментального направления современной словесности. Он впервые использует магнитофонную запись голоса и подлинные истории в качестве основы художественного вымысла. Валентин Арреги в "Поцелуе женщины-паука", Посси в романе "Ангельский пол", Ларри из "Вечного проклятия тому, кто прочтет эти страницы" — это реальные люди и судьбы, которым противопоставлены полемизирующие с ними вымышленные голоса: Молина, арестант-гомосексуалист в "Поцелуе", Анна, которая умирает от рака в романе "Ангельский пол", старик-паралитик в "Вечном проклятии...". Этот контраст (достигший апогея в великолепном "Вечном проклятии...", лучшем романе после "Предательства") рождает удивительную замену: Пуиг стирает свои следы и оставляет нам голос выдуманного свидетеля.

Преступление. Преступление, о котором рассказывается в "Крашеных губках", ярко высвечивает повествовательную манеру Пуига. В этой смерти и последующем избавлении от чувства вины гораздо отчетливее, чем на всем остальном пространстве романа, видны иерархические отношения, питающие интригу, и мелодраматические черты, сопровождающие мир жестких социальных различий. Злодейка из хорошей семьи, обманутая служанка, темное сознание, порядочная девочка, мать-одиночка, тщеславный полицейский — герои романа-фельетона выходят на первый план, хотя преступление не занимает центрального места в романе. Тут еще явно просматривается и другой аспект романа, часто остающийся скрытым при пародийном восприятии текста: связь между ложью и насилием, которая определяет социальную интригу произведения и которую Пуиг с каждой новой работой все глубже вплетает в ткань своего повествования.

Перевод с испанского Антона Ильинского

1. Аргентинский литературный еженедельник.

Томас Элой Мартинес

Смерть – это уход навсегда

"Они не считают меня писателем, я для них поставщик бестселлеров на один сезон, – говорил он мне. – То же самое тридцать лет назад происходило с Роберто Арльтом"[1]. Июньским утром 1991 года я навестил мать Мануэля Пуига в скромной квартирке на улице Чаркас, где двумя десятилетиями раньше впервые с ней увиделся. Во всем ее окружавшем чувствовалась неистребимая любовь к порядку. То ли закон временного тяготения, то ли воля умершего сына приковывали здесь каждую вещь к определенному месту, и место это было указано ей навеки. "Нужно зайти к Коко, – говорит она, воскрешая семейное прозвище, которое Мануэль терпеть не мог. – Пойдем к нему. Там чудесно".

Мария Элена делле Донне – таково ее полное имя, хотя мы, друзья Мануэля, всегда звали ее Мале, – привела меня в комнатку, которая служила рабочим кабинетом ее сыну в пору, когда он писал "Крашеные губки" и "The Buenos Aires Affair". В самом негостеприимном углу чахла "Оливетти леттера", на ней Пуиг печатал три своих первых романа. На металлических стеллажах я увидел несколько переводов "Ангельского пола", биографию Греты Гарбо и переплетенные радиопьесы Яйи Суарес Корво, которая в сороковых пользовалась недолгой славой и которую Пуиг потом втайне почитал. На стенах красовались японские веера и самурайский меч. Токийский издатель подарил их Мале в марте 1990-го, и сегодня они были дороги ей как память. "Ты не представляешь, до чего Коко понравилось в Японии, – сказала она. – Каждому хочется, чтобы его любили, но он чувствовал такие вещи тоньше других".

Слева от полок, между двумя Буддами сомнительного фарфора, торчала урна из полированного металла, в которой Мале привезла из Мексики пепел Мануэля. Вопреки ожиданию, никакой надписи, обозначавшей начало и конец, не было. Ни слова о покойном в пародийной манере чего-нибудь вроде "Спи спокойно, сынок" или "Мануэль Пуиг (Хенераль-Вильегас, 1932 – Куэрнавака, 1990)". Дешевое распятие над урной смотрелось странно.

– Скажи Коко все, что у тебя на душе, – прошептала Мале. – Не стыдись. Скажи, что он сегодня красивее, чем всегда.

Я не стыдился, не удивлялся и даже не чувствовал боли. Мануэль Пуиг скончался год назад в Мексике от неустановленных причин, и после перевернувшей сердце новости печаль понемногу рассеялась. Говоря по правде, я не знал, как себя вести перед этой урной. Пуига в ней не было, как ничего от него не осталось и в этой комнате – ничего из того, к чему он тянулся, о чем мечтал, а еще меньше того, чем он был.

Впервые я услышал о Мануэле Пуиге в Аргентине осенью 1967 года, когда Карлос Барраль[2] позвонил мне в еженедельник "Примера плана", главным редактором которого я тогда служил, и рассказал, что "замеча-

© Б. Дубин. Перевод, 2003

1. Роберто Арльт (1900–1942) – аргентинский прозаик и драматург.
2. Карлос Барраль (1928–1989) – испанский (каталонский) писатель и издатель.

тельному аргентинскому прозаику" не хватило двух голосов для премии "Библиотеки Бреве" за роман года. "Пусть твой корреспондент в Нью-Йорке возьмет у него интервью, — добавил он. — Его можно найти в офисе "Эр Франс" в аэропорте Кеннеди. Его зовут Хуан Пуиг, и он у них вечно дежурит, все надеется увидеть какую-нибудь кинозвезду".

Корреспондента в Нью-Йорке у "Примера плана" не было, но один из наших редакторов все равно не миновал бы офиса "Эр Франс", поскольку направлялся в Европу. Через неделю от него пришел материал, появившийся в еженедельнике под названием "Портрет неизвестного романиста".

Пуиг, писал он, это среднего роста юноша, двигающийся по переходам аэропорта как в замедленной киносъемке. Он появился на свет в середине 1932 года в пустынном городке провинции Буэнос-Айрес под названием Хенераль-Вильегас и в 1949-м перебрался в столицу изучать архитектуру.

Однако архитектура была всего лишь предлогом приблизиться к его заветной мечте — кинематографу.

В конце 1960-го он уже участвовал в создании нескольких фильмов, это была совместная продукция, более или менее чудовищная. Одна лента, под названием "Американка в Буэнос-Айресе", до того устыдила даже бесстыжую протагонистку Мэйми Ван Дорен[1], что она никогда не включала ее в свою фильмографию. А вот Пуиг обратил несчастье себе на пользу. В 1961—1962 годах он по ночам, практически никому о том не говоря, работал над сценарием о семействе, снедаемом ненасытной страстью к кино. Хенераль-Вильегас превратился в воображаемый Коронель-Вальехос, а сам Хуан Мануэль принял облик Тото, мальчика, который так и остается маленьким и которого переполняют бесконечные россказни городка. Как-то само собой сценарий превратился в роман "Предательство Риты Хейворт". В конце марта 1965 года, почувствовав, что завершил его, Пуиг показал рукопись Хуану Гойтисоло. Тому и пришла в голову мысль отправить роман на конкурс издательства "Сеш Барраль".

Через полгода после этого интервью Пуиг сумел наконец обосноваться в Буэнос-Айресе. Тогда он и отделался от своего первого имени Хуан. Каждую субботу мы встречались у меня дома на улице Родригес-Пенья, чтобы прочитать очередную порцию романа-фельетона, над которым он тогда работал (и который, как он написал в одном из посвящений, сначала носил название "Вся жизнь моя была полна тобою"). А потом выходили пройтись по Санта-Фе или Корьентес, чувствуя себя чужими в этом городе, уроженцами которого ни один из нас не был. Мануэль отличался недоверчивостью, сдержанностью и не любил откровенничать, но, убедившись, что я не только не осуждаю его гомосексуализм, а, наоборот, готов защищать от нападок других, он рассказал мне о своей безответной любви к одному пареньку-газоукладчику. "Я — страдалица, каких мало, — говорил он. — Кажется, отдала бы все, что еще напишу в жизни, за счастье ждать по вечерам своего мужчину в уголке дома, сделав завивку, подкрасившись и приготовив ужин. Я мечтаю о чистой любви, а обречена, ты видишь, на грязные страсти".

Хотя страдание его было явным, Мануэль говорил без малейшей жалости к себе, словно боль принадлежала кому-то другому. "Я должен был родиться женщиной, правда ведь?" — спрашивал он, вздыхая. И вздыхал

1. Мэйми Ван Дорен (р. 1931) — американская киноактриса; имеется в виду ее заглавная роль в фильме Джорджа Кахэна (1961).

так, будто репетировал перед зеркалом. В этом был элемент игры, но было и крайнее выражение природной стыдливости. В его жизни переплетались те же сквозные линии, что в диалогах его романов: меланхолия, интонация вопроса, утраченное прошлое. "Может быть, мне нужно было бы родиться другим, не здесь...", — часто повторял он.

Как-то ноябрьским днем, прогуливаясь с ним по проспекту Санта-Фе до пересечения с Сальгуэро, я почувствовал, как он вдруг, непонятно почему, весь задрожал. Мануэль был тогда еще молод, и его провинциальная, немного грубоватая красота привлекала взгляды. Он заботливо поддерживал в себе отдаленное сходство с Тайроном Пауэром, копируя его в роли насупленного тореро из фильма "Кровь и песок"[1]. Выпустил на лоб этакую темную прядку и ходил широким, пружинистым шагом.

У перекрестка стояли две палатки из темного брезента. На дорожке между ними жарились на решетке ребрышки и потроха. Мануэль схватил меня за руку, как будто ища защиты. "Он там. Это его бригада, — расслышал я приглушенный голос. — Пора обедать, но он не поднимется. Он всегда остается в яме работать". Его трясло как юнца. "Тут мы обычно расстаемся. Он не любит, когда докучают, но у меня уже нет сил. Я пойду к нему".

Он раздвинул брезент и исчез. А объявился только через три дня. На этот раз он был в мрачном настроении и, когда я не к месту спросил о романе с газоукладчиком, сухо ответил: "Дело прошлое".

Писал он, повинуясь неукоснительному распорядку: часа два по утрам и четыре-пять часов вечером. Завершая роман, засиживался часов до восьми-девяти, а потом шел купаться. Тренер по плаванию утешил Мануэля в неудаче с последним другом, но каждый раз, как мы потом проходили мимо темных палаток, где размещались бригады электромонтеров, газоукладчиков или телефонных мастеров, он не мог удержать вздоха.

Заканчивая роман — он решил назвать его "Крашеные губки", — Мануэль и познакомил меня с Мале, а потом начал кое-что рассказывать о своем детстве. Его отец, Бальдомеро Пуиг, занимался перегонкой вин, Мале работала в аптеке. Ее настоящей страстью были походы по средам в кино, где на вечернем сеансе крутили романтические ленты с Бетт Дэвис, Нормой Ширер, Грир Гарсон, Энн Сотерн и Айрин Данн[2].

Мануэль ее обычно сопровождал. Но всякий раз, когда однокашники лупили его в школе или насмехались над ним, отец — чтобы сделать из мальчика мужчину — лишал его этих удовольствий на неделю, а то и на месяц.

С 1973 года, после публикации "The Buenos Aires Affair" и ливня обрушившихся на него предложений о переводах на разные языки, Мануэль стал чувствовать, что в Аргентине его недооценивают. Он пошел дальше всех писателей своего поколения, а в нем видели заурядного писаку. Он не мог смириться с мыслью, что в этой стране так было и будет всегда. Вспоминая наши встречи в те годы, я как будто снова слышу бесконечную горечь его слов. Ему казалось, что аргентинская критика — и газетная, и университетская — относит написанное им к низшему разряду, думая, что завтра его книги читать не станут и что рынок проглотит и забудет их. "Они не считают меня писателем, я для них поставщик

1. Тайрон Пауэр (1913—1958) — американский киноактер; "Кровь и песок" (1941) — фильм Рубена Мамуляна по одноименному роману Висенте Бласко Ибаньеса.
2. Бетт Дэвис (1908—1989), Грир Гарсон (1904—1996), Энн Сотерн (1909—2001), Айрин Данн (1904—1990) — романтические красавицы из американского кино 1930—1940-х гг.

бестселлеров на один сезон, — говорил он мне. — То же самое тридцать лет назад происходило с Роберто Арльтом, и людишки, вчера копавшие ему могилу, сегодня клянутся его именем".

Потом я несколько раз мельком видел Мануэля в коридорах газеты "Опиньон" (отклик на "The Buenos Aires Affair" запаздывал, и это казалось ему еще одним знаком недоброжелательства), а годы спустя, и уже гораздо чаще, в Венесуэле и Нью-Йорке. Покинув Буэнос-Айрес, он снова стал самим собой. Как-то вечером в гостиничном номере в Кумана — университет Ориенте пригласил его на два месяца преподавать литературное мастерство — я в самом общем виде пересказал ему идеи о сотворении мира, которые между 1566-м и 1572-м годами развивал в мистической галилейской деревушке Сафед тридцатилетний каббалист Ицхак Лурия[1]. Лурия задался вопросом, как Бог может быть вездесущ? Если Он есть Всё во всём, то как объяснить, что, кроме Него, существуют предметы и живые существа, ведь они же — не Бог? Бог, отвечал Лурия, по своему радушию самоумалился, чтобы оставить место миру. Лурия считал, рассказывал я, что Эн-Соф, Бесконечное Бытие, многократно свернулось — до самых своих глубин, иначе мир не был бы сотворен. Оно, можно сказать, вобрало себя, как бы сделав вдох, а в конце времен сделает выдох и вернется к изначальному состоянию.

Никогда я не видел, чтобы мысль до такой степени гипнотизировала Мануэля, как в тот вечер. Он попросил рассказать подробнее. Я ничего толком не помнил. И сумел извлечь из памяти одно: еврейское слово "цимцум", на языке каббалы означавшее "уединенность" или, точнее, "уединение". Вопреки правоверному учению древнейших времен, цимцум у Лурии, повествовал я, означал не бесконечно священную точку, в которой сосредоточен Бог, а место, которое Он покинул. Цимцум — это мы все.

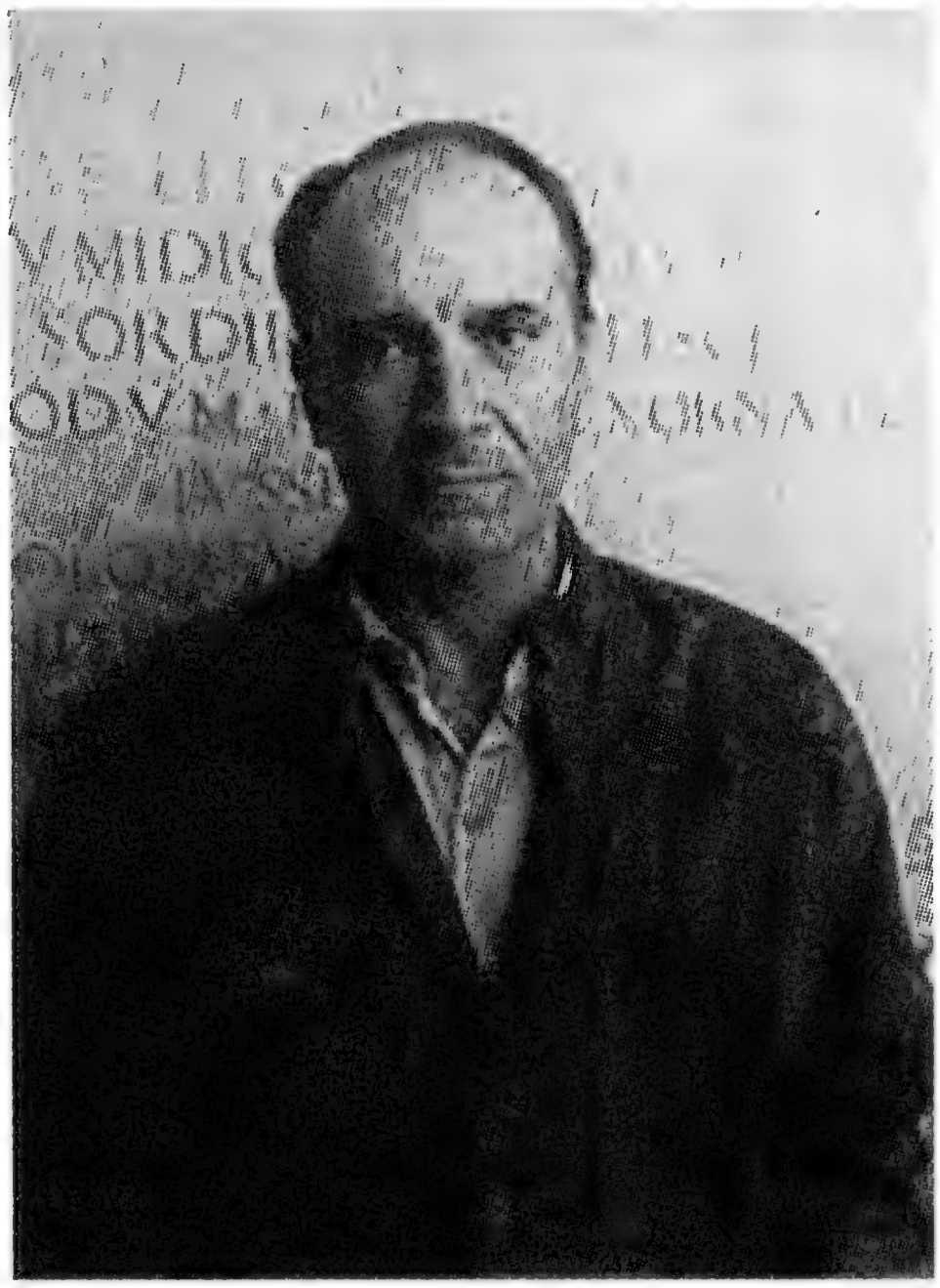
"Как он сумел себе это всё вообразить? — спрашивал Мануэль. — Это же замечательно. Теперь я понял суть вещей. В конце все сольется со Всем. И мы станем Богом".

В тот единственный раз я слышал в его голосе настоящую метафизическую тревогу. Он верил, что в других галактиках тоже есть разумные существа, время от времени верил (или хотел верить) в переселение душ, но вообще-то богословские вопросы и мир иной его не занимали. Зато говоря о своих любовных победах, он расцветал. Я знал о двух-трех его возлюбленных в нью-йоркском Гринич-виллидже, где Мануэль снова поселился в 1976 году, и о бывшем каменщике, с которым он не расставался в отеле "Хилтон" в Каракасе. Все они, как признавался Пуиг с напускной скромностью победителя, были "люди женатые и настоящие мужчины".

Я всегда звал его Мануэлем, но сам он называл себя то Ритой, то Джули (в честь Джули Кристи[2]) и о других говорил в женском роде, давая им имена актрис. Карлос Фуэнтес был у него Авой Гарднер, Марио Варгас Льоса — Элизабет Тейлор, а меня он звал то Фей Данауэй, то Джейн Расселл[3] (эти актрисы были не в его вкусе).

Соответственно, своим случайным возлюбленным он давал имена мужей Риты Хейворт: Орсон (в честь Орсона Уэллса), Али (Али Хан), Дик

1. Ицхак бен Шломо Лурия (1534—1572) — еврейский мыслитель-мистик, виднейший представитель философии каббалы.
2. Джули Кристи (р. 1940) — английская киноактриса.
3. Ава Гарднер (1923—1990), Элизабет Тейлор (р. 1932), Фей Данауэй (р. 1941), Джейн Расселл (р. 1921) — актрисы американского кино.



(певец Дик Хаймс) или Джим (ее последний муж, продюсер Джеймс Хилл[1]). Как-то декабрьским вечером в вестибюле каракасского отеля "Хилтон" мы с ним увидели необыкновенную красавицу, через несколько лет ее избрали Мисс Вселенной. Профессиональные красотки и подобные безмозглые дуры всегда оставляли меня равнодушным, а вот Мануэль растаял. "Ты не представляешь, как бы я хотел стать вот такой!" — прошептал он. Меня разобрало любопытство, и я рискнул спросить: "Слушай, Мануэль, а ты занимался любовью с женщиной? Ну, хоть когда-нибудь?" Он глянул на меня и очень серьезно выговорил: "В детстве я мечтал об этом. А теперь думаю, что стоило бы попробовать, но только раз, из любопытства, посмотреть, каково оно на вкус. Во второй раз это было бы уже извращение".

Я вспомнил эти слова зловещим днем 23 июля 1990 года, прочитав в "Нью-Йорк таймс" некролог Пуига, который накануне утром умер в Куэрнаваке. Его книги были там названы образцом "экспериментального реализма, смутного и ускользающего от понимания, наподобие романов Фолкнера". Думаю, фраза пришлась бы ему по душе.

Но глаза мои приковал второй абзац. "По словам сына, Хавьера Лабрады, — говорилось в нем, — писатель скончался от инфаркта после операции желчного пузыря". А в последних строках Пуигу приписывался еще один сын, Агустин Гарсиа Хиль, тоже, как и Лабрада, живший в Куэрнаваке. Я удивился. Может быть, речь шла о приемных детях? Я позвонил автору заметки Джону Мак-Куистону и спросил, что он об этом знает. "Ничего, — отозвался тот. — К нам в редакцию пришло сообщение телеграфных агентств. Когда я попытался уточнить информацию в похоронном бюро, они сослались на двух дочерей, Ребекку и Ясмину, но я счел это шуткой, последним предательством Риты Хейворт".

Ребеккой и Ясминой Рита назвала своих дочерей от Орсона Уэллса и Али Хана.

Через несколько лет, оказавшись в Мексике, я восстановил последние дни Мануэля. Лабрада, как я узнал, руководит фильмотекой 13-го телеканала, а Гарсиа Хиль — крупная фигура в театральной жизни Мексики. Оба звали Пуига "мамочкой", а он, в свою очередь, окрестил порхавших по дому юношей "дочками". Кроме того, до меня дошел слух, что причиной его смерти был СПИД, но самые близкие друзья такую воз-

1. Орсон Уэллс (1915—1985) — американский актер и кинорежиссер; Али Хан (?—1960) — американский светский красавец и богач, погиб в автокатастрофе; Дик Хаймс (1916—1980) — американский певец аргентинского происхождения; Джеймс Хилл (1916—2001) — американский кинопродюсер и режиссер.

можность опровергали. Я знаю историю его конца со слов Мале, Тунуны Меркадо[1] и нескольких мексиканских писателей, с которыми Мануэль поддерживал знакомство.

По их рассказам, смерть кружила над Мануэлем несколько месяцев, но никак не могла до него добраться. В среду 18 июля 1990 года, когда она в конце концов вгрызлась ему в живот, он сидел в своем рабочем кабинете в Куэрнаваке над второй сценой "Мадрида, год 1937", сценария, который его уговорила написать испанский кинорежиссер Марина Каньонеро: "Пожалуйста, Манолито, это надо уже вчера, вся группа наготове, ждем тебя одного". Было десять утра.

Он провел ужасную ночь, и работа теперь не ладилась. Им владело странное чувство, что вдохновение рядом, а он не может его поймать. От него уходило все: юношеский подъем, голоса, которые всегда теснились в нем по утрам, так что нужно было лишь расположить их на бумаге. "Знаешь, мам, что-то во мне сломалось, — признался он Мале. — Не могу вспомнить, когда в последний раз по-настоящему хотелось писать и любить, даже пакости тех последних месяцев в Буэнос-Айресе вспомнить не могу".

Хуже всего в той непонятной болезни было именно это: его покидало все, даже прошлое.

В две минуты одиннадцатого он отстучал: "Генерал в берете набекрень (а на полях отметил: "Лысый") над ящиком с песком изучает ситуацию. Синие флажки — его войска, красные — вражеские..." Тут боль вернулась, и еще острее, чем ночью. Он побелел, опустил голову на машинку. В эту минуту Мале вернулась из бассейна (купальни, как ее называют в Мексике) и застала его — схватившегося за живот, с запавшими глазами, бледного, как первый проблеск на горизонте. "Что с тобой, Коко? Хочешь чаю? Ты совсем не отдыхаешь, сынок. Глянь в зеркало, до чего ты стал бледный. А он посмотрел на меня так беспомощно, что у меня сердце оборвалось, понимаешь, и меня как стукнуло: дело плохо. Коко, слабым таким голосом, просит: "Отвези меня к врачу". "Где у тебя болит?" — спрашиваю. Он показывает на бок и говорит: "Как будто расплавленный свинец капают".

В три пополудни Пуига доставили в операционную. В половине седьмого вывезли: лицо заостренное, кожа на лбу и на скулах натянулась, как будто смерть уже отметила его и закрыла ему глаза.

Больше двух дней он не выходил из комы. И тот, кто прошептал несколько слов на ухо Мале, уже не был прежним Мануэлем. Она услышала несколько бессвязных, бессмысленных слогов. Так никто и не узнал, что с ним произошло. Врачи в Куэрнаваке не вдавались в объяснения. Говорили, что не выдержало сердце, что при удалении желчного пузыря он перенес клиническую смерть.

Мануэль умер в воскресенье 22 июля, на рассвете. Умер тихо, никого не побеспокоив. Ни сестры, ни врач ничего не заметили. Звонок у кровати всю ночь молчал, температура последних дней спала. Ему только что исполнилось 58 лет.

Перевод с испанского Бориса Дубина

1. Тунуна Меркадо (р. 1939) — аргентинская писательница.

Говорит Мануэль Пуиг

Из интервью разных лет

Беглое знакомство[1]

Хорхелина Корбатта. Какую роль в вашей работе играет читатель? Вы представляете своего будущего читателя, когда пишете роман? Читательские пристрастия оказывают какое-либо влияние на вашу работу?

Мануэль Пуиг. Когда я пишу, всегда думаю о своем читателе, который в чем-то похож на меня. Ему, как и мне, трудно сконцентрироваться и удерживать внимание в течение долгого времени; в моем случае это происходит из-за того, что я скорее кинозритель, чем читатель. Поэтому от своих читателей я не требую каких-либо особых усилий.

Х. К. Но вам не кажется, что эти неожиданные повороты в сюжете, ваша манера рассказывать две истории одновременно, или одну, но с разных точек зрения...

М. П. Несомненно, мои книги требуют определенных умственных усилий, но эти усилия совершенно особого рода. Что мне представляется действительно сложным, так это проза, лишенная сюжета, где на каждой странице мне вдалбливают одну и ту же мысль.

Х. К. Я все же думаю, что, хотя основные элементы ваших романов понять легко, сложить воедино все части произведения довольно непросто. Например, внутренние монологи в "Предательстве Риты Хейворт", замысловатая детективная сюжетная линия в "The Buenos Aires Affair", связь между фильмами, рассказанными героем в "Поцелуе женщины-паука", и фантазиями персонажей, раздвоение личности у Анны в романе "Ангельский пол"...

М. П. Я бы не сказал, что пишу для глупого читателя. Хотя меня самого раздражают слишком затянутые произведения.

Х. К. Например, у Пруста?

М. П. Это не совсем точный пример.

Х. К. Тогда у кого?

М. П. Кое-какие испанские романы начала XX века. Скажем, Хосе Мария де Переда[2]. Каждое свое произведение я писал, чтобы кому-то что-то доказать. "Предательством Риты Хейворт" я хотел кое в чем убедить одного из своих друзей. Роман "Крашеные губки" был задуман, чтобы продемонстрировать моему личному врагу, одному аргентинскому критику, ненавидевшему популярные жанры (детективы, мелодрамы и т.п.), что можно написать...

Х. К. Эта ненависть критиков к популярным жанрам, как известно, проявилась и в оценке "Предательства Риты Хейворт", не так ли?

© А. Ильинский. Перевод, 2003

1. Фрагменты интервью под названием "Беглое знакомство: интервью с Мануэлем Пуигом", взятого Хорхелиной Корбаттой в сентябре 1979 года во время Конгресса испано-американских писателей в Колумбии.
2. Хосе Мария де Переда (1833–1906) – испанский прозаик, представитель "регионального романа".

М. П. Нет, не так. Первые два мои романа вышли почти одновременно, потому что "Предательство Риты Хейворт" очень долго готовилось к печати. Я встретил неприятие, когда приехал в Аргентину, — натолкнулся на консерватизм критиков, их вкусы весьма отличались от моих. Надо сказать, это даже раззадорило меня. Возвращаясь к вопросу о том, влияют ли читательские пристрастия на мою работу, скажу: нет, никоим образом. Например, всем очень понравилась моя книга "Крашеные губки" и все ожидали, что я буду продолжать писать в том же духе. А я не стал, потому что в тот момент меня уже интересовала совсем другая техника литературного исследования, и я написал "The Buenos Aires Affair". Книгу приняли достаточно спокойно, но сам я почувствовал, что она вполне удалась. Я до сих пор доволен ею, более того — я даже хотел бы когда-нибудь вернуться к приемам, использованным в ней.

Х. К. Что вы можете сказать о критиках вообще?

М. П. Они ни в чем мне не помогли. Напротив, большинство из них неправильно понимали суть написанного, поэтому они лишь напрасно тратили свое время.

Х. К. Но вы читаете то, что они пишут? Вам интересны рецензии?

М. П. Да-да, конечно. Я, безусловно, не из тех писателей, о которых пишут пространные научные труды. Лишь недавно таковые стали появляться. К сожалению, большинство откликов на мои произведения (рецензии в газетах и аннотации на обложках книг) — короткие, безликие заметки.

Х. К. Пытались ли ваши рецензенты исследовать психоаналитический компонент ваших книг?

М. П. Не знаю, сложно сказать. Но одно точно: критики ни разу никому ничего толком не разъяснили.

Х. К. А друзья были вам поддержкой?

М. П. Да, и даже очень большой.

Х. К. Известно, что Гильермо Кабрера Инфанте сам активно участвовал в переводе своего романа "Три тоскливых тигра" (и даже воевал с переводчиком на французский, который постоянно твердил ему: "Ça, c'est ne pas français"[1]). Вообще с переводом книг возникает множество трудностей, особенно, я думаю, если они написаны на "аргентинском" испанском.

М. П. Я, конечно, помогаю переводчикам, адаптирующим мои книги на те языки, которыми я владею, — английский, французский, итальянский и португальский. Приведу пример, когда мне пришлось внести необходимую правку. В одной из глав "Крашеных губок" в испанском варианте цыганка гадает на картах Таро. Но во Франции и Великобритании эти карты практически неизвестны. Поэтому мне пришлось переписать целый кусок и заменить гадание на картах Таро игрой в покер. Я был вынужден так поступить и могу привести еще много подобных примеров. Больше всего таких эпизодов было в пьесе "Поцелуй женщины-паука". Как вы знаете, переводить драматургию очень трудно. Надо не просто заменять испанские слова словами другого языка, но и следить, чтобы смысл нового текста соответствовал смыслу оригинала. Поэтому в США никогда не говорят: "Это перевод такой-то пьесы такого-то драматурга", а говорят: "Английская адаптация или английская версия такой-то пьесы". С итальянским немного другая ситуация, потому что он очень похож на испанский. Французский — в меньшей степени, английский — еще в меньшей,

1. Нет, так по-французски не говорят (*франц.*).

поэтому мне приходилось многое изменять в своих текстах. Задача переводчика — создать тот же драматургический конфликт, что и в оригинале, только на своем языке. Это сложнейшая задача!

Х. К. Было бы интересно узнать, кто является для вас литературным примером. Все знают о вашей страсти к кино, так же как к болеро и танго, но мало кому известны ваши литературные предпочтения. Испанский поэт Пере Жимферрер[1] в статье, опубликованной в 1976 году в мексиканском журнале "Плюраль", главным редактором которого был Октавио Пас, заявил, что "...без всякого сомнения, мало кто из писателей-предшественников оказал влияние на Пуига, не говоря уже о литературных направлениях и школах". Что вы на это скажете?

М. П. Нет автора, которого я мог бы назвать своим кумиром, — ни один писатель не оказал влияния на мое творчество. На меня влияло кино. Думаю, если вчитаться в мои произведения, можно заметить, что у Эрнста Любича я научился строить сюжетную линию, у Джозефа фон Штернберга взял атмосферу. Я очень много позаимствовал у Альфреда Хичкока. Если говорить о литературе... даже не знаю. Из писателей XX века мне очень нравятся Уильям Фолкнер и Франц Кафка. Хотя это не значит, что я читал их запоем.

Х. К. Что вам в них нравится? Атмосфера, которую им удается создать на страницах своих произведений? Темы, которые они поднимают в своем творчестве? Писательские приемы?

М. П. Мне нравится необычайная поэтичность прозы Фолкнера. А темы его книг мне не интересны совсем.

Х. К. А монологи в его романе "Когда я умирала" — может, они в какой-то степени послужили вам образцом?

М. П. Я не читал этой книги. Я открыл ее первый раз в этом году, только потому, что одна студентка в нью-йоркском колледже, где я преподавал, рассказывала об этом романе.

Х. К. А Кафка?

М. П. Думаю, он наглядно показывает, как окружающая среда подавляет индивидуальность. К тому же Кафка знает, как подсознание контролирует нашу жизнь. Еще он рассказывает о той внутренней тюрьме, которую носит в себе каждый из нас. Но, в отличие от Кафки, я всегда стараюсь перенести действие моих произведений в реальность, у него же все остается на уровне воображения.

Х. К. Есть еще один аспект, относительно которого спорят критики: вы смеетесь над своими героями, пародируете их или все-таки отождествляете себя с ними?

М. П. Я не смеюсь над своими героями, но совсем без юмора нельзя, иначе мои произведения станут слишком грустными, печальными. Они станут безжизненными. Мои истории мрачноваты, поэтому необходимо вносить в них толику комичности. К тому же в жизни ведь столько смешного, правда? Может, в это и трудно поверить, но аргентинцы — народ с юмором. Не думаю, что я насильно втискиваю юмор в свои книги, просто он — их неотъемлемая часть. Возвращаясь к вопросу о пародии, скажу, что пародия — это издевательство, насмешка, а я не насмехаюсь над своими героями. У меня с ними много общего, мы говорим на одном языке, и вкусы у нас одинаковые.

1. Пере Жимферрер (р. 1945) — испанский (каталонский) поэт, прозаик, художественный критик и эссеист.

Х. К. Почему, как вы думаете, Карлос Фуэнтес, Луис Рафаэль Санчес, Гильермо Кабрера Инфанте и Северо Сардуй[1] привносят в свои произведения элементы массовой культуры, так же как и вы? У вас с ними есть что-то общее?

М. П. Просто есть темы, которые занимают всех нас, хотя мой стиль очень отличается от стиля Фуэнтеса, а с Сардуем, Инфанте и Санчесом у меня нет абсолютно ничего общего.

Х. К. А с кем у вас есть нечто общее?

М. П. Вообще-то, мои познания в литературе далеки от идеала.

Х. К. А если говорить о кино?

М. П. Мне очень близок фильм "Обесчещенная" фон Штернберга с Марлен Дитрих, снятый в 1931 году. Сколько ни смотрю его, каждый раз думаю: "Ух ты, сколько же у нас общего..."

Х. К. Как ваши произведения связаны с поп-артом, китчем, кэмпом?

М. П. Меня очень привлекает то, что называют "дурным вкусом". Думаю, страх показаться пошлым мешает авторам углубляться в определенные культурные зоны, которые находятся подчас даже за гранью настоящего дурновкусия. Меня эти зоны очень интересуют, и я позволяю своей интуиции увлечь меня туда. В запредельной вульгарности некоторых танго, например, я вижу возможность совершенно новой поэтики. Точно так же меня привлекает излишний сентиментализм в некоторых киножанрах. Ведь интересно, что за всем этим стоит. На какую аудиторию рассчитана такая продукция? Какие интеллектуальные или душевные потребности удовлетворяют образчики такой "культуры"? Да, мне интересны различные проявления дурного вкуса, но, естественно, не с точки зрения бесстрастного исследователя. Дурной вкус мне интересен только в том случае, если и я сам получу удовольствие от какого-нибудь пошлого танго, а низкопробный фильм заставит меня пустить слезу.

Х. К. Зачем вы пишете романы?

М. П. Потому что не до конца понимаю окружающую действительность. Ведь я что делаю — перекладываю свою личную проблему на своего персонажа и таким образом разрешаю ее. Так и возникают мои произведения. Что-то внутри меня не дает мне заявить о проблеме прямо, от своего лица — видимо, защитная функция подсознания. Но я могу добиться своего с помощью героя романа. Это гораздо проще! А поскольку вопросы, которыми я задаюсь, довольно сложны, требуется целый роман, чтобы разобраться в них, коротенького рассказа или фильма тут недостаточно. Это вроде самотерапии. И не могу сказать, что таков мой свободный выбор — скорее вынужденная необходимость. Я пишу романы, потому что они предоставляют много места для размышлений. Это занятие аналитическое, а не синтетическое.

Х. К. Какой совет вы дали бы молодым писателям?

М. П. Как-то Хуан Рульфо[2] порекомендовал молодым писателям побольше читать. Я с этим не согласен! Я прекрасно понимаю, что чтение дает вам возможность осознать свое место в литературе, но одновременно и служит неким тормозом. Почему? Потому что, если ваша голова забита чужими литературными идеями, в ней не останется места для своих собственных идей. Иногда мне кажется: лишь забыв о том, что делают другие, полностью отстранившись от мира, освободившись от всего, вы

1. Луис Рафаэль Санчес (р. 1936) — пуэрто-риканский прозаик и драматург; Северо Сардуй (1937–1993) — кубинский писатель и эссеист, с 1959 г. жил в эмиграции во Франции.
2. Хуан Рульфо (1918–1986) — мексиканский писатель.

можете создать что-то ценное. Другой мой совет: никогда не позволяйте форме главенствовать над содержанием. И всегда старайтесь исследовать какую-нибудь реальную ситуацию и найти пути ее развития.

Х. К. Как феминистское движение принимает ваши книги?

М. П. До выхода в свет романа "Ангельский пол" феминистки принимали мои произведения довольно хорошо. Но этот роман они встретили в штыки, несмотря на то что он напрямую связан с проблемой феминизма. Критики пеняли мне, что я избрал в качестве героини "слабую женщину". Они говорили, что она не может быть образцом для подражания, так как полна сомнений, которые не способна разрешить: она хочет радости в отношениях с мужчинами, но не знает, как этого достичь. Меня упрекали в том, что я сделал ее не очень умной. А мне казалось, что читатель сам во всем разберется. В Испании феминистки осудили мою книгу. В Мексике, напротив, она очень хорошо продавалась, хотя рецензии были разгромными; по иронии судьбы, все они были написаны мужчинами, а феминистки обошли ее вниманием.

Х. К. Почему тропики играют столь важную роль в ваших произведениях?

М. П. Возможно, потому, что всю жизнь передо мной однообразный пейзаж пампасов. Я всегда мечтал жить в тропиках.

Х. К. Своего рода потерянный рай?

М. П. Именно так.

Буэнос-Айрес, когда же ты полюбишь меня?[1]

Армандо Альмада Роче. Как ты думаешь, "Крашеные губки" — хорошая книга?

Мануэль Пуиг. Да. Я думаю, что "Крашеные губки" — хорошая книга, я думаю, что критики ее не приняли точно так же, как обычно поначалу не принимают наиболее значимые книги, подобных примеров в истории литературы множество. Твое дело — написать книгу и представить на суд читателя; а в один прекрасный день ее сочтут шедевром...

А. А. Р. Как случилось с Гарсиа Маркесом, например?

М. П. Когда я представил ее на конкурс в Буэнос-Айресе, Хуан Карлос Онетти не захотел дать мне премию, сказав, что я до такой степени копировал в ней стиль массовой культуры, что стало невозможно увидеть мое собственное литературное искусство. Помню, я был в ярости от такой формулировки. Я ни минуты не сомневался в том, что мой роман действительно сто́ящий, что это признают со временем. Он будет бестселлером, собственно он уже стал им... Я вложил много надежд в "Крашеные губки".

А. А. Р. И потом, когда роман опубликовали, перевели на другие языки и он вызвал восхищение как в Европе, так и в Соединенных Штатах, ты был удовлетворен?

© 1992 by Editorial Vinciguerra S.R.L.

1. Фрагменты книги Армандо Альмады Роче "Буэнос-Айрес, когда же ты полюбишь меня? Беседы с Мануэлем Пуигом".

М. П. Естественно! Это только показало, что я не ошибался, что ошиблись мои соотечественники. Причем "ошиблись" — не то слово... Надо бы сказать пожестче, да ладно...

А. А. Р. Считаешь ли ты, что профессия писателя ставит тебя над другими людьми?

М. П. Оттого, что я написал несколько книг, я не становлюсь выше каменщика, водопроводчика или механика. Может быть, у меня чуть больше таланта, более развитый интеллект; но в сущности я ни умом, ни чувствами не отличаюсь от своего соседа. Не думаю, что я чем-то выше его. Мое превосходство, если угодно, — это мои книги, настолько, насколько они хороши, но сосед — как и любой человек на улице — также в чем-то имеет превосходство надо мной. Что тут говорить? Как известно, Богу Богово, а кесарю кесарево.

А. А. Р. Ты никогда не спрашивал себя: стоят ли чего-нибудь все мои книги? Лучше ли я, чем Борхес или Кортасар? Останется ли мое имя в истории?

М. П. Меня никогда не заботили подобные вещи. Самое главное для меня — возможность писать. Слава — добьюсь я ее или нет — меня совершенно не волнует.

А. А. Р. Слава — синоним денег?

М. П. Иногда да, иногда нет. Раз на раз не приходится. Какой-нибудь блестящий спортсмен, может, и заработает огромные деньги, но это совсем не правило. Писателей-миллионеров вообще не существует, за редким исключением... <...> Гарсиа Маркес, например, разбогател, получив Нобелевскую премию, но все равно он не миллионер. Насколько я знаю, нет их в литературе... Мухика Лайнес[1] был богатым, Бьой Касарес богат, но до уровня миллионеров никто из них не дотягивает.

А. А. Р. Ты раб денег?

М. П. Нет, конечно нет. Деньги всего лишь средство для достижения определенного радостного чувства, и эта радость для меня гораздо важнее денег. Я помню, как в Нью-Йорке истратил свои последние сто долларов. Я отдал их в качестве чаевых таксисту только для того, чтобы получить удовольствие от его реакции.

А. А. Р. Ты не заботишься о том, чтобы обеспечить свое будущее?

М. П. Стремление обеспечить будущее — это чисто буржуазные штучки. Нельзя обеспечить будущее, будущее — величина неизвестная, никто не знает, что это и каким оно будет.

А. А. Р. Как ты относишься к тому, что писатель в определенный момент может стать членом правительства? Не помеха ли это для его литературной деятельности?

М. П. Экономически это хорошо, а для творчества вредно. Возьми Неруду, например. Когда политика захватила его целиком, его поэтический дар заметно ослабел; все прекрасное вянет от одного прикосновения политики. Я считаю, что писатель должен быть свободным, независимым, он не должен служить никакому хозяину.

А. А. Р. Пока ты находишься в творческом процессе, ты сам себе хозяин?

М. П. Писать, создавать — на это может отважиться лишь тот, кто считает себя абсолютно свободным, свободным в выборе целей и средств. Никакие внешние обстоятельства никогда не могли заставить

1. Мануэль Мухика Лайнес (1910—1984) — аргентинский прозаик.

меня идти против себя самого; я всегда хотел понять и выразить себя, и на этом пути всегда наталкивался на препятствия.

А. А. Р. Ты чувствуешь какую-то ответственность перед обществом за то признание, которым пользуешься?

М. П. Я чувствую ответственность перед временем, которое мне отпущено. Мне важно не потратить его впустую, и лучшее, что я могу сделать, — это писать. Это вовсе не означает, что я должен чувствовать ответственность перед людьми, ведь я не чувствую ее даже перед самим собой.

А. А. Р. Были у тебя минуты, когда тебе казалось, что литература в связи с какими-то политическими событиями отходит на второй план?

М. П. Нет, я никогда так не думал. Не скажу, что литература важнее всего, но дело в том, что я ощущаю колоссальную потребность писать. И думаю, что тоже занимаюсь "политикой", в кавычках, как и все, но только посредством литературы... Я убежден, что литература спасает. Мне в ней очень хорошо и уютно.

А. А. Р. Ты когда-нибудь интересовался писателями, которые тебе совершенно чужды?

М. П. Да, конечно, хотя все это так относительно и неоднозначно — что значит чуждый, что значит близкий? Я думаю о Кортасаре — мне очень нравится Кортасар — и говорю себе иногда, что я очень далек от него, но так ли уж далек? Его тяга к фантастическому, его привязанность к Буэнос-Айресу мне очень близки и понятны. В каждом человеке всегда есть что-то, пусть и не главное в нем, но достаточное для того, чтобы обнаружилась твоя связь с ним, какое-то глубинное родство.

А. А. Р. Кто еще из испаноязычных писателей тебе нравится?

М. П. Рикардо Пиглья, Северо Сардуй, Лесама Лима, Гильермо Кабрера Инфанте и Рейнальдо Аренас[1].

А. А. Р. А Борхес и Кортасар?

М. П. И Борхес, и Кортасар, пардон.

А. А. Р. Больше никто?

М. П. Больше никто.

А. А. Р. Ты уверен?

М. П. Абсолютно. Зачем мне врать? Я не прилежный читатель, ты ведь знаешь. На чтение уходит много времени. Для чего читать? Лучше жить, наслаждаться жизнью.

А. А. Р. Читать — это тоже наслаждаться.

М. П. Да, для кого-то, но не для меня.

А. А. Р. Как ты думаешь, человек свободен?

М. П. Полагаю, это утопия. Испокон веку говорится, что человек свободен, на самом деле любое животное свободнее, чем человек.

А. А. Р. Каковы причины этой несвободы?

М. П. Причины самые разные, есть и вполне определенные. Например, с самого начала жизни — бедные мы, бедные! — человек делает только то, что ему велят.

А. А. Р. Ты хочешь сказать, что его водят на веревочке?

М. П. Именно это я и хочу сказать. Человека дрессируют с рождения, и потом всю жизнь он пляшет под дудку своего хозяина: сначала мамы или папы, позже учителя и наконец начальника, возлюбленной, жены.

А. А. Р. Но ведь человек рождается свободным.

1. Рейнальдо Аренас (1943–1990) — кубинский писатель и правозащитник, с 1980 г. жил в эмиграции в США. Узнав, что болен СПИДом, покончил с собой.

М. П. Да, рождается свободным, но, повторяю, первое, чему он научается, — это послушание.

А. А. Р. Тогда получается, он раб.

М. П. Вот именно раб. И начинается это рабство, как ни странно, с подчинения родителям.

А. А. Р. А Сартр сказал: "Человек сам себя лепит и будет таким, каким себя сделает".

М. П. Сартр может говорить что хочет, но на самом деле человек постоянно следует *инструкциям*, которые дают ему родители.

А. А. Р. Значит, он приговорен. И нет выхода?

М. П. Стопроцентного нет. Можно лишь прибегнуть к каким-то уловкам, сделать шаг в сторону, но реального выхода или полной свободы нет.

А. А. Р. Значит, наши родители всегда будут виновниками всех наших зол. И ничего нельзя поделать.

М. П. Наоборот, можно много чего сделать. Мы должны жить своей головой и всеми доступными нам средствами стараться освободить себя от родительских инструкций.

А. А. Р. Генетика имеет какое-то отношение к этим инструкциям?

М. П. Разумеется. Но родительское программирование — думаю, так это звучит научно — не есть "вина" родителей (ведь они лишь передают детям программу, принятую ими от своих родителей), так же как не их "виной" является внешность детей, они только передают гены, которые получили от своих предков.

А. А. Р. Что такое вообще жизнь?

М. П. Жизнь человека — это вечный поиск путей осуществления своих замыслов.

А. А. Р. Какое значение ты придаешь успеху и провалу?

М. П. И успех и провал — всего лишь иллюзия.

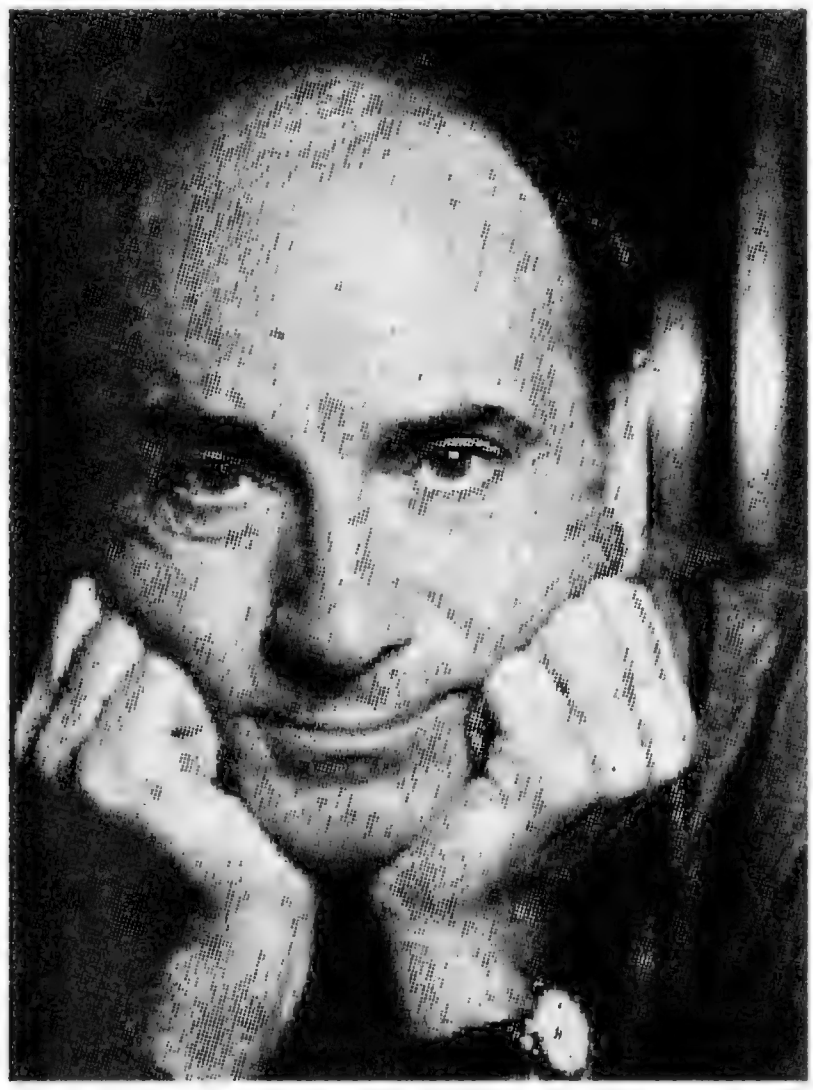
А. А. Р. Когда же мир наконец станет мудрым?

М. П. По-настоящему мудрым мир станет, только если каждый человек пройдет через полную беспомощность, бедность, несправедливость, всеобщее презрение, одиночество. Пока мы все не испытаем на себе, что значит быть гонимым, притеснение и унижение человека или человеческих меньшинств будет продолжаться, и только наш собственный печальный опыт может положить этому конец.

"Я писал, вспоминая фильмы своего детства"[1]

Мария Эстер Хильо. Какова, по-вашему, причина, которая толкает революционера в постель к гомосексуалисту в романе "Поцелуй женщины-паука"? Им движет желание?

1. Фрагменты интервью под названием "Мануэль Пуиг, спустя десять лет после смерти. 'Я писал, вспоминая фильмы своего детства'", взятого уругвайской журналисткой Марией Эстер Хильо в 1983 году дома у писателя в Рио-де-Жанейро. Опубликовано впервые через десять лет после его смерти.



Мануэль Пуиг. Нет, в самом начале — нет. То, что им движет, по-моему, — это потребность чем-то отплатить за то многое, что ему дал другой человек. Ему нечем ответить на всю душевную щедрость и доброту другого, это единственное, что он может дать взамен. Изначальный импульс — сделать его хоть на миг счастливым. Потом, конечно, возникают и другие мотивы. Но сначала именно этот порыв заставляет героя преодолеть все условности.

М. Э. Х. Как вы работаете? Четко в определенные часы или только когда вам хочется?

М. П. У меня четкий график, и по-другому нельзя. Когда пишешь роман, можно работать только так. Я пишу каждый день. И каждый день преодолеваю собственное сопротивление, прежде чем сесть и начать работать.

М. Э. Х. Вы хотите сказать, что для вас писать означает работать.

М. П. По крайней мере, это требует от меня колоссальных усилий. Думаю, мне трудно начать работу оттого, что я испытываю некий ужас перед чистым листом бумаги, страх написать не то. Дело в том, что перед тем как сесть за стол, я час или два хожу и хожу вокруг него. И так каждый день, вот уже двадцать лет. Даже больше, я пишу уже двадцать один год, и с каждым годом садиться за стол все трудней и трудней.

М. Э. Х. А что это все-таки за "ужас перед чистым листом бумаги", что это за "страх написать не то"?

М. П. Необходимо очень сильно сконцентрироваться, чтобы настроиться на нужный лад. Нужно сделать большое усилие над собой, чтобы не поддаться первым словам, которые приходят на ум. Первые слова часто бывают не твоими, в них слышится чужой голос. Надо заставить себя найти другие.

М. Э. Х. Это, должно быть, очень сложно: понять, какие же слова — подлинные.

М. П. Нет, не сложно. Когда я их нахожу, я сразу понимаю, что это именно они. Конечно, случается, что я даю себе поблажку, но это оборачивается лишь потерянным временем.

М. Э. Х. Но ведь не может вся работа состоять из одного сплошного усилия. Должно же быть в ней и удовольствие.

М. П. Когда я добираюсь до нужного слова, которое долго искал, вот тогда... тогда...

М. Э. Х. Это и есть удовольствие.

М. П. Да, потому что тогда я прикасаюсь к истине, к самой сущности жизни. К тому, что для меня есть истина и сущность. Это абсолютно восхитительная минута.

Перевод с испанского Антона Ильинского

Александра Борисенко
Иэн Макьюен – Фауст и фантаст

Так зреют страхи. Как он даст
Звезде превысить досяганье,
Когда он – Фауст, когда – фантаст?
Так начинаются цыгане.

Б. Пастернак

Так начинают – лет в двадцать семь выпускают сборник рассказов, жутковатых, причудливых, циничных. Подрывают основы – дело молодое. Нужно же впустить наконец *реальную жизнь* в пристойную и чопорную английскую литературу, которая только и умеет, что выписывать детали да "изучать все оттенки серого". А еще через четверть века настает пора продемонстрировать собственное мастерство в выписывании деталей, акварельную чистоту всех оттенков серого... Что до *реальной жизни* – кто ее видел?! Что это вообще такое – *реальная жизнь*?

Последний роман Иэна Макьюена "Искупление"[1], вышедший в свет в 2001 году, заставил критиков говорить о "новом Макьюене"; интонация варьировалась в зависимости от отношения к "старому Макьюену". Кто-то был обманут в лучших чувствах, кто-то приятно удивлен... Впрочем, Макьюена уже давно стали упрекать в том, что он изменяет себе, и эти упреки (порой довольно неожиданного характера) весьма точно отражают сложившийся стереотип читательских ожиданий. Уже после первого сборника рассказов "Первая любовь, последние обряды" молодого автора прозвали Иэн Макабр (от французского macabre – мрачный, жуткий, относящийся к смерти). "Черный маг" британской литературы, énfant terrible... От новых книг ждали ужасов, загадок и острых ощущений.

Нельзя сказать, что Макьюен разочаровывал публику. Вот четверо детей тайно хоронят в подвале собственную мать, запихнув тело в сундук и залив его цементом ("Цементный садик"); вот двое маньяков заманивают к себе путешественников и в ходе ужасающей оргии перерезают вены герою, который, естественно, истекает кровью и умирает ("Утешение странников"[2]), вот пара абсолютно нормальных, милых людей на протяжении десятка страниц расчленяет

© А. Борисенко, 2003

1. Иэн Макьюен (р. в 1948) – английский писатель, автор двух сборников рассказов: «Первая любовь, последние обряды» (First Loves, Last Rites, 1975), «Под простынями» (In Between The Sheets and Other Stories, 1978); восьми романов: «Цементный садик» (The Cement Garden, 1978), «Утешение странников» (The Comfort of Strangers, 1981), «Дитя во времени» (The Child In Time, 1987), «Невинный, или Особые отношения» (The Innocent, 1990), «Черные псы» (Black Dogs, 1992), «Бессмертная любовь» (Enduring Love, 1997), «Амстердам» (Amsterdam, 1998), «Искупление» (Atonement, 2001), а также ряда кино- и телесценариев, текста оратории и двух книг для детей. (Далее названия произведений приводятся по-русски.)

2. Иэн Макьюен. Стоп-кадр. М.: ЭКСМО-ПРЕСС, 2001; перев. В. Когана. Переводчик весьма радикально решил проблему перевода названия.

труп убитого ими мужчины, причем процесс описан настолько детально, что возникает абсолютный эффект соучастия ("Невинный, или Особые отношения"[1])... В романе "Дитя во времени"[2] у главного героя похищают ребенка (безвозвратно), а в "Амстердаме"[3] двое бывших друзей убивают друг друга руками услужливых голландских врачей, под предлогом эвтаназии...

Впрочем, даже самые ранние произведения Макьюена плохо укладывались в жанровые рамки триллера или романа ужасов, хотя, конечно, не избежали подобных ярлыков. И сейчас интервьюеры то и дело подчеркивают контраст между литературной репутацией Макьюена и его интеллигентной внешностью: вот ведь, в очках, на учителя похож, никогда не скажешь... Даже в довольно слащавой статье, где журналистка с умилением рассказывает о знаменитом писателе в домашней обстановке (заботливый отец двух сыновей, преданный муж и так далее), все же проскальзывает зловещая нотка: "Когда он не пишет, он с удовольствием возится на кухне... ему очень нравится готовить. Правда, говорит он об этом довольно необычно: 'Мне нравится подносить острый нож к помидору'. Бр-р. Сейчас так и разлетятся во все стороны алые брызги... Как тут не вспомнить, что этот милый, домашний Макьюен — 'эксперт мирового класса по всем видам насилия'".

Мрачную славу с некоторым серным душком Макьюену принесли главным образом первые четыре книги: два сборника рассказов и два романа — "Цементный садик" и "Утешение странников". Сам писатель рассматривает этот период своего творчества как некий отдельный этап, в ходе которого он, по его собственному выражению, "загнал себя в угол", после чего вынужден был искать новых путей. "Вначале я находил опору в экзистенциалистском романе, но потом почувствовал, что в каком-то смысле хожу на костылях". Герои, намеренно и продуманно лишенные биографии и каких-либо социальных примет, призрачные города (в "Утешении странников" действие по некоторым признакам происходит в Венеции, но город ни разу не назван), бестрепетные, "клинические" описания убийств и извращений — с таким арсеналом вошел в литературу молодой Макьюен, "представитель сердитой молодежи семидесятых"[4].

Именно к началу семидесятых относятся первые писательские опыты Макьюена; после окончания Суссекского университета он продолжил образование в университете Восточной Англии и там учился у Малкольма Брэдбери.

Я снял маленькую комнатку в огромном доме на окраине Нориджа. Я писал как сумасшедший, вполне в романтическом духе, ночи напролет. С Малкольмом мы встречались обычно раз в три-четыре недели в пабе, минут на двадцать — он всегда был очень занят. Он говорил: "Мне понравилось". Никогда ничего не критиковал. Просто говорил: "Хорошо, ты идешь в правильном направлении. Что дальше?" И я отвечал: "Думаю написать рассказ о том, как тринадцатилетний мальчик насилует свою сестренку". Он спрашивал: "Когда будет готово?"

Иными словами, его реакция морально была абсолютно нейтральной, но в то же время он указал мне путь в литературе, который произвел на меня колоссальное воздействие.

В той среде творчество Макьюена едва ли могло кого-то шокировать. Ни Малкольм Брэдбери, ни Энгус Уилсон, ни студенческие друзья молодого писателя не находили в его рассказах ничего непристойного.

1. Иэн Макьюен. Невинный, или Особые отношения. М.: Издательство Независимая Газета, 2000; перев. В. Бабкова.
2. Иэн Макьюен. Дитя во времени. М.: Аграф, 2000; перев. Д. Иванова. По-английски название романа, Child in time, не подлежит однозначному прочтению; оно, в частности, может быть понято как Ребенок вовремя (такой перевод встречается в некоторых статьях о Макьюене), однако время является важной темой романа, и у переводчика были основания отказаться от этой очевидной версии.
3. Иэн Макьюен. Амстердам. М.: Издательство Независимая Газета, 1999; перев. В. Голышева. В 2001 г. перевод был удостоен премии Малый Букер.
4. Так называли молодого писателя во многих критических статьях.

Это был привычный им язык интеллектуальной богемы, где свобода выражения считалась хорошим тоном.

Иначе обстояло дело с родителями и их знакомыми. Когда Макьюен послал домой свой первый сборник, отец, офицер британской армии, некоторое время пребывал в состоянии нелегкой душевной борьбы. Чувство благопристойности боролось в нем с естественной родительской гордостью. Родительская гордость победила: Макьюен с удовольствием вспоминает, что отец раздавал десятки экземпляров книги товарищам по оружию.

Так что, когда я приехал в гости к родителям и отправился выпить в офицерской столовой, по живейшему отвращению во взгляде полковника Бленкинсона я без труда понял, что здесь не только прочли и осудили мою книгу, но и по горло сыты отцовским хвастовством.

Часть детства Макьюен провел в Северной Африке, где служил отец, затем мальчика отправили учиться в Англию. В школе, благодаря инициативе каких-то местных начальников, совместно обучались дети, принадлежавшие к разным социальным группам: из богемных семей среднего класса, из рабочих семей центрального Лондона, из военных семей. Эта пестрая среда лишь укрепила в будущем писателе ощущение "социального замешательства", еще раньше воспринятое от матери. У Розы Макьюен это замешательство, помимо прочего, проявлялось в особом, робком косноязычии, которое, по утверждению Макьюена, во многом сформировало его как писателя. Речь матери была совершенно лишена непринужденности: каждое слово она воспринимала как бомбу замедленного действия, так, будто оно в любой момент могло обернуться против нее, выдать, предать. В школе мальчик быстро понял, что говорит неграмотно, и стал яростно избавляться от ошибок, он беспрерывно, запоем читал (дома книг почти не было), просил сверстников, чтобы они поправляли его всякий раз, как он неправильно употребит какую-нибудь грамматическую форму. Ошибки исчезли, но отношение к языку осталось прежним.

В 1970 году, когда я стал серьезно писать, я, наверное, уже избавился почти от всех речевых ошибок, свойственных моей матери, но сохранил ее отношение к речи, ее осторожность, неуверенность. Многие писатели позволяют предложению свободно выплескиваться на бумагу, чтобы посмотреть, что получится, куда поведет их фраза, как она сформируется. Я же сидел, отложив ручку, и выстраивал предложение в голове. Часто, добираясь до конца, я забывал начало; и только когда фраза была завершена и выверена, я решался записать ее. Но и тогда я вглядывался в нее с тревогой: сказано ли здесь именно то, что я имел в виду? Может быть, где-то скрывается ошибка или двусмысленность, которой я не заметил? Не окажусь ли я в дураках? Многочасовые усилия приносили мизерные результаты и почти никакого удовлетворения. Со стороны эта медлительность, эти колебания могли выглядеть творческой щепетильностью, и я был счастлив представить дело именно так – или, во всяком случае, позволить окружающим так думать...

Этот опыт существования на "ничейной земле" – в обществе и в языке – привлек Макьюена к экзистенциалистской прозе. Он увлекся Кафкой и считал, что "самые интересные книги написаны о людях, увиденных вне каких-либо исторических обстоятельств". Он зачитывался американскими писателями, такими как Джон Апдайк, Филипп Рот, Сол Беллоу, Уильям Берроуз, Норман Мейлер, – "английская литература казалась серой и пресной в сравнении с творчеством этих экспрессивных, взрывных американцев, с их свободным, дерзким языком". Макьюену тоже хотелось говорить на языке улицы, бесстрашно вытаскивать на поверхность "глубоководные мысли", взламывать тесные рамки литературной традиции, слишком зацикленной на тончайших социальных нюансах и бытовых деталях; создавать литературных героев, которые не принадлежали бы ни к одному классу, но были бы "просто людьми XX века": "Я хотел быть дерзким, я хотел ярких красок, может быть даже жестокости, необузданности. Я думаю, это была реакция. Неосознанный протест против того благопристойного, уравновешенного стиля,

который превалировал в те годы в английской литературе. Я был очень нетерпим к этому".

Литературный истеблишмент встретил молодого бунтаря с распростертыми объятиями. Уже дебютный сборник рассказов "Первая любовь, последние обряды" был удостоен премии имени Сомерсета Моэма; в дальнейшем Макьюен неоднократно становился лауреатом литературных премий, включая самую престижную, Букеровскую (премия 1998 года за роман "Амстердам"); в почетный "короткий список" его произведения попадали трижды: помимо "Амстердама" на Букер номинировались романы "Бессмертная любовь" и "Искупление".

С годами Макьюен перестал помещать героев в безвоздушное пространство и безымянные города, в его произведениях появилась отчетливая нота социальной сатиры; и теперь, уже в поисках литературных влияний, критики чаще поминают Ивлина Во, нежели Кафку и Голдинга. Переломным стал роман "Дитя во времени", написанный после перерыва (некоторое время Макьюен осваивал новые жанры: писал кино- и телесценарии, текст оратории). Однако в главном Макьюен остается верен себе: его по-прежнему интересует экстремальный опыт, поворотный момент, безвозвратно меняющий человеческую жизнь. Случайность, ставшая судьбой. Зыбкость окружающей нас реальности. Именно эта зыбкость, ненадежность жизни, недостоверность наших пяти чувств всегда оставалась и остается главной темой Макьюена. Реальность в его произведениях то и дело оборачивается гротеском, мистикой, а то и мистификацией. Город в "Утешении странников" — Венеция или нет? По всем признакам — Венеция. Но полной уверенности нет. Лондон в романе "Дитя во времени" не оставляет сомнений, осязаемый, узнаваемый, названный. Но вот премьер-министр?.. Это Маргарет Тэтчер, охотно разъясняют нам рецензенты, это социальная сатира. Загвоздка в том, что из романа неясно даже, мужчина это или женщина. Пол премьер-министра ни разу не упомянут, ни прямо, ни косвенно. И хотя по-английски такое инкогнито, без сомнения, грамматически обеспечивается существенно легче, чем по-русски, это все-таки нельзя списать на случайность. Тем более что автор сообщает: любые указания на пол премьер-министра давно уже считаются в стране дурным тоном, — так читатель и остается с премьер-министром, что особенно неудобно, поскольку речь идет о любовных переживаниях последнего... Мы знаем, правда, что предметом нежной страсти премьер-министра является мужчина, но это, конечно, ничего не проясняет.

Макьюен расшатывает реальность незаметно, исподволь. Действие романа "Дитя во времени" происходит в близком будущем: роман пишется в 1987 году, а герои живут уже в 2000-м. Разумеется, у Макьюена хватает вкуса не прибегать к "научно-фантастической" вульгаризации — никаких очеловеченных роботов и скоростных транспортных средств. "Научная фантастика" присутствует, но в самом утонченном, рафинированном виде — заметно, что не обошлось без серьезного чтения. Современные теории о природе времени, загадочный прорыв в прошлое, в ходе которого герою удается подсмотреть давний эпизод из жизни собственных родителей... Пока читатель завороженно следит за этими очевидными элементами мистики, автор, подобно ловкому иллюзионисту, производит невидимые манипуляции. Внимательный взгляд заметит некоторые странности, невнимательный — не заметит. Куда-то подевались все компьютеры, уступив место уютному щелканью пишущих машинок, женщины рожают дома, словно и не слышали никогда о больницах... Все это вскользь, между прочим, в скобках. Надо сказать, что к мистике как таковой Макьюен прибегает крайне редко. Ему интереснее испытывать на прочность так называемую реальность. Ролан Барт в статье "Эффект реальности" анализирует элементы, вносящие "правдоподобие" в реалистическое письмо. В частности, он приводит в качестве примера описание гостиной госпожи Обен, где среди прочего упомянут барометр, который, как кажется на первый взгляд, является лишней деталью, не несущей никакой функциональ-

ной нагрузки. Однако при ближайшем рассмотрении оказывается, что "лишние" детали чрезвычайно важны, так как создают определенного рода иллюзию. ""Барометр" у Флобера, "небольшая дверца" у Мишле говорят в конечном счете одно: мы — *реальность*..."[1]

Макьюен щедро расставляет "барометры" на каждом шагу — словно нарочно заставляя спотыкаться о них незадачливых критиков. Довольно забавная история произошла с романом "Бессмертная любовь". Главного героя преследует молодой человек с синдромом Клерамбо. Это патологическое состояние, вид эротомании, когда больной уверен, что некий избранный им объект влюблен в него. Переубедить больного не может ничто — каждое действие своей жертвы он воспринимает как намек, как тайный знак любви. (Один из самых ярких случаев, описанных Клерамбо, — любовь пятидесятитрехлетней француженки к Георгу V. Женщина караулила короля у ворот Букингемского дворца, уверяла, что он подает ей знак, поднимая и опуская шторы, и т. д.) В романе синдром принимает самые острые формы, сюжет развивается динамично и напряженно. Заканчивается же книга приложением — статьей из медицинского альманаха, где двое врачей описывают историю болезни некоего П., на которой, очевидно, и построено все повествование. К статье прилагается библиография, имеется история вопроса, ссылки на другие исследования — все как положено. Целый ряд критиков, среди них один профессиональный психоаналитик, высказались в том смысле, что слабость Макьюена как писателя в том, что он слишком буквально следовал реальной истории болезни, которую к тому же полностью привел в конце романа. Недостаток воображения подвел, сетовали критики, автор боялся уйти от фактов, нельзя же так — все-таки художественная литература. "Когда в конце книги обнаруживаешь приложение — историю болезни, на которой основан роман, — понимаешь, в чем дело. Макьюен просто слишком буквально придерживался фактов, не позволял работать воображению", — пишет, к примеру, Кристофер Лехман-Хаупт.

Загвоздка заключается в том, что история болезни была (конечно же!) сфабрикована, выдумана от начала до конца, вместе с именами исследователей, названием издания и прочими "фактами". (Признаться, я во время чтения романа была убеждена, что и сам синдром Клерамбо вместе со звучным названием является плодом воображения Макьюена; но нет, оказалось, что синдром существует и немыслимая история с поклонницей Георга V — исторический факт.) А чего стоит фарсовая сцена в финале "Амстердама", где в деталях описывается "обычная" процедура эвтаназии!

Литературная традиция такого рода мистификаций богата и разнообразна, этот прием в пору назвать избитым — однако у Макьюена он неожиданно обретает такую жизненную силу и новизну, что искушенный и многоопытный современный читатель оказывается в плену иллюзии, простодушно верит в "достоверность", "документальность" и "правдивость". А лукавый автор тем временем достает из шляпы все новых кроликов. В романе "Искупление" Макьюен снова обводит вокруг пальца доверчивых читателей, что и стало основным предметом бурных дискуссий. Роман не получил Букеровской премии, зато получил несколько других: People's Booker, WH Smith Literary Award, US National Book Critics Award, — и в целом наделал много шуму.

Как уже было сказано, мнения критиков разошлись. Восторженные отзывы безусловно преобладали, но в адрес автора было высказано и немало упреков. Известная английская писательница Анита Брукнер (лауреат Букеровской премии 1984 года) разразилась сухой и ироничной рецензией под названием "Болезненная процедура", где указала на многочисленные нелепости и неувязки сюжета (эффект нотации несколько ослабляется тем, что пересказ поразительно неточен). Некоторые давние поклонники Макьюена сетуют на то, что их обманули: они, дескать,

1. "Эффект реальности", перев. С. Зенкина. В кн.: Ролан Барт. Избранные работы. Семиотика. Поэтика. М.: Изд. группа "Прогресс", "Универс", "Рея", 1994.

предвкушали захватывающее, жутковатое действо, а вместо этого на первых ста страницах только и есть что игра света и тени, бессвязные разговоры, описания платьев, жара в английской усадьбе. Впору посмотреть на обложку — точно ли это Макьюен? Тот ли самый? Может быть, наиболее эмоциональной оказалась рецензия американки Элен Маклауд, которая с горечью пишет следующее:

Есть что-то глубоко печальное в той неизбежности, с которой каждый уважающий себя писатель непременно пишет роман о писателе, пишущем роман... К чести Макьюена, ему и здесь удается удержать читательское внимание, но что за скучное применение такого таланта!...Когда вы идете в ресторан, разве вы ждете, что шеф-повар выйдет и удостоит вас подробным отчетом о мучительном процессе приготовления деликатеса? И что вы подумаете, если, откусив то, что казалось рыбой, обнаружите, что это всего лишь искусно закамуфлированные страницы кулинарной книги?.. Чем литература хуже кулинарии? Нельзя ли раз и навсегда договориться, что все романы о романах выдохлись? Мертвы? Никого больше не интересуют? Ну пожалуйста!

Если буквально последовать этому страстному призыву, придется избавиться от большей (и, может быть, лучшей) части западноевропейской литературы XX века. Ибо, как совершенно справедливо замечает эмоциональный рецензент, выяснение отношений с собственной профессией — неизбежный этап писательского ремесла. И если кулинарный экскурс шеф-повара может утомить едоков (хотя может и оказаться весьма занятным), то роман Макьюена о написании романа оказывается захватывающе интересным и, как всегда, шокирующим.

Конечно, несколько неожиданно увидеть в начале книги эпиграф из "Нортенгерского аббатства" Джейн Остен. Ведь это Макьюен сетовал на "некую герметичную скуку английской прозы, с ее тонкими нюансами повседневной жизни, со всеми оттенками серого, с мелочными приметами одежды, произношения, класса. Все эти социальные коды, возможности манипулировать ими, зависимость от них... Конечно, это обширное поле, — добавляет Макьюен, — но я не разбирался в нем и не хотел иметь с ним ничего общего".

Однако первая часть "Искупления" написана вполне в духе великой романистки. Мы погружаемся в оцепенение жаркого летнего дня 1935 года, в быт английской усадьбы, с классическим вечно занятым отцом, матерью, страдающей мигренью, с затянутой экспозицией, так знакомой нам по классическим английским романам... Впрочем, явственное предгрозовое напряжение позволяет надеяться на развитие событий. Мы знаем (всеведущий автор сообщает нам), что героине повествования, тринадцатилетней Брайони Таллис, предстоит совершить некое "преступление". Пока что она написала пьесу в стихах, изобилующую красивыми и длинными словами, почерпнутыми из словаря, и занята постановкой:

Вот злоключенья пылкой Арабеллы,
Что огорчить родителей посмела,
Отправившись бездумно, непокорно
С повесой неким в сторону Истборна
Без позволенья...

Кастинг представляет собой досадную проблему: в распоряжении юного драматурга нет никого, кроме гостящих в доме кузенов — пятнадцатилетней Лолы и мальчиков-близнецов лет восьми. Все они веснушчатые и огненно-рыжие, близнецов невозможно отличить друг от друга, Лола вознамерилась играть Арабеллу, которой конечно же по праву должна была быть сама Брайони... Разочарованная Брайони приходит к убеждению, что рассказ или роман — гораздо более совершенная литературная форма. ("Писатель обладает абсолютной властью над своим миром; он играет роль Бога. Когда начинаешь писать для кино, немедленно оказывается, что тебя разжаловали из Бога во второстепенные ангелы", — жалуется Макьюен в одном из интервью.) Пьеса срывается, а Брайони суждено в тот же день обрести свой главный, пожизненный сюжет...

Тем временем старшая сестра Брайони Сесилия бродит по дому с дорогой старинной вазой, которую ей надлежит наполнить цветами: старший брат должен привезти в дом

своего друга, цветы предназначаются для гостевой комнаты. Она рассеянна, мысли ее заняты молодым человеком Робби, сыном прислуги, который, однако, с отличием окончил колледж в Кембридже (на деньги отца Сесилии) и собирается продолжать образование, чтобы стать врачом. Они знают друг друга с детства, но в последнее время в их отношениях появилась странная натянутость. Сесилия идет с вазой в сад к фонтану, чтобы наполнить ее водой. Там она встречается с Робби. Их принужденная, скованная беседа заканчивается тем, что Робби, намереваясь наполнить вазу, пытается отнять ее у Сесилии и отламывает кусок драгоценного сосуда. Два осколка падают в воду. Сесилия, охваченная досадой и гневом, природу которых сама не в состоянии понять, раздевается до нижнего белья, ныряет в воду, достает осколки, потом снова одевается и, ни слова не говоря, уходит в дом, унося поврежденную вазу вместе с осколками.

Всю эту сцену наблюдает из окна Брайони. Она не видит, что ваза сломана. Ей кажется, что Робби делает властный жест, и ее сестра, повинуясь приказу, раздевается и идет в воду. Брайони не понимает того, что видит, — она признается себе в этом. Однако воображение тут же начинает выстраивать свою версию: загадочная власть Робби над Сесилией, опасность, неизведанные сложности взрослой жизни. Брайони чувствует себя вырванной из понятного и упорядоченного мира волшебной сказки: нет больше ни добра, ни зла, ни отрицательных героев, ни положительных. Отдельные моменты жизни можно описать, но нельзя объяснить. Она, "всезнающий автор", не знает механизма событий, лишь скользит по их поверхности.

Вечером того же дня Робби передаст через Брайони записку Сесилии, по ошибке он запечатал в конверт черновик со слишком откровенной припиской. Брайони читает записку и приходит в ужас: ей становится ясно, что все эти годы под личиной друга скрывался опасный маньяк. (Мы, конечно, не можем не вспомнить Кэтрин Морланд из "Нортенгерского аббатства", которая, начитавшись готических романов, мысленно обвиняет хозяина дома в кровавых преступлениях, которых тот, разумеется, не совершал.) Потом она застает Робби и Сесилию в библиотеке — любовное объятие она принимает за нападение и борьбу... Так, в результате целой цепи недоразумений, Брайони выстраивает "сюжет", которому сама безусловно верит. Позднее, в тот же вечер, она действительно становится свидетельницей преступления: на кузину Лолу в темноте нападает какой-то мужчина. Брайони видит лишь темную фигуру со спины, но она не сомневается, что это Робби. Она *видит* его, потому что *знает*, что это он.

Правду ей сказали не только глаза — для этого было слишком темно... Глаза лишь подтвердили все то, что она знала, все ее недавние открытия. Правда заключалась в симметрии, она коренилась в здравом смысле. Правда подсказывала зрению. Поэтому, когда она повторяла снова и снова, что видела его, она была абсолютно искренна, страстно правдива. Но то, что она подразумевала, было гораздо сложнее, чем казалось окружающим, с готовностью воспринимавшим буквальный смысл ее слов.

Дело доходит до суда, Брайони свидетельствует против невиновного человека, разрушает его жизнь — и жизнь своей сестры. Сесилия ни на секунду не верит в обвинения и после суда навсегда уходит из дому...

Вторая часть романа — военная. Робби, выйдя из тюрьмы, попадает на фронт. Мы застаем его во время отступления англичан в Дюнкерке. Это самая пронзительная, самая "нелитературная" часть романа. "...Здесь нет чернильных клякс из других книг: подробности обладают яркой, телесной четкостью, рожденной воображением; они ощущаются как выбранные, а не скопированные", — справедливо замечает один из рецензентов, Джеймс Вуд.

Третья часть — своеобразное "послушание" Брайони, которая вместо колледжа идет работать в госпиталь. Брайони повзрослела, она давно уже поняла, какую страшную совершила ошибку. Теперь ею владеет идея искупления. Перед нами череда картин, поражающих тонко выписанными деталями, — черно-белое кино

военного времени: госпиталь, патруль на улицах Лондона, квартира, где Сесилия живет вместе с уцелевшим Робби...

И наконец заключение, вызвавшее наибольшее читательское смятение. Действие переносится в 1999 год, известная романистка Брайони Таллис празднует свой семьдесят седьмой день рожденья. Многие критики отказались пересказывать последнюю часть в своих рецензиях, чтобы не испортить читателю удовольствия от неожиданной развязки (все равно что назвать убийцу в предисловии к книге Агаты Кристи!), ограничившись лишь многозначительными намеками. Что же за ужасная тайна скрывается в конце романа? Оказывается, то, что мы читали, не откровения "всезнающего и вездесущего автора", но произведение писательницы Брайони Таллис, которая в свою очередь является выдумкой писателя Иэна Макьюена. И она меняет события как хочет: только что мы думали, что Сесилия и Робби счастливо воссоединились, но, может быть, они погибли еще в 1943 году! То есть законы реализма грубо попраны, "барометры" разбиты вдребезги (все пятьдесят!), роман оказался *постмодернистским*... Подумать только, и это в XXI веке!

А ведь Макьюен никому не обещал честного, "реалистического" повествования. (Да и Джейн Остен в эпиграфе предостерегает от поспешных выводов...) Напротив, автор как никогда озабочен тем, чтобы от читателя не укрылась интертекстуальность, литературные переклички и прочие постмодернистские ходы. Вся первая, "усадебная", часть романа полнится литературными отголосками — Форстер, Вирджиния Вулф, Генри Джеймс[1]... "Военные" и "госпитальные" куски заставляют вспомнить Хемингуэя. Очень характерен следующий эпизод: Брайони, не оставляющая своих литературных занятий даже во время изнурительной работы в госпитале, посылает оконченную новеллу в журнал "Горизонт". В ответ приходит письмо от самого Сирила Конноли[2], на четырех страницах. Редактор отвергает новеллу, но признает несомненный талант начинающего автора и дает целый ряд ценных советов... Знающие люди безоговорочно признали мастерство Макьюена-пародиста. Вероятно, никто не принял текст рецензии за "настоящего Конноли" лишь потому, что последний скончался в 1974 году. В письме упоминается Элизабет Боуэн[3], она якобы тоже прочла работу молодого автора; в письме содержится тактичный намек на то, что сюжетная канва немного напоминает одно из произведений самой Боуэн. Кроме того, отмечается влияние "миссис Вулф" — это на случай, если читатель сам не заметил. В последней редакции романа (которую, собственно, мы с вами и читаем) учтены многие замечания Сирила Конноли (новелла "Две фигуры у фонтана", по-видимому, представляла собой часть нынешней первой части). То есть мы понимаем, что вначале все было описано иначе. Макьюен рассказывал интервьюерам, что и ему пришлось поправить кое-какие неточности: в письме Конноли была ссылка на роман Р. П. Хартли "Посредник", которую пришлось вычеркнуть, поскольку роман, как оказалось, вышел позднее. Виртуозная подделка требует особой точности и аккуратности.

Надо признаться, Макьюен всегда с большой охотой подсказывал критикам, какие именно литературные влияния следует искать в той или иной его книге: "Цементный садик" перекликается с "Повелителем мух", "Невинный" настойчиво обращается к стереотипам шпионского романа, "Утешение странников" заставляет вспомнить "Смерть в Венеции" Томаса Манна, "Амстердам" — дань Ивлину Во, "Искупление" же Макьюен называет своим "джейн-ос-

1. О перекличках между "Искуплением" и "Что знала Мэйзи?" уже написано несколько статей.
2. Сирил Конноли (1903—1974) — английский критик, журналист, писатель; один из основателей и главный редактор литературного журнала "Горизонт", издававшегося в Англии в 1939—1950 гг.
3. Элизабет Боуэн (1899—1973) — английская писательница ирландского происхождения. Типичный сюжет ее романов — столкновение детей со взрослым миром.

теновским" романом. Возможно, это акцентирование пародирующего, дразнящего ассоциациями авторского голоса было особенно необходимо Макьюену, поскольку он, при всем своем писательском мастерстве, при всей тонкости и затейливости стиля, всегда оставался где-то на грани, на перемычке между большой литературой и массовым чтением. К тому же у всех его книг есть крепкий сюжет. Сирил Конноли поучает начинающую писательницу Брайони Таллис в своей удивительно длинной рецензии: "Даже самый искушенный читатель, знакомый с последними бергсоновскими теориями сознания, сохраняет детское желание, чтобы ему рассказали историю, он хочет, чтобы его держали в напряжении, он хочет узнать, что произошло". И если настоящий Сирил Конноли не писал ничего подобного, что ж, тем хуже для него...

Отвечая на вопросы интервьюеров о "творческих планах" после триумфального "Амстердама", Макьюен сказал, что хочет написать "очень хороший роман, не похожий на все остальные". Безусловно, ему это удалось. При этом он, конечно, не превратился ни в Джейн Остен, ни в Вирджинию Вулф, и нет никакой нужды до боли вглядываться в обложку. В романе есть экстремальная ситуация, катастрофа; есть дух мистификации, и второе дно, и азарт писателя, которому интересно то, о чем он пишет. Но есть в романе и совершенно новая степень свободы. Именно она позволяет автору так непринужденно вступать в перекличку с отвергнутой им в молодости классической британской литературой (а ведь он всегда оставался очень английским писателем). Слово Atonement означает и "примирение" тоже. Легко бравировать тем, что не боишься кричащих красок и брутального цинизма. Но только настоящий смельчак может позволить себе вернуться и подобрать выброшенный когда-то тюбик умбры.

Во многих недавних интервью Макьюен отмечает, что избавление от желания шокировать, свести все к гротеску очень раскрепощает. Конечно, обращение к литературному наследию в его случае — все что угодно, только не подражание. Но и не просто игра. Трудно не вспомнить в этой связи "Женщину французского лейтенанта" Фаулза. Как и Фаулз, Макьюен не только и не столько *берет* у традиции, сколько *дает* ей новую жизнь, создавая головокружительную иллюзию, заставляя заново засверкать полузабытые драгоценности. И всегда при этом оставаясь собой. "Мой идеал — холст цвета бледной яичной скорлупы, на который кое-где положены яркие мазки. Эти мазки ведут прямо в сердце прозы, в саму прозу; они должны захватывать вас, проносить насквозь, через то, что названо, в самое существо вещей... Чтобы было и то, и другое. Но это, конечно, только мечта..." Вот оно, творческое кредо Макьюена: "И то, и другое" (и можно без хлеба). "Ничейная земля" его детства.

Именно это критики называют "скрупулезным реализмом" Макьюена (иные даже выражают наивную радость от того, что "классический роман жив"), именно это и заставляет читателя почувствовать себя обманутым в конце "Искупления": он уже принял к сердцу судьбы героев, он прожил с ними и давний жаркий день в английской усадьбе, и горечь Дюнкерка, и трудные будни госпиталя. Слишком резко, слишком внезапно попадает читатель в творческую "кухню", но чью — Иэна Макьюена? Брайони Таллис? На последних страницах семидесятисемилетняя, неизлечимо больная Брайони размышляет о том, что только последняя версия романа позволяет влюбленным воссоединиться. Все предыдущие варианты были безжалостны. Если заставить читателя думать, что Робби погиб при отступлении, а Сесилию убило во время бомбежки, — что тогда?

Но какой же это финал? Какую надежду, какое удовлетворение может извлечь из него читатель? Кто захочет поверить, что они так никогда и не встретились, не осуществили свою любовь? Кто захочет поверить в это — разве какой-нибудь поклонник унылого реализма? Нет, я не могу так с ними поступить. Я слишком стара, слишком напугана, слишком влюблена в оставшийся мне лоскуток жизни. На меня надвигается прилив забывания, а после — забвение. Я уже лишена отваги пессимизма. <...> Я знаю, всегда

найдется читатель, который спросит: "А что было на самом деле?" Ответ прост: влюбленные уцелели и живут счастливо...

(И может быть, в этом — объяснение многих слабых, надуманных хеппи-эндов, как бы в последний момент приделанных к некоторым макьюенским романам.)

А мысль Брайони движется дальше: отчего бы не написать, как Робби и Сесилия приехали на сегодняшний праздник? Пусть они окажутся среди гостей на ее дне рожденья — в той самой усадьбе; пусть посмотрят, как подросшие внуки веснушчатых кузенов с блеском играют ту самую пьесу о злоключениях Арабеллы... "В этом нет ничего невозможного", — решает Брайони.

Но мы по-прежнему упрямо спрашиваем: "А на самом деле?" На самом деле, как и Брайони Таллис, Иэн Макьюен провел много дней в Военном музее, читая переписку разных людей, собирая драгоценные детали, "пропитываясь" достоверностью. Наверное, он, как и Брайони Таллис, советовался с ветеранами и получал обстоятельные ответы: "У вас написано, парень из авиации был в берете. Это вряд ли возможно. До 1940 года нигде, кроме танковых войск, беретов не было. Наденьте на него пилотку, не ошибетесь". "Если бы я действительно так дорожила фактами, то написала бы другую книгу", — вздыхает Брайони.

На самом деле это не Брайони Таллис, а мать писателя, Роза Макьюен, больна деменцией. А отец воевал в Дюнкерке. Береты до сорокового года носили только в танковых войсках... Факт — лишь инструмент для создания иллюзии. В "Бессмертной любви" герой, только что евший лимонное мороженое, уверяет полицейских, что мороженое было яблочным. В этом нет никакого умысла и никакого смысла. Просто реальность ненадежна, вот и все.

Реальность ненадежна — в ней нет "симметрии", нет порядка. Именно стремление упорядочить хаос приведет Брайони к ее невольному преступлению. Если вспомнить ранние, жутковатые, произведения Макьюена, героями которых часто бывают дети, мы поймем, что самый частый мотив в них — отсутствие организующего начала (родителей, разумных опекунов). Затем писателя начинает занимать вопрос, как обстоят дела с организующим началом в мире взрослых. Создает ли кто-нибудь все эти причудливые сюжеты, или же все в мире случайно? Особенно остро этот вопрос ставится в двух романах — "Черные псы" и "Бессмертная любовь". И если в "Черных псах" ответы неоднозначны, то в "Бессмертной любви" Макьюен твердо становится на позиции рационализма. Он сознательно идет наперекор сложившейся литературной традиции, в которой "винит" романтиков — Мери Шелли, Китса, Блейка:

> Они считали, что рациональность лишает жизнь чего-то важного и прекрасного. Но мы все знаем, что в повседневной жизни противоречивость и непоследовательность очень раздражают... Мы требуем некоторой степени рациональности даже в самых близких отношениях. И я давно уже думал, что мне хотелось бы написать роман, в котором герой был бы наделен неколебимой верой в рациональность, но чтобы он при этом оказался прав. А читатель, и полиция, и его собственная жена — все ошибаются. <...> Я думаю, мы до сих пор живем с этим постромантическим ощущением, особенно в литературе, в жизни меньше. Литература создает эту аберрацию. В романах почти всегда выигрывает персонаж, доверяющий своей интуиции, а не холодный рационалист. Но мой опыт этого не подтверждает. Я думаю, много хорошего в жизни происходит от ясного мышления. От тщательного продумывания. Многие наши ценности, такие как справедливость, — безусловно продукт рационального подхода. И я решил, что пришло время встать на защиту рациональности. Конечно, "Франкенштейн" — великий антирационалистический роман, это удивительная книга. И очень трудно создать что-нибудь равное ей, воспевающее рационализм, но нужно попытаться.

Макьюена часто спрашивают о его мировоззрении, в частности о взглядах на религию. Он всегда отвечает, что он атеист, и утверждает, что вера опаснее безверия. "Чем старше я становлюсь, тем острее чувствую, что нам не хватает именно сомнения; нам нужно чуть больше скептицизма,

чуть меньше оголтелой уверенности". Сомнение заставляет его вечно нащупывать границы, переходы, чтобы отличить нормальное от безумного, обычное от гротескного, реальное от возможного. И если нет организующего начала, откуда возьмется смысл, закономерность, сюжет? "Я не верю в судьбу. Отчасти потому, что не верю в Бога, поэтому я считаю, что жизнь состоит из счастливых и трагических случайностей. И эта случайность всего происходящего — конечно, можно сказать, что она делает жизнь бессмысленной, но в то же время она предлагает писателю потрясающие возможности..." Так экзистенциальный ужас человека перед хаосом оборачивается неограниченной властью художника.

Все эти пятьдесят девять лет перед ней стояла одна проблема: как может писатель достичь искупления, когда в своей абсолютной власти над исходом событий он и есть Бог. Нет никакого существа, никакой высшей формы, к которой она могла бы воззвать, и примириться, и получить прощение. Нет ничего вне ее самой. В своем воображении она сама устанавливает пределы и правила. Нет искупления для Бога, как нет его для писателей, даже если они атеисты. Задача всегда была невыполнима, в этом суть. Попытка — вот что единственно важно.

Так рассуждает Брайони. И Макьюен. Так рассуждает каждый, кто догадался отвинтить крышку калейдоскопа и подправить узор.

"Так затевают ссоры с солнцем..."

Австрия

Последние письма Кафки

Архив, принадлежавший безвестному доктору Роберту Клопштоку и его жене Жизель, выставлен на Нью-Йоркской ярмарке антиквариата за баснословную цену в 1,2 миллиона евро. В Европе желающих приобрести его не нашлось, и теперь венский антиквар Хуго Вечерек надеется найти покупателей в Америке. Он не считает цену завышенной, поскольку наследие Клопштока содержит 38 писем Франца Кафки, в том числе семь абсолютно неизвестных и четырнадцать опубликованных частично.

Франц Кафка и Роберт Клопшток познакомились в 1921 году в словацком горном санатории, где оба проходили курс лечения от туберкулеза. В 1937 году Клопшток эмигрировал в Америку и стал известным специалистом по легочным заболеваниям. Но это потом, а в 1921 году он — ровесник века — 21-летний юноша, венгерский еврей, студент факультета медицины, становится ближайшим другом 37-летнего Кафки и, по выражению биографов, его "главным поверенным". У них много общих тем: Иисус и христианство, Достоевский, Карл Краус. По окончании санаторного курса завязывается переписка, и в начале 1924 года Клопшток приезжает к Кафке из Берлина в санаторий Кирлинг под Веной, где остается вплоть до самой его смерти 3 июня 1924 года.

Трудно сказать, насколько ценен этот архив с сугубо научной точки зрения. Он скорее интересен биографу, нежели исследователю творчества австрийского классика. В период переписки с Клопштоком, которая продлилась всего три года, Кафка практически отошел от литературных занятий, поэтому письма вряд ли помогут по-новому взглянуть на его книги. Однако, по утверждению продавцов, они раскрывают характер Кафки с абсолютно неожиданной стороны, отличной от описанной Максом Бродом, а также дают полное представление о том, каким был и чем интересовался писатель в последние годы жизни.

Болгария

Самая древняя книга в мире

Коллекцию Болгарского национального исторического музея в Софии пополнил уникальный экспонат — книга, признанная самой древней в мире. Она состоит из шести сделанных из золота листов с текстом на этрусском языке и иллюстрациями, изображающими наездника, русалку, арфу и солдат.

Этому уникальному изданию более 2,5 тысяч лет. Оно было обнаружено 60 лет назад во время сооружения канала вдоль реки Струма на юго-западе Болгарии, но в музейный фонд поступило только недавно в качестве дара от анонимного лица. По некоторым сведениям, неизвестному дарителю сейчас 87 лет и он живет в Македонии.

Этрусская книга

По словам главы археологического отдела музея, в мире известно около 30 подобных памятников древней письменности, однако все они представляют собой отдельные листы, не собранные в единую книгу, так что этрусскую находку можно считать единственной в своем роде.

Около 3 тысяч лет назад этруски — один из самых загадочных древних народов Европы — пришли из Лидии, государства, которое когда-то существовало на западе современной Турции, и осели на территории, соответствующей нынешним северной и центральной Италии. В IV веке до н. э. они были покорены Римом, практически не оставив после себя письменных памятников.

Двадцатка лучших

Раз в десятилетие один из старейших английских литературных журналов "Гранта" (основан в 1889 году в Кембридже) называет 20 лучших молодых британских прозаиков (моложе сорока лет). В этом году подобный список был составлен в третий (и, скорее всего, в последний) раз. Как показывает опыт, авторитетное жюри безошибочно определяет имена будущих столпов современной английской беллетристики. Так, в списке 1983 года фигурировали Иэн Макьюен, Сальман Рушди, Джулиан Барнс, Мартин Эмис, Кадзуо Исигуро, Уильям Бойд... Более спорным оказался следующий перечень (1993), в который были включены Бен Окри, Дженет Уинтерсон, Уилл Селф, Ханиф Курейши, Лоренс Норфолк, Луи де Берньер...

Чтобы составить список победителей этого года, жюри, в которое вошли литературные критики, журналисты, издатели, редакторы и писатели, прочло более семидесяти романов и обсудило их по электронной почте и на совместных встречах. Но как выбрать лучшие? Если вспомнить слова Найпола, то одна из задач писателя — сообщить читателю нечто новое. Это может быть рассказ о другой эпохе или обществе иного типа, новый взгляд на семейные отношения или на внутренний мир писателя. Круг тем у лучших британских авторов нового поколения оказался весьма ограничен: секс, наркотики, молодежная культура. Судя по всему, у британцев пока нет стремления создать "великий английский роман".

Тем не менее среди лауреатов 2003 года встречается немало талантливых прозаиков. Это прежде всего писательница Моника Али, дебютный роман которой был опубликован лишь после объявления имен победителей, Э. Л. Кеннеди, шотландка из Глазго, отмеченная "Грантой" уже во второй раз, Зади Смит, названный британской критикой "новым Сальманом Рушди". Самой смешной книгой жюри сочло произведение Алана Уорнерна, который сумел представить будни алкоголиков и наркоманов в ироничном свете. Правда, как заметил один из членов жюри, ирония — эта болезнь Великобритании — особенно опасна для мужчин. Среди авторов нового поколения слишком много людей с ироничным взглядом на вещи, что, вероятнее всего, свидетельствует об их внутренней неуверенности и довольно сильно отражается на манере письма, подытожил он.

Возвращенная классика

Сэмюэл Ричардсон (1689—1761) вошел в историю мировой литературы как один из создателей семейно-бытового романа. Однако первоначальный печатный вариант его знаменитого произведения "Памела, или Вознагражденная добродетель" (1740; рус. перев. 1787) до недавних пор оставался неизвестным. Англоязычным читателям роман был знаком по изданию "Пингвин" в редакции, которая была подготовлена дочерьми Ричардсона уже после смерти автора. Воспроизвести первоначальный текст романа взялось Оксфордское издательство. В предисловии к книге Джон Маллан рассказывает об истории создания "Памелы", а также объясняет причины ее невероятной популярности у современников.

Ричардсон не был профессиональным писателем в современном смысле слова. Обратиться к перу почтенного семьянина и преуспевающего хозяина типографии заставил случай. В 1739 году к нему обратились его коллеги-издатели с предложением составить письмовник, откуда читатели, не опытные в эпистолярном жанре, могли бы заимствовать образцы писем на разные случаи жизни. Ричардсон согласился. Среди разнообразных житейских ситуаций его особенно заинтересовала одна: положение девушки-служанки в богатом доме. Так возник первоначальный замысел "Памелы", который отодвинул идею письмовника на второй план.

"Памела, или Вознагражденная добродетель" увидела свет в 1740 году, причем имя автора (которому к этому моменту уже перевалило за пятьдесят) даже не было указано на титульном листе. Как и в последующих своих романах, Ричардсон ограничился скромной ролью издателя якобы подлинной переписки своих героев.

В "ряде частных писем красивой молодой девицы к ее родителям, публикуемых с целью развития принципов добродетели и религии в умах молодежи обоего пола", читателям сообщалась назидательная история юной горничной, которую безжалостно преследует ее хозяин,

юный сквайр Б. В конце концов, умиленный ее высокими моральными качествами, он предлагает ей руку и сердце.

Сразу же после выхода в свет романа развернулась острая полемика. Надо заметить, что книга привела в восторг не только аристократок, проливавших слезы над трогательной судьбой героини, но и критиков. Однако нашлись у нее и недоброжелатели, обвинившие писателя в безнравственности. Ричардсон, который весьма щепетильно относился ко всякого рода замечаниям, взялся исправлять положение, внося в текст многочисленные поправки, которые, по его мнению, должны были сделать содержание более "пристойным".

Второе издание романа, которое вышло через три месяца после первого, было уже сильно переработано. В авторском предисловии сообщалось о спорах вокруг романа, при этом Ричардсон не преминул обмолвиться о "благосклонности, с которой его произведение было встречено публикой". За двадцать лет было создано девять разных редакций "Памелы", из них пять — в течение первого года. В результате многочисленных исправлений роман утратил свои главные достоинства: искренность и психологизм. Пойдя на поводу

С. Ричардсон

у критики, Ричардсон сделал повествование более сухим и стилистически нейтральным. В результате даже литературоведам стало трудно понять, в чем собственно заключается новаторство этого скучного произведения. Оксфордское издание "Памелы" даст читателям возможность по достоинству оценить роман, который занимает почетное место в творческом наследии писателя.

Германия

Рискованная премьера

Недавно в ганноверском театре Балльхоф состоялась премьера спектакля, поставленного по самому полемичному роману последнего десятилетия — "Платформе" Мишеля Уэльбека (опубликован в "ИЛ", 2002, № 11). Режиссер-постановщик Андреас Кригенбург остался верен тексту произведения, в котором множество сексуальных сцен, обнаженных тел и непристойностей. Большую часть времени семеро актеров, занятых в постановке, разгуливают перед публикой в неглиже или абсолютно голыми. Правда, нарочитую откровенность пьесы несколько сглаживают огромные стекла, выполняющие в спектакле двоякую роль, с одной стороны, отгораживая сцену от зала, с другой — создавая у зрителей ощущение соглядатаев. Роль Мишеля, главного героя пьесы, мелкого функционера, который вместе со своей подругой пытается наладить в Таиланде сексуальный туризм, исполняет пятеро актеров, которые то и дело обмениваются репликами, меж тем как возлюбленная Мишеля, Валери, появляется лишь в двух эпизодах. Постановщик Андреас Кригенбург не находит в пьесе ничего скандального, считая ее "глубоко романтичной историей", рассказывающей о поисках настоящей любви.

Италия

Феноменальный успех "Республики"

Как увеличить тиражи книг, сохранив при этом их высокий литературный уровень? Этот вопрос, злободневный для книгоиздателей всего мира, весьма удачно решила итальянская газета "Республика", наладив выпуск книг-приложений. Уже более года новинки серии — произведения итальянской классики и современной зарубежной литературы — еженедельно появляются в газетных киосках и продаются по сравнительно низкой цене (5,8 евро вместе с газетой), что делает их привлекательными для всех желающих составить собственную "идеальную библиотеку".

Успех начинания превзошел все ожидания. За прошлый год "Республика" продала около 25 миллионов экземпляров, заняв 40 % всего итальянского книжного рынка художественной литературы. Абсолютными чемпионами по продажам стали романы "Имя розы" Умберто Эко, тираж которого составил 1,2 миллиона экземпляров, и "Сто лет одиночества" Габриэля Гарсиа Маркеса — только за один день разошлось более полумиллиона книг.

Инициатива не осталась незамеченной глав-

ным конкурентом "Республики", газетой "Коррьере делла сера", которая также занялась производством книг. Хотя ее успехи оказались скромнее, в современном издательском мире они выглядят более чем внушительно.

В чем же тут секрет? По словам В. Барбериса, директора солидного туринского издательства "Эйнауди", необычайная популярность книжных приложений связана с тем, что они ориентированы на широкую публику, в первую очередь, на молодежь, для которой немаловажную роль играет цена. Стоит добавить, что, согласно статистическим данным, 40 % молодых итальянцев не прочитали за 2000 год ни одной книги, так что, помимо коммерческих успехов, итальянские газеты вправе похвастаться достижениями на ниве просвещения.

Франция

"Маленькая танцовщица" оживает на сцене

Самая знаменитая бронзовая статуэтка Дега (ныне она находится в парижском музее д'Орсе) получила новое воплощение в балете, премьера которого состоялась в парижской Гранд-опера минувшей весной. На мысль посвятить балет юной балерине, позировавшей прославленному скульптору, хореографа и балетмейстера Патриса Бара косвенным образом навели изыскания куратора музея Гранд-опера Мартины Каан. Она обнаружила, что модель Дега, 14-летняя Мари ван Гётам, выросла в очень бедной семье. Вместе с двумя сестрами подрабатывала в кордебалете, а также выступала в различных кабаре неподалеку от площади Пигаль, где располагалось ночное заведение "Черный кот", в котором ее мать развлекала клиентов.

Как у многих молоденьких балерин, у девочек имелись богатые покровители. У одного из таких "меценатов" Антуанетта, старшая сестра Мари, однажды стащила 700 франков. Антуанетту посадили в тюрьму, вместе с ней в заключение попали ее мать и Мари, подозреваемые в соучастии, — это произошло в 1881 году, вскоре после того, как Дега завершил работу над "Маленькой танцовщицей".

Скульптура была выставлена на Шестой выставке импрессионистов — и осмеяна посетителями. Только позднее, когда Мари стала уже зрелой женщиной, творение французского мастера было признано шедевром.

Опираясь на знаменитый роман XIX века "Семья Кардиналь", в котором описана история похожей семьи, Патрис Бар попытался воссоздать один из возможных вариантов дальнейшей судьбы Мари, поскольку никаких сведений на этот счет не сохранилось. В балете она показана не слишком молодой женщиной, которая служит прачкой на Монмартре, — таков был удел многих постаревших проституток. Известно, однако, как сложилась жизнь Шарлотты, младшей сестры Мари: она сделала успешную карьеру танцовщицы, а затем преподавала в театре "Пале Гарнье".

По материалам информационных агентств "Би-би-си ньюс" и "Франс пресс", газет "Гардиан" [Великобритания], "Тагесшпигель", "Штутгартер Цайтунг", "Фальтер" [Германия], "Либерасьон" [Франция], еженедельника "Лондон ревью оф букс" [Великобритания].

Авторы номера

Венсен Равалек
Vincent Ravalec
[р. 1962]. Французский писатель и кинорежиссер.

Автор ряда сборников новелл в т. ч. *Современная жизнь* [*La Vie moderne*, 1998], *Тринадцать причудливых сказок* [*Treize contes étranges*, 1999], романов *Гимн шпане* [*Cantique de la racaille*, 1994], *Венди* [*Wendy*, 1997] и др.
Публикуемый перевод выполнен по изданию *Nostalgie de la magie noire* [Paris, Flammarion, 1997].

Иоанн Павел II [Кароль Войтыла]
Jan Paweł II [Karol Wojtyła]
[р. 1920]. Папа Римский с 1978 г.

В молодости писал стихи и пьесы. Большая часть его сочинений была опубликована на польском языке в книге *Поэзия и драматургия* [*Poezje i dramaty*, 1999]. На русском языке напечатаны книга *Любовь и ответственность* [1993], сборник избранной поэзии *Крипта* [1994] и др. Пьесы Войтылы *Брат нашего Бога*, *Лавка ювелира* и *Роковая месть* идут на подмостках многих театров мира.
Публикуемый перевод выполнен по изданию *Tryptyk Rzymski* [Kraków, Wydawnictwo św. Stanisława BM, 2003].

Луи-Поль Боон
Louis Paul Boon
[1912–1979]. Бельгийский писатель, писавший на фламандском языке. Лауреат нескольких национальных и международных премий.

Автор романов *Предместье растет* [*De voorstad groeit*, 1943], *Абель Голартс* [*Abel Gholaerts*, 1944], *Забытая улица* [*Vergeten straat*, 1946], *Братья по оружию* [*Wapenbroeders*, 1955], *Ничто не исчезает* [*Niets gaat ten onder*, 1956], *Райская птица* [*De paradijsvogel*, 1958], *Питер Даис* [*Pieter Daens*, 1971], *Книга гёзов* [*Het geuzenboek*, 1979] и др. На русском языке было опубликовано *Избранное*, в которое вошли повести и рассказы [1980].
Публикуемая повесть печатается по изданию *Menuet* [Amsterdam, N. V. De Arbeiderspers, 1948].

Ежи Пильх
Jerzy Pilch
[р. 1952]. Польский писатель.

Автор книг *Список блудниц* [*Spis cudzołożnic*, 1993], *Тысяча спокойных городов* [*Tysiąc spokojnych miast*, 1997] и др. В *ИЛ* были напечатаны его повесть *Монолог из норы* [1999, № 1] и подборка эссе из сборника *Безвозвратно утраченная леворукость* [2000, № 8].
Главы романа публикуются по изданию *Pod tosnym aniołem* [Kraków, Wydawnictwo Literackie, 2000].

Мотоко Митиура
Motoko Michiura
Японская поэтесса. Лауреат премии Ассоциации современных поэтов танка [1981].

Автор сборника танка *Беспомощная лирика* [*Муэн-но Дзёдзё*, 1980]. В *ИЛ* напечатана подборка ее стихов [1993, № 5].
Публикуемые стихи взяты из авторской подборки для антологии *Странный ветер*, которая готовится к печати в издательстве Иностранка.

Юкари Кодзима
Yukari Kogima
Японская поэтесса. Лауреат премии им. Коно Айко [1997] и премии Вакаяма Бокусуй [2001].

Автор сборников танка *Древнееврейский календарь* [*Хэбураи рэки*, 1997], *Желания* [*Кибоу*, 2000].
Публикуемые стихи взяты из разных сборников.

Сюити Сакаи
Shuichi Sakai
[р. 1958]. Японский поэт. Лауреат премии Ассоциации современных поэтов

Автор сборников танка *Дни в лабиринте* [*Рабюринтосуно хиби*, 1987], *Зернышко Жака* [*Дзякку-но сюси*, 1999].
Публикуемые стихи взяты из разных сборников.

танка [1987] и премии им. Тэраяма Сюдзи [2000].

Хироси Хомура
Hiroshi Homura
[р. 1962]. Японский поэт.

Автор сборника танка *Синдикат* [*Синдзикээто*, 1990] и др.
Публикуемые стихи взяты из разных сборников.

Мати Тавара
Machi Tawara
Японская поэтесса. Лауреат премии издательства Кадокава [1986] и премии Ассоциации современных поэтов танка [1988].

Автор цикла танка *Августовское утро* [*Хатигацу-но аса*, 1986], сборника танка *День салата* [*Сарада кинэмби*, 1987] и др. В *ИЛ* публиковались подборки ее стихов [1991, № 9 и 1993, № 5], а также эссе [1997, № 8].
Публикуемые стихи взяты из авторской подборки для антологии *Странный ветер*, которая готовится к печати в издательстве Иностранка.

Момоко Курода
Momoko Kuroda
Японская поэтесса. Лауреат премии Современная поэзия хайку женского потока [1982] и премии Ассоциации поэтов хайку [1996].

Автор сборников хайку *Деревянный стул* [*Ки-но ису*, 1982], *Одно дерево, одна травинка* [*Итибоку иссоу*, 1995] и др.
Публикуемые стихи взяты из разных сборников.

Амари Оки
Amari Oki
Японская поэтесса.

Автор сборника хайку *Огненный шар* [*Какюу*, 2001] и др.
Публикуемые стихи взяты из разных сборников.

Митио Накахара
Michio Nakahara
[р. 1951]. Японский поэт, дизайнер. Лауреат премии для дебютантов Ассоциации поэтов хайку [1990] и премии Ассоциации поэтов хайку [1994].

Автор сборников хайку *Повеса* [*Тоудзи*, 1990], *Темя* [*Ротёу*, 1993] и др.
Публикуемые стихи взяты из разных сборников.

Сэй Имаи
Sei Imai
[р. 1950]. Японский поэт.

Автор сборников хайку *Северные границы* [*Хокугэн*, 1984], *Мебель в ущелье* [*Танима-но кагу*, 2000].
Публикуемые стихи взяты из разных сборников.

Юмико Катаяма
Iumiko Katayama
Японская поэтесса. Лауреат премии журнала *Хайку кэнкюу* [1990] и премии для начинающих критиков Ассоциации поэтов хайку [1994].

Автор сборника хайку *Небесный лук* [*Тэнкюу*, 1995], сборника критических статей *Диалог с современной поэзией хайку* [*Гэндай хайку то но*, 1994].
Публикуемые стихи взяты из разных сборников.

Кингсли Эмис
Kingsley Amis
[1922–1995]. Английский писатель-сатирик, поэт, литературный критик, один из основателей литературы "рассерженных молодых людей".

Автор романов *Счастливчик Джим* [*Lucky Jim*, 1954; рус. перев. *ИЛ* 1958, № 10–12], *Это неопределенное чувство* [*That Uncertain Feeling*, 1955], *Лига против смерти* [*The Anti-Death League*, 1966], *Вынь да положь!* [*I want it now*, 1968], *Девушка лет двадцати* [*Girl, 20*, 1971; рус. перев. 2000], *Эта русская* [*The Russian Girl*, 1994; рус. перев. 2001] и др.
Публикуемые главы взяты из книги *Memoirs* [London, Penguin Books, 1992].

Борис Владимирович Дубин
[р. 1946]. Литературовед, переводчик. Лауреат премий *ИЛ* [1992], *ИЛлюминатор* [1994], им. Анатоля Леруа-Больё [1996], им. Мориса Ваксмахера [1998].

Автор статей по социологии культуры и книги *Слово – письмо – литература* [М., 2001]. Постоянный автор *ИЛ* и ведущий рубрики *Портрет в зеркалах* [1995, № 1, 12; 1996, № 8, 12; 1997, № 4, 9, 12; 2000, № 1].

Граciела Сперанса
Graciela Speranza
Аргентинский переводчик, киносценарист, историк современной культуры.

Составитель сборника *Мануэль Пуиг. Материалы международной встречи* [*Encuentro Internacional Manuel Puig*, 1998], автор монографии *Мануэль Пуиг. После конца литературы* [*Manuel Puig. Despues del fin de la literatura*, 2001]. Публикуемое эссе взято из газеты *Solo Literatura* [2000, июнь], переведено по тексту в Интернете.

Сьюзен Джилл Ливайн
Susanne Jill Levine
Американская исследовательница испанской и латиноамериканской словесности.

Переводила прозу Х. Л. Борхеса, Х. Кортасара, К. Фуэнтеса, Х. Доносо, Г. Кабреры Инфанте, С. Сардуя, А. Писарник, Х. Риоса и др. Автор книг *Путеводитель по Бьою Касаресу* [*Guia de Bioy Casares*, 1982], *Подрывник-переписчик: переводя латиноамериканскую литературу* [*The Subversive Scribe: Translating Latin American Fiction*, 1991], *Мануэль Пуиг и женщин-паук* [*Manuel Puig and the Spider Woman*, 2000].
Эссе взято из журнала *Context* [2000, № 3], переведено по тексту в Интернете.

Гильермо Кабрера Инфанте
Guillermo Cabrera Infante
[р. 1929]. Кубинский писатель и журналист, основатель и первый руководитель Гаванской синематеки, с 1962 г. живет в эмиграции, с 1966-го — в Великобритании. Лауреат высшей испанской литературной премии Мигеля де Сервантеса [1997].

Автор романов *Три тоскливых тигра* [*Tres tristes tigres*, 1964, полный текст 1967, в Испании], *Гавана на погребении Инфанте* [*La Habana para un infante difunto*, 1974], *Она исполняла болеро* [*Ella cantaba boleros*, 1996], сборника новелл *Обвиняется в исполнении ча-ча-ча* [*Delito por bailar el chachacha*, 1995], социально-критических эссе *Mea Cuba* [1992], нескольких киносценариев, книг статей о кино *Каждую ночь в Аркадии* [*Arcadia todas las noches*, 1978], *Кино или сардина* [*Cine o sardina*, 1996].
Публикуемое эссе взято из газеты *El Mundo* [2001, август], переведено по тексту в Интернете.

Рикардо Пиглья
Ricardo Piglia
[р. 1941]. Аргентинский писатель, эссеист, киносценарист.

Ему принадлежат книги рассказов *Вторжение* [*La invasión*, 1967], *Под чужим именем* [*Nombre falso*, 1975], романы *Искусственное дыхание* [*Respiración artificial*, 1980], *Город, которого нет на карте* [*La ciudad ausente*, 1992], *Сгоревшие деньги* [*Plata quemada*, 1997], сборники эссе о литературе *Безысходная темница* [*Prision perpetua*, 1988], *Краткие формы* [*Formas breves*, 2000]. В *ИЛ* печаталось его эссе о Борхесе *Чужая память* [1999, № 9].
Публикуемое эссе взято из книги *Аргентина по частям* [*La Argentina en pedazos*. Buenos Aires, Ediciones La Urraca, 1993], переведено по тексту в Интернете.

Томас Элой Мартинес
Tomas Eloy Martínez
[р. 1934]. Аргентинский писатель, журналист, автор киносценариев, работ о кино.

Ему принадлежат романы *Смерть, это общее место* [*Lugar común la muerte*, 1979], *Роман Перона* [*La novela de Peron*, 1985], *Святая Эвита* [*Santa Evita*, 1995; рус. перев. *ИЛ*, 1998, № 10] и др.
Публикуемое эссе взято из газеты *La Nacion* [1977], переведено по тексту в Интернете.

Хорхелина Корбатта
Jorgelina Corbatta
Аргентинский филолог-латиноамериканист.

Автор книги *Личный миф и коллективные мифы в романах Мануэля Пуига* [*Mito personal y mitos colectivos en las novelas de Manuel Puig*, 1988], *Роман о "грязной войне" в аргентинской литературе. 1976–1983 гг.* [*Narrativas de las Guerra Sucia en Argentina. 1976–1983*, 1999], статей о творчестве Х. Л. Борхеса, Х. Кортасара, М. Пуига, Б. Сарло, Р. Пиглья и других аргентинских писателей.
Интервью было опубликовано в журнале *The Review of Contemporary Fiction* [1991], переведено по тексту в Интернете.

Армандо Альмада Роче
Armando Almada Roche
[р. 1942]. Аргентинский журналист, писатель.

Автор книги репортажей *Парагвай в лицах* [*Rostros paraguayos*, 1984], романа *Ангел смерти* [*El ángel de la muerte*, 1986], сборника рассказов *Настоящее горе* [*La llaga perfecta*, 1988] и др.
Публикуемое интервью взято из книги *Буэнос-Айрес, когда же полюбишь ты меня? Беседы с Мануэлем Пуигом* [*Buenos Aires, cuando será el día que me quieras. Conversaciones con Manuel Puig*. Buenos Aires, Editorial Vinciguerra S. R. L., 1992].

Александра Леонидовна Борисенко
Кандидат филологических наук, переводчица с английского

Автор ряда статей, рецензий и переводов, напечатанных в *ИЛ*. Часть из них была выполнена в соавторстве с В. Сонькиным.

Переводчики

Инна Карловна Стаф
Литературовед и переводчик с французского, кандидат филологических наук.

Автор работ по истории французской литературы эпохи Возрождения. В ее переводе выходили произведения Дж. Казановы, С. Малларме, А. Жида, Р. Роллана и др.

Асар Исаевич Эппель
[р. 1935]. Прозаик и переводчик с польского, лауреат премии Инолитл [1998] и премии им. Ю. Казакова за лучший рассказ года [2003], лауреат премии польского ПЕН-клуба.

Автор книг рассказов *Травяная улица* [1994], *Шампиньон моей жизни* [1996], *Дробленый сатана* [2002]. В *ИЛ* в его переводе напечатаны поэмы *Ниобея* К. И. Галчинского [1971, № 7], *Totentanz in Polen* С. Гроховяка [1985, № 11], *Фрэнсис Бэкон, или Диего Веласкес в кресле дантиста* Т. Ружевича [1998, № 7], рассказы Ю. Тувима [1975, № 1], Б. Шульца *Коричные лавки* [1990, № 12] и *Комета* [1998, № 12] и др.

Сильвана Вейдеманн
Немецкий славист, переводчик с русского на нидерландский и немецкий языки.

Переводила на нидерландский произведения Д. Хармса, А. Ахматовой, на немецкий — М. Палей.

Марина Палей
Прозаик, литературный критик, переводчик с немецкого, итальянского, фламандского и нидерландского языков. С 1995 года живет в Нидерландах, член Союза писателей Нидерландов.

Автор книг *Отделение пропащих* [1991], *Месторождение ветра* [1998], *Long Distance, или Славянский акцент* [2000], *Ланч* [2000] и др.

Ксения Яковлевна Старосельская
Переводчик с польского, лауреат премии *ИЛ* [1986], лауреат премии польского ПЕН-клуба.

В ее переводе издавались произведения Г. Сенкевича, Я. Ивашкевича, М. Хороманьского, Т. Конвицкого, В. Шимборской, Т. Новака, В. Мысливского, С. Хвина, Г. Кралль, Е. Анджеевского, М. Хласко, Е. Пильха, О. Токарчук и др.

В *ИЛ на*печатаны ее переводы романов Т. Новака *Черти* [1975, № 3, 4], В. Мысливского *Камень на камень* [1986, № 7—9], С. Хвина *Ханеман* [1997, № 12], литературная автобиография М. Хласко *Красивые двадцатилетние* [1993, № 12], повесть Е. Анджеевского *Врата рая* [1990, № 1] и др.

Татьяна Львовна Соколова-Делюсина
Переводчик с японского, лауреат премии Японского фонда.

В ее переводе публиковались стихи и проза Басё, Бусона, Иссы, а также произведения современных авторов. В *ИЛ* печатались ее переводы Басё [1994, № 7], Бусона [1990, № 11], стихи японских поэтов XX века [1982, №7; 1993, № 5] и др.

Дмитрий Георгиевич Рагозин
[р. 1962]. Прозаик, переводчик с японского.

Лауреат премии журнала *Знамя* [2000].
Автор повести *Поле боя* [журнал *Знамя*, 2000, № 9], романа *Дочь гипнотезера* [журнал *Знамя*, 2002, № 2-3]. В его переводе публиковались стихи средневековых японских поэтов, рассказы Дадзая Осаму и современных японских писателей.

Александр Яковлевич Ливергант
[р. 1947]. Литературовед, переводчик с английского, кандидат искусствоведения.

В его переводе издавались романы Р. Чандлера, Д. Хэммета, У. Тревора, Ш. О'Фаолейна, эссе, статьи и очерки Б. Шоу, Дж. Б. Пристли, Г. Честертона и др. Неоднократно публиковался в *ИЛ*.

Антон Владимирович Ильинский
[р. 1976]. Переводчик с английского и испанского языков, журналист, переводчик художественных фильмов.

В *ИЛ* в его переводе был опубликован рассказ А. Хемона *Слепой Йозеф Пронек* [2003, № 1] и роман М. Пуига *Поцелуй женщины-паука* [2003, № 6].

rinet

Быстрый доступ
Надежная связь
Качественный сервис
Rinet

Internet servis provider www.rinet.ru

Услуги подключения к сети INTERNET

- ❑ **Доступ по телефонной линии (dialup)**
- ❑ **Подключение локальных сетей жилых домов**
- ❑ **Высокоскоростной Интернет по выделенным каналам**
- ❑ **Создание и поддержка корпоративных WEB сайтов**

Подключение, консультации, прием платежей: с 10.00 до 22.00
Телефоны: (095) 238-3922, 232-1730, 916-7009
Адрес: Москва, 1-й Хвостов пер., д.11-А, оф. 105,111
E-mail: info@rinet.ru

В формлении обложки использован фрагмент компьютерной аннимации (конец 90-х годов) японского художника Кея Йошимицу [р. 1973].

Художественное оформление и макет Андрей Бондаренко, Дмитрий Черногаев.

Старший корректор Анна Михлина.

Компьютерный набор Евгения Ушакова, Расимя Родина.
Компьютерная верстка Вячеслав Домогацких.

Главный бухгалтер Татьяна Чистякова.
Коммерческий директор Мария Макарова.

119017, Москва,
Пятницкая ул., 41.
тел. 953-51-47; факс 953-50-61;
E-mail inolit@rinet.ru

В INTERNET электронный дайджест журнала находится по адресу:
http://magazines.russ.ru/inostran

В Москве журнал можно приобрести в редакции, в Санкт-Петербурге — в магазине издательства "Азбука" — ул. Решетникова, д. 15, тел. (812) 327-04-56

Журнал выходит один раз в месяц.

Оригинал-макет номера подготовлен в редакции.

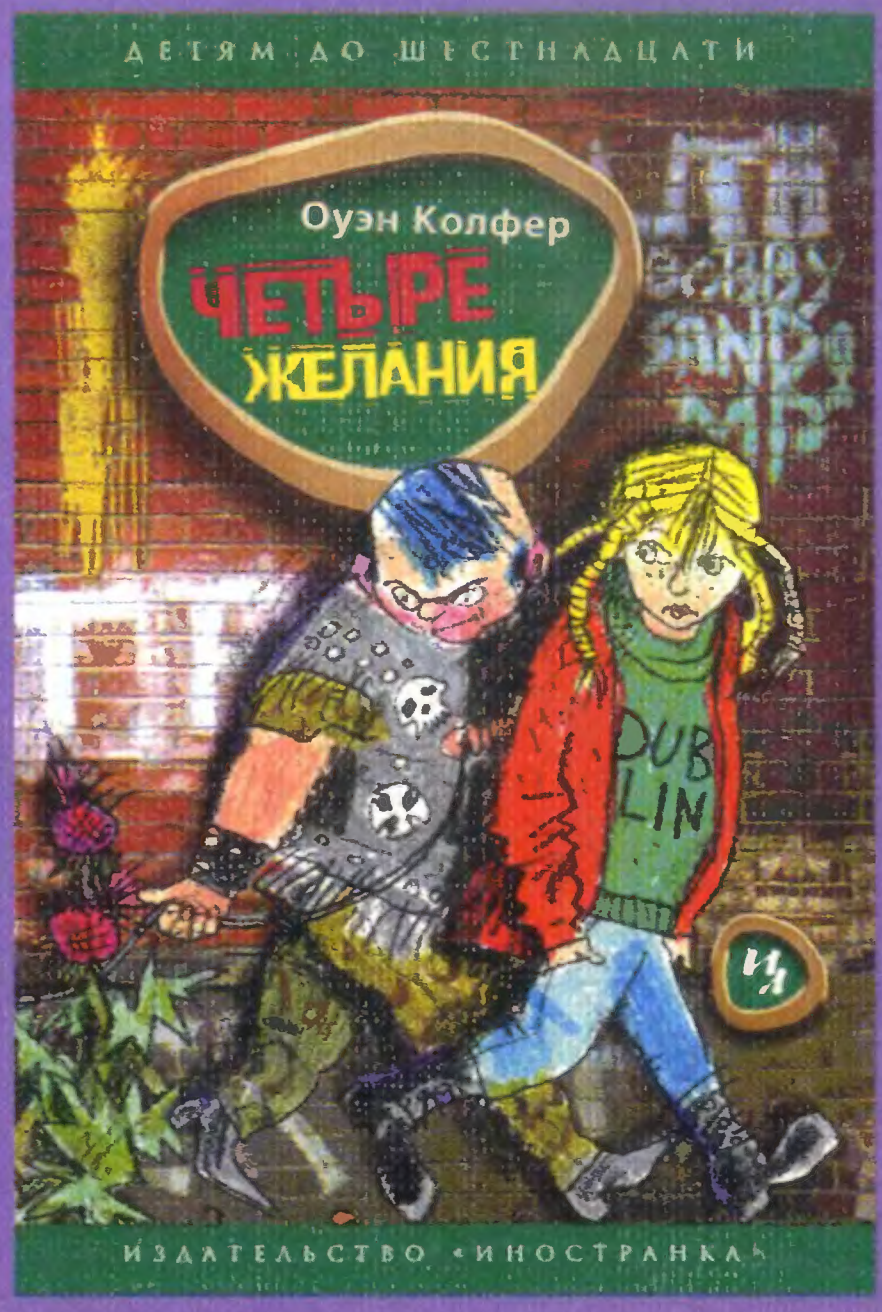
Регистрационнсе свидетельство № 066632 выдано 23.08.1999 г. ГК РФ по печати

Подписано в печать 15.9.2003
Формат 70x108 1/16.
Печать офсетная.
Бумага газетная.
Усл. печ. л. 26,78.
Усл. кр.-отт. 31,0.
Уч.-изд. л. 26,64.
Заказ № 35343.
Тираж 8 600 экз.
Отпечатано с готовых диапозитивов полиграфической фирмой "Красный пролетарий", 103473, Москва, Краснопролетарская ул., 16.

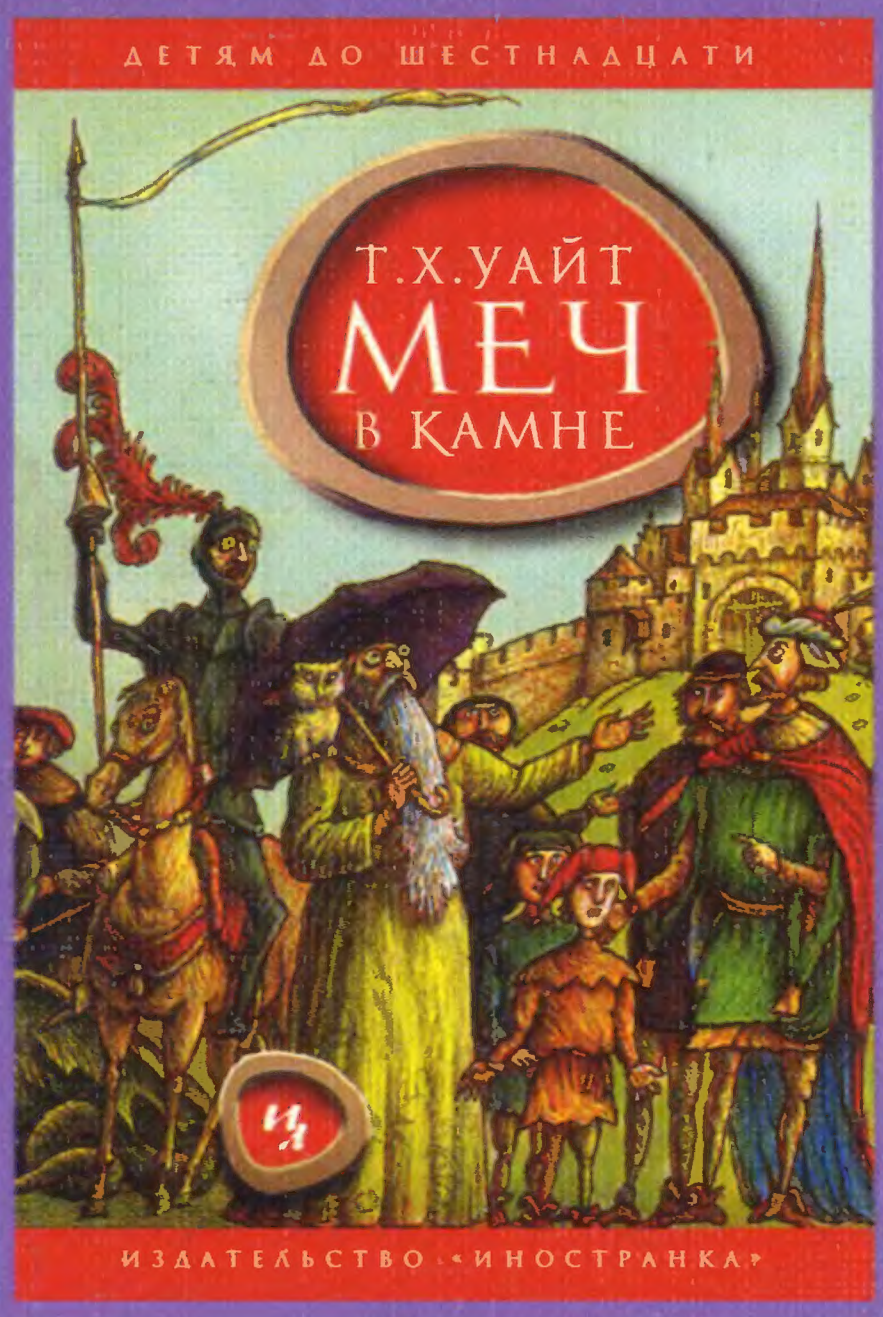
[11] 2003

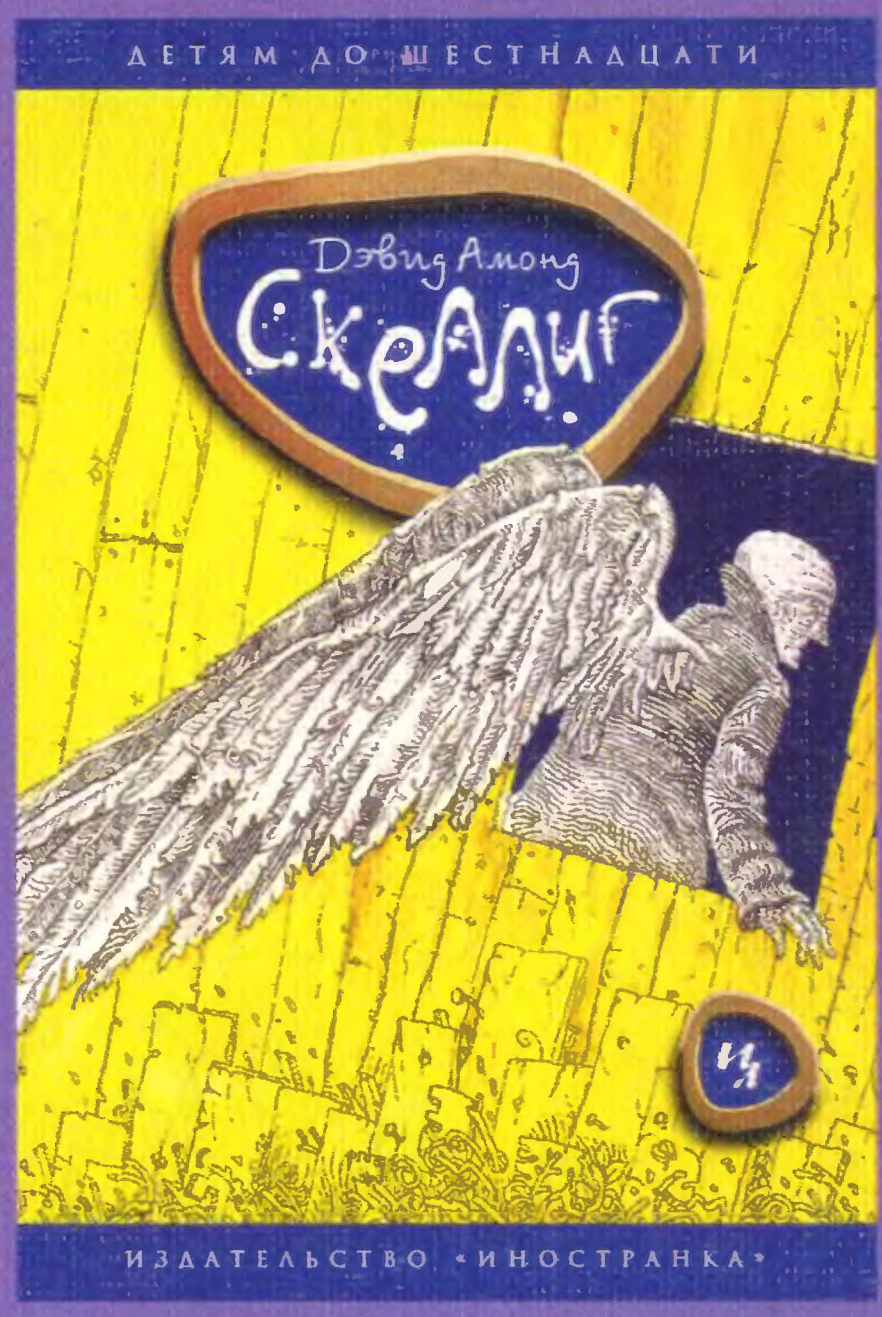
ПЕТЕР ЭСТЕРХАЗИ: “ИСПРАВЛЕННОЕ ИЗДАНИЕ” (ПРИЛОЖЕНИЕ К РОМАНУ “HARMONIA CÆLESTIS”) / СТИХИ БАРТОЛО КАТТАФИ / РОМАН ДОНА ДЕЛИЛЛО “MAO II” / ИСПАНСКИЙ ПИСАТЕЛЬ МАНУЭЛЬ РИВАС В РУБРИКЕ “NB” / НАШИ ГОСТИ: ШАНДОР КАНЯДИ

«ДЕТЯМ ДО ШЕСТНАДЦАТИ»



ЕСЛИ ЧИТАТЬ, ТО ЛУЧШЕЕ!





ИЗДАТЕЛЬСТВО «ИНОСТРАНКА»

По вопросам оптовых закупок обращаться в издательство "Иностранка"
тел/факс: (095) 953 8814, e-mail: inostranka@rinet.ru
или по телефону в Москве (095) 289 0284

ИНДЕКС 70394
ISSN 0130-6545 "ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА", 2003, №10, 1-288